

ГЕННАДИЙ
МАЛЫШЕВ

Лихаёте



ГЕННАДИЙ
МАЛЫШЕВ

Лихаёте



Р о м а н



Хабаровское
книжное
издательство
1992

ББК 84Р7
М20

Художник В. Ю. ПИЧУЕВ

М 4702010201
М160(03)-92 9-92

ISBN 5-7663-0198-7

© Малышев Г. Т., текст, 1992

© Пичуев В. Ю., оформление, 1992



ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе не было топлива. В зале депутаты и приглашенная публика сидели в пальто, шубах, шинелях и безучастно глазели на чередующихся ораторов. На балконе нещадно смолили махру.

Ефрем Ляхов, втянув голову в поднятый воротник шинели, надвинув до бровей офицерскую фуражку без кокарды, вошел в балконную дверь. Сморщился — застарелый кислый запах давно не стиранного солдатского белья перешибал даже холод. Стал протискиваться вперед. Голос выступающего депутата доносился снизу:

— Если прежде коммунистам, побуждаемым мотивами эгоистического свойства и воспользовавшимся благоприятным для них стечением обстоятельств, и удалось захватить власть, то теперь, когда плоды их правления видны всем, такое положение не может продолжаться. Правительство Дальневосточной республики должно отражать волю всего народа!..

В партере слышались аплодисменты. На балконе загудели...

Уже неделю Ефрем, выполняя поручение атамана Лысухи, находился в Хабаровске. Созданная большевиками год назад Дальневосточная республика вызывала разноречивые слухи. В глухомани о ней толком ничего не знали, и Лысуха отправил Ляхова к старому знакомому — полковнику в отставке Богородову Павлу

Илларионовичу, который наверняка был в курсе событий и не сидел сложа руки. Ефрему в многолюдном городе легко удавалось скрываться от военного патруля и милиции — он еще с отцом часто бывал в Хабаровске и знал его хорошо.

Разыскав нужный дом, он вручил письмо атамана Лысухи, подписанное не прозвищем, а полным именем: Лысов Леонид Владимирович. Горничная, попросив подождать, скрылась за портьерой. Ждал долго. От усталости задремал. Кто-то тронул за плечо. Ефрем вскочил и вытянулся в струнку, ожидая увидеть хозяина дома, но перед ним стоял юнец в гимназической куртке. Надев шинель, он сказал, чтобы Ляхов следовал за ним. Долго блуждали по темным ночным закоулкам, наконец попали в добротный каменный дом. В комнате на втором этаже было тепло. Гимназист, пошептавшись с заспанной хозяйкой, ушел. Моложавая пани Матильда — так звали хозяйку — принялась накрывать на стол. От запаха ветчины у Ефрема засосало под ложечкой. Хозяйка проводила его на кухню, показала таз для умывания, дала полотенце и, пожелав гостю спокойной ночи, удалилась в соседнюю комнату. Ефрем разделся по пояс. Мылся с удовольствием. С еще большим удовольствием ел, восторгаясь щедростью хозяйки. Насытившись, покурил и лег в постель. Свежесть белья одурманила, и он ощутил блаженство, которого не испытывал давно. Усталость и нервное напряжение сгинули, но сон не шел, мешал надсадный кашель, доносившийся из соседней комнаты. Позже выяснилось — это был прикованный параличом к постели муж Матильды, скупщик пушнины поляк Стефан Берязовский... Ефрему было строго-настрого запрещено выходить из дома. Радовался заточению — отсыпался. И только сегодня он впервые вышел на улицу: получил свободу передвижения — так сказал гимназист, протягивая ему новенький паспорт...

Ефрем, привыкший к комнатной тишине, услышал гневное мужицкое гудение и поморщился. Смотрел поверх поднятого воротника шинели, как смотрят из-за забора на чужой двор, разглядывая теснившийся на балконе народ. Кругом солдаты с обветренными лицами, рабочие в засаленных ватниках и куртках, деревенские мужики в кожухах.

Сосед Ефрема — здоровенный железнодорожник в промазученной до блеска фуражке — вложил пальцы

в рот и пронзительно засвистел. Балкон взорвался топотом ног и многоголосым ревом. Ефрем ошалело глядел на разбушевавшихся людей. Они орали и грохотали до тех пор, пока выступающий не ушел со сцены. Хриплый голос председателя собрания объявил следующего оратора. Ефрем, надавив плечом на верзилу-железнодорожника, пролез между двумя шубами, оттеснил дырявый кожух и очутился возле обшарпанной, с выбоинами, колонны. Глянул вниз: партер забит людьми до отказа — замызганные кепки присоседились к собольим шапкам, шляпы чередовались с картузами, а кое-где поблескивали лысины — их будто закаляли хозяева.

— Достопочтенное собрание!.. — разорвал тишину густой бас.

Ефрем невольно глянул вверх, где под расписным потолком рывкнуло эхо, и перевел взгляд на сцену.

Оратор, выругавшись на украинском языке с примесью полуцензурных русских слов, достал из-за пазухи лист бумаги, похожий на свиток, громово зачитал:

— «Хабаровская окружная украинская рада протестует против грубого проявления узурпаторской власти, нарушающей основной закон учредительного собрания Дальневосточной республики о свободе слова, печати и самоопределении на широких автономных началах населяющих Дальний Восток народов».

Он выговорил все это на одном дыхании, после чего вынужден был сделать паузу — возюкал большим платком по взмокнутому лицу и пыхтел. Ефрем рассмог-рел его: мордастый, с сизым носом и длинными усами, похожими на веревочные концы; одет как ряженный — из-под мехового жилета виднелась белая вышитая рубаха, схваченная на шее тесемками, на бортах жилета покоились мятые лацканы серовато-грязного пиджака, на котором была еще какая-то одежка сомнительного цвета, и поверх нее напялен широкий зеленый кафтан. Ефрема смешил его вид. А тот резким жестом сорвал с головы лохматую папаху. Голова была выбритой до блеска, аж синевой отливала. Ефрему даже показалось, что от нее шел пар. Презрительно скривился: и это пугало огородное тоже небось власти хочет!

Оратор, собравшись с духом, продолжал чтение:

— «Оный закон распространяется на все города и села республики, в том числе и на Хабаровск, о чем недвусмысленно вынуждена указать окружная украин-

ская рада. Конфискация военным цензором в почтовой конторе бандеролей с воззваниями и наказами, адресованными по селам от имени окружной украинской рады, есть акт насилия и произвола. Воззвания имели мирную цель — организацию и объединение всех украинцев, проживающих в области. Подобные действия агентов являются незаконными и вселяют недоверие к власти». — Он кашлянул, да так, что усы-веревки дернулись вперед, и торжественно закончил: — Подписали: голова рады — Могилецкий, писарь — Харченко. Подана сия жалоба шестого февраля тысяча девятьсот двадцать первого года.

Он свысока глянул на председателя, который старательно укутывал шею длинным шерстяным шарфом, и тяжелой походкой направился к краю сцены.

В партере лениво аплодировали. Балкон молчал.

На сцену влез маленький тощий человек. Говорил о беспорядках, грабежах, убийствах, о падеже скота от чумы и распространении в городе сифилиса. В подтверждение каждого факта доставал из карманов по газете, потрясал над головой:

— Вот!.. Заявление Хабаровской городской управы... Она настоятельно предупреждает, что городской ассенизационный обоз не в состоянии производить работы из-за отсутствия средств на приобретение фуража для лошадей... Куда смотрят власти? Мы задохнемся! Мы угорим от вони!..

— Вошь — тварь живучая. Не угоришь! — раздался голос с балкона.

Партер возмутился. Балкон загоготал.

Оратор продолжил:

— Мы, фракция социалистов-революционеров, со всей ответственностью заявляем, что большевики, захватившие обманным путем власть и уже почти год удерживающие бразды правления в городе, не в силах решить продовольственный вопрос! За время их правления жизненный уровень трудящихся и крестьянства упал до катастрофической отметки. Факт налицо — голод свирепствует!.. — Достал из кармана очередную газету и принялся размахивать ею: — Запасы пшеницы на исходе! Овса нет! Сахара нет! Хлеба нет!..

— И то хорошо — гадить меньше будешь! — прервал его тот же голос.

Депутат-социалист, тыча пальцем в балкон, прокричал:

— Мое дерьмо годится на удобрение, а твое на что?

— Подойди ближе, скинь шапку — узнаешь! — ответили с балкона.

Оратор что-то кричал, но его голос тонул в хохоте, и, наконец, не выдержав, он убрался восвояси. Председатель наябывал в колокольчик, но депутаты, как расшалившиеся мальчишки, надрывались в свисте. Когда их пыл поиссяк, председатель вконец сорванным голосом просипел:

— Это хулиганство... Вы мешаете работе собрания...

— Не души демократию! — истерично завизжал долговязый господин в пенсне.

Зал засвистел с новой силой. На трибуне появился рослый мужчина в длинной командирской шинели, и свист стал утихать. Военный был без фуражки. Он провел рукой по густой шевелюре, прихваченной сединой, спокойно оглядел зал — ждал тишины. И тишина наступила.

— Граждане депутаты! Господа!.. Товарищи!..

Балкон захлопал в ладоши. Ефрем заметил: внизу добрая половина зала тоже аплодировала.

— Я только что приехал из Читы, где проходило заседание учредительного собрания республики. Открывая его, председатель правительства Дальневосточной республики Краснощеков сделал следующее заявление... — Военный помолчал, взявшись за края трибуны, зычно продолжал: — Утверждение желтой и правой прессы о том, что правительство ДВР — московская агентура — клевета! Подобные слухи дезинформируют массы, подрывают авторитет правительства, подстрекают к саботажу и расколу! Советская Россия признала суверенность Дальневосточной республики. Концессии с Советской Россией на рыбные и пушные промыслы по берегам Байкала и Амура заключены на справедливых коммерческих началах!..

Балкон, забыв о самокрутках, воззрился на оратора. Даже в партере была тишина — это поразило Ефрема.

— Демократический централизм, — продолжал военный, — основанный на передаче центру вопросов общегосударственного значения и широкой самостоятельности вопросов местных. — наиболее жизненная система. Необходимо покончить с сепаратизмом, на который уповает Владивосток. Владивостокское народное собрание — ублюдоочный орган. Мы не поддерживаем его.

Скажу больше: его необходимо распустить и указать, что поведение Владивостока недопустимо!..

Ефрем не знал, что происходило во Владивостоке, в каких событиях шла речь, но, поддавшись убежденности оратора, слушал внимательно. Военный сообщил о решении правительства республики — предоставлении автономии бурятам и монголам. Ефрему было плевать и на тех, и на других. Он, как истый каппелевец, не признавал никаких народностей (малые — значит слабые), все они были для него просто быдло, и еще в армии он нарочито считал их по головам, как скот, предназначенный на убой.

— Финансовый вопрос неотделим от экономического и продовольственного, — говорил военный. — Предыдущий оратор весьма красочно нарисовал тяжелую жизнь нашего города. Да, денег у городской управы нет. Хлеба — нет! Продовольственные запасы на исходе. Но надо, уважаемый гражданин социалист, не злобствовать, не заниматься подстрекательством, а сообща искать выход. Продовольственный вопрос — заколдованный круг. Необходима жертвенность как со стороны рабочих, так и крестьян. Их помощь была неоценимой в святом деле партизан, и сейчас они должны дать взаимнообразно городу излишки хлеба...

Неказистый мужичок, стоявший рядом с Ефремом, недовольно забурчал, на него зашикали, кто-то ткнул кулаком в бок, и он умолк.

— В городе есть и хлеб, и сахар, и масло, и фураж для лошадей. Только все это находится в руках спекулянтов. Трудовой народ голодает, а они наживаются.

Ефрем вспомнил свою гостеприимную хозяйку пани Матильду, у которой недостатка в еде не было. Невольно посмотрел на окружающих его мужиков. Их лица показались бледными, исхудалыми. Усмехнулся: «Изголодались, братишечки!»

Военный продолжал:

— Такое положение нетерпимо. Необходимы действенные меры, способные оградить народ от голодной смерти. Нужно вынести решение о реквизировании продовольствия у спекулятивных элементов. В этом — спасение города!..

Раздался голос из партера:

— Это нарушение Конституции республики!

В другом конце зала тучный господин вскочил на стул и, хлопая себя по лысине, заорал:

— Брей всех, комиссар, а с меня — шиш чего получишь!

Его поддержали другие депутаты:

— Даешь полную демократию!

— Свободу личности и неприкосновенность имуществу!

— Лишить большевика слова!

— Долой комиссаров!..

Партер вопил.

Балкон безмолвствовал.

Верзила-железнодорожник достал кисет и стал крутить сигарку. Его примеру последовали остальные: рабочие и солдаты, передавая кисеты из рук в руки, скручивали козы ножки. Крестьянин в драном кожухе свернул такую толстую сигарку, что не мог ее раскурить. Ефрем глядел по сторонам: на балконе торопливо смолели самокрутки, дым сплошной стеной шел к потолку. Ляхов был поражен — не мог понять безжалостного курения. И тут железнодорожник заорал:

— Получай свободу и демократию!..

Он швырнул папиросу вниз. С балкона, как по команде, полетели раскуренные докрасна самокрутки. Все подались вперед, пытаясь заглянуть через балконный барьер. Ефрема прижали к колонне. Он скосил глаза вниз: в партере депутаты орали благим матом и металась по залу. Председатель размахивал колокольчиком, дубасил кулаком по столу. Только военный был спокоен. Стоял, ухватившись за края трибуны, смеющимися глазами оглядывал зал — ждал тишины. Ефрема охватила ярость: «Два-три выстрела — и все утихомирятся! Только бы не промахнуться!..» Его глаза сверлили военного, а рука полезла во внутренний карман шинели. Холодная сталь браунинга обожгла ладонь. Стиснул рукоять. Рука медленно поползла из кармана. Кто-то потянул его за рукав. Повернулся — перед ним стоял гимназист и кивал на дверь.

Ляхов спускался по каменной лестнице, ничего не соображая. Только на улице, когда морозным воздухом обдало лицо, понял, что был на краю гибели — спас гимназист. Дышал тяжело, голова разламывалась от боли.

Витоль Драгов в неизменной гимназической куртке вошел в комнату, бросил на стол пачку газет. Здесь были воинская «Вперед», редактируемая комиссаром По-

стышевым, эсеровский орган «Наше слово», белоэмигрантские «Наш край», «Понедельник», «Конейка», издававшиеся в Харбине, и студенческая «Татьянин день».

— Благодарю, корнет! — щелкнул каблуками Ефрем.

В голубых, казалось, прозрачных глазах Витоля появились веселые искорки, на верхней губе топорщился заиндевелый от мороза пушок...

Накануне, засидевшись у Ляхова допоздна, он поведал о своей жизни. С месяц служил в красной кавалерии. Бежал. Примкнул к белому движению, участвовал в двух террористических актах. В Переяславле случай свел его с полковником Павлом Илларионовичем Богородовым, которого вскорости судьба забросила в Хабаровск, и вместе с ним поехал Витоль. Служил у Богородова неофициальным адъютантом, попросту говоря, секретарем... Ефрем, негодуя на полковника, что тот оттягивает встречу, держит его чуть ли не взаперти, сорвал зло на Витоле: обругал и назвал «корнетом на побегушках». Щеки юноши зарделись, однако он улыбочиво сказал:

— Согласен, зовите меня так. Но, если можно, без второй половины...

Ляхов обмяк — подкупала наивность Витоля. Чтобы сгладить свою вспыльчивость, спросил, как тот попал в красную кавалерию. Витоль присвистнул и засмеялся:

— Чертовский случай!.. Идиотское положение!.. — помолчал и, озорно глядя на Ефрема, стал рассказывать: — Мы с мамой жили в Москве. Я был еще совсем пацаном, но ненависти к красным уже хватало... Отец находился в колчаковской армии. Подполковник Драгов Григорий Викторович. Не слыхали?..

Ефрем, сморщив лоб, напряг память, но фамилия была незнакомой. Мягко сказал:

— К сожалению, нет.

Витолю ответ польстил. Раскрасневшись еще больше, продолжал:

— Летом девятнадцатого года я отправился на его розыски. Мама не отпускала, обливалась слезами, но от отца не было вестей уже год, я настоял, и она смиловилась. Добрался до Златоуста. Там-то и приключилась со мной история... Одет был плохо, еще в Москве рваное надел, чтобы не вызывать подозрений. В Златоусте отцовской части не оказалось... Устроился

ночевать на базаре в мясных рядах. Место вонючее, но, мне казалось, безопасное. Проснулся от паники. Не успел проморгаться, чья-то рука схватила за ворот и подняла... Потасили куда-то, а я по сторонам глазею — хочу понять, кто меня арестовал или в плен взял. Разглядел: какие-то битюги, обвешанные оружием, и никаких знаков отличия на них нет — ни погон, ни звезд, ни бантов... Втолкнули во двор, а там таких, как я, оборванцев, уже человек двадцать толпится. Вышел на крыльцо поджарый мужчина в сюртуке, опоясан широким желтым ремнем, и кобура на животе желтая. Лицо интеллигентное, и речь интеллигентную повел, правда, с матом, но в меру. Говорил о многострадальной России-матушке, о ее муках и терзаниях и что спасать ее надо. Обещал и харчи, и одежду, и денежный пай — только стреляй за это. Кто-то из голодранцев возьми да спроси: что за войско такое, где служить придется. Интеллигент вскинул голову и гордо сказал: «Воткинские черносотенцы!» Ну, мне это было на руку. Думал, если отца не найду, то пусть в разных местах, но за одно дело вместе с ним будем биться. А оборванцы воспротивились.

— Почему? — Ефрем улыбочиво смотрел на Витоля.

— Оборванцы только о своих животах думают, — серьезно, даже напыжившись, сказал тот. — Для них красные — хорошо, белые — куда ни шло, лишь бы кормили, а вот черносотенцы — сильно погано.

Ефрем еле сдерживал смех. Перед ним сидел юнец, пытающийся рассуждать по-взрослому, и небось борцом белого движения себя считал. Представился полковник Богородов, о котором Лысуха говорил как о ловкаче и хитреце. Объегорил мальчика Павел Илларионович, к рукам прибрал и, пользуясь доверчивостью, веревки из него вил. И делалось это под знаменем борьбы с большевиками. «Хорош гусы!» — усмехнулся Ефрем. Вспомнился военный, выступающий с трибуны совместного собрания городской думы и уездного управления. Сильный, убежденный. С такими враз не справишься — немалая сила нужна. Пришла новая мысль: «А может, в поступке Богородова есть резон? Чем больше вокруг нас таких юнцов, тем сильнее мы — юнцы растут и мужают!» Он не сводил глаз с Витоля, пытаясь разгадать его. Тот рассказывал:

— Услышав отказ оборванцев, интеллигент рассви-
репел и велел всех посадить под арест, чтобы до вечера

помозговали, а если не надумают — расстреляет... Заперли нас в пустой амбар. А вечером стрельба началась, всю ночь продолжалась. По двору битюги бегают, мы стучим, а они на нас ноль внимания... К полудню стрельба прекратилась. Снова люди по двору забежали. Мы стучать взялись. За дверью толпа собралась, а мы еще сильнее тарабаним. Кто-то сбил замок. Дверь во всю ширь распахнулась. Я глядь... Боже мой!.. Кругом военные, а на фуражках — звезды! Увидели нас, оборванцев, и кричат: «Выходи на волю, пролетарские узники!..»

Ефрем, мотая головой, смеялся.

— Вам смешно, а мне каково было?.. — обиженно сказал Витоль. — Ну, снова во дворе построили, и опять мы речь слушали о той же многострадальной России, которую спасти требуется... Командир в бурке и с длинным красным шарфом сказал, что из нас, если мы того пожелаем, вышли бы хорошие кавалеристы. И тут же спросил: «Согласны?» Все, гады, заорали о согласии. Не знаю, может, от души орали, а может, с голодухи — в амбаре-то нас голодными держали, а в кавалерии наверняка накормят. — Он тяжело вздохнул и приглушенно закончил: — Вот так, Ефрем Никонович, появилась на моем лбу красная звездочка. Только через месяц удалось снять.

Рассказ позабавил Ефрема. Ехидно спросил:

— И саблей махал?

— А что было делать?.. — потупился Витоль.

Ефрем вкрадчиво заметил:

— А если бы в бою отца повстречал?

— Этого-то я и боялся, пуще смерти боялся! — вгорячах выпалил Витоль, заматавшись по комнате. — Скачу в атаку, со всеми «ура» кричу, а сам глаза таращу — у беляков лица разглядываю.

Ляхов долго хохотал. Ему пришелся по душе этот простодушный паренек. «Побольше бы таких. Побольше!» — утверждался в своих мыслях...

Пока они шуршали газетами, пани Матильда накрывала на стол. Напомаженная, с кокетливыми локонами на висках, порхала она из комнаты на кухню и обратно. Ефрем прикрывался развернутой газетой — прятал улыбку. Он знал от Витоля: пани Матильда не имела никакого отношения к тайной организации, руководимой полковником Богородовым, даже, возможно, не знала о ее существовании. Просто ее наняли — выпол-

няла обязанности гостеприимной хозяйки, получая плату за услуги и провиант. Ее чрезмерное усердие он принимал на свой счет: старалась понравиться. И это смешило его.

Она принесла фаянсовую супницу и пригласила мужчин за стол. За обедом они обменивались газетными новостями, а она учтиво молчала.

Витоль возмущался поведением американцев:

— Член миссии американского посольства во Владивостоке профессор Горнбек прибыл в Читу и ведет переговоры с правительством ДВР о торговле. Представляете?! Американцы собираются торговать с большевиками!..

— Каждый рвет кусок как умеет, — ответил Ляхов. — Англия и Япония предполагают возобновить свой союз, который не только отодвинет Америку на второй план, но усилит блокаду на Тихом океане, усилит интервенцию. Думаете, это ради нас? Нет, корнет! Не следует тешиться надеждой на их военную силу. Я видел ее во время нашего великого похода от Омска до Казани... Привыкли загребать жар чужими руками... А вот их деньги и оружие нам нужны.

За стеной раздался надсадный кашель — больной муж пани Матильды, казалось, задыхался. Она извинилась и торопливо вышла из комнаты. Вскоре кашель прекратился — по-видимому, больной получил добрую порцию лекарств. Когда пани Матильда вернулась, Ефрем спросил ее о болезни мужа. Она, смахнув слезу, дрожащим голосом сказала:

— От жадности все это. Жили бы да жили в своем родном Гданьске, так нет... Друзья, что раньше сюда из Польши приехали, соблазнили... Дьявол вселился в моего Стефана. Бредить стал, что устелет пушниной дорогу от Хабаровска до самого Гданьского воеводства. Добились визы, поехали. Сначала по чужим углам мыкались в Петрограде, страхов натерпелись, с трудом выбрались. А уж как добирались сюда — не пересказать... Скитались по селам. С полгода, как получили вид на жительство в Хабаровске...

Витоль подмигнул Ефрему, и тот понял, что в устройстве четы Берязовских принимал участие Богородов: помог и прибрал к рукам.

— За соболями да лисицами бегал, скупал, — продолжала пани Матильда. — До астмы и паралича добегался. Пластом лежит, а сам о соболиных шкурках

грезит — мало купил. А то в ипохондрию впадает — посылает по три раза в день к ксендзу, чтобы грехи отпустил, или просит бумагу на разрешение его похорон на католическом кладбище прочесть. Читаю. Дыр бумага от моих рук износилась.

Сидели молча, каждый думая о своем. Пани Матильда по-польски нашептывала молитву, и слезы градинками катились по ее щекам. Ефрем тупо уставился на супницу. Он испытывал неприязнь к человеку, который страдал из-за своей алчности. И поделом. Жил бы на польской земле, обирал соотечественников, так нет — на чужую потянуло. Много таких с загребущими дланями понаехало, пользуются неразберихой, хапают.

Витоль в хитром прищуре смотрел на Ляхова, пытаясь разгадать его мысли. Ему был интересен этот неожиданно появившийся откуда-то из глухомани поручик: вроде похож на тех, с которыми приходится общаться, и в то же время не похож — будто с особой начинкой. Когда пани Матильда, тяжело вздохнув, собрала пустые тарелки и вышла на кухню, Витоль, по-прежнему пристально глядя на Ефрема, спросил:

— Как пани?

— С душком, но еще годится... — зевая, ответил тот.

Драгов оцепенел — лицо побелело, глаза округлились.

— Вы — циник! — Он вскочил и замотался по комнате. — Я имел в виду не ее облик, а отношение к мужу!.. У меня такое впечатление, что она молится не о его спасении, а взывает о его смерти!

Ефрем ухмыльнулся:

— Я же сказал, она еще кое на что годится!

— Подло!.. — закричал Витоль и плюхнулся в глубокое кресло. Закрыв лицо руками, сидел не двигаясь. Наконец тихо заговорил: — Извините, Ефрем Иванович, я погорячился... Теперь все стали циниками. Эпидемия. Порой мне кажется, что цинизм — единственное достояние России, объединяющее все противоборствующие силы, партии, направления... Красные расстреливают офицеров-колчаковцев и заявляют, что ограждают родину от убийц. Белые вешают комиссаров и говорят, что освобождают родину от грабителей-мародеров... Мы поджигаем склады с продовольствием, а на следующий день наши депутаты в Думе и прочих собраниях обвиняют большевиков в их неспособности справиться с голодом, а значит, управлять республикой.

— Разве республика в их руках?

— У них все ключевые посты. И, главное, председатель правительства Краснощеков — большевик!.. А здесь, в Хабаровске? Чего стоят только Флегонтов и Постышев — военачальники Народно-революционной армии. До Флегонтова командующим был Серышев — крут и бескомпромиссен. Прошлой осенью переведен в Благовещенск. Его отъезд вселял надежду, но и Флегонтов оказался таким же твердым орешком — послабления не жди. Что же касается Постышева, то его непримиримость и, естественно, ум вызывают восхищение и страх.

Витоль, сосредоточенно глядя перед собой, мимо Ефрема, спокойно продолжал:

— По условиям договора с японцами состав Народно-революционной армии ограничен, но не думайте, что ее можно свалить одним махом.

— В таком случае террор закономерен.

— О, да!.. — Витоль криво улыбнулся. — Достижение великой цели оправдывает все пошлые средства!

Ефрем догадался, что Драгов повторил чужие слова, которые были для кого-то догмой, и поэтому произнес их с издевкой. Подумал: «Парень не так прост и наивен, как показалось раньше. И дерзок. Даже на хозяев способен лаять». Вспомнил его взволнованные рассказы о племяннице полковника, в которую был влюблен до беспамятства, и с усмешкой вопросительно произнес:

— Вы говорите, что все циники... А ваша Элиз?

— С ума сошли!.. — испуганно отмахнулся Витоль, и лицо его залилось краской. Закрыв глаза и мечтательно произнес: — Это небесная чистота, непорочная дева, блуждающая по расстрелянным российским переулкам!.. Вы скоро увидите ее и убедитесь сами... Элиз! Моя Элиз!.. — Вдруг нахмурился, краска сбежала с лица. Приглушенно добавил: — Если с ней что-нибудь случится, я застрелюсь.

Его потухшие глаза смотрели куда-то в угол и казались остекленелыми, безжизненными. Искренность сказанного не вызывала сомнений, и Ефрем, чтобы не тяготиться молчанием, тихо спросил:

— За что вы, корнет, ненавидите красных?

Тот так же тихо ответил:

— Они расстреляли моего отца и старшего брата. — Его детские губы затряслись.

...За ветхим забором в огороде лежали собаки. Свернувшись клубками, прикрыли морды лапами и спали. Их было много — это удивило Ефрема.

— Ночные хозяева города, — пояснил Витоль. — А там, в проулке, начинается вотчина другой стаи.

— Грызутся?

— Еще бы! Собаки, как люди, ведут борьбу за выживание.

Ефрем вспомнил недавнее собрание. Нельзя сказать, что там грызня. Кое-какие разногласия были, но в основном депутаты фракций были едины: выступали против большевиков. И в этом виделась борьба не за выживание, а за власть. Представился оратор-украинец. Тот сетовал на цензора, реквизировавшего бандероли, в которых рада призывала украинцев к объединению. Тогда у Ефрема появились сомнения относительно мирной цели объединения: уж больно сильно упирал на это оратор. Закралась мысль: может, тайно накапливаются силы, которые помогут опрокинуть большевиков?.. Спрашивать об этом напрямую у Драгова не хотелось — мог не сказать, и он решил зайти издалека:

— Помните, Витоль, оратора-попугая? В таком наряде клоуном в цирке выступать, а не в почтенном собрании. Что это, бравада или глупость?

Парень ответил не сразу. Он понял, что Ляхова интересуется не яркая одежда украинца, а совсем другое. Поручику не терпелось узнать все наперед, до встречи с Богородовым. Надеется осведомленностью озадачить полковника и, может быть, выгоду из переговоров получить. Напрасно старается. Павла Илларионовича не проведешь, в тупик не поставишь. Он сам кого хочешь к стенке припрет. Витоль усмехнулся и, когда они свернули за угол, сказал:

— Украинские слободки стараются жить обособленно, вернее, этого хотят их выборные головы. Они даже добиваются самостоятельности. И, как вы заметили, одеваются особо. Выпендриваются, чтобы быть приметными.

— А может, для того, чтобы при стрельбе не спутать своих с чужими?

Витоль засмеялся, но смолчал. Решил: пусть ломает голову поручик. А у Ефрема настроение поднялось. Молчание Драгова понял по-своему и приписал действия рады полковнику Богородову, и тот вырастал в его глазах после каждого разговора с корнетом.

Показывая на гимназическую форму Витоля, с иронией спросил:

— Тоже маскарад?

— Прикрытие!

— А если патруль или милиция потребуют документы?

— Прошу!.. — Витоль достал из кармана шинели гимназическое удостоверение. — Может, желаете перепроверить? Пожалуйста! Я числюсь в списках гимназии!

Он, довольный преподнесенным сюрпризом, хохотал. И Ефрем улыбался. В этом, казалось, пустяке он чувствовал твердую руку бывшего руководителя и умелого конспиратора. Он жаждал встречи с Богородовым.

Они в благодушном настроении бесцельно бродили по улицам. Ближе к центру города становилось многолюднее. Ефрем глазел на вывески, плакаты, объявления: гранд-иллюзион анонсировал «Аккорд любви» в четырех частях; ресторан «Петроград» при гостинице «Эспланад» зазывал на обеды и ужины, гарантируя высокое качество блюд; домовладельцы сдавали квартиры вместе с прислугой, указывая заманчивый возраст служанок; парфюмерно-косметический магазин Левина рекламировал французские духи и мыло; в ассортименте магазина «Хосунтай» было все, что требовалось и не требовалось покупателям. Только в казенных лавках пустота. В них толпились женщины — безмолвные, угрюмые. Они ждали хлеба, а им раздраженно твердили: «Хлеба не будет!»

С Протодьяконовской на Муравьев-Амурскую вышла колонна бойцов — в шинелях, доброй обуви, с пятиконечными звездами на папах. Бравая песня разрывала морозный воздух. Ефрем, забыв о предосторожности, остановился на краю тротуара и, стиснув зубы, всматривался в лица. Казалось, уже видел их — там, на Енисее, когда шел ожесточенный бой...

Он не мог забыть того боя. Вспоминал, как кошмарный сон, и молил бога, чтобы сон не повторился... Тогда красные лезли со всех сторон. Пули косили их. Они падали. На смену шли новые. Пулеметы били без передыха, а они шли и шли. Еще немного — и навалятся на траншеи. Пулеметы захлебнулись. Поручик Ляхов вскочил на бруствер и увлек за собой роту. Солдаты бросились в штыковую. Ни грома оркестра, как бывало прежде, при наступлении, ни крика — бились

в зловещей тишине. Ефрем, бросив разряженный наган, рубил саблей. В дикой круговерти его занесло в сторону, потом назад, и он повалился в траншею. Боль в висках была нестерпимой, в глазах помутнело. С трудом поднялся. Различил ящик с гранатами. Нашарил несколько штук и, стянув с шеи шарф, стал связывать их. Выпрямился во весь рост. Неподалеку белые и красные сцепились в рукопашной, сплошной лавиной то надвигались на траншею, то откатывались назад. Люди, озверев, чуть ли не грызли друг друга. Он бросил связку гранат в самую гущу. Взрыв был оглушительный...

Витоль, заметив, что Ляхов перестает владеть собой и, того и гляди, кинется на строй бойцов, потянул его за рукав. Ефрем дернулся и уставился на Драгова. У того перехватило дыхание — такие дикие глаза были у поручика. Наконец, признав Витоля, Ефрем зажмурился и долго стоял не двигаясь.

Дальше шли молча. Витоль искоса поглядывал на Ляхова, боялся, как бы тот чего не учудил. Он и раньше замечал чрезмерную возбудимость Ефрема — вскипал по малейшему поводу. Но сегодняшний случай напугал Витоля. И в то же время он восторгался им: отчаянный, ничего не боится. Таким бы стать! Тогда показал бы Богородову, на что он способен. Впрочем, Богородов ни при чем. Элиз! Это единственное существо на свете, ради которого стоит жить или умереть. Она будет вечно помнить, любить, шептать его имя в молитвах.

Ляхов, опустив голову, шагал медленно, тяжело. Его больше не интересовали вывески и объявления. Пытался забыться, но память упорно возвращала к прошлому... Увиделся Леонтий Долов. Связанный прапорщик лежал возле корневища на берегу Амура, Ефрем сидел на его коленях. Леонтий говорил зло: обвинял от имени всех погибших в том бою на Енисее... Ефрем не испытывал угрызений совести. Да, он кинул связку гранат в самую гущу, погибли не только красные, но и свои. Зато атака красных была отбита. Он боялся тех, кто мог чудом уцелеть от взрыва: уж кто-кто, а каппелевцы мстить умеют.

— К черту! — пробурчал, достал портсигар, закурил и, жадно затягиваясь, старался идти ровно, не сбивая дыхания.

Возле женской гимназии толпилась молодежь. На

сугроб взобрались юноши и девушки — читали стихи, произносили речи, изощрялись в остроте эпиграмм. Витоль, попав в свою стихию, с жаром аплодировал, кричал «браво». Ляхову наскучило острословие юнцов, и он двинулся по улице.

— Эй, вы — бывший, настоящий или будущий — становитесь!

Ефрем невольно повернулся. На сугробе стоял большеглазый паренек с копной курчавых волос. Показывал на Ефрема:

— Да-да, это относится к вам! Задержитесь, и я скажу вам за Льва Толстого! Или вы не знаете графа Льва Николаевича, не нюхали того, что он сочинил, и не ведаете, что он мирно почил в девятьсот десятом году седьмого ноября по старому юлианскому календарю?..

По толпе пробежал смешок. Ефрему хотелось уйти, но, видя вокруг озорные ребячьи глаза, не мог этого сделать: опасался улюлюканья и свиста, которыми сопровождают его уход гимназисты. Искося глянул на Витоля. Тот сияющими глазами смотрел на оратора и никого, кроме него, не видел. «И этот будет свистеть!» — раздраженно подумал о корнете Ляхов. Взял себя в руки, невозмутимо уставился на вихрастого паренька.

— Не символична ли дата смерти великого гуманиста?! — продолжал тот. — А его жена Софья Андреевна умерла в октябре девятнадцатого года. Сплошная символика!.. Из ее дневника стало известно, что до конца жизни она болела душой за дочерей и внушек, боясь, как бы они не умерли с голоду! Опасения были не напрасны. Старшая дочь Татьяна Львовна... — он ткнул пальцем в сторону Ефрема, словно тот был причастен к судьбе семьи Толстого, — страшно бедствует! Для поддержания себя и дочери она распродает свою одежду и даже белье. Можете ли вы, милостивый государь, почесав в своем замшелом затылке, представить дочь графа без нижнего белья?!

Гимназисты хохотали. Ляхов понимал, что они смеются не над услышанными словами, а над ним, и еле сдерживал себя, чтобы не выхватить браунинг и не всадить пулю в вихрастую голову зарвавшегося парня.

— Ясная Поляна национализирована! Ею управляют комиссары! Прошлой весной Татьяна Львовна открыла школу для детей, приобщала к знаниям, культуре и, чтобы помочь обездоленным, учила их делать из

веревки башмаки. Работа прекратилась из-за недостатка веревок. Нетрудно догадаться, на какие нужды идут веревки у большевиков!..

Оратор провел рукой по шее и, вытянув ее над головой, закатил глаза и высунул язык. Толпа зааплодировала. И Ефрем усмехнулся — уж больно артистично изобразил повешенного гимназист. Что же касается Витоля, то он, позабыв обо всем на свете, во всю глотку орал «браво».

— Младшая дочь Толстого — Александра — осуждена большевиками на три года тюрьмы, — продолжал кричать вихрастый. — Ее вина только в том, что она не приняла Советы, пошла против них. И теперь — в тюрьме!.. Нужно ходатайствовать перед Троцким и Лениным об освобождении Александры Львовны!

Гимназисты одобрительно зашумели, особенно громко визжали девицы. Ефрем смотрел по сторонам, и им овладевали новые мысли: это же немалая сила, а если их прибрать к рукам, направить, вооружить — сила большая! Теперь он стал внимательно слушать оратора, хотя неприязнь к нему не прошла: попадись где — шею свернет.

— Старший сын Толстого, Сергей, с женой живет в Москве, находясь в страшной нужде. Распродает вещи. А прошлой зимой, чтобы не замерзнуть в холодной квартире, сжег всю мебель в печке!

По толпе прокатился рокот. Вихрастый перекричал всех:

— Достоинно внимания, уважаемые сограждане, что наряду с этими страданиями близких Толстого господ луначары и янычары пишут статьи, устраивают празднества в честь великого писателя и говорят речи на тему: «Толстой и революция». — Он снова повернулся к Ефрему: — Запомните, вы — бывшие, настоящие или будущие, — мы, всероссийское студенчество, рассматриваем русскую национальную культуру как неделимое целое, не признающее республиканских границ. Наш лозунг: «Россия и русская национальная культура едины!» Мы не мыслим России без национальной культуры, как не мыслим и воссоздания последней без возрождения нации и государства!

Гимназисты неистовствовали: хлопали в ладоши, кричали, свистели. В проулке появился наряд милиции. Гимназисты бросились врассыпную. Только вихрастый остался стоять на сугробе. Распахнув темную шинель

и выпятив грудь, с вызовом смотрел на приближающихся милиционеров...

Всю дорогу до дома Ефрем и Витоль не проронили ни слова, хотя Драгова распирало поговорить — блеснуть познаниями и красноречием. Сдержался. У подъезда он остановился, возбужденно сказал:

— На днях состоится заседание тайного революционного комитета, одним из руководителей которого является Павел Илларионович Богородов.

«Наконец-то!» — облегченно вздохнул Ляхов, но особой радости не испытал — уж больно испоганил настроение вихрастый гимназист. Витоль, вприщур глядя на Ляхова, грудным голосом добавил:

— Ведите себя достойно, Ефрем Никонович!

Ляхова передернуло: не хватало, чтобы этот щенок учил его манерам поведения. Зло зыркнул на Витоля, хотел выругаться, но тот, опередив его, извинился, что не может составить компанию за обедом из-за спешных дел, и, загадочно улыбаясь, попросил Ефрема непременно быть вечером дома.

Ляхов тщательно побрился, отутюжил френч и брюки. Тайнственную улыбку Витоля он понял как намек на встречу с полковником, готовился к ней и волновался. Сел в глубокое кресло, закрыл лицо руками и в который раз стал обдумывать предстоящий разговор. Атаман Лысуха, прощаясь с ним, напутствовал: узнать обстановку досконально, но ухо держать востро — Богородов умен и хитер, — выяснить его влияние на события в городе и возможности руководимой им организации (в том, что такая существует, Лысуха не сомневался). Из разговоров Витоля Ефрем сделал вывод: Богородов красноречив, способен убеждать. Обмануться нельзя. От умения Ефрема вести беседу зависит перспектива борьбы, а значит, дальнейшая жизнь.

В дверь постучали. Пани Матильда, давась слезами, сказала:

— Пане добродию!.. Во дворе... Я выносила мусор, и около забора... Там, под снегом, лежит человек... Раздетый труп... Сообщила в милицию, а они не едут. И дворник не убирает — пьян в стельку. Не могу заснуть... Чудится, лезет в окно... Пане добродию!..

Ефрем мысленно послал ее ко всем чертям, но надел френч и спустился во двор. В затхлой дворницкой си-

дели патлатая старуха и бородатый мужик. На столе ополовиненная бутылка с денатуратом. Старуха выкуливала песню, мужик дремал. Ефрем сказал, чтобы они убрали труп, и бросил на стол деньги, полученные от Драгова утром. Поднявшись наверх, успокоил пани Матильду и заперся в своей комнате — боялся ее вторжения, которое сейчас было вовсе некстати.

Витоль Драгов пришел поздно вечером. Переступив порог, предстал перед Ефремом в новом облики: командирская шинель сидела как влитая, на голове суконный шлем со звездой, на рукаве красная повязка с синей полосой сверху — цвета флага Дальневосточной республики. Его наряд удивил Ефрема, но, ни о чем не спрашивая, он оделся. В коридоре наткнулись на пани Матильду. Ее трясло.

— Дворник его крюком — и в помойную яму... — сказала Ефрему, но он даже не остановился.

У ворот ждала пролетка. Покатали по ухабистым улицам. Ехали молча. Ефрем, забыв о Витоле, мысленно повторял слова, которые скажет Богородову, представлял, как будет держаться: учтивость, строгость и никакого подобострастия. «Главное, произвести впечатление, а там — дело покажет», — решил он.

Пролетка остановилась. Дворами прошли на другую улицу. От стены дома отделились две тени, и Ефрем различил двух мужчин в форме народоармейцев. Это совсем сбilo его с толку, и он недоуменно посмотрел на Драгова. Тот, не обращая внимания на Ляхова, прошел мимо него, шепнул что-то народоармейцам и направился к двухэтажному деревянному дому. Народоармейцы двинулись за ним, и растерянный Ефрем пошел следом. Вчетвером поднялись на крыльцо. Витоль дернул за ручку звонка. За дверью — тишина. Он позвонил снова. Послышались шаги, потом голос:

— Кто там?

— Представители штаба командующего войсками! — ответил Витоль.

Ляхов, ничего не понимая, глазел на него.

В комнате было убого: вместо кровати — топчан, обшарпанный стол, такой же сундук и два стула. Драгов выбрал стул поустойчивее, сел и, закинув ногу на ногу, уставился на хозяина. У старика то и дело сползало с носа пенсне. Витоль достал из кармана лист бумаги, протянул ему:

— Мандат военного контроля.

Ефрем наблюдал за Драговым. Не дав старику дочитать бумагу, тот приказал:

— Приступайте!

Начался обыск. И тут только Ефрем понял, как обманулся: думал, что Витоль везет к полковнику, а тот прихватил его с собой на «дело», и он, Ляхов, сразу стал соучастником гнусной провокации. Еле сдерживая себя от брани, притулился плечом к косяку двери и, скрестив руки на груди, презрительно смотрел на Драгова. Двое «народоармейцев» делали обыск: шарили по углам, рылись в сундуке, ворошили топчан. Один из них скрылся в чулане, гремел рухлядью, вдруг крикнул:

— Есть!..

Из чулана полетели связанные попарно новенькие сапоги. Старик, охнув, опустился на топчан. Второй напарник Витоля приволок с чердака два рулона кожи шевро, мешок с серебряными сервизами и канделябрами. Старик заплакал:

— Купленное все! Купленное!..

— Чего же по щелям прятал?

— От грабителей хоронил...

— Молчать! — голос Витоля сорвался, визгливый звук повис в воздухе.

Ефрема это рассмешило, и злость сгинула. Огляделся. Положение, в которое он угодил, теперь казалось даже забавным.

— Знаю ваше спекулянтское отродье! — выговаривал Витоль старику. — Ни совести, ни чести! Город голодает, а вы народ грабите! Устои республики расшатываете!

Он достал наган. Старик повалился на колени, плакал, молил о пощаде.

— Ладно, — смягчился Драгов. — Прав таких, чтобы живой народ стрелять, у нас нету. — Повернулся к Ефрему, спросил: — Как считаете, товарищ военный комиссар, его прямо в следственную или в штаб?.. — и, не дав ответить ошарашенному Ефрему, кивнул одному из напарников: — Садись, Клычков, пиши...

Тот сел за стол, достал из кармана шинели памятный лист бумаги, карандаш и приготовился писать. Витоль, размахивая наганом, стал диктовать:

— Расписка. Дана сия... — осекся, попросил у старика паспорт. Заглянув в паспорт, продолжал: — Шветкову Ананию Акимовичу в том, что я, помощник начальника штаба Вороненко, на основании предписания ко-

мандующего войсками Хабаровского района за номером семьсот сорок девять, прибыл на квартиру Шветкова и реквизировал у него двадцать пар сапог, кожи шевро около сорока футов...

— Пятьдесят, — жалобно поправил старик.

— Пятьдесят, — повторил Драгов. — А также три серебряных сервиза и пять позолоченных канделябров. Написал? Тогда поставим подпись... — Взял карандаш, посплюнявил. — Помощник начальника штаба: Вороненко.

Он размашисто расписался и, немного подумав, приписал: «Получил все сполна». Отдал расписку Шветкову. Пряча его паспорт в карман, сказал:

— Завтра в девять утра быть в штабе!..

Когда вышли на улицу, напарники Драгова с реквизированным добром скрылись за углом. Ефрем и Витоль направились дворами к пролетке. Обратную дорогу ехали, отвернувшись друг от друга: каждый по-своему оценивал только что происшедшее. Витоль, довольный безупречно проведенной операцией, чувствовал себя героем. Если бы об этом Ефрем рассказал Элиз! Не расскажет. По всему видно, подобные дела ему не по вкусу. Витоль скривился в улыбке и покосился на Ефрема:

— Пошлые средства?

Ляхов не ответил, ему было противно разговаривать на эту тему. Витоль разорвал паспорт Шветкова и выбросил клочки на дорогу. Сказал:

— Предписание командующего действительно существует, и номер соответствует... — Вдруг засмеялся: — Воображаю, какие рожи будут завтра у красных!

Ефрем представил, как утром старик явится в штаб, предъявит расписку — и подвох обнаружится. Пока большевики будут искать виновных, по городу расползется слух о грабителях-краснюках — сподвижники Драгова расстараятся, и газеты правого толка нашумят. Он понимал: это делается для того, чтобы досадить большевикам, скомпрометировать их перед народом. Но средства у руководителей Драгова были действительно пошлые.

Ночью закрутила метель. Ефрем лежал в постели, курил. Случай с реквизированием не выходил из ума. Уж больно мелко и робко действует полковник Богоро-

дов. Был убежден: только диверсии и убийства приносят пользу. Раньше представлял Богородова настоящим борцом: смелым, решительным. Теперь же думал о нем иначе... Вспомнились слова Витоля: «Достижение великой цели оправдывает все пошлые средства». Еще тогда Ефрем отметил, что это были не его слова. Сейчас уверовал: они принадлежали полковнику. И в них таилась разгадка: Богородов прибегал к любым методам, не гнушаясь ничем, лишь бы насолить большевикам. Так действовать, по-видимому, заставляли обстоятельства, в которых Ефрем пока не разобрался.

Он успокоился. Лежал и слушал, как на улице завывает ветер, гремят ставни на первом этаже. Представилась родная усадьба. Когда-то, мальчишкой, вот так же лежал и под рев пурги грезил о военных походах. Как тепло и уютно было в родительском доме... Ему нестерпимо захотелось домой. Знал, что его больше не существует — сгорел дотла. А виделась горница: братья — Демьян, Василий, Архип, Петр, Савелий и Алешка, — живые и невредимые, сидели за столом, тянулись ложками к большой миске, из которой валил пар и пахло тушеным мясом...

«Василия и Алешки уже нет. Остальных, как пожухлые листья, разбросало по сторонам, — с горечью подумал. — Может, и в живых никого не осталось».

В душе снова закипело. Виделся Витоль в форме народоармейца. Окажись он сейчас здесь, сорвал бы зло, проучил за обман — долго бы помнил. В коридоре слышались шаги. Ефрем знал, что это пани Матильда спешит на кухню, чтобы сменить воду в грелках, которыми обкладывала мужа. Пришла дерзкая мысль: затащить в комнату, уложить в постель. Он замер. Решившись, вскочил, быстро прошел к двери, припал к ней и стал ждать, когда пани Матильда будет возвращаться из кухни...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вниз по Амуру через пургу пробивались двое. Первым, налегая на ветер, шел рослый мужчина — глаза слепило, борода заледенела. Следом, привязанная к нему веревкой, чтобы не потеряться, плелась девушка. Мотаясь из стороны в сторону, ступила на оголенный лед, замерзшие подошвы валенок скользнули, и она

упала. Мужчина дернул за веревку. Девушка не поднималась. Он двинулся к ней, грохнулся на колени и, стянув шерстяной платок с ее носа, задышал в лицо:

— Вставай... Вставай...

Девушка застонала, но он не услышал ее голоса. Стал трясти за плечи:

— Вставай!..

Ветер, словно скатившись с косогора, хлестнул по лицу. Мужчина почувствовал еле уловимый запах дыма. «С ума схожу», — недоверчиво подумал, но все же поднял голову и стал внюхиваться. С новым порывом ветра сомнения исчезли:

— Дым!..

Где дым — там люди, жизнь. Рванулся вперед. Веревка натянулась, не пускала, а он, неистово работая руками и ногами, пытался вскарабкаться на косогор. Обессилев, затих. Ветер надрывался, будто боясь упустить мгновение, торопливо засыпал человека снегом. Тепло разлилось по телу, одолевала дрема, затмевала разум. «Смерть!» — острой иглой пронзила мысль. Он собрал все силы и приподнялся. Нашарил веревку и, скрежеща зубами, потянул на себя...

Дверца у печи скособочилась, в большую щель виделся огонь, с треском и шипением пожиравший дрова. Коптила лучина. Старик-горбун усадил непрошенных гостей на лавку и взялся развязывать веревку. Искоса рассматривал мужика, заглядывал в лицо девчонке, но опознать не мог. «Пришлые», — решил и с еще большим усердием стал расстегивать и отряхивать заиндевелую шубу гостя, как бы ненароком шаркая костлявыми пальцами по карманам. Незнакомец с трудом выдал:

— Ляхов я... Архип...

Горбун вскинул на него глаза и опешил. «Впрямь Архип! Бородища смутила», — перекрестился и, охнув, принялся проворно стягивать с него шубу. Тот сердито замычал и показал глазами на дочь. Девчонка притулилась к стене, голова склонилась на плечо, глаза закрытые, на скулах белые пятна — обморозила.

— Кажись, вконец окоченела, — слышался слабый старушечий голос. Жена горбуна лежала на кровати — недуг скрутил. — Надобно снегом или студеной водой...

Старик, припадая на левый бок, шмыгнул в сени. Архип оглядывал комнату. В глазах рябило, еще и лучина светила слабо, оттого предметы виделись плохо. Но он узнавал их, хотя давненько здесь не бывал...

...Братьев Кудлаев — Ерошку-горбуна и Фрола-косорыла — не только в родной деревне не привечали, вся округа их сторонилась. Где появятся, там и наследят. Под семью замками добро прячь, глаз с братьев не своди — все равно что-нибудь утянут... Случилось это лет десять назад. В деревню приехали скупщики — за пушниной и красной рыбой пожаловали. И братья Кудлаи соболей продавали. Никто не знает, что произошло в доме, где торг шел, только пырнул Фрол ножом скупщика. И исчез. Года три о нем не слыхать было. Вдруг сыскные люди понаехали. Оказалось, Фрол-косорыл на Орских приисках промышлял и там ножичком тоже побаловал. Не нашли беглеца. Со временем и думать про него забыли. Фрол вернулся: в лохмотьях, волосами, что шерстью, оброс — сущий леший. Немного пожил дома, снова в тайгу подался — может, к старому ремеслу не захотел возвращаться, ушел от соблазна подальше, а может, привык к волчьей жизни. И сейчас у Черного болота обитает... А Ерошка-горбун, плетями и кулаками много раз битый, занятия своего по сей день не бросил...

Вскипятив воду в чугуне, Ерошка поставил на стол две кружки. Глянув на оттаявшего и порозовевшего Архипа, спросил:

— Откель путь держите?

Архипу не хотелось говорить о Харбине, где более полугода прожил, не хотелось вспоминать страхи и невзгоды. Ответил уклончиво:

— С верховьев...

Старик пытливо смотрел на него. Архип понял, что тот не отстанет, пока своего не дознается, и стал пояснять:

— В Найхине нартами и собаками разжились... Только убежали собаки. Аккурат метель зачалась, Верка с нарт кувыркнулась. Пока ее из снега вызволял, они и убежали...

— Обратно в Найхин домой убежали, — подхватил горбун, сокрушенно почмокал: — И вы домой?

— Домой... — вздохнул Архип и зажмурился. Мысленно шел по родной деревне, на светившиеся окна поглядывал. Только выпринского дома, где раньше жил

он с Варварой и Веркой, не заметил, а напрямик прошагал к отцовской усадьбе. Она и в Харбине по ночам снилась. И сейчас виделась. На столе керосиновая лампа стоит, ярко светит, возле печи мать хлопочет, деревянной поварешкой варево помешивает. Вдруг босые ноги отца почудились — шлепают по скобленным половицам, к нему приближаются... Тряхнул головой, отгоняя видение, и тихо добавил: — Куда ж еще... Домой...

Ерошка достал из шкафчика ржаную лепешку, разломил пополам, положил на стол. Дождался, когда Архип потянется к лепешке, и спросил:

— Чем платить будешь?

Архип поднял удивленные глаза. Такого он не ожидал. Во все времена на Амуре почитали Ляховых, в каждом доме за стол усаживали, как самых дорогих гостей потчевали, даже Кудлан, никого окрест не боявшийся, перед Ляховыми шапки скидывали. И вдруг этакий прием. С чего бы это?.. Он таращился на горбуна. А тот говорил:

— В декабре, когда ты, стало быть, в Харбине жил, мы тут рождества Христова ждали, как спасения. Думали, к новому году страдания благостью обернутся. Дождались. Пришел он, двадцать первый! И что же?.. Еще горше стало. За хлебушек не деньгами и золотом — жизнью платим. Задарма только воздух да вода, и то как бы налогом не обложили... Так что не сердчай, Архип Никоныч... — Ерошка осклабился. — Не скупись. Вы, Ляховы, богатые, не чета нам...

— Не глумись, аспид! — простонала старуха. — Грех над горем потешаться...

Архип принял это на свой счет. Стыдно стало. Но ему действительно нечем было платить: последние деньги в Найхине за нарты и собачью упряжку отдал. И хотя в животе ныло от голода, пересилил себя — отодвинул лепешку в сторону. Верка, кусая губы, жалостливыми глазами смотрела то на лепешку, то на отца. Тот потупился. Не выдержав, буркнул:

— Ешь.

Она взяла лепешку, с жадностью надкусила. Горбун подошел к печке, обхватил угол, словно грелся. Скосил глаза на Архипа:

— Только я денег не беру, от них, окаянных, все людские пороки исходят. А вот ежели соболька пожа-
луешь...

Архипа прошиб пот. Слова горбуна принял как издевательство: когда это было, чтобы за ржаную лепешку соболя требовали! Сжал кулаки и двинулся на Кудлая. Тот скользнул вдоль печки — в углу возле чурбака топор притулился, к нему и подался. Архип остановился. Знал проворность горбуна: если драка начнется, непременно изловчится, топором хрястнет. Глянул на испуганную дочь и к лавке попятился. А горбун присел на краешек чурбака, левую руку к топору опустил и спокойно сказал:

— Зря гневом наливаешься, Архип Никоныч. Жизнь нынче — через некуда... А я тебя уважу — на печи с дочкой заночуешь. Сам на холодном полу промаюсь, лишь бы вам угодить... Только за тепло и ты меня опосля уважишь. Много мне не надобно, куда мне, старому да никудышному, и тебе откель взять — голому да нищему...

— Вурдалак проклятый! — выругалась старуха и закашлялась.

— Две шкурки выделишь, — не обращая внимания на жену, закончил Ерошка.

Архип сидел, словно снежной горой придавленный. Представил, как люди, узнав о такой сделке, потешаться над ним станут. Засмеют. Виданное ли дело, чтобы Ляховы в должниках числились, да у кого? У Ерошки-горбуна! Такого позора он допустить не мог.

Уперся руками в стол, тяжело поднялся, взял Веркину шубу. Горбун смотрел, как он одевает шатающуюся от усталости дочь, и громко чмокал, будто корил Архипа за скаредность. Верка беззвучно плакала.

— Дойдем... — успокаивал ее отец. — Нам лишь бы Амур перейти...

Деревня спала. Только в доме Выприна, на половине Архипа, где поселились после пожара Христинья с внучкой Юлькой, в окнах горел свет. Рассказам и слезам не было конца. На кровати умаявшаяся Верка, прижавшись к Юльке, спала. Архип, насупившись, сидел за столом, слушал мать. Христинья никого не обвиняла, ни на кого не наговаривала, рассказывала все как было. Оттого рассказ становился страшным, будто свершившееся было неминуемым, и Архипу казалось, во всем виноват он: не выкрал бы отцовского золота, ничего бы не случилось.

— Грех-то какой... — простонал.

Мать не поняла смысла слов, подумала, по отцу сокрушается. Сказала:

— Видно, на роду так написано... — Провела дрожащими пальцами по глазам, проморгалась. — Шапку Никона на угоре Сенька нашел, вот все и обнаружилось...

Архипу увиделся Сенька Груздев: марширует в лохмотьях, матерные частушки орет, покореженным ружьем размахивает, а на голове соболья шапка красуется.

— Грех-то какой!.. — снова простонал.

Христинья, боясь, что сын злобу на Груздева займет, погладила его по руке:

— Пушай носит, чо с него возьмешь — уродец божий... — Она подалась вперед, подслеповато шурилась. — Ты, вижу, бороду отпустил... — Голос ее задрожал. — На Демьяна похож...

Перекрестилась и рассказала о смерти старшего сына, в которой, со слов Марии, Иван Юрашин повинен. Архип гибель Демьяна принял спокойно: еще в дороге, думая о братьях, знал, что кого-нибудь не досчитается. О Петре, Ефреме и Савелии спрашивать не стал — раз мать не говорит о них — значит, живы, а где да как живут — потом узнается. Повела Христинья и о смерти Юстины — немного мужа Демьяна пережила.

— Осиротели девчонки. Мария-то самостоятельная, теперича живет... — хотела сказать, что внучка у Иннокентия Юрашина поселилась, но осеклась. Побоялась, как бы сын в том плохое не углядел — Кешка-то неровня его племяннице. Тихо добавила: — Юлька со мной дни коротает...

Архип смотрел на мать и дивился: сильно постарела — голова тряслась, и руки подергивались, волосы вовсе белыми стали, шурилась — плохо видела. И в этом вину свою приметил: предал отца и довел его до гибели, тем здоровье матери подорвал — страх поди, как мучилась. Подумал об этом, и горло горечью спекло.

— И Васенька не вертается, — говорила Христинья. — А я жду, жду... Не верю, что сгинул. Пока не помру, ждать буду...

Архип не выдержал и поднялся. Стал надевать шубу. Мать всполошилась — подумала, к Ивану Юрашину собирается, хочет посчитаться за смерть Демьяна. Бросилась к нему:

— Не ходи, Архипушка! Иван шибко лютый. Не пощадит!..

Ее руки судорожно вцепились в шубу. У Архипа сердце зашлось, порывисто прижал мать к себе, терся лицом о ее волосы, шептал:

— Через меня все беды, через мои деяния сединая твоя... Прости!.. Теперь не брошу тебя, от всего уберегу. И Юльку не кину, вместо второй дочери станет.

Христинья, повиснув на его плечах, плакала еще пуще. Он высвободился из ее рук, на ходу бросил:

— Не убьет Ванька. Я не к нему.

На улице пурга не унималась. Полы расстегнутой шубы раздуло, и Архип не мог справиться с ними. Шел по дороге, а его толкало на обочину. Перебрался через занесенный снегом овраг и, вытянув руки, двинулся дальше. Наткнулся на частокол. Стал ощупывать бревна — ладные и ровные, стояли, как прежде, плотной стеной, будто отгораживали два мира: по эту сторону находилось царство голытьбы, а по другую... Он двинулся влево и оказался у проема, где раньше была калитка — кто-то сорвал. Шел по двору и шаги считал: еще в детстве, играя с Васькой, весь двор шагами перемерили. Казалось, вот-вот упрется в стену дома — стоит целехонький, никакого пожара не было. Остановился перед большим сугробом. Полез через него и почувствовал под собой груды бревен и щебня. Теперь сомнений не было — дом сгорел дотла, и никто при пожаре его не растаскивал, поди любовались люди, как гибнет в огне ляховское гнездо. «Нехристи!» — подумал и перевалил через очередной сугроб. Путь преградила стена. Обшарил. Печь! Вспомнил, как много лет назад клали ее дед и отец, а он с Демьяном, Василием и Ефремом — тогда пацанами были — в помощники лезли: в большом корыте топтали ногами глину с водой, толкались, норовя друг друга в месиво посадить. И никто тогда не думал, что старания напрасны — все прахом развеется... Представился Ерошка Кудлай: смеется, хитрыми глазами косит. Только сейчас понял Архип, что измывался над ним горбун. Ляховы с голытьбой сравнивались. Как тут не потешиться!.. Держась за печь, встал. Над ним нависла черная потолочная матица — упала при пожаре, разбила трубу и, застряв в кирпичинах, осталась торчать, словно обгоревшая рука. Архипу почудилось: тянется к деревне эта рука — милостыню просит.

...Дед Маркел пропах табаком. С тех пор, как в его доме поселились Иван с Денисом, здесь собирались мужики, заседали и курили безудержно. Когда топи-лась печь, дед, показывая на них, ухмылялся!

— Квартиранты коптятся, будто кетины! Скоро на скус будем пробовать.

Сегодня Маркел на курильщиков не ругался, сидел в углу тихо, тем более что к штабу отряда касательст-ва не имел, присутствовал на заседании незаконно: Иван не выпроводил — может, смилостивился, а может, просто не заметил. Разговор шел обстоятельный — об-суждался текущий момент. Михайла Дыбов доклады-вал о рейде его группы в Тамбовку, где кулак Сычов с сыном Захаром, бывшим белогвардейцем, учинили резню.

— Ушли, гады!.. — потупясь, закончил Дыбов.

Иван Юрашин покручивал и без того лихо торчащий ус, поглядывал на мужиков. Он был недоволен: отряд почти ничего путного не сделал. Нельзя сказать, чтобы он бездействовал, но побед крупных не имел. Успехи были малые, ощутимого урона бандам не принесли. С месяц гонялись за бандой Попова, а тот, петляя по тайге, уходил. Казачков терял, но уходил. Однажды прижали, вроде деваться некуда. А Ослоухий вывер-нулся: отменно место знал — ушел и как в воду ка-нул. И Лысуха со своей бандой страх скрест наводит, хитро действует: на деревню, что подальше находится, налет совершит и тут же в тайгу поспешает. Его сто-янку гольд Ерми обнаружил, когда выслеживал своего кровного врага Ефрема Ляхова. Только гольду не уда-лось отомстить за зверства в стойбище — ушел Еф-рем из тайги, куда-то вверх по Амуру подался.

— Приказ Дальбюро партии о ликвидации банд нами не выполнен, — мрачно сказал Иван. — Считаю, пришло время за Лысуху браться. И как следует! Леж-бище его известно — Ерми укажет. Обложим — и, как сонного медведя, рогатиной!..

— На словах обложим... — Денис Долов ухмыль-нулся. — Лучше да крепче наших матюгов на белом свете нету. Только врасплох его не застать — военный опыт имеет.

— Испугался?! — вздыбился Иван.

— Твои слова повторяю, — спокойно сказал Де-нис. — Сам, помнится, говорил: наберемся опыта, По-пова разобьем, тогда и за Лысуху примемся.

— Я это говорил, когда нас по пальцам пересчитать было можно. А нонче мы зубастые! Ни Лысуха, ни Попов не страшны, к тому же они от нас хоронятся, а не мы от них. Вот и накроем поручика. Пора!.. Верно толкую, Гаврюха?

— Вернее некуда! — улыбочиво подтвердил Горелый.

— Значит, идем на Лысуху. На том и порешим!

— Рано! — Долов встал. — Хочешь режь, хочешь бей — рано! Лысуха — зверь пострашнее Ослоухого. И банда у него крепче. А если потерпим неудачу? Или, чего доброго...

— Не каркай! — перебил Иван. — В душах огонь не задувай! Сам знаешь, скоро из Дальбюро представитель пожалует. Чего докладывать станем?

— Что есть, — невозмутимо сказал Денис.

— Вот-вот! — подхватил Иван. — Мне, как командиру, по шапке, а ты — мой заместитель — в сторонке останешься.

— Во-первых, в сторонке я никогда не был. Рядом шагаем. Все делим пополам. Во-вторых, стоит ли ради доклада начальству людьми рисковать? Жизней не досчитаемся, а ежели понапрасну? Думаешь, за то по шапке не получим? Еще как! А то и к стенке поставят, и поделом!

Елизар Крюкин, видя, что мужики слушают Долова со вниманием и, чего доброго, его поддержат, решил вступить за командира:

— Мы, Денис Карпыч, всю жизнь по шеям получаем. С малолетства. И родительскими кулаками учены, и хозяйскими пинками потчеваны, и разными властями стреляны. Ты нас бандами не пужай. Справимся!

— Однако по сей день только потери несем, а проку никакого. Гуляют банды!

— И еще погуляют, ежели мы будем сиднем сидеть!

— Положим, сиднем не сидим, месяц по тайге мотались, но по-нашему, как хотим, почему-то не получается.

— Верно говорит Елизар Матвеич, — вмешался Гаврюха Горелый. — Какой уж год гражданская идет... И нас били, и мы спуску не давали. Взять Владивосток или тот же Николаевск, в каких только переделках не бывали, мать честная! Чай, из памяти не выветрилось? Конечно, не все наши бойцы порох нюхали, и мало опыта. А мы зачем?.. Натан вот Северьяныч Ковригин еще в русско-японскую воевал. Живой пример, так ска-

вать. Разве его чем запугаешь? Скажи, Натан Северьяныч?..

У Ковригина лицо вмиг мокрым стало, пошлепал губами и пробурчал:

— Много страху претерпел, досыта на кровушку на-смотрелся и сам нахлебался. Ничего, живу...

— Это разговор! — подхватил Горелый. — Выходит, пришел конец Лысухе!

— И храбрость солдатскую видел, и глупость генеральскую зрил, — будто не слыша Гаврюхи, говорил Ковригин. — Сколько лет прошло, а Порт-Артур до сих пор по ночам снится... Ох и полегло же там нашего брата по чужой милости! С тех пор одного боюсь — дурости.

Мужики недоуменно уставились на него. Глаза Ивана вопросительно сверлили Ковригина.

— Понимай, как знаешь, — продолжал Натан Северьянович. — Супротив никого не иду, не перечу, но помозговать не мешает...

— То-то, гляжу, ты с бревен у Стригановых не сла-вишь, все со стариками мозгуешь, — подковырнул Натана Иван. — И чего намозговали?

— У них есть чему поучиться, — вставил слово Фотей Стриганов.

Иван зыркнул на него, но смолчал. Перевел взгляд на Дыбова, с издевкой спросил:

— Может, ты и в Тамбовке, вместо того чтобы Сы-човых брать, тоже со стариками мозговал?

— Напраслину не лей, — пробасил Михайла. — Ушли Сычовы. Може, кто предупредил, а може, мы проворонили... Что же касательно вашего спора, то мне все едино, кого бить — можно Попова; можно Лысуху. Ты командир, тебе и решать.

Дед Маркел сидел в углу у печки и из-за спины Ивана поглядывал на мужиков. Он впервые присутствовал на заседании штаба и слушал их с интересом. Мысленно соглашался с одними, спорил с другими. Не терпелось встрять, поддержать Ивана, но знал, что тот его тут же из избы вытурит.

Денис мирно спросил:

— Скажи, Ваня, почему Попов безнаказанно дерев-ни грабит?

Юрашин не ожидал такого вопроса, вскинулся удив-ленно, но тот продолжал:

— Мы нахрапом прем, напролом лезем, а он хит-

ростью берет, оттого и не дается. Значит, он умнее нас. Может, нам похитрее стать?

— Дело сказал, Денис! — поднялся Фотей Стриганов. — Ружей у нас хватает, а в мозгах недочет. Деды, хотя Иван Игнатьевич и хулит их, разумно рассуждают...

— Их послушать — на сто лет назад уйдешь! — вскочил Иван. — Только и похваляются старым временем, чего видели и не видели — все в заслугу себе ставят, а нынешнего не понимают. Вчерашним днем жить, как задом наперед ходить. Так-то!.. Слишком развольничались бандюги. Посему надо готовиться и к боям. Кому невмочь, пусть остается. Мы же в тайгу двинем и накроем Лысуху — как пить дать.

Эти слова пришлись по сердцу Маркелу. Он знал: разговоры в деревне не в пользу Ивана. Разобьет Лысуху — по-другому забалакают.

— В болтовне правда тонет... — донесся до деда чей-то голос, не видел, кто сказал, Иван заслонял.

Воцарилась тишина. Иван судорожно сжал кулаки, губы затряслись:

— Ты что говоришь, Северьяныч? Сначала на дуэль намекнул, теперь во лжи уличаешь?.. Я боев не меньше тебя прошел, и со смертью в обнимку случилось. Я на Лысуху впереди всех вас пойду. И пулям кланяться не буду!

— Разве об том речь?.. — попытался возразить Денис, но Иван набросился на него:

— Рядом шагаешь? Шагай, но ножку не подставляй! Все пополам? Давай поделим. Пойдем на Лысуху, поглядим, кто на что способен. Потребуется моя голова...

— Свою голову сложить — дело немудреное. Бандючью свалить надо!..

Их спор прервал вбежавший в избу Дмитрий Копытин: пустой рукав шубы заткнут в карман, без шапки, и от башки пар валит.

— Бабы деревню взбулгачили, у кузницы гудят, как пчелы!..

Иван враз обмяк, забыл про Дениса и мужиков, сел на табурет:

— Черт бы их побрал!..

Сморщился, запустил пальцы под барсучью папаху. С мужиками сладу нет, а тут еще бабы. Докучали они ему, окаянные. Везде нос совали, все видели и, при-

мечая неладное, встречали со своими попреками. Ладно бы с глазу на глаз — пришла какая и выговаривалась, так нет же, бабий сход им подавай. Знали, что одну-то командир запросто пошлет подальше — и дело с концом. Бывало уже такое. А роем накинута, прав Копытин, — не отмашешься, зажалят.

— Чего прохлаждаетесь! — снова выкрикнул одно-рукий.

Иван нехотя встал, надел полушубок, через одно плечо перекинул ремешок японской сабли, через другое — кобуру маузера, подпоясая широким ремнем.

Он шел по улице и гадал, что там еще баб всполошило. Следом шли мужики — хмурые, насупившиеся. Им тоже был не по нраву заведенный бабами порядок: чуть что — юбочный сход. Дед Маркел старался не отставать от Ивана. Он знал, про какие недовольства будут орать бабы, и думал, как не допустить, чтобы командир и здесь проиграл: чего доброго — и уважение людское потеряет.

Бабы стояли на пустыре за кузницей. Завидя Ивана, поутихли. Он легко вскочил на подводу. В глаза резануло солнце. Зажмурился.

— Чо zenки прячешь? — ехидно выкрикнула какая-то из баб. — стыдоба их проела или спозаранку самогоном залил?..

Он хотел сказать, что самогон в отряде запрещен всем, а командиру — в первую голову, но, зная бабьи языки, решил повременить — пусть выговорятся, злости поубавится. А бабы измывались:

— Рожа-то — блин масляный!

— Оружия-то — как у сазана чешуи!

— А штаны на заднице для чего кожей обтянул?

— Чтобы мозолев на родимой не было!

Мужики, боясь прогневить командира, отворачивались, прятали улыбки. Дед Маркел, пытаясь сбить бабий пыл, заорал во все горло:

— Эти штаны, с хромом на заднице, Ване ханцуз подарил. Они называются «гале-хве»...

Деда перебила какая-то звонкоголосая злоязычица:

— Гале, значит, «хве», а Марусе што?

Бабы засмеялись, а Иван, взглядом поблагодарив Маркела, решил воспользоваться подходящим моментом:

— Я вам щас, бабоньки, расскажу, как мне эти «галифе» достались! Умрете со смеху...

— Со смеху — не с голоду, давай, рассказывай!

— Это во Владивостоке было, когда мы мир с японцами заключили... А в свидетелях при этом были и американцы, и англичане, и французы, и... В общем, со всех сторон каждой твари по паре...

У Дениса даже челюсть отвисла от такого вранья, а Ивана заносило дальше:

— Подписали все бумаги честь честью, ну и спустился я во двор, там нужник стоял, длинный, просторный — всей деревней входи, и место еще останется. Ну, забежал я, а там уже кто-то сидит в маркизетовой рубашке. Ежели б не усы, подумал — баба... Ну, я ему честь по чести, значит, «здрасте» и устроился рядом. А он вскочил и давай на себя штаны натягивать. Гляжу, а штаны кожей подбиты и бока наоттопырку. Отродясь таких шикарных штанов не видел! Мои-то в ту пору от дыр да прорех насквозь продувались... Думаю, щас обменяю свои на кожаные. Хватанул француза за пояс: «Погоди, дружок!» — говорю и тяну его штаны вниз. А он их обратно, значит, вверх и бормочет: «Пардон, пардон...»

— Говори уж прямо, Ванька, что он тебя пердуном обозвал!

Закатились от хохота мужики, визгливо, с протягом засмеялись бабы. Иван остался невозмутимым, терпеливо переждал шумное оживление и продолжал:

— Нет, бабоньки! Он культурным человеком оказался: «пардон» — это «прости», по-русски... Ну, спрашиваю, кто ты такой есть? Он что-то лопочет, буква «р» у него, как горошина в свистульке, перекатывается. Одной рукой штаны держит, другой в воздухе машет, вроде высокие дома рисует: «Франсе, Франсе... Пари...» Тут я, конечным делом, понял, что французский буржуй передо мной, и немедля без штанов его оставил! Ему свои подарил... Он, правда, скромничал, не хотел принимать, но, когда его вот этот товарищ попросил... — Иван похлопал по деревянной кобуре маузера.

— Ты что же, и в нужник с пушкой ходишь? — визгливо проверещала Лукия, самая древняя старуха в деревне.

— А как же! — улыбнулся во всю ширь Юрашин. — Сами слышали, какой случай произошел. Будь у буржуя в тот момент оружие, неизвестно, куда бы зашло... — Окинул взглядом повеселевших мужиков, хотел объявить о предстоящем походе, чтобы этим бабью

сходку закрыть, но его опередила Пелагея, жена плотника Егорки, убитого Лысухой.

— Ты нам мозги набекрень заграничными словами не сворачивай! Ответ держи по всем нашим вопросам!..

Иван повернулся к Пелагее:

— А в чем, собственно, вопрос?

Бабы зашумели:

— Ишь ты, не знает!

— Дурачком не прикидывайся!

— А може, впрямь поглупел?!

Пелагея, потрясая кулаком, перекричала всех:

— Животы стянуло! Детишек хочешь голодом смотреть?!

Иван нахмурился. Знал, что прошлогоднего улова кеты, хотя путина отменной была, людям на зиму не хватило — бабы щедро делились с партизанами. Урожай пшеницы и овса, что сняли с двух полей, засеянных Выприним, недолго сельчан кормил. Промышляли подледным ловом и охотой. Иван лично снаряжал мужиков в тайгу, без разрешения не смели отлучаться. Говорил: «Дай волю — весь отряд по тайге разбредется». Но бабы не принимали этого порядка, считали, своевольничает командир: одним разрешает охоту, другим запрет накладывает. И сейчас, чтобы отвести неприятный разговор в сторону, сказал:

— Зря, бабоньки, паникуете! Забыли, как обоз у банды Попова отбили, в деревню пригнали, между всеми поровну поделили? Десять кулей пшеницы, и овес был, и...

Бабы не дали ему договорить, снова зашумели:

— Не поровну! Дыбову десять мер дали, а Пелагее — три!

— Моему мужику только две мерки отсыпали!

— А мне одну наскребли!.. — пропищала старуха Лукия.

Иван повысил голос:

— Вы же бездетные! Сколько в доме ртов, столько и мер!

— Не по совести! — закричала жена Натана Ковригина. — У меня детей нет, муж один, и тот тощает! Може, оттого и детей нет, что тощает! А председатель наш... — показала на Копытина, — опять свою Федотью опузил, шестого ждут и, видать, на него меру взяли!

Юрашин погрозил ей кулаком:

— Зря Дмитрия Антоновича оговариваешь! Он человек с сознанием. К тому же твой Натан в дружбе с ним, и ты с Федотьей задушевные разговоры ведешь!

— Дай слово, командир!.. — крикнула Ксюша Дыбова и стала протискиваться к подводе. Бабы расступались, удивленно смотрели на нее. Ксюша молчаливой слыла, ни во что не встревала, терпеливо все сносила, а сейчас, видно, не выдержала — за живое задел людской укор. Встала возле подводы, слезливыми глазами оглядела притихшую толпу. — И не стыдно?.. О совети речь ведете, а сами хотите последний сухарь у детишек изо рта вырвать?.. Восемь их у меня... — Губы задрожали, того и гляди расплачется. Еще тише добавила: — Може, сдуру наплодила, а може, от счастья...

Михайла Дыбов, стоявший поодаль с ржавым лемехом в руках, нахмурился: не понравилось, что жена с речами на люди вылезла. И мужики глаз не поднимали. Знали, как тяжело жилось Дыбовым, и зря кто-то прекнул их десятью мерами: по закону получили, да и в том помощь слабая — мерой был совок фунтовый. Только Елизар Клюкин, выглядывая из-за спины, смотрел на Ксюшу во все глаза. Приметил: еще более худала, но хороша по-прежнему.

— Не дам им с голоду помереть, — продолжала она. — Все выдюжу, всех выращу. А ежели судьбина горше станет, сама к Сучьему выгону их поведу, сама яму вырою, но последнего куска ни от кого не оторву... — Смахнула набежавшие слезы, повернулась к Ивану: — Ты, Иван Игнатьич, отвоеванным обозом нам в морду не тычь. Не один ты отбивал — мой Михайла и все мужики к тому касательны. Только когда его отбили? Помнится, в прошлом годе, после первого снегопада, когда Ляхов утоп, а нонче уже крещенские морозы прошли, а ты все про тот же обоз... Я не к тому, чтобы ты шел под пули нам харчи добывать, подножный корм сами отроем. Дело в приказе твоём...

Юрашин насторожился: не хватало еще, чтобы бабы его приказы обсуждали. Глянул на Михайлу. Тот стоял чернее тучи, было видно, что бабу дома он обязательно приструнит. А Ксюша, осмелев, продолжала:

— Приказ твой для дураков даден, а умные плюют!.. Намедни Букины в тайгу ходили, сохатого завалили, тайком домой приволокли — никому кусочка не дали. А наших мужиков почему на охоту не пускаешь?..

Иван такого от братьев Букиных не ожидал. Справными во всех отношениях бойцами были. А тут не только самовольно из отряда отлучились, но и удачей охотничьей не поделились, а на сей счет строгий наказ был.

— Вот и выходит, ты над нами, бабами, командир, а со своими бойцами сладить не можешь!.. — Ксюша, махнув рукой, пошла прочь от подводы. — Видно, не по Сеньке шапка!.. — оглянулась она на Ивана.

Сенька Груздев, затершийся промеж баб, радостно захмыкал, стал хлопать по напыленной до ушей собольей шапке. Иван озлился еще больше. «Шкуру спущу!» — подумал о Букиных. Провожая недобрым взглядом Ксюшу, наткнулся на Апросинью Жмыхову. Она, отстраняя баб, проталкивалась к подводе, хромила и охала.

— О харчах толкуете?.. — уже держась за край подводы, сказала она. — Вопрос правильный, потому как всех задевает. Только я — вдова горемычная, неутешная, потому что мово Степушку, красного партизана, беляки извели, — о другом говорить стану... — На глаза навернулись крупные слезы, покатались по щекам. — Поглядите на меня! Израненная, с пулей в животе, которая по сей день изнутри меня жжет, кровью обделенная — сами видели, ручьями из меня текла. Невинно пострадавшая за Советскую власть!..

Иван слушал и не понимал, куда она клонит. Уж больно жалобилась. Он знал, да и все знали: у Проськи рана давно зажила, всем миром бабу выходили. Но сейчас, что-то задумав, притворялась, видно, на сострадание рассчитывала.

— Осталась я на бобах! — слезно кричала. — Ничегошеньки мне Советская власть за пролитую кровь не предоставила! Вона!.. — показала на мужиков, сгрудившихся возле кузницы. — В отряд народу — и с низовьев, и с верховьев — понаехало, во всех домах квартируют. А меня обделили мужиком...

Бабы снова засмеялись.

Иван понял: у Проськи хозяйство никудышное, а работник требовался. Только изъяснила нескладно.

— Хоть самого захудалого, — продолжала Проська, — самого плюгавенького, но на постой определите. А ты, Юрашин, не скалься, а войди в мое положение...

— А ты его сама возьми, Жмычиха: он у нас застоялый, в положение быстро войдет! — крикнула одна из баб.

— Какой от него прок? — подхватила другая. — Он, наверное, даже на ночь кожаных штанов не снимает!

Бабы, охочие до смеха, кричали наперебой:

— Она сама их сдерет. Вместе с Ванькиной шкурой.

— Зачем? Он ведь свою свистульку тоже французу подарил! Тот теперича по Парижу ходит и Ванькиной свистулкой помахивает!..

Иван смеялся со всеми, хотя на душе — будто кошки скребли. Больно били бабы. Знали его отношение к женскому полу — сторонился, как от чумы бегал. Потому и изгалялись: одни ради шутки, а другие, может, от обиды.

Неизвестно, чем кончилась эта потеха, если бы на сходку у кузницы не пожаловали братья Букины. Иван выпрямился, жестом призвал баб к молчанию и зычно крикнул Букиным:

— Ждем не дождемся! А ну, ходи сюда, братишки!

Макар и Агафон враз остановились, переминаясь с ноги на ногу. По голосу командира и бабьим взглядам поняли: тайная вылазка в тайгу стала явной. Оробели братья: командир спуску не даст, особенно при народе. Вляпались! Послушались жен: сначала Дашка голосила, потом и Ольга причитала — головы от воя раскалывались. Теперь за самовольство расплачиваться надо. Юрашин грозно глядел на них:

— Что делать будем, горе-охотнички?..

У них поджилки зашлись, стоят, как деревянные, и дурацкие глаза на Ивана пялят. Вдруг Агафон смекнул, как можно провести командира, и заулыбался:

— Одно делать надо — к нам в гости идти... — Оживился и заорал: — Просим всех! Заходите, бабы, сохатый на куски поделен, вас дожидается!

Бабы враз оттаяли. А Иван, приготовившийся распекать нарушителей закона, растерялся — не ожидал такого оборота. Пыжась, процедил:

— Чтобы все до последней косточки отдали!

— А себе?.. — жалобно спросил Макар.

— Ты — кто? — Иван путал схожих, как два весла, братьев-близнецов, оттого задал вопрос.

— Макар.

У Юрашина искорки в глазах забежали:

— Вам — копыта! Себе возьмешь передние, Агафону — задние, чтобы, шельма, отбрыкиваться научился. А потом... — показал на дом Маркела, — в штаб!..

Дед Маркел даже икнул. Покопался на свою хибару: ветхая, полуразвалившаяся, а, как штабом Иван называл, она ему едва не теремом показалась...

Расползался туман, и сопки вырастали на горизонте. Чудилось, будто проснувшиеся великаны, потягиваясь, сбрасывали с себя бывшие покрывала. Спозаранок робко переговаривались воробьи.

Мария Ляхова, жившая теперь у Юрашиных, поправила расползающуюся на выпуклом животе шубейку, спустилась с крыльца. Ведра поскрипывали на коромысле. За спиной слышался стук двери. Знала, что это Кешка на крыльцо вышел — будет беспокойно за ней следить, как бы не упала, не повредилась. От всех тяжелых работ уберегал ее, и бабуляке наказал, чтобы не позволяла Марии надрываться. А она наперекор делала — не хотела задарма хлеб есть...

После смерти деда Никона будто подменили Марию — по хозяйству дела делает и молчит, словом не обмолвится ни с бабкой, ни с Кешкой, которые с подмогой да заботами приставали, даже с Анютой и Митяйкой не заговаривала. Маялись они — немота ее пыткой оборачивалась. Не знали, что она обет молчания дала. Забоялась прогневить бога, что у Юрашиных, лютых врагов деда, поселилась; осерчает, порчу найдет — уродца народит. Вспомнила, как бабка Христинья про Варлама, брата деда, рассказывала, и втемяшилось такое. Поклялась: в доме Юрашиных до родов ни слова не произносить. Сама мучилась и всех мучила. Не было дня, чтобы деда не поминала. Не верила, что сгинул. Казалось, просто в тайгу ушел — подолгу там шастал, — и она ждет его возвращения. Порой тоска нестерпимо жгла, чудилось: идет, ее кличет. Бросала дела и на улицу выскакивала, с замиранием сердца вдаль всматривалась. Доброго о нем от людей не слышала, если поминали, так только бранно, словно чернее души на свете не было. Внимания не обращала: пусть судачат, на то и языки дадены. А она всю жизнь свято чтить его будет — кроме хорошего, ничего от него не видела... Сидит, бывало, у окна, к ней Анюта жметя, под завывание ветра про зверюшек да страсти таежные говорит. Мария слушает, а сама о деле думает, будто он эти рассказы ведет, — на душе покойнее становилось. Кешка поодаль с Митяйкой играет, а заслы-

шит небывальщину, в разговор встревает. Мария огнем зальется, вскочит, шубейку на плечи — и во двор. Бежала не от него, а оттого, что думы о деде нарушил. Он же понимал это по-своему: не только не люб, но и ненавистен, какая уж тут жизнь под одной крышей. Как-то высказал ей прямо: коли невоготу — пусть уходит, неволить не станет. Мария и в тот раз смолчала. Кешка думал, что с ее уходом разрубится тягостный узел, оба от мук освободятся. А когда домой возвращался, первым делом глазами Марию отыскивал. Она это видела. По ночам просыпался, вслушивался — не ушла ли? Она и это тоже примечала. И не уходила. По-прежнему помогала бабуляке по хозяйству и, как всегда, в молчанку играла...

Мелко семеня и осторожно ступая, Мария спускалась по тропе. После душной комнаты дышалось легко, свежий воздух дурманил. Подошла к колодцу, поставила ведра возле сруба, потянула за веревку — журавль жалобно повизгивал. Когда наполнила ведра водой, услышала похрустывание снега — кто-то, подойдя сзади, тяжело дышал. Подумалось о Кешке: опять по пятам шастает. Озлилась и резко повернулась. Перед ней стоял Елизар Клюкин.

— Ишь, гляделки выпучила! — Он криво усмехнулся. — Сожрать хочешь?

После смерти Ляхова-старшего Клюкину жилось покойно: тайна утонула в Амуре — Никон Демьяныч ее с собой унес. Перед новой властью старался-выслуживался. Знал, как ненавидит Иван всех Ляховых, и угождал ему, изгаляясь над ними при каждом удобном случае.

Он шагнул вперед, пнул ведро. Ботинки Марии залило студеной водой — ноги словно кипятком ошпарило.

— Щениться собралась? — взялся за веревку, и журавль противно заскрипел. — На земле контры вдосталь, еще одного гада народить хочешь? Вырастет, надеешься, ляховская кровушка свое возьмет — на наших детках отыграется...

Вытянул ведро из колодца, поставил на сруб, язвительно сказал:

— Висеть тебе с греховным плодом на осине! Не дождешься счастливого часа. Юрашины тебя пригрели, они тебя и... — увидел Кешку, бежавшего по тропе, осекся. Быстро поднял опрокинутое ведро, наполнил его

водой и пробурчал: — С лужи сойди, кобыла шалая!..

Подбежал запыхавшийся Кешка, оторопело смотрел на мокрые ноги Марии и стоявшие рядом ведра с водой. Он с крыльца видел, как Клюкин сбил ведро, оттого побежал — хотел вступить за Марию. Видел также: Клюкин наливал воду в ведро Марии и что-то говорил — небось извинялся. Получалось, ненароком это у Елизара вышло, мужик неловкий — где ни пройдет, обязательно что-нибудь заденет. Даже сплюнул Кешка с досады: «Трясусь за бабу, вот и кажется всякое!»

— Здоров, Иннокентий Игнатьич! — приветливо улыбался Клюкин. — Что же ты, сокол, бабу на сносях исплуатируешь. Силой иссяк или в батрачки нанял? Не-гоже так. Нонче исплуатировать только себя дозволено — так Советская власть решила. Запомни! — Наполнил свое ведро и учтиво поклонился Марии: — Еще раз винюсь, Мария Демьяновна, неуклюжесть — беда моя, — и тут же повернулся к Кешке: — В рубашке-то застудишься.

Он пошел по дороге. Мария, кусая губы, пыталась сквозь слезы разглядеть ненавистную спину Елизара. Обида душила: измывается всякая тварь, а Кешка труса празднует — не вступился, ни кулаками, ни словом не защитил. Кешка же подумал, от холода плачет, и торопливо взял коромысло. Она оттолкнула его, подняла ведра, зашагала по тропе. Он с коромыслом плелся сзади и в который раз корил себя за слюняйство: дал слово, что не будет за Марией следить, пускай живет, как знает, и не вытерпел — услышал в сенцах позвякивание ведер и выскочил, даже забыл кожух накинуть. «Не жизнь, а каторга!» — подумал, оглядываясь по сторонам. Вокруг никого не видно. Но он был уверен: кто-то уже подглядел, как пузатая баба от тяжести гнется, а он с коромыслом под мышкой следом вышагивает. Есть повод для потехи. Раньше его встречали люди приветливо, колкими словами не шпыняли, но смотрели смешливо, с издевкой. Понимал, что рано или поздно накопленное выплеснется на него ушатом грязи — не скоро отмоешься. Невольно вспомнил Феню Стриганову. Прошлым летом, когда Василия Никоновича не стало, она шибко убивалась, истерикой зашлась: на дороге валялась, имя любимого выкрикивала — звала. Вся деревня слышала. И надо же! По сей день никто ее не корит, на смех не выставляет, даже

словом обидным не задела. И дед Филимон, как сказывал Фотей, простил Фене, любовь ее признал святой. Может, и люди так же?.. Зато ему достанется, особенно после сегодняшнего. Проходу не дадут. Больше всего беспокоило поведение брата Ивана. Тот при народе неприязни не выказывал, а завидит одного — в сторону шарахается. В родной дом ни разу не зашел — с конторой, значит, с Марией, встречаться не желал. А бабуляка при чем? А Анюта с Митяйкой разве виноваты? Но и их обходил Иван: по случайности встретит, улыбнется, а улыбка-то не из нутра — только для виду рот кривит. Если Кешка это понимает, то и другие не дураки. Худые примеры заразительны. Взять хотя бы Гошку Громова. Прилип к Ивану, как банный лист. Каждое слово ловит. От Гошки можно ожидать чего угодно...

Мария давно в дом вошла, а Кешка стоял на крыльце, крутил в руках коромысло и зяб. Что делать?..

Иван и Елизар шли по деревне. День клонился к концу, солнце, будто перевалив через сопки к закату, красным светом растеклось по льду реки. Иван, кивнув на дом, стоявший на отшибе, сказал:

— Повитухи давно не видно. Жива?

— Кто ее знает...

Иван недовольно покачал головой:

— Дурак ты, Елизар, хоть и при мне состоишь... Кто мы есть?

— Красные партизаны, — без запинки ответил Клюкин.

— Бери выше — Советская власть!

— Как же так?.. — растерялся Елизар. — У нас ведь, сам сказывал, эта самая... Дальневосточная республика...

— До чего же ты в текущем моменте туп! Ну, верно, Дальневосточная республика. А кем она создана и для чего? Сколько раз говорил, а ты... Большевики создали ее для сохранения мира, чтобы с самураями не схлестнуться. Во всей России разруха и голод. Какая же война может быть? Передых нужен, чтобы силы скопить. Вот и создали республику, так сказать, государство между Японией и Россией — ни та, ни другая сторона его не трожь. Вот скопим силы. Окрепнем. Разобьем белогвардейцев, всякую другую контру, а тогда попрум и интервентов с дальневосточной земли. Ты об этом во все горло не кричи, но в уме крепко держи.

— Усек! — согласился Клюкин.

— Мы боремся за Советскую власть, значит, она там, где мы. Здесь, значит! А ей — Советской власти — все дела важны! Так как же ты можешь мимо человека шагать? Не можешь. Не положено! И бабка Евникия, хотя и повитуха, но человек. Попроведуй. Коли жива, потолкуй любезно. Попользуйся случаем — за Советы слово вставь. В нашем деле любая агитация пользу приносит.

— Сделаю, — почему-то вздохнул Елизар.

Шли молча. Сухой снег весело скрипел под ногами. Проходя мимо, Иван зыркнул на дом Выприна, затем перевел взгляд на Клюкина. Тот понял, что командир интересуется Архипом, сказал:

— Не выходит. Може, отсыпается, а може, выжидает.

— И Кузю Варнакова не забывай. Один в доме, вроде тихо живет...

— Пацан еще, куда ему до порчи!

— А пацан может бед понаделать, если его направить. У него никто сторонний не таится?

— Нет. Глаз не спускаю.

— Не провороны!..

На крыльце стригановского дома появилась Феня, не глянув на проходивших по дороге мужиков, направилась в коровник. Иван насупился. Клюкин понял это по-своему и заулыбался:

— Хороша баба. Только невезучая. Милостью божьей обойдена, мужской лаской обделена...

— Впрягли ее и ездят без передыха, — перебил его Иван. — Люди сказывают, все хозяйство на ней, никто в доме палец о палец не ударит. А кто она Стригановым? Никто. После гибели Антипа — чужая. Распрягли бы да на волю отпустили... — Он с шумом вдохнул морозный воздух и прибавил шаг. — Фотей стариками попрекает, мол, не у дел старики, привлечь надо, советы их послушать. Верно, на это они горазды, а как сами поступают? Кто умно рассуждает, тот и жить должен по-умному. Спросить бы Филимона Алексеевича, на каком основании, старый хрен, в кабале сноху содержишь!..

У Елизара дух перехватило — не дай бог, командир ему это поручит. Представилось лицо деда Филимона: глаза спокойные, добрые, а глянешь в них — и оторопь берет.

— Я к повитухе, — заторопился Клюкин и, видя, что Иван, занятый своими мыслями, не обращает на него внимания, стал отставать.

Юрашин ушел вперед, и Елизар, резко свернув, двинулся к своему дому. Взялся за ручку двери, но открывать передумал. Опустился на ступеньку крыльца. Никаких бед не предвиделось — откуда им взяться, но иногда что-то тревожило душу. И сейчас беспокойство одолело. С самого начала, как организовался отряд, неверно он себя поставил. В доверие командира вошел, начхозом назначен, а вроде денщика. Старался угодить Ивану, а тот пользуется его добротой, помыкает. Разве дело начхоза за Архипом следить, за Кузей подглядывать, Марию из виду не упускать и Кешкины разговоры слушать? Однако ничего не поделаешь, не переиначишь. Жить надо. Пусть в мудреных политических вопросах разобраться не в состоянии, не всем же быть такими головастыми, как Иван, можно и дураком вековать. Но себе на уме. Значит, терпеть надо и тревожные мысли из головы выбросить. «Ничего не случится, — подбадривал себя. — Только к повитухе, будь она неладная, идти придется. Ванька наказа своего не забудет — спросит». Он нехотя поднялся, покопсился на дверь, за которой было тепло и ждал горячий морковный чай, и побрел по двору. Проходя мимо дома Стригановых, подумал: «Почему Иван со стариками не поговорит? — и тут же дал ответ: — Впросак попасть боится». Полегчало Елизару — в ровнях с Иваном себя почувствовал.

Бабка Евникия лежала на кровати, похрапывала. Он постоял, полюбовался, как она забавно шлепала оттопыренными губами, и громко кашлянул. Она, вздрогнув, проснулась, заморгала.

— Не бойсь, это я, — успокоил ее Клюкин.

Она вытерла ладошкой слюнявые губы, пробурчала:

— Чего надобно?

— Справиться пришел.

— Об чем?

— Жива или померла.

— Типун тебе на язык! Только и делов у вас — жизнь со смертью путать. Нонче все живые на мертвецов похожи.

— Не так понимаешь текущий момент.

Бабка недоверчиво глядела на него:

— Чего энто за штука?..

— Разъясню, поскольку ты есть самый отсталый элемент в нашей деревне. Так сказать, подкую.

— Я тебе подкую — своих не узнаешь!

— Не ершись. В старину крестьянские умельцы блох подковывали, неужто я с такой худой бабой не справлюсь. Разом!.. — Показал на окно и строго добавил: — Гляди!

Евникия, думая, что во дворе что-то стряслось, приподнялась на локтях, прильнула к стеклу. Елизар спросил:

— Что там?

— Снег.

— Дура! Там — Советская власть! Ко всем людям пожаловала, стало быть, и к тебе.

— Как энтэ?..

— В моем лице, — он напыжился и продолжал: — Она всех из темноты вызволяет, можно сказать, из мертвецов делает живых.

— Врешь! Она все наоборот делает...

— Она все может! И рубль дать, и обратно взять, и шило в задницу воткнуть — только это при надобности. Так что ты супротив ее не моги идти, лучше прими ее мирно, с душой. Ежели все поняла, старая, лежи спокойно, отдыхай или помирай — как хочешь!.. — И он, оставив бабку ошарашенной, вышел из дома.

На дворе было уже темно. Клюкин стоял на крыльце, широко расставив ноги и закинув руки за спину. Настроение поднялось, недавнее беспокойство сгнуло. Задрав голову, глазел на разбросанные по небу звездочки, будто золотые песчинки на темной скатерти. «В кучу бы да в мешок!» — ухмыльнулся и спустился с крыльца.

Когда поровнялся с домом Дыбовых, услышал звон в кузнице. Удивился, что в такой поздний час Михайла работает. «Наплодил саранчи, вот и мыкается, даже по ночам на кусок хлеба зарабатывает, — подумал и хотел было идти дальше, но новая мысль обожгла: — А вдруг Ксюша?» Припал к забору. В потемках не разглядел, кто в кузнице орудует. Прислушался, по ударам определил — колошматит Михайла. Чертыхнулся и торопко пошел по улице. Звон железа откликался в ушах, подгонял. Снова сердце защемило — несчастным себя почувствовал. Надо же такому случиться! Сколько лет в покое жил, казалось, старая любовь мхом поросла, а прошлым годом вспомнилась. Покоя не дава-

ла. Дошло до того, что с женой Клавдией в постели лежит, а ему кажется — Ксюшу обнимает. Старался обходить дом Дыбовых стороной, чтобы не видеть Ксюшу. Думал, забудется. На бабьем сходе черт ее дурнул выскочить. Глаз с нее не сводил и что-то новое, доселе неизвестное, в Ксюше углядел.

— Неужто весь век несатым маяться?.. — прошептал.

Из-за угла вынырнула тень. Он затаился. Кто-то, пригибаясь, перебежал улицу, остановился у ворот Жмыховой. Ключики напряг зрение и узнал Федьку Лаптя. Тот надавил на ворота и юркнул в образовавшуюся щель. «Сучье отродье! — Елизар ругал Проську. — И ворота не заперла — сговорились!» Он пошел дальше, обдумывая, как лучше преподнести этот случай Ивану. Ломал голову, но ничего придумать не мог — на свиданки запрет не наложишь.

Архипу виделись тяжелые сны — стонал, дергался. Христинья склонилась у изголовья, вытирала его мокрый лоб. Он, уткнувшись в ее теплые ладони, мерно посапывал...

В ту ночь, вернувшись с пожарища, дома испытал еще одно потрясение. Юлька с Веркой давно уже спали, а он, заглушив душевную боль, разговор вел с матерью. Успокаивал: голова и руки целы, значит, все сладится. Запасы кое-какие имеются: в сарае провиант зарыт. Перед отъездом из деревни с тестем спрятали. Сидор Парфеныч противился — о возвращении не помышлял, предлагал в Амуре добро утопить. Архип на своем настоял. Сейчас сгодится припасенное. А там, глядишь, хозяйство поднимут, благо коровенка имеется, правда, в наличии ее нет, в Тамбовке у Сычовых на сохранении, но оправится после дальней дороги Архип, сходит. Мать молчала, слезные глаза прятала. Когда забрезжил рассвет и Архип стал облачаться, чтобы в сарай пойти, провиант выкопать, она огорошила сына:

— Нет там ничего, мужики забрали...

Остолбенел Архип. Бога помянул: мстит за грехи. И тут же Василий почудился: примостился на заваulinке у Юрашиных, правду свою доказывает, о справедливости говорит: ни бедных, мол, ни богатых — всем поровну. На словах — одно, на деле — другое. Все

одним миром мазаны. Кто смел, тот и съел — вот она правда. Обобрали. До нитки. Теперь впрямь милостыню просить...

Проснулся он, когда в окно во всю мочь светило солнце. Мать протянула кружку с молоком — наготове держала в неостывшей печке. «Как в детстве», — подумалось, и он припал к кружке. Запомнил, что в хлеву ни коровы, ни козы не было, пуст хлев, и не спросил, где мать достала молока. Зато она, смигивая слезы, радовалась: доставила удовольствие сыну. Не зря старалась, повитуху уговаривала, на коленях стояла — платить-то нечем.

Вчетвером сели за стол. С вареной картошкой и головкой лука управились быстро. Верка и Юлька пили морковный чай и шептались — не могли наговориться. Архип разглядывал Юльку: из-под косынки выбивался ежик волос — спалились при пожаре, еще не отросли, на лице пятнышки, как бусинки, — тоже следы пожара, глаза карие, туда-сюда бегают, искрятся, словно бед и горя не видели. Он насупился: вновь увиделись сгоревшая усадьба и пустая яма в сарае. Достал кисет, вывернул наизнанку, на стол посыпалась табачная пыль — на затяжку не наскрести. Юлька выскочила в сени, вернулась, неся на ладони сухой лист табака. Архип только сейчас вспомнил — в чулане с лета висел табак. Стал разминать лист, ласково поглядывая на племянницу, а она опять прижалась к Верке — снова шушукались. После первой затяжки Архип закашлялся — отвык от крепкого самосада. Девчонки хохотали, смеялась и Христинья. Неожиданно умолкли. Архип, откашлявшись, вытер слезы и посмотрел на дверь, куда ушли бабы. У порога стоял Иван Юрашин: глаза вприщур, барсучья папаха набекрень, руки в карманах полушубка, покачивался на расставленных ногах, отчего сабля с маузером тоже колыхались. Ни слова не говоря, прошел к столу, ногой выдвинул табурет, оседлал его. Архип, затягиваясь, задерживал в себе дым — успокаивался. Иван, глядя на его обросшее лицо, с ухмылкой сказал:

— Замаскировался. Нос торчит, как пень из-под лапника.

Архип понял — разговор предстоит серьезный, и неизвестно, чем кончится. Попросил баб выйти. Юлька с Веркой выбежали за дверь, за ними пошла Христинья. Иван догадался, что они направились в выпринскую

горницу, и отметил про себя: обживают, значит, не ждут возвращения Сидора. Вслух спросил:

— Желаешь потолковать без свидетелей?

— Оберегаю, — спокойно ответил Архип.

— От чего?

— Мало ли что у тебя на уме.

— Думаешь, дурак Юрашин? Или мародер?

— Не знаю, кем ты прозываешься, только чужие припасы из закромов честный человек выгребать не станет.

— Реквизировал. Людям роздал. А на уме одно — дознаться, кто ты теперь есть и чем дышишь. Выкладывай, где был, зачем прибыл.

— Был в Харбине. Прибыл домой.

— Кому служил?

Архип, будто не понимая вопроса, сказал:

— На земляных работах надрывался. Ограбили нас, вот и пришлось...

— Лошадь имел?

— Тачку понукал.

— С кем якшался?

— Опять же — с тачкой.

— А Сидор Парфеныч?

— Там остался.

— И Варвару с тобой не пустил?

Архип помрачнел. Иван, думая, что зацепил за нужную ниточку, продолжал:

— А может, заложницей оставил? Куда денешься без жены — сделаешь дело и вернешься.

— Варвару не трожь! — перебил Архип. — Померла она.

Иван задумался: правду говорит Архип или врет? Более мирно спросил:

— Болела?

— Утопла. В Сунгари. Когда нас обокрали. Може, сама бросилась, а може... — Архип помолчал, тихо добавил: — Шибко вонюче там...

Юрашин встал, скрипуче прошелся по комнате и вдруг, резко повернувшись, саданул кулаком по столу:

— Кто прислал?!

Архип подался назад, уставился на него:

— С ума соскочил, что ли?..

— Брось патоку разводить! Сладко поешь, но криво ходишь! В Харбине белой сволочи, что гнуса в ма-
рях. С кем снюхался? Атаман Калмыков послал?

— С того света указаний не дают.

— Как понимать?

— Казнили Калмыкова.

— Кто?..

— Китайцы.

Иван, вытаращив глаза, сел:

— Мать честная!.. За что?

— По-разному говорят. Одни толкуют, на золото позарились — он ведь в Хабаровске банк взял, тридцать шесть пудов золотишка урвал. Другие в казни месть видят. В девятнадцатом году он китайские канонерки под Хабаровском из пушек обстрелял, вот и отомстили китайцы.

— Попил кровушки... — размышлял Иван. — Сам пытал, чего только с людьми не выделявал!.. Неужто захлебнулся?..

— Захлебнулся, — подтвердил Архип.

Иван молчал. Допрашивать больше не хотелось, понял: ничего не добьется, а может, и добиваться нечего. Но и сдаваться не хотел — не привык так вот, сразу. Глядя на густую бороду Архипа, сказал:

— Ты контра железная — враз не раскусишь. Но мне валандаться не с руки. Одевайся!

Архип накинул на плечи тулуп и пошел за Иваном. Вышли на крыльцо. Иван тихо свистнул. Из-за угла вынырнул Ключкин. Иван спрыгнул с крыльца, что-то шепнул Елизару, и тот, сняв с плеча винтовку, щелкнул затвором.

— Спускайся! Чего столбом стоишь!..

Архип сошел с крыльца, не зная, куда идти, оторопело глянул на Ключкина.

— К стенке! — показал тот на сарай.

Архип двинулся к сараю. Он был спокоен. Еще немного — и все забудется: не станет сниться Варвара, уйдет из памяти отец, исчезнет Выприн, минуют беды и невзгоды... Он встал у стены. Хотел посмотреть на своих палачей, но солнце ослепило — отвернулся. Стукнула деревянная кобура маузера, и тут же голос Ивана:

— Кто прислал?

Архип безразлично смотрел на крышу дома, где, радуясь солнцу, чирикали воробьи. Один из них слетел вниз — стая устремилась за ним. Воробьи копошились возле конюшни в старом навозе, радостно переговаривались, а может, ругались. «Чего не стреляют?» —

встрепенулся Архип. Повернул голову и, прикрыв от солнца глаза ладонью, глянул в сторону крыльца. Ивана и Елизара не было. Щурясь, искал их, но двор был пуст. И вдруг понял: остался жив.

— Господи!.. — вырвалось.

Ноги подкосились, его качнуло, припал спиной к стене и сполз по ней на снег.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошло четыре дня, а заседание тайного революционного комитета, о котором предупредил Ефрема Витоль, все не было. Время тянулось тягостно. К тому же и сам корнет не появлялся. Через пани Матильду передал, что отбыл в уезд по неотложным делам, и просил Ляхова как можно реже выходить на улицу. Ефрем нервничал. Не мог понять медлительности полковника Богородова. В конце концов черт с ним, с заседанием комитета, если боятся посвящать в тайны, так он в них не нуждается: по рассказам и поступкам Драгова догадывался об их деятельности. Но поговорить бы с глазу на глаз полковник-то мог? Однако встречи не назначал, и в этом виделось Ефрему плохое предзнаменование. И поведение Витоля — не повидавшись, исчез — настраивало на дурной лад. Может, случилось что-нибудь непредвиденное? А может, его проверяли, испытывали?..

Вечерело. Он, не раздеваясь, прямо в сапогах, лежал на постели. Хотелось спать. Но знал, что сон нарушит пани Матильда — непременно заявится. «Ненасытная тварь!» — подумал, переборол сонливость и тяжело поднялся. Закрыл на крючок дверь и, проходя мимо стола, взял одну из газет, принесенных Витолем еще до отбытия в уезд. Лег на кровать. Глаза наткнулись на статью, которую раньше, когда читал газету, пропустил. В ней говорилось о двух народоармейцах, ограбивших некую гражданку С. — в отобранной корзине было два фунта сала и десяток яиц. Военный трибунал приговорил мародеров к расстрелу. Ефрем, приняв сообщение за очередную журналистскую «утку», злорадно засмеялся.

— Эсеровское вранье!.. — Швырнул газету на пол и пробурчал: — Только и знают лаять — большевики на эсеров, эсеры на большевиков. А проку...

Он осекся от неожиданно пришедшей мысли: эсеровская ли? Повернулся, взял с пола газету, глянул на первую страницу: вверху выделялись жирные буквы — «Вперед». Сон как рукой смахнуло. Сел и, пристально вглядываясь в строки, перечитал статью. Она заканчивалась словами: «Приговор Военного трибунала приведен в исполнение». Ефрем ошалело смотрел по сторонам — в сгущающихся сумерках предметы сливались, как бы растворяясь во мраке. Вскочил, зажег свет и снова устался на газету. Нет, ему не померещилось — это была большевистская «Вперед». Ее охотно раскупали горожане, а в армии и на заводах она выдавалась бесплатно. От радости хлопнул ладонями по ляжкам: дожили комиссары! Если подобное выносится на всеобщее обозрение, значит, случай не единичный.

Он от Витоля знал, что голодает не только простой люд, но и армия: полкотелка овсяной каши и полфунта соленой кеты — вся солдатская еда на день. С таких харчей много не навоюешь. Не стерпели хваленые народоармейцы — стали грабить население. «Бунт неминуем!» — обожгла острая мысль, и он, сжимая газету в руке, заходил по комнате. Вспомнил, как Витоль говорил ему о недовольствах в армии, об участившихся случаях дезертирства. Массового характера это еще не приобрело, но человеческое терпение не вечно. Радужные мысли обуревали его: казалось, сама судьба забросила в Хабаровск, где вот-вот начнутся события, которые потрясут весь Дальний Восток, и он, Ефрем Ляхов, будет участником этих событий. К черту Лысуху и его бандюг! Он останется здесь, докажет на деле полковнику Богородову, на что способен. Командовать ротой — пожалуйста. Конной сотней — тоже пожалуйста. Наганом и саблей владеет отменно. Презирая страх, кинется в самое пекло. Лишь бы случилось, началось... Вдруг четко и ясно увиделся военный, выступающий с трибуны в Народном собрании. Уверенный зычный голос эхом откликался на балконе... Ефрем, ощутив озноб во всем теле, зажмурился. Он стоял посередине комнаты, и трезвые мысли постепенно вытесняли горячечный бред. «Одним махом их не свернешь», — вспомнились слова Витоля.

Ляхов долго сидел на кровати, стараясь разумно осмысливать создавшееся положение в городе. Многого он не знал, приходилось вспоминать и сопоставлять рассказы Драгова, но тот мог приврать или по неопыт-

ности выдать желаемое за действительное. Успокаивало одно: большевики вынуждены открыто говорить о ма-родерстве в армии — значит, это явление беспокоило их, и умалчивать о нем не было возможности. А если это делалось для острастки, чтобы неповадно было другим? Тогда зачем кричать на весь белый свет? Можно издать приказ и зачитать его в воинских частях: солдаты предупреждены, народ в неведении — и никаких кривотолков, недоверия, страха. Ефрем стал перебирать в памяти прочитанные ранее статьи, подписанные, а значит, написанные непосредственно Постышевым. Комиссар не стеснялся в выражениях — это и прежде поражало Ляхова, — говорил откровенно, не щадя никого. Даже о недостатках партийной работы в отдельных армейских подразделениях писал прямо и резко.

«А может быть, для них правда превыше всего?» — от этой мысли Ефрему стало не по себе, дыхание сбилось, и в горле появилась сухость. Огляделся: при ярком свете лампочки предметы казались выпуклыми, будто надвигались на него. Почувствовал головную боль — в висках сильно стучало, и этот стук колюче и остро отдавался в затылке. Газета вывалилась из рук. Он встал, машинально надел шинель и, забыв погасить свет, вышел из комнаты.

На дворе было морозно и темно. Поднял воротник шинели и пошел к воротам. На улице огляделся. Кругом ни души. Проверив, на месте ли браунинг, двинулся по тротуару. Не знал, куда и зачем идет, но лучше бесцельно бродить по пустынным улицам и зябнуть, чем сидеть в душной комнате и тяготиться думами. На совет Витоля, не выходить из дома, плевать: мал еще указывать. Вдруг остановился: вспомнился Фомка Самсонов — дьякон Успенского собора. Когда отец брал с собой Ефрема в Хабаровск, они бывали у Самсонова. Тот жил на Поповской. Славно потчевал. Ефрем резко повернулся и зашагал в обратном направлении. Слушал, как скрипит снег под ногами, и душевное равновесие возвращалось — дышалось свободнее и легче.

Дом Самсонова нашел без труда. Стучался долго. Наконец за дверью послышались шаги, лязгнула задвижка. Ефрем назвал себя. Фомка, в белых кальсонах и белой, по колено, рубахе, стоял в дверях и долго рассматривал гостя. С трудом признал. Прошли в комнату. Воздух в ней был тошнотворный: пахло ладаном,

пережженным луком, конской сыромятью и еще чем-то терпким. Фомка запалил лампу. Ее свет еле пробивался через закопченное стекло. Ефрем различил на столе сковороду с застывшим жиром, бутыл, лежащую на боку в луже варенья, объедки. Дьякон, не одеваясь, в исподнем ходил возле стола, как привидение, и что-то нашептывал. Вдруг его руки дернулись вверх, и, обращаясь к пустому стулу, громко сказал:

— Нет, отец Анекий, проповедями мало что сделаешь, только огнем можно испепелить большевистское мракобесие!..

Ефрем догадался, что дьякон, еще не протрезвевший и не пришедший в себя после происходившего здесь застолья святых отцов, продолжал спор.

— Закупят наши людишки мясо в Матвеевке, где чума скот косит, поставят его в гарнизонный госпиталь. Больные, может, и помрут, а главные большевики так и будут мутить православных, на свою сторону сманивать. Нет, отец Анекий, только огнем и мечом извести их можно!..

Самсонов бухнулся на стул, сидел, не двигаясь, остекленелыми глазами уставился на лампу. У Ефрема першило в горле, и он закашлялся. Дьякон испуганно воззрился на него:

— Ты кто?..

— Ляхов Ефрем. Выпить найдется?

Фомка тут же встрепенулся, вскочил и, шлепая босыми ногами, растворился в темноте. Вскоре появился с бутылкой, наполнил стаканы. Выпили. Самогон был крепкий, но вонючий. Ефрем подумал: «Докатились святые отцы, этаким дерьмом причащаются». Глянул на Самсонова. Тот хрустел соленым огурцом, челюстями нещадно работал, отчего жидкая бороденка ходила жодуном.

— Как живешь, Фома?

Дьякон перестал жевать, взял лампу, поднес ее к лицу Ефрема и, дыша на него сивухой, прошептал:

— Россия жива божьей помощью и глупостью!..

Ляхов засмеялся. Самсонов отшатнулся от него, прошел к окну, приподняв лампу, припал лицом к оконному стеклу, словно пытался разглядеть что-то на улице. Сказал:

— Вон там, через два дома, следственная Ивана Павловича была...

Ефрем понял, что речь шла об атамане Калмыко-

ве, который, кроме подвалов для пыток, в штабе на Муравьев-Амурской имел еще и следственную на Поповской.

— Кажинную ночь там кричали подпытошные, а спалось безмятежно, душа радостью наполнялась, потому как знала — он еретиков изводит, елико возможно. — Отпрянул от окна, повернулся к Ляхову, глухо продолжал: — Вот на кого надобно было молиться, все ему предоставить, ничего не жалеть. Сейчас бы мир без еретиков благостным был. Да разве управители, купцы и прочие толстосумы об том думали? О своей мощне пеклись — кабы не прогадать. Банкетами да всяким застольем атамана ублажали, надеялись подешевше купить — мол, и за шустовский коньяк служить им будем. Не понимали мироеды, что во хмелю только один обман случается. Без денег ни штанов, ни ружей не будет, и речами хмельными армию не накормишь. А они знай свое: пели ему соловьями, ручку лобызали, слезьми от умиления обливались, а мощну-то подальше, в тайнички, прятали. Ироды!.. Наслушался он речей сладких и на их жадность ответил кукишем в морду!..

Свет лампы освещал его лицо снизу, и оно казалось уродливым, немигающие глаза блестели, будто огонь излучали. Ефрему были неинтересны бредни полупьяного, а может, уже полоумного дьякона, и он повернулся к двери, чтобы уйти.

— А где теперича Иван Павлович? В Фукдине разоружили его войско, а самого в зиндан упрятали.

Это насторожило Ляхова: Калмыкова в Маньчжурии, куда бежал, в кутузку посадили.

— Вскорости расстреляли, — донеслись до него роковые слова.

Он обомлел. Чего угодно ожидал, но чтобы китайцы казнили Калмыкова... Холодок побежал по спине, пронзил шею, и голова, заполняясь чем-то чужим и страшным, стала тяжелеть.

Возвращался Ефрем от дьякона поздно ночью. Мороз усилился, ветер дул с Амура, а он ничего не чувствовал, не замечал. Даже не слышал громкого скрипа снега под ногами. Тревожные мысли одолевали. Много чепухи наслушался от Фомки Самсонова, но и полезное узнал: церковь не дремлет, святые отцы рьяными проповедями наставляют прихожан против антихристов-большевиков, конец счёта предвещают. Число не-

довольных растет, и, дай бог, пробьет час, возвестит о начале открытого боя — восстанут христиане. Только кто поведет их? Найдется ли такой человек, в которого народ поверит и за которым пойдет?.. Вспомнился Калмыков. Причин его казни никто не знал, но факт был страшным — белое движение лишилось еще одного атамана. Убит не в бою, а предательски, на чужбине. Выходит, не только здесь, на русской земле, но и на китайской великая неразбериха властвует.

Вошел во двор, поднялся на крыльцо, взялся за ручку звонка, но звонить раздумал. Не хотелось идти в дом. Пани Матильда откроет, больше некому, следом увяжется, с ласками приставать начнет. Он оперся плечом о дверь, словно боялся, что она отворится. Закурил. Вернулся мыслями к городским событиям, свидетелем которых был. Назойливо виделся вихрастый гимназист — стоял на сугробе, тыкал пальцем в его сторону и кричал: «За Льва Толстого!» Ефрем выплюнул только что прикуренную папиросу.

— «Россия жива божьей помощью и глупостью!..» — машинально повторил слова дьякона.

Ляхов спал весь день. Пани Матильда будила его к завтраку, потом к обеду, но он отмахивался от нее, как от назойливой мухи, что-то бурчал и закрывал голову подушкой.

Когда проснулся, увидел Витоля Драгова. Тот, утопая в глубоком кресле, читал газету. Гимназическая куртка лежала на столе. Ефрем водил ладонью по опухшему ото сна и щетинистому лицу, безразлично смотрел по сторонам.

— Нас ждут через два часа.

Голос Драгова привел его в чувство. Встал, натянул брюки и сапоги, вышел на кухню, чтобы согреть воду для бритья. Но пани Матильда уже позаботилась: на примусе стоял горячий чайник. Тщательно выбрился, умылся и вернулся в комнату. Витоль по-прежнему сидел в кресле с газетой в руках. Ефрем взял френч, висевший на спинке стула. Драгов, будто между прочим, спросил:

— Как поживает дьякон Самсонов?

Ляхов оценил осведомленность корнета, но промолчал.

...Элиз ошеломила его. Стройная, хрупкая, в скромном, но со вкусом сшитом платье, она выделялась среди расфуфыренных девиц и чопорных старух. Знакомясь с Ефремом, подарила такую улыбку, что у него сбилось дыхание. «Впрямь небесная чистота!» — подумал он и, будто помолодев, почувствовал в своей уже изрядно истаскавшейся душе энергию и задор — давно такого не испытывал. Витоль, видя, какое впечатление произвела Элиз на Ефрема, был на седьмом небе.

Он проводил Ляхова в небольшую, пропахшую лекарствами комнату. Оставшись один, Ефрем разглядывал ее: застекленный шкаф забит пузырьками и колбами, на столике щипцы для дерганья зубов и еще какие-то медицинские инструменты, ближе к окну — крутящееся кресло.

— Мой брат — зубной врач, — слышался за спиной бархатный басок. — А я его гость.

В боковых дверях, которых Ефрем не заметил, стоял высокий господин в черном, безукоризненно сшитом костюме, седые бакенбарды обрамляли холеное лицо, шрам пересекал левую бровь. «Павел Илларионович Богородов!» — Ефрем вытянулся. Богородов, улыбаясь, протянул руку, извинился за длительный домашний арест — были трудности с паспортом, посетовал на сутолоку дел, из-за которых не мог принять поручика раньше, и заговорил о Лысухе-Лысове. Ефрем пытался слушать внимательно и не мог сосредоточиться — в глазах стояла Элиз.

— Прошу, — полковник показал на дверь.

Комната, куда попал Ефрем, была узкой и длинной. Первое, что бросалось в глаза, — огромная люстра, окутанная табачным дымом. Вокруг стола под коричневой скатертью теснились черные пиджаки и зеленые кителя. Всего — около десятка. Богородов представил поручика, подчеркнув, что Ляхов служил в каппелевских войсках под непосредственным командованием генерала Вержбицкого. Черные пиджаки задвигались, кителя распрямились, выгнулись, один до того надулся, что, казалось, вот-вот лопнет. Ефрему такое отношение польстило. Сел на свободный стул и, стараясь не думать о племяннице полковника, принялся исподтишка рассматривать присутствующих.

— Лысов Владимир Леонидович, о котором вы, господа, несомненно слышали, был моим другом, и я рад, что его сын — Леонид Владимирович — с честью про-

должает дело отца. Ефрем Никонович его правая рука, — сказал полковник.

Не успел он сесть, как из-за портьеры вынырнул Витоль, положил перед полковником кожаную папку и вышел. Ефрем был уверен, что Витоль не ушел, стоит за портьерой и ждет момента для следующего, заранее условленного угождения. «Сопляк на побегушках!» — почему-то озлился он. Полковник достал часы, открыл крышку. Полился чуть слышный мелодичный звон. «Точь-в-точь как у Лысухи!» — подумал Ефрем и догадался, что Богородов и Лысов-отец имели одинаковые часы, которые являлись знаком дружбы и единогласия.

— В Хабаровск, в японское посольство, прибыл полковник Изоме, — начал Богородов заседание. — Первым делом он телеграфировал в Читу председателю правительства республики Краснощекову, поздравил с выздоровлением после долговременной болезни. — Извлек из папки лист бумаги. — Далее в телеграмме говорится...

Пиджаки и кителя повернулись к полковнику. Он читал:

— «Прибыл в Хабаровск, где, по слухам, беспокоят, чтобы ознакомиться с положением на месте и рассеять вредные для мирной жизни неясности. В городе казенные и общественные учреждения и штабы войск украшены красными флагами, только на здании штаба первой дивизии виден флаг Дальневосточной республики. Солдаты и командный состав до сих пор имеют знаки в виде красной звезды. Подобная картина создает впечатление, что здесь слабо чувствуется демократизм правительства республики. В целом здесь тихо, настроение населения выжидательное, народ ждет разрешения всех вопросов от Учредительного собрания».

Полковник умолк. В тишине слышалось частое дыхание господ. По лицам Ефрем понял: лихорадочно думали, взвешивали, решали.

— Он ждет разрешения всех вопросов, — сказал Богородов, сделав ударение на слове «он».

Фраза была из телеграммы полковника Изоме, только слово «народ» заменено на «он». Ефрем пытливо глядел на Богородова, стараясь разгадать его мысли, но лицо полковника было спокойным. Снова посмотрел на сосредоточенно думающих господ и, вспомнив газеты, которыми снабжал его Витоль, понял: обнародованная

телеграмма (подобное непременно публиковалось прес-сой) адресована не столько председателю республики, сколько им, сидевшим сейчас за столом, таившимся по углам Хабаровска и других городов.

— В беседе с корреспондентами местных газет... — полковник повернулся к двери. — Витоль, попросите Элиз поиграть на клавесине...

Портьера колыхнулась, видно, за ней открылась дверь, и вскоре послышалась музыка — на клавесине играли медленный вальс. Портьера снова колыхнулась, и звуки вальса стали тише. Ефрем стиснул зубы: «Мышонок! Плюгаш!» У него появилась неприязнь к Витолу. А полковник продолжал:

— Беседуя с корреспондентами, Изоме сказал, что во Владивостоке дела обстоят значительно лучше... — Богородов повременил и произнес с нескрываемым удовольствием: — Следует, господа, ждать от Владивостока бурных событий...

Ляхову вспомнилось собрание, которое наблюдал с балкона, оратор-военный. Теперь стало ясно, почему тот называл Владивостокское народное собрание ублюдочным органом: оно шло вразрез с политикой большевиков. И словно в подтверждение мыслям Ефрема Богородов сказал:

— Владивостокское народное собрание подчинено братьям Меркуловым, хотя ни тот, ни другой не являются его председателем. В Приморье рассредоточены отряды каппелевцев, и если Меркуловы, объединив разрозненные части, обопрутся на них, тогда можно ждать от владивостокских событий многого.

Ефрем от радости чуть не захлопал в ладоши. Наконец-то! Есть силы, способные не рассуждать, а действовать! Только бы началось, а там развернется. Будет война. Большая война. И он, поручик Ляхов, на сей раз не упустит своего шанса: поставит на карту все, но карьеру сделает.

Господа негромко переговаривались, обсуждая назревающие события. Ефрем заметил, что Павел Илларионович часто поглядывал на часы, словно боясь пропустить время назначенного свидания. Тучный господин заговорил об атамане Семенове, который хоронится со своей армией где-то в Маньчжурии.

— Выбросили из Забайкалья, он и хвост поджал. Тоже мне — мститель! А имеет под рукой тысячи сабель и тысячи штыков!..

Богородов, словно ждавший этого момента, достал из папки какой-то документ. Все притихли — поняли, сейчас последует не менее важное сообщение. Полковник без предварительных пояснений стал читать:

— «Я не устал, но открывающиеся иногда раны заставляют меня искать покоя вдали от политической борьбы. Мне приписывают агрессивные намерения. Особенно большое значение придается моему обращению к народам мира с антибольшевистским воззванием. Но из этого всего отнюдь не следует, что я стараюсь вызвать новую войну. Если она случится, то во всяком случае помимо меня. В моем воззвании я апеллирую к мировому разуму и надеюсь на организацию международного комитета для борьбы с красным безумием и заранее отдаю себя в его полное распоряжение, конечно, если я буду способен и смогу что-нибудь выполнить. Воля народа для меня — стимул долга. Если русский народ нуждается в моей помощи против воинствующего коммунизма, и если это встретило бы сочувствие народных масс в других странах, я пренебрегу здоровьем и сделаю все то, что от меня требуется. Лично для себя я не хочу власти. Я — только жертва долга...»

Богородов, не дочитав документ до конца, положил его в папку. Кто-то спросил:

— Послание атамана Семенова?

— Интервью токийским журналистам, — уточнил полковник. — Думаю, дано под влиянием надвигающихся событий во Владивостоке.

— Он где: в Харбине, Шанхае?

— Перебрался в Порт-Артур вместе со своим штабом. Сидит под крылышком японцев, готовый в любую минуту плыть во Владивосток.

— Самураи, как всегда, поступают по-сучьи — и вашим, и нашим, где больше обломится, — сказал плешивый господин. — Заигрывают с Меркуловыми и держат на цепи обласканного пса Семенова.

— В Порт-Артуре был один из вождей каппелевской армии генерал Вержбицкий... — снова заговорил Богородов и посмотрел на Ляхова. — Вел переговоры с Семеновым. Действовал по поручению Спиридона Меркулова. Слава богу, не договорились!.. Семенов, как политическая фигура, сейчас не имеет веса. Лидером быть не может. Зверствами в Забайкалье считал самую худую славу. Народ за ним не пойдет. Думаю,

об этом необходимо напомнить господину Меркулову соответствующим письмом. Нельзя забывать, что наша опора — каппелевцы. Значит, лидером должен стать каппелевский генерал — с именем, опаленным в сражениях, и безупречной репутацией. Что же касается Семенова, то он обязан выйти из игры.

— А каково послание? — прогудел тучный господин. — Прямо агнец, мать его в душу!..

Господа принялись обсуждать деяния атамана в Забайкалье, не забывая его закадычного друга барона Унгерна. Бранили, не стесняясь в выражениях, сравнивали их жестокость с жестокостью Чингисхана. По слухам, барон Унгерн летом прошлого года порвал отношения с Семеновым и ушел с отрядами в монгольские степи. В серьезность раздора никто не верил. И если сейчас Семенов, заняв выжидательную позицию, отсиживался в Маньчжурии, то Унгерн зверствовал в Монголии, вменив себе в обязанность истребить всех красных и всех жидов. Барон считал, что евреи являются причиной всех несчастий в России и составляют главную опору большевиков. Он мстил. Его банды рвались к Урге, где проживало много евреев. Унгерн заявил, что, взяв город, устроит кровавый карнавал.

Ефрем слушал рассуждения господ без внимания. Узнав о готовившемся мятеже во Владивостоке, где главную роль будут играть его братья-каппелевцы, ему было плевать на Семенова и Унгерна. Он думал о своем новом кумире генерале Вержбицком, заменившем в его сердце Каппеля.

— Прошу внимания, господа!.. — слышался голос Павла Илларионовича. Он глянул на часы. — Витоль, зажгите свечи..

Ляхов удивленно смотрел на люстру, напичканную лампочками, не понимая, зачем при таком ярком свете полковнику понадобились свечи. Где-то далеко ухнул взрыв — оконные стекла задребезжали. Свет погас. Привыкнув к слабому огню свечей, Ефрем разглядел улыбающееся лицо Богородова.

— Кажется, сегодня полковник Изоме будет доволен, — певуче сказал Павел Илларионович.

Ефрем шел по темной пустынной улице, злобно бранился. Он обманулся вторично. Обманулся жестоко, и опять по вине сопляка корнета...

Когда остался с полковником наедине, откровенно заговорил о только что ушедших господах, которые в неприличных тонах и выражениях поносили атамана Семенова, а сами в душе наверняка завидовали ему и мечтали о такой же карьере. Перейдя на положение дел в Хабаровске, припомнил собрания, митинги и сборища, на которых все — красные, эсеры, анархисты, представители буржуазии и прочие — в один голос кричали о спасении России. Он видел неразбериху, но чувствовал, что она на руку тайному революционному комитету. Почему же тот бездействует?

Богородов понимающе покачал головой:

— Гражданская война — время взлетов и падений. Прапорщик становится полковником, ротмистр лезет в генералы, а генералы дерутся за фельдмаршальский жезл. — Немного помолчал. — Спасение России каждый понимает по-своему, вот почему, в результате всех исканий и опытов, Россия очутилась на краю пропасти.

Ефрем слушал внимательно, подкупала откровенность полковника, в спокойствии виделась сила.

— Понимаю ваши беспокойства, поручик, — продолжал Богородов. — Наши действия кажутся малоэффективными и даже, может быть, пассивными.

Ефрем кивнул.

— Возможно... — протянул полковник и закрыл глаза. Молчал долго. Наконец тихо сказал: — Время, когда большевиков считали кучкой взбунтовавшихся фанатиков, прошло. Сегодня это реальная сила, с которой вынужден считаться весь мир.

— Речь идет не о всей России. Может быть, там, в Совдепии, свергнуть большевиков сложнее, но здесь...

— Почему, поручик, мы с вами должны думать только о какой-то части России? — перебил Богородов и поднял на Ляхова удивленные глаза. — Мы, русские патриоты, связаны едиными помыслами и хотя действуем в разных местах, но идем к одной цели. Уверяю вас, нынешний двадцать первый год окажется для России самым трудным, самым тяжелым и решающим. Разруха и голод сделают свое дело — бунты неминуемы. При определенном подогреве они перерастут в восстания. И чем труднее будет большевикам в Совдепии, тем легче станет здесь нам. Дальневосточная республика должна быть в наших руках. Это наша главная цель. Для ее достижения мы должны распространить свое влияние по всему Дальнему Востоку, во что бы то

ни стало подорвать авторитет большевиков, заставить их отказаться от власти или убрать их силой.

— В Хабаровске это возможно, — не выдержал Ефрем.

Павел Илларионович прошелся по комнате, сел на стул по другую сторону стола.

— Мы не удержим власть.

Ефрем усмехнулся. Все комитетчики краснобаи: строят планы свержения большевиков, а на деле боятся сделать мало-мальски серьезный шаг. С такими много не навоюешь.

— Помощи извне нам ждать неоткуда, — продолжал Богородов, — а большевики ее получают. У них пусть малочисленные, но хорошо организованные дивизии, их поддержат рабочие и часть крестьянства, в тайге затаились партизанские отряды, и Благовещенск незамедлительно выйдет свои части... Надеюсь, вы не забыли, что в Благовещенске у власти Советы?

Ефрем не смотрел на полковника. Только сейчас он понял обстановку, сложившуюся в городе и за его пределами. Все оказалось гораздо сложнее, чем представлялось раньше.

— Будем уповать на Владивосток. Там — наша сила и наше спасение. Но ждать — не сложа руки, — Богородов чуть улыбнулся. — Достижение великой цели оправдывает все пошлые средства!.. Кстати, в Хабаровск из Владивостока прибыли эшелоны с военнопленными колчаковцами. Городские власти занимаются их расквартированием. Общая численность — около трех тысяч. Много бывших офицеров. Надеюсь, в скором будущем они станут ощутимой силой для поддержки нашего движения... В заключение скажу: если случай соблаговолит, мы возьмем власть, возьмем невзирая ни на что. — Встал, подошел к Ефрему, протянул руку. — Передайте Леониду Владимировичу мой приказ: немедленно и скрытно двигаться на Хабаровск. Он со своим отрядом поступает в распоряжение нашего тайного комитета.

Ляхов щелкнул каблуками, развернулся и направился к двери. Павел Илларионович остановил его:

— Кстати, поручик, относительно пани Матильды...

Ефрем насторожился: не хватало еще, чтобы полковник был осведомлен о его близости с полячкой. Повернулся. Старался смотреть на Богородова спокойно. Тот говорил:

— Будьте с ней повежливее. Нужный человек. Мы помогаем ей, она помогает нам. У нее теплые отношения с ксендзом, и он делает немалые пожертвования для блага нашего дела. Католики есть не только в Хабаровске, но и в низовьях Амура, где, по словам ксендза, их больше. Конечно, польского легиона из них не создать, но... — Он засмеялся и снова протянул ладонь поручику.

Ефрем вышел. В гостиной по-прежнему сидели дамы. Чопорные старушечки пытались играть на клавишине в четыре руки, девицы подхихикивали, среди них вертелся Витоль. Ефрем решил не задерживаться в гостиной, хотелось побыть одному, помечтать: генерал Вержбицкий не выходил из ума. Он улыбнулся очаровательной Элиз и незаметно вышел в переднюю. Настроение было приподнятое: беседа вселила радужные надежды. Надел шинель. Застегнул пуговицы. И вдруг услышал за спиной легкое дыхание, потом шепот:

— Завтра пополудни в кофейной «Бельведер»...

У Ефрема похолодел затылок. Резко повернулся: Элиз смотрела на него лучистыми глазами, маленькие ноздри подергивались...

Как он оказался на улице, не помнил. И всему виной сосунок Витоль: расчувствовался, со слезой говорил о ее небесной чистоте, даже грозился застрелиться, если с ней что-нибудь произойдет. Ефрем поверил ему и, увидев Элиз, глядел на нее его глазами. И вот...

— Непорочная дева!.. Шлюха! Стерва! — отплевывался он.

Вгорячах не заметил, что сбился с дороги. Забрел в тупик. Пошел обратно. Оказался на пустыре. Собаки рылись в куче отбросов. В темноте они походили на волков. Он отступил к забору. Свернул в узкий, как коридор, проход. От страха шарахнулся назад. По проходу сплошной темной массой неслась стая собак. Он замер. Собаки промчались мимо него, к отбросам. Началась драка. Ночь наполнилась рыком, визгом, грохотом пустых банок. Ефрем стоял не шелохнувшись — смертельная схватка собак потрясла его. Вдруг ноги сами двинулись вперед. Достал браунинг, выстрелил в самую гущу. Здоровенный пес взметнулся в прыжке, упал на снег. Собратья набросились на него и стали рвать в клочья. Ефрем выстрелил еще и еще раз.

— Сюда!.. — раздался истошный крик Витоля, и он потянул Ефрема за рукав. — Патруль!..

— Шпионишь, гаденыш! — Ефрем отшвырнул корнета.

По пустырю бежали трое с винтовками. Ефрема охватил азарт поединка. Вытянул руку и стал целиться. На снегу лежал Витоль, таращился на поручика. Ляхов, как в офицерском тире, стоял прямо, ноги чуть расставлены, левая рука закинута за спину...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По темному небу, будто играя в догонялки, бежали облака. Рваные края их висели клочьями, как одежонка на побирушках.

Матрена вошла в конюшню, сработанную по осени Петром, наполнила поилку водой. Гнедой коротко заржал, будто благодарил хозяйку, и припал толстыми губами к воде. Матрена, позвякивая ведрами, направилась к погребу, ютившемуся рядом с зимовьем, спустилась по уже осклизлым ступеням.

В зимовье Петр лежал на высоком топчане, устланном губчатым мохом, поверх которого был постелен тулуп. Нижняя рубаха нараспашку — донимала жара. Он знал, что жене духота не вмоготу, с хрипом дышала и за сердце хваталась, но нравилось досаждать ей, делать наперекор.

— Подбрось еще маненько, — сказал, когда она вошла в зимовье.

Матрена поставила на стол миску с солеными грибами, сняла шубу, нагнулась к печке. Сырые дрова шипели.

— Живем в тайге, а ты, значит, дров жалеешь.

— Ничего мне не жалко, — она вздохнула, на глазах появились слезы. — Окромя тебя.

— Козье вымя! — заорал он. — Тайные помыслы вынашиваешь, загубить меня хочешь! Зенками по углам шаришь, мешочки с песочком отыскиваешь!

— Твое золото кровью опрыскано — счастья не принесет.

— Сдашь меня краснюкам, — не слыша ее, продолжал орать Петр, — а сама барыней станешь жить! У-у, маркиза рогатая!..

Она, шмыгая носом, притулилась возле крохотного оконца, затянутого рыбьим пузырем. Закрыла глаза, словно не хотела белого света видеть — опостылел. Всю

жизнь изгалялся над ней Петр, а после смерти Никона Демьяныча невыносим стал, звериное нутро оголилось, того и гляди пришибет или удавит. Зря она усердствовала — обихаживала да ласкала. Все не впрок. От обиды разрыдалась.

— Теперича загундосила... — Он хлопнул себя по ляжкам. — Вспомнила бабий праздник — на кулак сопли наматывать. Тьфу! — Вскочил, оделся и вышел из зимовья...

...Узнав о смерти отца, Петр обомлел: чего угодно ожидал от родителя, но самоубийства — никогда. Помнил, как отец измывался над братом Варламом, который порешил себя. Как о лютом враге говорил — не мог простить навлеченного позора, тогда, помнится, вся округа о том судачила. И вдруг такое же сотворил. Петр бесновался. И не из-за того, что отец из жизни ушел — слава богу, долго и всласть пожил, — а из-за усадьбы, дома и добра, что в одночасье сгорело. Раньше думалось, родитель вправду заботится о сыновьях, в строгости держит и к жестокости прибегает, зато сильного выращивает, чтобы головой в доме после себя поставить. На деле оказалось: себя угробил и сыновей по миру пустил. А уж как они старались — норовили друг дружке глаза выклевать. «Вот и въехал на Гнедом в усадьбу!.. — горько усмехнулся над своей мечтой Петр. — В тайге весь век мыкаться, волком выть!..» Ярость не утихала. И зимовье от злости ладил, и конюшню для Гнедого в гневе сколачивал... Шли месяцы, удалялось отцом содеянное — и злоба на весь мир переместилась. Бродил по тайге неделями. Не зверя выслеживал. Во всех людях лиходеев видел. И стрелял. Однажды в переделку попал. Заслышал выстрелы, сдурю на звуки двинулся. Очутился между двух огней: с одной стороны партизаны Юрашина палят, с другой — поповцы отбрехиваются. Еле ноги унес. «Японочка» выручила, безотказно била. Потом ухмылялся: обе стороны человечков недосчитались.

Когда Матрена сообщила о возвращении Архипа, задумался: не тронули красные брата, значит, они не всех стреляют. «И тебя не тронут!» — уговаривала Матрена. Совсем было собрался — перерешил. Золото! Намытое чужими руками, оно всем сулило счастье. Красные — тоже люди. Отнимут. Или, как они говорят, реквизируют, в общую казну кинут, чтобы на благо всем служило. А какое ему, Петру Ляхову, дело до всех? И кто

он без этого золота? Тля! Нет, никому его не отдаст, и чем меньше вокруг людишек, тем сохраннее оно...

Он оседлал Гнедого, вывел из конюшни. Петляя между деревьями, вышел на заснеженную поляну. По ее закраине конскими копытами была пробита тропа. Сегодня Петр разминал Гнедого больше обычного. Пускал коня рысью, переходил на галоп. Гнедой, отфыркиваясь, послушно выполнял команды. Петр жмурился, не мог смотреть на белый снег — глаза резало, появлялся зуд. Натирал глаза до красноты, но зуд не проходил, еще сильнее донимал, и хуже виделось... Думал о братьях, и что-то тоскливое тревожило душу.

У Архипа забот было невпроворот — изловчался, еду добывая. Подледным ловом промыслял, в тайге силки, капканы да ловушки ставил. Без ружья неспособно зверя добывать. Свое заветное, тульской марки, часто вспоминал, сокрушался: за кордоном лихие люди вместе с золотом прихватили. Несколько раз принимался старую берданку чинить — износилась, отслужила, много лет в кладовке с другим хламом валялась. Пальцы до ран посбивал, но все оказалось без проку.

Как-то выбирал окоченевшими руками сетенку на льду — улова не было. На жизнь распроклятую матюгался. Глядь — у проруби рыба лежит. Догадался, кто оставил: гольды, что в отряде Юрашина службу несли, неподалеку рыбачили, уходя, незаметно рыбу подложили. Сначала Архип обрадовался — день-два семья сытно проживет. Потом обида закипела. Как же так? Бывало, сам с неудачниками добычей делился — в пояс кланялись, — теперь его к неудачникам приписали и тишком подачку сунули. Тотчас увиделась усадьба — потолочная матица из печи торчит, тянется, как рука обгоревшая. В сердцах пнул уже мерзлую рыбу, и та, гремя по льду, полетела в майну...

Снова взялся за ружье — нужда заставила. Настырно чинил. Взмок. Под бородищей от пота зудилось, будто там рой мошки поселился. Сопел, зубами скрежестал, но работы не бросал. Бабы по дому на цыпочках ходили — не дай бог, помешать.

В наружную дверь постучали — после недавнего прихода Ивана на запоре держали. Христинья, охнув, на лавку плюхнулась — подумала, снова Юрашин пожаловал. Ее тревога девочкам передалась — испу-

ганно переглядывались. Архип чертыхнулся, в сторону ружье отложил, вышел в сени, отворил дверь. На крыльце, прикрывая руками выпуклый живот, стояла Мария. Сухо поздоровались, прошли в комнату. Верка с Юлькой бросились навстречу Марии.

— Ить, налетели, пчелы назойливые!.. — ворчала Христинья, а в голосе радостные нотки проскальзывали. — Угмонитесь, не тискайте эдак!..

Мария увидела на столе разобранную берданку, улыбочиво спросила:

— Дядька, никак воевать собрался?..

Архип пробурчал что-то невнятно и принялся за прерванное дело. Девчонки сняли с Марии шубейку, усадили на кровать, жались с двух сторон, сыпали вопросами. Она охотно отвечала. Архип, не отрываясь от ружья, ухмыльнулся:

— А люди толкуют — немая. Тьфу, нечистая сила!..

— Обет дала. — Мария вздохнула. — Дом околдованный, даже дед не совладал.

— Чего же маешься? — жалостливо спросила Христинья.

Мария хотела ответить, но Архип опередил:

— Там способнее грех спрятать.

Она глянула на дядьку:

— Тебя из беды кто-нибудь вызволял?

— Телом платишь? — осклабился он.

— Еще не успела, — спокойно сказала Мария. — Муж шибко праведный — отдельно спит, меня, как бабу, не тревожит.

— Не по-людски же так!.. — бабка всплеснула руками.

— Подсказать не могу — обет нарушу. Молчу, прощение у бога вымаливаю, глядишь, отведет беду — здоровенькое дитя нарожу.

— Ить, накаркай ишо!.. — Христинья мелко крестилась. — Хватит с нас напастей, обросли ими, будто коростой.

— Боюсь чего-то.

Архип снова не выдержал.

— Доведешь мужика до помрачения — прибьет!

— А може, я этого жду?..

Он засопел и еще ниже склонился над ружьем. Христинья, смахивая слезы, не сводила глаз с внучки. Верка с Юлькой ласкались к Марии и трещали наперебой. Когда разговор зашел о родах, которые не за горами,

Архип с грохотом бросил на стол берданку, встал и вышел из комнаты.

На половине Выприна все стояло на своих местах, как было при хозяине. Здесь никто не жил — не дай бог Сидор Парфеныч возвратится, шуму наделает никого не помилует, — но Христинья каждый день вытирала пыль, поливала цветы в горшках. Архип, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. Если деяния всех Ляховых, сотворенные за всю жизнь, мог как-то оправдать или забыть, то грех Марии острой занозой впился в сердце — не вытащить. Ефрема не винил: кобель — и все тут. Но ей прощения не было — пойти на такое могла только самая падшая. Оттого видеть ее не мог и отношения своего не скрывал.

Он закурил. Крупно нарезанный табак стрелял искрами, и Архип еще больше распалялся. Скрипнула дверь. На пороге встала Мария, застегивая шубейку, сказала:

— Я пошла...

Он отвернулся к окну. Во дворе ветер гремел за дубелым на морозе бельем, развешанным Христиньей. «Кого обихаживала!.. — подумал о матери, вспомнив, как та нянчилась с маленькой Марией. — И сейчас пестует, пылинки сдувает!..»

— Понапрасну яришься, — донесся до него спокойный голос Марии. — Ежели при бабке слез не выказываю, это не значит, что их у меня нет — всю душу разъели. Из жалости улыбкой одариваю, чтобы сердце ее вконец не надорвать — чего десятерым не выдюжить, она одна претерпела... Себя не обеляю. И не черню. Сил нет ни оправдывать, ни судить... Что хочешь думай, но казнить не смей. У нас, у всех, грехов — за две жизни не отмолить!.. Прощай. Больше не приду.

А ежели Кешка про Ефрема дознается?! — крикнул Архип.

— Он знает.

Архипа качнуло, сел на лавку, тупо смотрел на закрывшуюся за Марией дверь. «Выходит, не скрыла греха от парня, — на лбу холодная испарина выступила. — А что же Кешка? Как может жить с ней в одном доме?..»

Всю ночь промаялся Архип, мысли, добрые и плохие, донимали. К рассвету утвердился: племянница живет батрачкой. Кешка зверствует — точь-в-точь, как

когда-то Демьян над Юстиной, измывается, норовя кулаками по животу попасть. Он, будто ошпаренный, вскочил с постели. Бабы еще спали. Надел тулуп, вышел на улицу. Знатный морозец щипнул лицо, сбил дыхание. Не разбирая дороги, направился к дому Юрашиных.

Бабка Юрашиха открыла дверь, недоуменно уставилась на раннего гостя, тем более не ожидая, что им окажется Ляхов Архип Никонович. Отступила от порога, и он прошел в комнату. На полу поперек тюфяка спали Кешка, Митяйка и Анюта. На кровати лежала Мария. Увидела дядьку и вскрикнула — подумалось, плохую весть принес, иначе не зашел бы. Вскочил Кешка, бросился к ней:

— Началось?!

Архип только сейчас понял, в какое глупое положение попал, даже стон у бедняги вырвался, и он опустился на табурет. Кешка, стоя в узком проходе между столом и кроватью, торопливо одевался, прыгал на одной ноге — другой никак не мог в штанину попасть. Бабуляка пыталась развести огонь в печке, руки тряслись, спички ломались: в кои-то веки такой гость пожаловал, и неизвестно, с каким намерением — от Ляховых, мужиков, чего угодно ожидать можно. Возьмет и заявит, чтобы племянница к нему в дом перебиралась. Что тогда делать?.. Архип глядел на спящих ребятшек: разметались на тюфяке — головы у стены, а ноги под лавкой — пройти негде. «Как же они здесь ютятся!..» — с удивлением подумал и посмотрел на Марию. Она, прижимая латаное одеяло к груди, таращилась на него. «Царицей хотела стать, вот и стала!..» — Архип засопел и поднялся.

Во дворе его нагнал Кешка.

— Архип!.. Ты с нами?..

Глаза парня блестели, и Архип понял, о чем тот спрашивает. Вспомнил недавний допрос и «расстрел», учиненные Иваном, строго сказал:

— У меня мать и две дочери. Я — с ними!..

Кешка с тоской смотрел ему вслед, будто друга потерял: сейчас уйдет и больше никогда не вернется... Он знал, что Архип не похож на своих братьев: сдержанностью и мягкостью отличался, с сельчанами не гнушался говорить, в темных делах родителя, когда тот жив был, участия не принимал, во всяком случае старался от них увернуться. Видел также, что к брату

Василию его тянуло, и тот про него немало доброго говорил. Надеялся Василий: со временем Архип его сторону примет — против родичей пойдет. И Кешка надеялся, оттого вопрос напрямую задал, думал, пере-мозговал свою жизнь Архип, поговорить пришел. Ока-залось, не за тем пожаловал. Ломал голову и никак уразуметь не мог, что привело Архипа к ним в дом. Вспомнил лицо Марии: испуганное, белое. Так глядела на дядьку, будто чего-то ждала. А может, тот какую-нибудь весть от Ефрема принес?.. С месяц назад, по-мнится, Ерми вернулся из тайги и, злясь на себя, со-общил, что проворонил своего злейшего врага: покинул Ефрем банду, вверх по Амуру на лошади ускакал — не догнал его гольд. Тогда все решили: надоела Ляхову таежная жизнь, бросил Лысуху и в город подался. На-всегда из этих мест ушел. И Кешка в то уверовал. А теперь что же? Получается, обманулись мужики: Еф-рем вернулся, а может, никуда не уезжал — ошибся Ерми. Затекает что-то бывший поручик. Скорее всего Марию заманивает, чтобы к нему в банду ушла. И она, возможно, связь с ним через дядьку Архипа имеет, мается, не знает, что предпринять. Не мудрено: под сердцем его ребенка носит.

— Нет, не может быть!.. — в тоске выкрикнул Кеш-ка, отгоняя дурные мысли о Марии.

Селение староверов находилось на полуострове сре-ди непроходимых марей. Узкий перешеек соединял его с сушей, но и тот был покрыт водой. Не знающему эти места попасть в селение было невозможно. Но зимой, когда мари замерзали, доступ открывался. Это и по-будило общину покинуть насиженное место — побес-покоили пришлые бедовые люди.

Атаману Лысухе селение указал Ерошка Кудлай. Банда его спасла, он, в благодарность, и поведал о се-лении. Грабя одну из деревень, казаки нашли в сарае связанного по рукам и ногам горбуна. Сельчане пой-мали его накануне с поличным — двух свиней заре-зал — и оставили под замком до утра, решая, какой казнью извести грабителя. Если бы не Лысуха, не ми-новать бы Ерошке проруби. Долго отбивал поклоны горбун, а за чаркой рассказал о покинутом старовера-ми селении и о брате Фроле, который жил в зимовье неподалеку от Черных марей. Когда Лысуха услышал,

что о селении даже не все местные старожилы знают, решил: лучшего лагеря для «свободного войска» не найти. К тому же зимовье Фрола-косорыла стояло на пути к перешейку — значит, летом тот будет вроде сторожа, а зимой атаман по воинским уставам поставит посты и дозоры...

В просторной избе, которую Лысуха окрестил «воеводской», жили атаман и первый есаул Ляхов.

— Павел Илларионович Богородов — бестия!.. — смеялся Лысуха, выслушав рассказ Ефрема о Хабаровске. — По взрыву электростанции узнаю шельмеца!..

Кадет (так называл Лысуха безусых юнцов-казаков) убрал со стола остатки ужина, установил кальяновый прибор возле низкого ложа, покрытого домотканым ковром, на котором развалился атаман.

— Благодарю, брат кадет!..

До появления в здешних местах Лысуха служил в Семиречье, у атамана Анненкова, боготворил его и подражал ему во всем. В войсках Анненкова было принято обращение «брат солдат», «брат офицер». И Лысуха ввел в своей банде такое же. Головорезам это очень понравилось. Только Ляхова, когда тот пришел к нему, выделял, называя по имени и отчеству, а это уже льстило Ефрему и было на руку — подобным обращением атаман как бы ставил его над всеми.

Кадет вышел. Лысуха раскурил кальян — запахло пережженной коноплей. Ефрем знал слабость Леонида Владимировича: в табак добавлялась добрая порция гашиша. Сморщился и закурил папиросу.

— Ах, Павел Илларионович, Павел Илларионович!.. — нарочито сокрушался атаман. — Да будет земля ему пухом!..

— Живехонький! — смеялся Ефрем.

— Умрет, куда денется... — Наслаждаясь дурманящим дымом, продолжал: — Убрался в отставку в четырнадцатом, в самом горячем году для России. Все честные русские шли в армию, на бой с немчурой, а Богородов — в отставку по болезни. Понимаете? Полковник с геморроем тоже полковник, а он, бестия, в отставку.

Ляхов хохотал. Лысуха, делая глубокие затяжки, входил в раж:

— Пала монархия. Остался не у дел. Временное правительство Керенского предложило ему новый пост

и личный автомобиль. Он согласился, но через месяц, когда запахло жареным, сослался на обострившийся геморрой, подал в отставку и на казенном авто укатил в свой родной Переяславль... — Посерьезнел и добавил: — Дай бог, чтобы на Руси больше никогда не появлялись дураки Керенские!..

Ефрем ухмыльнулся. Атаман продолжал:

— Не знаю, что Богородову предлагали Советы, наверное, обошли, но он хвастал — предлагали. Отказался. Слишком большой риск — за стяжательство большевики карают строго. А вот Колчака надул. Сказал, что, будучи в отставке, не дремал, думая о будущем России, создал по системе японской разведки агентурную сеть в городах по всей Волге. Колчак назначил его начальником контрразведки корпуса. Через пару месяцев под предлогом проверки связей Богородов отправился в тот же Переяславль, не забыв прихватить с собой казну и кое-какие трофеи из обоза. Телеграфировал о кризисном обострении геморроя — и не вернулся. — Лысуха закрыл глаза и с пафосом, как правский артист, произнес: — С каким наслаждением я читал о молодом лейтенанте Сашке Колчаке! Ему надо было вечно служить на шхуне «Заря» и до конца своих дней отыскивать призрачную землю Санникова!..

Голова атамана тряслась — гашиш делал свое дело. Набывчившись, глядел на ярко-красные узоры ковра, презрительно скривился:

— Будто свинью резали... — Что-то вспомнил и померчал. Хрипло сказал: — А у людей цвет крови разный — бывает белая, бывает пегая... К примеру, у Евана Фишелевича Азефа... Впрочем, никто не знает цвета его крови, а жаль!

Посмотрел на Ефрема, пытаясь по выражению лица понять, слышал тот что-нибудь об Азефе или нет. Так делал всегда: удостоверится в невежестве — и ведет рассказ с удовольствием. Не врал. Познаниями удивлял. Особенно любил говорить о социалистах-революционерах, знал о партии все с самого ее основания.

Ефрем впервые слышал об Азефе. Атаман понял это и стал рассказывать о знаменитом эсере, одном из лидеров партии, одновременно служившем секретным агентом департамента полиции: готовил убийство министра внутренних дел Плеве — и выдал охранке съезд партии; проводил покушение на Великого князя Сергея

Александровича — и сдавал полиции состав «боевой организации» партии. В девятьсот восьмом году был разоблачен, но скрылся.

— Умер в Берлине в девятьсот восемнадцатом. К сожалению, своей смертью. Карающая рука партии не добралась... Каких людей загубил, оборотень!

Он, забыв про кальян, смотрел куда-то в угол, глаза не мигали. Ефрем понял, атаман вспоминает какие-то горестные события, а может быть, людей. Прикурил новую папиросу и тоже задумался. Вернулся памятью в Хабаровск. Неразбериха! Черт ногу сломит в том хаосе. Социалисты, большевики, анархисты, а то и вообще сброд, не причаливший ни к какому берегу. Митинги, собрания и просто пьяные сборища... «И там, наверно, оборотней хватает, — подумал — Живут по принципу «только себе», лишь бы хапнуть, обогатиться. И при этом во всю глотку кричат о спасении России».

— Одним из основателей «боевой организации» эсеров был мой отец — Владимир Леонидович Лысов... — донесся до Ефрема глухой, осипший до хрипоты голос атамана. — Казнен по доносу Азефа...

Ляхов вспомнил, как полковник Богородов говорил об отце Лысухи-Лысова. «Фигура, видать, была приметная», — отметил Ефрем. А атаман, сбросив тяжелые думы, с упоением рассказывал об отце: как привязывал бомбы к экипажам, бросал гранаты в спальни, стрелял.

— Друг Богородова. Не могу понять, что их роднило... Я — в отца! Эсер. Боевик. Люблю драться со стихией. Она сильнее меня — приятно сознавать, что бьюсь с ней на равных!.. — Ему стало жарко, снял френч.

Ефрему было интересно слушать Лысуху, открывал новое, непознанное и копил про запас. Как ни гневался на своего отца за содеянное им, а завет унаследовал: из услышанного пользу извлекай — авось применить придется. Лысуха, снова попыхивая кальяном, спросил:

— Кто правит этой так называемой Дальневосточной республикой?

— В основном большевики.

— Значит, не вся власть у них в руках?

— Им одним такое не под силу, — сказал Ефрем

и, вспомнив разглагольствования Витоля Драгова, продолжал: — К примеру, на пост министра финансов приглашен в прошлом крупный финансист и бывший генерал Болдырев. Также поговаривают о замене главкома — вместо Эйхе будет Блюхер, когда-то служивший в царской армии младшим унтер-офицером...

— О таком не слышал, — сморщившись, перебил Лысуха. — Но если большевики назначают командующими своих армий младших унтеров, их дела плохи... Что же касается Болдырева, то это личность известная. В девятнадцатом возглавил правительство Уфимской директории. Соперник Колчака. Но Колчак его обскакал — подчинил Уфимскую директорию, по сути — ликвидировал. Болдырев уехал в Японию и оттуда созерцал события в России... Теперь, как видим, вернулся и снова хочет быть у дел. Только на службе у красных. Неужели перекрасился? А может статься... — не договорил, повернулся на бок и, выпучив на Ляхова глаза, стал орать: — Все хотят прославиться! Любыми средствами, даже нечистоплотными, как полковник Богородов. Только одни гонятся за чинами, урывают барыши — и уходят в небытие! Другие, очертя голову, дерутся за идеи — и попадают в легенды!.. — Он неожиданно умолк. Дышал тяжело, дикие глаза блуждали по комнате. Тихо и рвано заговорил снова: — Христос погиб... прибитый к доске гвоздями... Пошлая смерть... И надо же! До сих пор люди расшибают лбы об пол, молясь ему. И верят!.. — Вдруг, будто очнувшись от бреда, посмотрел на Ефрема и спокойно сказал: — У нас с вами какой бог? Какая вера? Во что и в кого?.. Ни бога, ни веры, ни идей. В нас — злоба и ненависть!.. Знайте, Ляхов, злобой и ненавистью идеи не убьешь, даже если против нее ополчится весь мир. Все — в небытие!..

Он рухнул на ложе, лежал без движений, казалось, спал. Ефрем, потрясенный высказываниями атамана, воззрился на него. Тлела зажата в пальцах папирosa, дым тонкой струйкой устремлялся вверх.

— Забыл о Витоле... — елозя лицом по ковру, застонал Лысуха. — Кажется, Драгов?

— Застрелился, — сухо бросил Ефрем.

— Дурак!

— Жалко корнета... — насупился Ляхов. Он не стал рассказывать о смерти Витоля — не хотел раскрывать своей причастности к ней

...В ту ночь, когда они бежали от патруля и укрылись в доме пани Матильды, умер Стефан Берязовский. Ночь была бессонной, и Ефрем ушел утром с головной болью. Бродил по улицам. Часы на башне пробили полдень. Вспомнил о назначенном свидании, спросил у первого встречного, где находится кофейная «Бельведер», и зашагал в указанном направлении. Элиз уже была в кофейной. Встретила его очаровательной улыбкой, в глазах — блеск, маленькие ноздри чуть подергивались. Ефрем понял: она была искушенной в любви. Без церемоний пригласил к себе... За стеной лежал мертвый пан Стефан, голосила хозяйка. Ефрему стало неловко, что притащил Элиз сюда. Но она даже не смутилась. «У любви и смерти объятия одинаковые», — улыбочиво сказала... На следующий день Ефрем рассказал обо всем Витолу. Хотел открыть глаза юнцу, вселить мужество и презрение. Но тот побежал к Элиз. Она назвала его безусым котенком. Оскорбленный, Витоль застрелился на пустыре, где они видели драку собак. «В смерти моей никого не вините, я потерял идеал и умер за него», — гласила записка...

— Жалко корнета...— повторил Ефрем.

— Слюнтяй он!

— А если застрелился за идеалы?

— За идеалы борются. Погибают. А стреляются дураки! — Лысуха приподнялся, голова его тряслась, зрачки расширились. — Нужно жить и бороться до конца. Если даже завтра казнь, сегодня надо бороться! И мы с вами будем жить. Пусть Богородов из-за угла стреляет, пускает красного петуха, а мы к нему не пойдем. Останемся здесь, потому, что здесь мы — цари, там — пешки! Его приказы для нас не указ.

Лысуха откинулся к стене и затих. Рубаха взмокла от пота. Расстегнул ее, почесал грудь. Когда убрал руку, Ефрем увидел на груди татуировку: крест, под ним череп и скрещенные кости, а вокруг всего — две змеи. Лысуха заметил его взгляд, ткнул пальцем в татуировку:

— Метка «Братства степных кондотьеров», организованного Анненковым. Такие отметины были у всех. Отсюда — круговая порука. Давали клятву: «С нами бог и атаман! Бог на небе, атаман на земле». Шикарно, правда?..

Ефрем не сводил с него глаз, не знал, что ответить. Порой Лысуха ставил его в тупик, и он терялся: «Говорит правду? Притворяется? Провоцирует?..»

— Думаете, изменил, а теперь бахвалюсь преданностью? — продолжал атаман. — Не бахвалюсь. Конец кондотьера — виселица. Я убежал от нее. Пусть предал, но выжил. А сам Анненков? Запахло паленым — и бросил Колчака, бросил Россию! Удрал в Маньчжурию. А я — в России! Я не кину ее... — на глазах появились слезы, щеки затряслись. — Она вечно будет со мной, и я с ней навечно...

Ефрем знал, сейчас атаман станет плакать и сочинять стихи. Так было всегда после гашиша. Лысуха не просто любил слезы, он черпал в них вдохновение: когда ревел кто-нибудь, особенно бабы, он улавливал никому не слышные нюансы и сочинял стихи...

Сон не шел. И все этот чертов Лысуха — расслаблялся, еле уgomонился. За окном светила луна, отражаясь в кривом стекле, играла на потолке — длинный луч покачивался, дергался. Ефрем лежал, уставившись на этот луч, казавшийся ему лезвием клинка. Чудился строй народоармейцев, который видел на Муравьев-Амурской в Хабаровске, строй натыкался на лезвие, народоармейцы, корчась, таяли в его блеске, а на смену шли новые колонны. Им не было конца. Ефрем приходил в ярость. Рука, будто намахавшаяся клинком, не поднималась, плечо ныло.

— Мария!.. — позвал.

Последнее время не вспоминал о ней — прежняя страсть утихла. Но сейчас звал. Казалось, она одна могла помочь, спасти. «От чего?» — мысль молнией обожгла мозг и исчезла... Мария сидела перед зеркалом, расчесывала золотистые волосы. Окликнул. Бросилась к нему. Она была в рубашке, и он ощутил ее настолько близко, что мгновенно забылось родство — полетел в пропасть...

— Дворник его крюком — и в помойную яму, — вдруг явственно услышал голос пани Матильды.

Он вскочил. Ошалелыми глазами смотрел по сторонам. Увидел Лысуху. Тот, раскинувшись на своем ложе, спал. Голова запрокинута. Ефрем смотрел на жилистую шею атамана, и желание сдавить ее охватило его. С трудом совладал с собой. Потер рукой по пы-

лающей голове. «Нельзя. Казаки, может, поверят в естественную смерть, но есаулы разорвут — связаны круговой порукой. — Пришла ободряющая мысль: — Нужен напарник. Напарник!..»

Он лег. Вспомнился пан Стефан Берязовский, польский подданный, мечтавший устелить пушниной дорогу от Хабаровска до Польши. «Почему люди всегда лелеют несбыточные мечты? Тужатся, лезут из кожи, полагая, что еще немного — и они у цели. А на самом деле все дальше уползают от нее». Нашарил на чурбаке, служившем тумбочкой, портсигар. Горький дым не успокаивал. Неужели и его мечты несбыточные? Овладеет отрядом, уйдет в Приморье к генералу Вержбицкому, но не случится ли с новым кумиром то же самое, что с прежним — Каппелем?.. Явственно увиделся брат Василий: примостился на камне, сматывает лесу на удилище, улыбается. Голос спокойный, твердый, будто в обезноженном обрубке затаилась необыкновенная сила... Красные и белые — одинаковые люди. Русские. Дерутся, не щадя живота своего. На разрыв хлещет единая кровь. И все ради счастья России. Пусть понимают его по-разному, но ведь — счастья!.. «А если оно несбыточное?» — подумал, и его охватил ужас.

От порыва ветра стекло задрожало, и лезвие клинка на потолке затрепыхалось, словно сраженный хозяин выпустил его из рук. Ефрему чудились лица однополчан — почему-то только погибших. Среди них был и он. Снег падал на голое тело и не таял. Померещилась пьяная рожа дворника. В руках — железный прут, согнутый на конце. Крюк приближался. Ефрем тужился изо всех сил, чтобы уползти, и не мог сдвинуться с места...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вьюга рыскала по дворам, металась по закоулкам, будто искала кого-то и, не находя, свирепела.

Марии казалось, что начался вселенский ураган — подхватывал ее, швырял и нес куда-то. Бабка Юрашиха и повитуха не отходили от кровати. Она лежала бледная, с искусанными в кровь губами...

Под утро пришел Кешка, стряхнул снег с валенок, снял шапку и, словно боясь пройти дальше, топтался у

порога. Мария — умаявшаяся, обессиленная — лежала с закрытыми глазами. К ее груди присосался младенец. Разомлевшие старухи чинно сидели за столом, пили чай, настоянный на душистых травах, которые повитуха ради счастливого случая принесла. Бабуляка предложила и внуку погреться с мороза. Он скинул кожух, сел за стол.

Бабка Евникия неторопливо прихлебывала, громко почмокивала — сделала благое дело и была довольне-хонька. Принялась вспоминать роды, которые пришлось принимать на своем веку. Не стеснялась в выражениях, во всех подробностях рассказывала. Кешка от неловкости ерзал на лавке, все дальше сдвигая скатанный тюфяк, — Анюты и Митяйки дома не было, ночевали у деда Маркела, а Иван под предлогом важных дел ушел на ночь от Маркела к Грозовым. Бабуляка подносила к губам блюдце, поглядывала то на Марию, то на Кешку и смигивала слезы. Повитуха перечисляла имена новорожденных, некоторые повторяла — особливо нравились. Кешка догадался, что она выбирала имя, которое хотела посоветовать Марии для сына. Бабуляка робко встряла в разговор, вспоминала род Юрашиных. Повитуха стала возражать. Слово за слово — и заспорили. Спор обернулся руганью. И тут раздался голос Марии:

— Никоном будет!

В комнате воцарилась такая тишина, что Кешке казалось, все слышат биение его сердца. Испуганно взглянул на Марию. Она улыбнулась, нараспев произнесла:

— Никон... Иннокентьевич...

Ему стало чертовски приятно: наконец-то заговорила и мужем признала. Долго ждал, мучился, думал, настанет этот час — радости конца не будет. Но имя! Наречь младенца Никоном — что ножом под сердце ударить: вся деревня смехом да злобой изведется, от Кешки, как от прокаженного, шарахаться станут. Что же она делает, окаянная!.. Смотрел то на бабуляку, то на повитуху — помощи просил. Те молчали, сидели будто окаменелые. Он вдруг представил, что станется с Иваном, когда тот про имя новорожденного узнает... Тряхнул головой, кошмарное видение отгоняя, на Марию уставился. Она, будто не замечая его состояния, улыбалась сыну, сосавшему грудь. Кешка встал, хотел на колени упасть, умолить Марию изменить имя новорожденному. Не успел. На улице раздались выстрелы.

Старухи испуганно крестились. Мария, прижимая младенца к груди, в ужасе смотрела на дверь.

— Ефрем!.. — прошептала и подивилась: раньше ждала его, надеялась, что придет и избавит от мук, вызовет из этой дыры, а сейчас, после родов, не желала его видеть — страшилась.

Кешка выхватил наган и выскочил из комнаты.

Со всех сторон на пустырь сбегались мужики — заспанные, суматошные. Денис, Гаврюха и Федька, оббежав посты, вернулись ни с чем — кругом было тихо.

— Кто стрелял?! — рявкнул Иван.

Мужики, переговариваясь, поглядывали друг на друга — не знали, кто устроил переполох.

— Кажись, у Букиных палили!.. — кто-то робко сказал.

— У них, — подтвердил Дмитрий Копытин. — Моя Федотья слыхала — ушастая.

— Спит и слушает, как бы гусь однолапчатый к молодой гуське не упорхнул! — не преминул сострить кто-то.

Иван зашагал по дороге, за ним двинулись мужики. В дверь дома Букиных стучались долго. Никто не открывал. Стали колошматить разом во все окна. Засветилась лампа, вскоре дверь открылась. Перепуганная Дашка, жена Макара, впустила непрошенных гостей, и мужики гурьбой ввалились в дом.

В комнате кавардак: стол перевернут, на полу разбитая бутылка, остатки еды, стаканы. Иван догадался, здесь что-то произошло, и Макар, лежавший на кровати, притворялся спящим. Стал расталкивать его.

— Умаявшись... — начала было Дашка, но Иван так глянул на нее, что она посперхнулась.

Макар с трудом оторвал голову от подушки. — лицо исцарапано, под глазом синяк. Увидев мужиков, пьяно ухмыльнулся:

— Здоров, робяты!..

— Встань! — приказал Иван и тут же обратился к Денису Долову: — Тащи сюда Агафона!

Денис и Кешка пошли к двери, ведущей на другую половину дома, но их опередил Гошка Громов — первым выбежал из комнаты. Иван смотрел на дверь, недавно прорубленную в стене. Когда жили старики Букины, дом был поделен на две половины, со своими ходами с улицы: одну половину занимали родители, другую — сыновья. После смерти стариков братья Макар

и Агафон думали весь век прожить в мире и согласии — прорубили дверь, соединив воедино и дом, и семьи.

Иван скрутил сигарку, прикурил от лампы, стоявшей на комодѣ, и воззрился на Агафона. Тот, в исподнем, стоял трясущийся, жалкий.

— Отбрыкивайся, Агафон Кириллович! — строго сказал Иван.

Агафон только хлопал глазами. Макар хихикнул, его качнуло — припал спиной к печке. Иван саданул кулаком по подоконнику:

— Пили, шкуры?!

— М-малость... — промямлил Макар.

— И драку учинили! — грозно говорил командир. — На рожу свою глянь — словно наждаком скребли! А у Агафона губы, что переваренные пельмени — вот-вот развалятся!.. Про что спор вели?

Агафон хотел что-то сказать, но, махнув рукой, вздохнул и отвернулся. Макар, вскинув голову и выпятив грудь, сделал шаг вперед.

— З-за... З-за любовь бились! — выговорил и ослабился.

Иван опешил:

— За какую любовь?..

— Она у нас не та, — размахивал руками Макар. — Не та — и все тут...

— Толком говори!

— Говорю... — Макар ткнул пальцем в сторону брата. — Он любит мою Дашку, а я евонную Ольгу. И все тут!..

Иван растерянно глядел на мужиков, а те, ошарашенные, глядели на него. Дашка и Ольга, притулившись к косяку двери, уткнулись лбами и хлюпали. Иван неуверенно спросил:

— А вы, бабы, как?..

— Наоборот, — прогундосила Дашка.

— А мы поменаться хотели, — наконец молвил слово Агафон.

Иван швырнул недокуренную сигарку на пол:

— Что же вы, сучьи дети, удумали? Такой хреновины отродясь не встречал... И чего мордовались?

— А мы — ни-ни... — покачал головой Макар и показал на баб. — Это они нас...

— А стрелял кто?

— Я... — робко сказала Ольга.

— Мать честная!.. — Иван заходил по комнате. — И в кого, умная голова, палила?

— В небо. Выскочила на крыльцо и два раза бабахнула.

— Из двух стволов, значит? — крикнул Иван и, не зная, что делать, озираясь по сторонам.

— Я бы еще бабахнула! — оживилась Ольга. — Дашка не дала.

Иван плюхнулся на табурет, снял папаху, погладил взмокшую голову, вопросительно посмотрел на Дениса. Тот пожал плечами: тоже не знал, что делать.

— Тащи доски! — вдруг приказал Иван.

Мужики побежали на улицу. Агафона и Ольгу выдворили в другую комнату, и вскоре дверь, соединявшая две половины, была наглухо заколочена.

— Вот так! — заявил Иван обомлевшим Дашке и Макару. — А с вещичками опосля разберетесь!..

Он затопал к выходу, мужики, смеясь и переговариваясь, потянулись за ним. Только Кешке было не до смеха, думал о своем: узнают люди про имя сына Марии — потеха повеселее этой будет, и неизвестно, чем кончится.

Архип, собрав берданку, осматривал со всех сторон, похлопывал да поглаживал — дивился своей работе. Теперь главное — опробовать, не подведет ли. Хотел сказать матери, что отныне другая жизнь пойдет — непременно живность в тайге добудет, — но на улице загремел лемех, зазывал на сход. Он заторопился, накинул тулуп, папаху в руки — и за дверь. Христинья удивленно смотрела ему вслед.

Железный звон назойливым гудом резал слух, казалось, морозный воздух потрескивает. Архип спустился с крыльца, пошел к воротам, но, заметив открытые двери коровника, повернул к нему. Чем ближе подходил, тем острее чувствовал запах переворошенного старого навоза. «Еще корову не пригнал, а они уже порядок наводят», — подумал о девчонках. Накануне им сообщил, что днями отправится в Тамбовку к другу Сычову, которому корову доверил на сохранение: вернется из Харбина — заберет, если не вернется — пусть тот пользуется да поминает добрым словом. Предусмотрительно поступил, как в воду глядел: в теперешнем положении корова спасительницей окажется. Он во-

шел в коровник. Юлька, вскрикнув, метнулась в сторону, а у столба остался стоять долговязый парень с вилами в руках. Он и Архип оторопело глазели друг на друга. Парень был старше Юльки, а может, Архипу так показалось — в тени рыжая борода выглядела темной, и лицо вроде в складках. Парень, подкашливая, поставил вилы к стене, взял винтовку, надел на плечо.

— Извиняйте, Архип Никоныч... Одной ей трудно. Помогал. Чай, не грех...

Поправил шапку, которая была явно мала ему, и прошел мимо Архипа. Юлька, предчувствуя беду, заплакала, Архип глянул парню вслед, в глаза бросились две заплаты на штанах — большие и разного цвета, — от ходьбы поочередно двигались, словно дразнились. Архип криво ухмыльнулся:

— Жених, твою налево!..

Юлька, размазывая слезы, забилась в угол.

— Чего, телка, реवेशь? По сестриной дорожке пошла?

— Нет... — хлюпала Юлька. — Он хороший...

— Все хорошие до определенного момента. А опозит — позор на мою голову ляжет!

— И нет! У него в мыслях такого не водится. Он как брат мне.

— Все кобели одинаковые — ласкаются, плачутся, сиротками да братьями прикидываются, ждут, когда их пожалеют. А опосля ноги в руки — и поминай как звали. — Архип подошел к Юльке. — Из головы его выбрось! Не выбросишь — выбью!

Взял ее за плечи, повернул к себе. Она выскользнула из-под руки, но, вместо того чтобы убежать, прижалась к нему.

— Теперича ты вместо отца мне, сам сказывал...

— Вот я по-родительски и...

— Зла желаешь? — перебила его и вскинула глаза. — Наш родитель во всем худое видел. И ты тоже?

Он не выдержал ее взгляда, потупился. Вспомнил брата Демьяна, его большие кулаки — за дело и без дела дочерей колотил. Обмяк, погладил Юльку по спине:

— Не бойсь, пальцем не трону. Не заведено у меня так, чтобы баб бить. И Варвару не бил, и до Верки не притрагивался... Только брось его. Не пара. Не наш он.

Архип пошел к двери. Юлька затрусила следом, догнала и схватила за рукав.

— Теперича знаю, что отцом моим стал... — В глазах сверкали искорки. — Думала, просто так сказал, понарошку, а ты всерьез... И Гаврюшу не забижай. Он бабушку и меня при пожаре из огня вытащил...

На пустыре собрался народ. Иван Юрашин, расставив ноги и держась за широкий поясной ремень, стоял на подводе, ждал тишины. На краю подводы, ссутулившиеся, словно побитые, жались друг к другу братья Букины.

— Начинай, чего волынку тянешь! — крикнул кто-то.

Архип, стоявший в последнем ряду, только сейчас понял, какую глупость совершил: на радостях, что починил берданку, слышал звон лемеха и забыл об ушедшем времени, приперся, будто к сходу голодранцев интерес имел. С горечью сплюнул, повернулся, чтобы уйти. От его дома шел долговязый парень, с которым повстречался в коровнике. «За сараем прятался, ждал, когда Юльку бить стану. Небось вступился бы, — благодушно подумал Архип и тут же озлился: — Я бы эту рыжую бороденку с корнями повыдергал!» Отвернувшись от приближающегося Гаврюхи Горелого и поневоле стал слушать Ивана.

— Граждане! — обратился к народу Юрашин и показал на братьев Букиных. — Перед вами красные бойцы, а дела и мысли у них черные. Этим они наносят огромный урон революционной чистоте, пихают наше дело вспять!.. Никто их на охоту не отпускал, а они ушли тайком. За это их отвели под домашний арест — пусть одумаются. А они что под арестом делали? Первым делом — гнали самогон. Да еще из того самого зерна, которое отряд взял с боями и кровью! Вторым делом — жрали его до помрачения. Дохлебались до того, что затеяли третье дело — паскудное, можно сказать, буржуйское, значит, для нашего общества непотребное!.. Что же получается? Полная хреновина с загогулиной!.. Семья — и в революции семья. А посему никто не смеет менять жен или мужей по своему хотению. Да еще когда все пьяны вдрызг. Верно говорю?

Толпа одобрительно загудела, хотя многие из речи командира ничего не поняли. Елизар Клюкин выдвинулся вперед:

— А ежели по-трезвому, то, выходит, можно? Ежели

холостые да вдовы — значит, можно с кем попало? К примеру, Проська Жмыхова. И Ефрему Ляхову сапоги лизала, в том ее добровольное признание было, и брата его Савку привечала. Контру на своих жирных сиськах содержала, а теперича бойцам революции их в рот пихает...

— Замолкни, шкура! — закричал Федька Лапоть.

— Во!.. — подхватил Клюкин. — На воре шапка горит! Кажинную ночь к ей бегают. Може, скажешь, валенки катаете из рыбьей шерсти?

— Все скажу! Только сперва Елизару по рылу съезжу...

— Стоп! Не смей, Лапоть! — Иван побагровел, еле сдерживая себя, сказал: — В оправдание свое говори, остальное — не позволяю!

Федька, ринувшийся было к Елизару, резко повернул и подошел к подводе, обратился к толпе:

— Грешен, чего там... Пришлый я, вы лучше знаете гражданку Жмыхову Апросинью Даниловну... Только я ей посочувствовал и окромя хорошего ничего в ней не обнаружил. Она без Клюкина все мне поведала, как на духу покаялась, оттого, братцы, возымел я к ней небывалую симпатию... Верно ты, командир, сказал: семья и в революции семья. И мы с Апросиньей Даниловной хотим состоять в законном браке, на что просим разрешения у тебя и благословения у людей. Решайте...

— Чо решать?! — заголосила Проська. — Никому тебя не отдам!

Она, растолкав мужиков, бросилась к Федьке, обхватила, прижала к себе. Люди хохотали:

— Не раздави плюгавенького!

— Под подол его — и неси домой!

Раздался выстрел. Толпа замерла. Проська в страхе глядела на Ивана. Тот, пряча маузер в кобуру, улыбчиво сказал:

— Салют твоей свадьбе, Апросинья Даниловна!

— Не передумаешь?

— Вот те крест!.. — Иван, смеясь, размашисто перекрестился.

Апросинья подхватила под руку Федьку и под общее улюлюканье потащила в толпу. Елизар зыркнул на Ивана и тут же изобразил на лице улыбку, решив, что не след неприязнь командиру выказывать, заметит — отгонит от себя. Юрашин повернулся к братьям Букиным, по-прежнему стоявшим на краю подводы: в

общем веселье не участвовали, жалостно взирали по сторонам — знали, что Иван про них не забудет.

— Так чего с этими героями делать? Небось не знаете? И мы, должен признаться, до самого последнего часа не знали. — Он кашлянул, подтянулся и произнес приговор: — Поскольку обмена женами у них не получилось, так сказать, не доведено до срамного конца — пусть спасибо женам скажут, и, учитывая отсталость их взглядов, предлагаю Макара и Агафона Букиных высечь принародно, чтобы наперед им неповадно было к буржуйским замашкам прибегать.

Он подмигнул деду Маркелу, который стоял у угла кузницы, в сторонке от всех, будто касательства к делу не имел. Тот шагнул к подводе, распахнул армяк и достал упрятанные под ним прутья лозы. По толпе побежал ропот — кто смеялся, кто ругался. Иван крикнул:

— Раздевайтесь, родные мои братишки, до самых что ни на есть последних подштанников! И чтобы об вас, чертей, не марать нам руки, всыпьте друг дружке по пяти горячих!

Агафон, познавший характер командира — решения не изменит, не дай бог, чего дурнее еще придумает, — под общий хохот стал стягивать штаны.

Архип, глядя на эту потеху, смеялся со всеми.

Кешке теперь не хватало дня: бегал, старался — помогал бабам по хозяйству, еду доставал. Сговорился с повитухой, что дров ей привезет, а она за это отплатит молоком. Дед Маркел подсоблял парню, вместе на делянку ездили, бревна пилили, кололи дрова и в поленницы во дворе бабки Евникии складывали. На улице Кешку улыбочиво люди встречали, поздравляли с первенцем, спрашивали, как назвал. Он конфузился — не только лицо, но и уши огнем горели, — мялся, бурчал, что еще не надумали. Бабуляке и Анюте запретил имя новорожденного на людях произносить, в тайне пусть будет; может, удастся Марию уломать — смилостивится и переменит. Пробовал говорить с ней, но она слышать ничего не хотела:

— Женой верной буду, остального — не требуй!..

С каждым днем тревожнее на душе у парня становилось. Понимал, что рано или поздно тайна наружу выплывет — светопреставление начнется. Поведал о своей тревоге деду Маркелу. Тот спокойно сказал:

— Никон, значит, Никон. Без разницы. Пушай растет. Сподобься человеком его сделать — в этом соль!..

Кешка успокоился. Но разговор с братом снова переполошил парня. Иван, будто ненароком оказавшийся возле колодца, где Кешка воду набирал, без обиняков начал:

— За старое не серчай. Ежели откровенно, то и нонче симпатии к твоей жене не имею. Но поскольку я твой командир, а ты мой боец, скажу: образумь, глядишь, вреда от нее не будет.

— Какой там вред!

— Не скажи! Она Ляхова с головы до пят. Кто ее воспитывал?.. — Глянул на Кешку, звонко щелкнул языком: — То-то и оно! Никон Демьяныч воспитывал — этого не забывай и ручательства покуда за нее не давай. Может, только затаилась, откуда нам ведать? Недобитая контра чего хочешь выкинуть способна.

Кешка не возражал, только сопел. Брат что-то еще говорил, но он не слышал его, об одном думал: как беду от дома отвести — узнает Иван про имя мальчонки, разъярится. От напряжения даже застонал парень.

— Хвораешь? — спросил Иван.

— Нemoжется, — с трудом выдавил Кешка.

Мария ходила по двору, снимала с веревок задубелое белье. Стылый ветер обдавал оголенные руки, становилось зябко. Погода была переменчивой: утром солнцем одаривала, вечером вьюгой потчевала, а весь день металась, перемежая тепло с холодом, будто не знала, чему предпочтение отдать. И сейчас, разогнав тепло, колючим ветром обжигала. Лязгнула калитка. Мария увидела Елизара Клюкина и торопливо насадила на веревку засаленные прищепки, еще небось мужем бабки Юрашихи сработанные. Ушла в дом. Клюкин матюгнулся вслед, малость подумав, вошел в сени, постучал костяшками пальцев о косяк. Дверь открыла Юрашиха.

— Ишо стучит, как гость заморский!.. — проворчала.

— К госпоже жалую... — ехидно сказал Елизар и зыркнул на Марию. Подмигнув Анюте, пеленавшей глиняную куклу: — Почивать укладываешь после сытного обеда?.. А где хозяин?

— Кажись, у Маркела, — ответила Юрашиха.

— У повитухи, — поправил ее Клюкин. — Он ей двор вылизывает, коровник чистит...

— Разве грешно?

Елизар не ответил, покачивая головой, тонко засмеялся. Мария старалась не глядеть на него, боялась, не выдержит и сорвется, огреет чем-нибудь тяжелым. Ему-то поделом, а Кешке неприятности. Он достал из-за пазухи сверток.

— Иван Игнатьевич гостинец прислал. Козу добыл. Доля малая, но малышам сгодится, особенно тому... — показал глазами на люльку, подвешенную к потолку. — Отнеси, говорит, богатырю нашему красному!

Марию передернуло, враз гневом налилась:

— Моему Никону подачек не надобно!

Он, услышав имя младенца, опустил на лавку. Открыв рот, глазел по сторонам, будто разумом сдвинулся и никого и ничего не узнавал. Юрашиха, понимая, что Мария нарочно имя сына сказала, чтобы досадить Клюкину, а заодно и Ивану, засуетилась возле стола, предлагала гостю чайком побаловаться. Елизар пришел в себя, заглянул в люльку и спросил Марию:

— Не забываешь дела?

— Свято чту!

— Это хорошо... — непонятно улыбнулся он.

В деревне только и судачили о Кешке, не было дома, где не говорили бы о нем. Всюду встречали его колкие глаза да острые языки — тыкали именем сына. Нашлись такие, что подсчет в родах сделали и определили: Иннокентий к отцовству отношения не имеет. Дед Маркел горой за парня стоял, с пеной у рта доказывал, что молодые в связи находились еще при жизни Никона Демьяныча — в сенокос тайком встречались. И про похороны Юстины, матери Марии, припомнил, когда Кешка по ляховской усадьбе слонялся, Марию разыскивал, а его к ней не допустили.

— Неужели слепые были?! — кричал он.

Его не слушали, отмахивались. Ползли новые слухи, обрастали небывальщиной.

И в доме Стригановых шли разговоры, — бабка Стриганиха и Степанида, мать Фотея, уличными сплетнями упивались.

— Нечестивцы!.. — прохаживаясь по комнате, трясла жирными телесами Стриганиха. — Она дитя нагуляла, а он своим признал и Никоном окрестил — во славу ирода!

— Бога забыли — потешаются! — вторила ей Степанида.

— А евоный брат, хошь и командиром зовется, скрозь пальцы смотрит...

— Може, причастен? Опузил Машку и подсунул братке.

— Не мог, тогда его здесь не было — с француза кожаные штаны сымал. А вот Лысуха мог — у Ляховых гостевал...

Дед Филимон не встречал в разговор — на то и бабы, чтобы людские косточки перемывать. Но когда пересуды затягивались, он громко крякал, и бабы утихомиривались. Отдохнув малость, снова заводились, и Филимон Алексеевич не выдерживал — брал клюку: в доме враз наступали тишина и покой.

В комнату вошла Феня, постучала валенками о порог — снег стряхнула, прошла к лавке и поставила на нее ведро с молоком. Бабка Стриганиха, краснущая, еще не отошедшая от злоречия, сняла белую тряпицу, покрывавшую ведро, и скривилась:

— Почему мало?

— Выпила, — глухо бросила Феня и, даже не удосужив бывшую свекровь взглядом, подошла к деду Филимону, тоскливыми глазами на него уставилась. Тот длинными костлявыми пальцами погладил седую бороду, ласково молвил:

— Иди, иди, Фенюша...

Она малость постояла, будто в раздумье, поправила платок на голове и пошла к двери.

На улице было морозно. Ступала медленно, сухой снег скрипом отзывался под ногами. Недобрые мысли одолевали: не сложилось у нее с родителями — вроде они есть и в то же время нету. Редко к ним навещала, потому осуждали ее люди, правда, в глаза ничего дурного не высказывали, но за спиной, точно знала, оговаривали. Не ведали правды, оттого и чесали языки. А она редко навещала родителей, потому что ругани и скандалов, которые устраивал отец, хотела избежать. Последнее время вовсе не ходила. И вот пришлось — сильно захворала мать... Феня взялась за ручку калитки, и тут голос Филимона Алексеевича послышался:

— Погодь-ка...

Он стоял на крыльце, склонившись, опирался обеими руками на клюку, отчего казался согбенным. Стираная-перестираная, но аккуратно залатанная рубаша, потревоженная ветром, полоскалась на его худом теле. Феня жалостливо смотрела на него, понимала беспокойство: помирится с родителями, разжалобится — не вернется. А он, глядя мимо нее, тихо говорил:

— Из-за меня распри эти пошли, отец твой какой год сюда не хаживает и тебя не привечает. Свет ты мой в окошке... — тяжело вздохнул и вдруг заключил: — Ежели с матерью всурьез что, грех на душу не бери — оставайся.

Феня зажмурилась, а едкие слезы пробивались через уголки глаз...

Тюрины, родители Фени, богатеями не были, но и к голытьбе их не причисляли — трудились справно, себя кормили, в урожайные годы даже продавать кое-что ухитрялись. В общем, не бедствовали, а жили как-то не по-людски: все у них порознь было, будто на «мое» и «твое» делили. Разного натерпелась Елена Тимофеевна от мужа Аксентия и женой-то стала по-дикувинному. Часто вспоминала те далекие времена, когда свадьбу справляли, и не могла уразуметь, как она заключилась...

Тогда Аксенька женихался к Ленкиной сестре Надежде. Та старше была, и лицом краше, и стройнее — заглядение. Ни на шаг не отходил от нее Аксенька, даже по ягоды с подружками не отпускал — всюду только вместе. Дело к свадьбе шло. Заявились сваты, посередке жених с большим цветком на груди. Отвесили поклон родителям, и не успели сваты рот открыть, как Аксенька брякнул: «Жениться желаю на Елене вашей!» Что в доме было, Ленка не знала — в беспмятстве пребывала. И потом как во сне находилась. Очнулась только после свадьбы, когда Тюриной стала. Сестра Надежда их дом за три версты обходила, и родители почтением не жаловали. Не могла Елена привыкнуть к своему новому положению: не ругались вроде, спали в одной постели, а согласия меж ними не было. Замуж вышла по-дикувинному и жизнь прожила как с чужим мужем...

Феня, дочь единственная, словно падчерицей обоим приходилась — ни тепла, ни ласки не получала, только иногда мать прижмет к своей иссохшей груди ее голо-

ву и слезами омочит. Одно знала Феня — работу. С малолетства тужилась да надрывалась...

Сватовство Антипа Стриганова ее родители приняли за высокую честь — тогда Стригановы в достатке жили — и не понимали, почему она его отвергла. Не знали они, как она по Василию Ляхову страдала, одним им грезила. Но не суждено было мечтам сбыться: Василий привез из Хабаровска невесту и вскорости женился. От горя чуть не порешила себя Феня, да Антип спас: снова сватов прислал. Дала она согласие и перед иконой поклялась: забудет Василия, верной женой Антипу станет. С тяжелым сердцем перебиралась она в дом Стригановых, но слово сдержала: преданной женой Антипу была. И родители в радости пребывали — выгодно дочь пристроили. Частенько наведывались они к Стригановым, особенно Аксентий — с причиной и без причины заявлялся. Поклонится всем по очереди, значит, уважение особое выкажет, за стол усядется и чай гоняет — самогон и прочие зелья Стригановы не почитали, только по престольным праздникам ими пользовались. Со временем Аксентий Акимович и на заветном бревне со стариками стал сиживать...

Когда Антип в тайге сгинул — с охоты не вернулся, решила Феня съехать со двора Стригановых. Как ни крути, а после смерти мужа чужой в доме себя чувствовала: в то время не очень сытно жилось, а она, хотя и работающая, но все равно — лишний рот. Дед Филимон души в ней не чаял и не представлял, как без нее жить будет. Умолил остаться. И родители ее не препятствовали, даже вроде рады были — у них-то вовсе лари пустовали. Только реже стал бывать у Стригановых Аксентий Акимович и дочь, когда она приходила в его дом, не особо жаловал: глядел косо, будто она во всем виновата, ворчал и по каждому пустяку скандалы устраивал. А однажды выгнал. Не знала она, что у родителя на уме, за что так осерчал, но против воли его не пошла — забыла дорогу в отчий дом. С матерью иногда виделись, и то украдкой — на берегу, в лесу или за сараем поплачутся и разойдутся. И Аксентий Акимович больше не ходил к Стригановым, на заветном бревне, где собирались старики, не сиживал. Встретит, бывало, на улице Филимона Алексеевича — и в сторону голову воротит...

Дом Тюриных, поставленный лет тридцать назад, стоял ладный и справный. Завидовали люди: святой

водой окроплен, не иначе. Но Феню он не радовал, казался застывшим, омертвевшим. И сейчас глянула на него, и душу стиснуло — боль острая, даже дышать трудно.

В комнате — как в хлеву, воздух спертый, и пол будто никогда не мытый. Елена Тимофеевна лежала на кровати, из-под старого лоскутного одеяла высывались ноги. Завидя дочь, она всем телом потянулась к ней. Феня подошла к кровати, села на краешек. Гладила руку матери, а рука-то холодная, будто без кровинки, немигающими глазами смотрела на худое лицо, и какое-то необыкновенное, раньше неведомое тепло охватило ее. Мать пыталась что-то сказать, но не могла — только губы мелко подрагивали.

— Все образуется... — тихо сказала Феня.

И тут же отцовский голос с печки:

— Сколь раз твердил, твоего тут ничего нет, стало быть, ходить незачем.

Феня, будто не слыша его, говорила матери:

— К бабке Евникии схожу, трав выпрошу. Полы вымою, свежее станет, и приборусь маненько, а то живете, как... — не договорила, отец перебил:

— Ведро не трожь, и тряпку не позволяю брать — своими руками опачкаешь!

— Шалый!.. — со стоном выдохнула мать.

— А ты молчи!.. — визгливо крикнул Аксентий. — Без подмоги до старости дожили, без подмоги помрем. Пуцай у своих Стригановых полы вылизывает!..

Феня промолчала. Знала, что любым ответом только отца раззадорит. Сняла пальто, взяла ведро и вышла в сени. Кадка, в которой родители держали воду, была пуста. Пришлось снова одеться, натаскать из колодца воды и только потом приняться за мытье полов. Отец поначалу молчал — побрякивал да ворочался. Наконец не выдержал:

— Слышь, Фенька, а чего на свете-то делается?

Она опешила, и не от перемены настроения родителя — к такому привыкла, а от его интереса. Пожала плечами:

— Живут... Работают...

— И розгами порют принародно.

Она поглядела на отца: лицо с кулачок, усохшее, бороденка жидкая, будто выщипанная, глазки вприщур, хитрые. И голос вкрадчивый:

— А работают на кого?.. — Не дожидаясь ответа,

продолжал: — Ни хрена ты не знаешь. И твои Стригановы ни бельмеса не понимают. Сказались, будто опи-ем одурманились...

Она не поняла, о чем он говорит, одно знала: теперь долго не успокоится. А он почему-то умолк, хихикнул и тулупом с головой накрылся.

— Кажинный день так... — сказала Елена Тимофеевна. — Всех без разбору костерит, а за что, не ве-дает...

Феня мыла полы и думала о матери: плоха стала, без помощи не обойтись. А остаться здесь — значит, обречь себя на муки адовые, да и матери не полегчает, вовсе изведется — родитель при Фене еще пуще изга-ляться будет. И Филимона Алексеевича жалко. Решила не оставаться. Станет забегать каждое утро, а если по-требуется, несколько раз на дню — все-таки передых от отцовских чудачеств матери будет.

Дверь открылась, и с морозным паром в комнату ввалился Силантий Громов. Феня недоуменно глядела на него — впервые здесь видела... Помнится, несколько лет назад сын его Гошка с дружкой Кешкой наозор-ничали: в огороде Тюриных всю морковь ночью повы-дергали и ботвой вниз посадили. Утром вышел Аксен-тий Акимович, глянул и чуть рассудка не лишился: по-казалось спросонья, что на грядках коровьи соски вы-росли. На его крик вся деревня сбежалась — потеха была развеселая. Гошке и Кешке крепко досталось, но и на Силантия волком смотрел Аксентий, даже не здо-ровались... «Видно, под старость помирились», — по-думала сейчас Феня. А Силантий, не обращая внимания на нее, протопал к печке.

— Слазь, Акимыч, новость принес.

Аксентий тотчас вылез из-под тулупа, спустился с печки и, сверкая дырами на кальсонах, прошлепал к лавке. Уселись рядом — Силантий в заиндевелой шу-бе, Аксентий в исподнем.

— Машка Ляхова сына родила... — начал Силан-тий, но Аксентий отмахнулся:

— Прошлый раз говорил, знаю.

— Не в том корень, а в имени. Нарекла младенца Никоном!

— Ну и что?

— Значит, супротив Кешки и Ивана идет — будто кость в горло им сунула.

— Ладная история... — ухмылялся Аксентий, поняв, в чем суть.

— Теперича страсти-мордасти начнутся, — продолжал довольный Силантий, ласково поглаживая бороду, будто любимого кота холил. — Иван — мужик крутой, такого подарочка не стерпит, а Кешка свою шлюху не кинет — привороженный.

— По новым порядкам — пятьдесят горячих — и весь сказ.

— Глядишь, до кровопусканий дойдет.

— От розги до пуль недалече. Только раньше исподтишка делали, а нонче узаконили. И чего людям неймется? Были бы силы, живи не тужи, тайга-кормилица под боком. Ан нет! Революцию придумали...

— Верно, в ней все дело

— Сказались! Царь им не по нраву — скинули. Поставьте нового, пускай по-доброму правит. Не тут-то было! Сами, всем гамузом, власти желают. Только этого никогда и нигде не было, кто-то наверху беспрерывно один должен стоять.

— Ванька верховодит. Все ему нипочем, и всех к ногтю жмет. Супротив никто не может идти, разве только братка...

— Ванька — сошка махонькая. Сам по себе взбулгачить народ не мог. Развелось всяких, видать, много, коли на всей земле бучу устроили. Одурманили людишек, они и стараются — из кожи лезут, чтобы новой власти угодить. А власть, как ее ни называй, властью останется. Значит, придет срок — подомнет и все, что людишками наработано, заграбастает.

— Мы привычные, завсегда на кого-то спину гнули. Правда, теперича вроде вольготнее стало...

— Дело временное.

— Тогда выходит, что распри Юрашиных нам, мужикам, на руку. Друг дружку стрелять начнут, другие тоже не стерпят — и пошло-поехало... Власть-то и кувыркнется.

— Другая появится. И все начнется сызнова...

Феня, орудуя тряпкой, невольно слушала мужиков. Дивилась их рассуждениям. Родитель раньше никогда такого не высказывал — бранился, хулил, всем по меркам отпускал, но властей не грогал. И Силантий сподобился: сын Гошка в партизанах ходит, за Советскую власть бьется, а он против этой власти речи ведет.

Долго еще говорили мужики. Феня полы вымы-

ла, за стирку взялась, а они все кумекали. Наконец Силантий поднялся:

— Пойду Гошку отыщу. Отбился от рук, паршивец, своей головой желает жить. С Кешкой, дружкой бывшим, на ножах, вот и влезет в драку...

Аксентий Акимович нахмурился: не то посаженную ботвой вниз морковь вспомнил, не то в более серьезных мыслях разбирался. Когда Силантий ушел, он еще немного посидел в раздумье, поднялся и, шлепая босыми ногами по чисто вымытому полу, проворчал:

— Только грязь размазала...

— И чего напраслину возводишь?.. — не выдержала Елена Тимофеевна. — Дочь с добрым сердцем, а ты...

— От Стригановых добра не жди, они, как и все, опия наелись.

— А ты чем объелся? В исподнем весь день...

— Штаны целее будут...

Он еще что-то говорил, но Феня не слушала его.

Возвращалась к Стригановым вечером. Сумерки сгушались, и в окнах домов зажигались огоньки. За оклицей были собаки. Знала, что это ляховские. При пожаре, учиненном Никоном Демьянычем, не только дом сгорел, но и конюшня, и хлев со скотиной спалились, а собаки уцелели. Днем их палками гоняли, чтобы по деревне не рыскали, так они, будто в отместку, по ночам были — страшно, по-волчьи.

Шла неторопко — умаялась. После стирки умудрилась еще и нехитрый обед сготовить и к повитухе сбежать — выпросила-таки лечебных трав. А из головы не выходил разговор отца с Силантием. Глядела на огоньки в домах и думала: «Неужели о том же гуторят? А отчего не гуторить? Советскую власть объявили, свободу и достаток всем обещали, а жизнь все хуже и хуже. Почему?..» Как ни ломала голову, но ответа не находила. Вспомнила Василия: был бы жив — растолковал.

На следующий день она снова пошла к матери. Пока варила лечебные травы да остужала отвар, отец, расхаживая в исподнем по комнате, без умолку ругался: 'всю деревню перебрал, и все казались ему опием одурманенные. Феня занималась своим делом и старалась не слушать его. Неожиданно Аксентий Акимович умолк и, быстро облачившись, на улицу вышел. Когда

дверь за ним закрылась, Феня с облегчением вздохнула и направилась к кровати, чтобы больную отваром напоить. За ночь мать неузнаваемо изменилась — лицо **вовсе** исхудало, сплошь морщинистое, будто паутиной покрылось, глаза красные, заплаканные.

— Что с тобой?.. — прошептала Феня.

Елена Тимофеевна только головой замотала — мол, не спрашивай. Как ни добивалась Феня, но ответом было молчание. Отступилась. Напоив мать отваром, сидела рядышком, с тревогой и тоской глядела на нее. Елена Тимофеевна не выдержала и поведала, что **накануне** приключилось...

Аксентий Акимович после ухода дочери принялся измываться над Стригановыми: и такие, и разэтакie, обманом его опутали — дочь в прислугах держат. Не стерпела Елена Тимофеевна, высказала, что на душе было. Он вины своей ни в чем не признал, только еще больше разъярился — до полночи орал. Потом **иссяк** — уgomонился. Забрался на печку, тихо лежал. И вдруг спросил:

— Ты, кажись, впрямь помирать собралась?

Она обомлела. А он говорил:

— Всю жисть небось гадаешь, почему я в молодости свататься к Надежде пришел, а сосватал тебя. Молчал, не высказывался, а теперича пришло время — поведаю напоследок. Сусолить не буду, а то помрешь, не дослушавши... — Повернулся на бок, подперев кулачком скулу, уставился в темноту. Он не видел жены, но нутром чуял, что затаилась в напряжении, его признания ждет. И он продолжал: — Я охулки на свою руку не клал — с головой все делал. В лесок с Надеждой не по ягоды ходил, а миловаться. Сполна испробовал, насладился и, стало быть, интерес к ней потерял. Пришел свататься, а в голове другое держал. Думаю, назову тебя суженой, меня в шею вытурят — и делу конец. А оно не по правилам обернулось. Отцу твоему, видать, без разницы было, какую дочь из дома выпроваживать, вот и дал согласие. И мне деваться некуда, пришлось под венец с тобой иттить. Так кто шалый? Вовсе не я, а родитель твой, царствие ему небесное...

Елена Тимофеевна лежала ни жива ни мертва, казалось, в кошмарном сне пребывала. А он, повременив малость, сделал заключение:

— Ты, вместо того, чтобы в омут кинуться, в постель со мной улеглась. Надежда не снесла твоей из-

меня и вскорости померла. А тебе хоть бы что, как в гуся вода... Стало быть, ты в родителя — шалая!..

Он лупил глаза и напрягал слух — хотел удостовериться, что довел жену до мук и слез. Елена Тимофеевна, закусив до боли губу, чтобы всхлипы сдержать, лежала тихо...

Феня выслушала ее рассказ спокойно — убеждена была, что отец все выдумал, лишь бы матери досадить. Всю жизнь пакостное ей говорил, и не могла понять Феня, какой умысел он в том имел... Успокаивала мать, но та ее не слушала, одно твердила:

— Помереть хочу... Помереть..

В сенях послышалось шарканье ног Феня встала и, сжав кулаки, повернулась к двери. Решила без обиняков все высказать родителю, пристыдить и уговориться: не перестанет измываться над матерью, пойдет к Ивану Юрашину и расскажет о его помыслах, которые против новой власти направлены. Взаправду делать такое не собиралась, знала, чем это кончится — Иван спуску не даст, враз к контре причислит. Но припугнуть родителя надобно, авось подействует — образумится.

Дверь медленно отворилась, и порог переступила бабка Лукия — лет под девяносто ей было, точного возраста сама не знала, мужа и детей пережила, оттого к людям, оказавшимся в беде, тянулась. Подслеповато щурясь, оглядела комнату.

— Дома кто али нет?..

— Проходи, бабушка Лукия, — пригласила Феня и отошла от кровати

Старуха прошаркала к Елене Тимофеевне, наклонилась и сказала:

— Прослышала, хвора ты. Износились, только рано на погост тебе. Принесла медвежий жир, гольды наделили, испьешь и окрепнешь. — Поставила туесок на подоконник и присела на краешек кровати.

Феня не удивилась приношению, знала, что у бабки Лукии гольды, пришедшие в отряд Юрашина, жили. Они мясом и рыбой ее не обделяли, а она в свою очередь другим помогала.

Старуха стала рассказывать Елене Тимофеевне деревенские новости. Потом на Кешку и Марию перешла.

— Никоном дитя назвали, а все будто разума лишились, грех в том узрели. Какой же грех, коли Мария именем деда сына окрестила? Почтение в том к роду своему...

Она принялась вспоминать, как хорошо жилось при Никоне Демьяныче: справным старостой был, порядок блюл и от голодной смерти людей спасал — наделял, чем мог. Феня не могла слышать такое: считала Никона Демьяныча главным виновником смерти Василия. Накинула платок и, гремя ведрами, на улицу вышла.

Набирала воду из колодца и о Ляховых думала. Виделся овраг: по одну сторону Василий, а по другую — Никон Демьяныч со своей сворой — Демьяном, Петром, Ефремом, Архипом, Савелием и Алешкой. На Василия надвигаются. У всех глаза злобные... Вдруг Мария появилась: идет вдоль оврага, юбками шуршит, улыбается... Раньше никогда о ней не вспоминала, судьбой не интересовалась, а сейчас почему-то подумала: «Сведет бог на узкой дорожке — не разойтись».

Иван бесновался. Он был уверен, что Мария умышленно, назло всем, сына Никоном назвала: уж кто-кто, а она знала, как люди к ее деду относились, вот и плюнула им в морды. Зло срывал на Кешке — придирался и при всех костерил.

На заседании штаба Иван заявил: если Иннокентий не порвет отношения с Марией Ляховой, он всенародно откажется от брата.

— Пускай цацкается с ней, коли по нраву, но в отряде заразу не разводит — все косятся, недовольства высказывают, а он, между прочим, такой же, как все, красный партизан.

— И звания своего не позорит, — вступился за Кешку Денис.

— Сызнова поперек прешь?!

— Нет. Разобраться хочу. Что же получается? Одного кнутом стегаешь, другому послабление даешь...

— Кого имеешь в виду?

— Гаврюху Горелого. Против него ничего не имею, но он с Юлькой гуляет, а она тоже Ляхова.

— Сравнил! К тому же Гаврюха с ней не живет.

— И Кешка с Марией не живет — видимость одна.

— Еще хуже! Выходит, она, подлюга, измывается над ним, а он терпит.

— Любит он!

— Замолкни, Долов!.. — заорал Иван. — Твоя фамилия не чище ляховской, ежели пощупать — неизвестно, чем запахнет!

Денис побагровел — не ожидал такого удара. Еле сдерживая себя, сказал:

— Только знаешь — щупать! Поди в каждом из нас контру видишь?..

Иван вскочил, выхватил маузер. И мужики вскочили, оторопело, а кто и гневно, смотрели на командира. Долов подошел к нему, строго сказал:

— Хватит пугать, Ваня! — и, хлопнув дверью, вышел.

Иван скрежетнул зубами и сел. Мужики тоже сели. Не поднимая глаз, возились с самокрутками. Понимали, что командир сорвался, лишку наговорил. Зря попрекнул Дениса отцовскими делами, он к ним не причастен. И уж больно часто за маузер хватается, того и гляди в ход пустит.

— Негоже так... — прогудел Михайла Дыбов.

— Не годится! — подхватил Дмитрий Копытин. — Какую фамилию Василий носил, забыл? Только и родство было — фамилия, а духом — врозь! От родичей и сгинул. А Денис? За что мужика забираешь? Эдак нас всех можно в контры зачислить. Первого меня. В прошлом годе Никон Демьяныч долг мне простил — два куля пшеницы, за то я ему в ноги кланялся. Причисляй!

— И меня причисляй! — поднялся Дыбов. — Я тогда первый глотку драл, Ляхова в старосты прочил.

Иван в сердцах выругался и закрыл заседание. Мужики, недовольные таким оборотом, потянулись к выходу.

Оставшись один, он курил самокрутку за самокруткой. Душой чувствовал, что обидел Дениса понапрасну, но чем больше думал о нем, тем чернее казались его дела, во всем подвох виделся. Мысли перекинулись на Марию. «Ляховское отродье! До конца своих дней пакостить будет. Сегодня исподтишка, завтра в открытую. Нутром в деда, все его повадки переняла». И тут же почудился Никон Демьяныч: стоит на крыльце, сальные усы поглаживает, свысока смотрит, кажется, шагнет — и раздавит...

Тогда зима выдалась лютой, и голод свирепствовал. Только богатеи не тужили, наживались на даровом батрацком труде. Иван батрачил у Выприна. Бывало, сидит на кухне, ест баланду и на нетронутый кусок хлеба смотрит. Изловчится, чтобы хозяйка не видела — жена у Сидора Парфеныча глазастой да злющей

была, — и сунет кусок за пазуху, для матери. Не воровал, свое брал, несъеденное, а открыто нельзя унести: увидят, посчитают сытым и урежут хлебный пай. А разве до сытости было? Работал за семерых, до того уставал, что еле ноги домой волочил, а кормежка — одно название, собаке больше давали.

Бабуляка и мать гнули спины на поденщине — то у Варнаковых, то у тех же Выприных. Но чаще на Ляхова работали. К нему шли с желанием — кормил лучше, иногда остатки еды с хозяйского стола разрешал с собой взять.

В разгар зимы, когда по всей округе голодный мор пошел, лишились бабы поденщины — от мужицких рук отбоя не было. Совсем худо стало. И беда пришла: младший брат Кешка захворал. В жару метался, собачонкой скулил, есть просил... Иван, умаявшийся на работе, крепко спал и не слышал, как мать из дому вышла. Не слышал и ее прихода. Только поздним вечером, вернувшись от Выприных, застал плачущую бабуляку. Сгинула мать: пошла за водой на Амур и в прорубь бросилась. Обнаружил Иван принесенное матерью — полмешка муки. И все понял: она у Никона Демьяныча ночью была.

Сидор Парфеныч измывался: норовил мимо Ивана пройти и колкое словцо кинуть. За обедом Иван к еде не прикоснулся, сидел, горем подавленный. Выприн сказал: «Не убивайся, ешь. Ничего не поделаешь. Жизнь твоей мамани Ляхов в полмешка муки оценил». Ивана будто кипятком ошпарили. Кинулся к двери. Шел к Ляховым с одним намерением — посчитаться, за мать отомстить. А ветер его из стороны в сторону мотал, того и гляди наземь повалит, силенок-то не было у Ваньки. Вошел во двор усадьбы. На крыльце аккуратно Никон Демьяныч появился, шубу запахнул, соболью шапку до бровей напялил, в руках кнут держит — куда-то ехать собрался. Подошел Иван, снизу вверх на врага лютого смотрит, а подняться на крыльцо не может — ослаб, только кулаки стиснул да глазами обидчика пожирает. Ляхов усмехнулся: «Сопляк еще в наших делах разбираться. Я не насильник, мать твоя по своей воле ко мне приходила. И утопла опять же по своей воле». Он прошел мимо — к конюшне. А Иван так и остался стоять, будто к земле примороженный...

Разве мог такое забыть? Лютее врага, чем Ляхов, не было. Даже мертвого ненавидел.

Вспомнил, как прошлой осенью домой поспешал, одна мысль гнала: поквитаться с изувером. И поквитался бы. Не беда, что тогда в маузере патронов не оказалось — по Демьяну и Савке истратил, — все равно свел бы счета. Денис не дал, пожалел больного: «Поправится, тогда и судить будем». Ох, Денис! Все время за руку хватает, поперек идет, справедливость выказывает, а по сути контру недобитую защищает. И сегодня за Машку вступился. Не впрямую вступился, но, защищая Кешку, и ее выгородил. Не понимает, что она, назвав сына именем деда-изувера, всем вызов бросила, и Кешку, красного бойца, опозорила: глядите, мол, как Юрашины чтят память о Никоне Демьяныче Ляхове...

В комнату с охапкой дров вошел дед Маркел. Бросил дрова у печки, снял армяк и принялся ножом щепать сухое полено — готовил лучину для растопки.

— Чайку бы, деда... — попросил Иван.

Тот занимался своим делом и молчал. Иван решил, что Маркел не расслышал, и повторил просьбу. Дед сказал:

— Самовар на лавке, чурки в мешке, поставь, руки не отваяются.

Иван изумился: такого еще не случалось. Догадался, в чем дело: мужики, выйдя во двор после заседания штаба, высказывали недовольство поведением командира, старик слышал и принял их сторону. Дед, тяжело вздохнув, добавил:

— Ты — не царский офицер, я — не денщик.

— Туда же, старый хрен! — не выдержал Иван.

— Куда все, туда и я, — спокойно ответил Маркел и посмотрел на Ивана. — А ты в какую сторону?..

Юрашин зло зыркнул на него, но промолчал. Набросил полушубок на плечи и вышел на улицу.

Злые языки сделали свое дело — надломился Кешка. На сына Марии глядеть не мог, будто врага в нем видел. Понимал, что младенец не виноват, но совладать с собой не было сил. Никого не винил, знал, что в Никоне Демьяныче суть: уж больно много бед и горя причинил. Вот и младенец, названный в его честь, только гнев людской вызывает. А на ком вымещается? На Кешке да на Марии.

Вставал он раньше всех, тишком уходил из дому.

Возвращался затемно. Нашарит в печке чугунок, похлебают ему оставленное — и на боковую. Долго не засыпал, стиснув зубы, слушал, как бабуляка с Марией, лежа в разных углах, ворочаются да стопами перекликаются. Твердил себе: жить так дальше нельзя, что-то делать надо. Но выхода не видел.

Марии жилось не легче. На улице прохода не давали, измывались все, кому не лень. Ребятишки ватагой вокруг бегали, кричали, свистели и, случалось, камнями швыряли, как в юродивую. Сеньку Груздева кто-то научил: завидит ее, козлом скачет и частушку похабную во всю глотку орет... Ей казалось, люди не сами по себе такое затеяли, кто-то бесовской рукой направлял. Неужто Иван карусель закрутил? Ненавидела его: сущий изверг — над больным дедом изгалялся, отца убил, ее расстрелять хотел. И сейчас пыжится, властью наслаждается, новый мир на крови строит. Люди эту власть принимают — их дело. Но Марии такая власть, что кость в горле, и он ей не указ — подневольной жить не станет... На Кешку надеялась, думала, защитит. Слюнявый. Ни уберечь, ни побить бабу не в состоянии...

Кешка пришел домой раньше обычного, решив поговорить с Марией — случай с Иваном заставил. Не стало сладу с мужиком, чуть что — за маузер хватается. Сегодня повздорил с Фотеем Стригановым — чуть не убил, с трудом утихомирили. Кешка считал, что с Марии все началось: сотворила выверт с именем сына, и покатился ком, все на пути сшибая.

Бабуляка стирала, Митяйка крутился рядом, Анюта раскатывала уже высохшее белье, ловко орудуя катальником и скалкой. Мария кормила сына. Кешка сбросил козых, прошел к окну, ждал, когда она кончит кормление. От нечего делать стал выводить пальцем рисунки на запотевшем стекле. Митяйка увидел, чем он занимается, присоединился — крючки да палочки к нарисованным рожицам добавляет, смехом заходится. У Кешки на душе потеплело, даже заулыбался.

Мария уложила ребенка в люльку. Кешка крякнул, достал кисет — дед Маркел подарил, и принялся скручивать сигарку. Бабуляка всплеснула руками:

— Сподобился! Кто-то научил!..

— Иван, больше некому, — ухмыльнулась Мария. — В братьях числится, а в супостатах ходит. И курить обучит, и недалек час, вместе разбойничать станут.

— Чего мелешь? — повысил голос Кешка.

Она, будто не слыша его, продолжала.

— Он, сказывают, на своих саблех замахивается, того и гляди без головы оставит. А чужие — семечки, враз отсечет. Вот и я кажинный день жду... Верно один человек упредил — Юрашины тебя пригрели, они тебя и сгноят!

Бабуляка заплакала. «Озлил кто-то Марию, разговора не получится», — подумал Кешка, встал, взялся за кожух — решил у Федьки с Апросиньей время скоротать, давно приглашали.

— Бежишь? — глаза Марии жгли огнем.

— Бегу! — принял он ее вызов. — Не хочу слыть мужем контры! Все беды от тебя, окромя сраму, ничего в дом не принесла! Деда чтишь, а на меня плюешь! Когда сына Никоном называла, подумала обо мне?

— Сын мой, как хочу, так и называю!

— Во всем твоя воля!

— Угадал! И в грехе моя воля была, потому послушно, до самой смерти, крест пронесу. И под вашу дудку плясать не стану! Сами белый свет пополам раскололи, а меня виноватой выставили!

— Не об этом речь!

— Об этом! Все беды от этого, а ты на меня их валишь.

Она смахнула удивившие ее саму слезы и принялась качать люльку — малыш плачем надрывался. У Кешки сердце будто клещами стиснуло: нашумели, напугали младенца, от плача заходится, не дай бог, надорвется.

— Будя вам... Будя... — еле выговаривала бабуляка.

И Анюта, закусив губу, плакала, к ней жался испуганный Митяйка. Кешка опустился на лавку, кожух съехал с плеча и упал на пол. Мария смотрела на сына, покачивая люльку, приговаривала:

— Кричи, Никон, кричи... Пущай все слышат, что живой ты. Живой!

— Господи!.. — простонал Кешка. — Назвала бы по-другому, и жизнь была бы другой...

Мария напружинилась:

— Иваном, что ли?

Парень растерялся — сначала побледнел, потом вмиг краской покрылся — не знает, что сказать. И бабуляка с Анютой перестали реветь. Только малыш орал, захлебывался. Мария поняла, что с Кешкой происходит, обмякла и улыбочиво продолжала:

— Можно именем отца твоего или деда...

Он подумал, сдалась Мария — перерешит. Легко стало, будто гора с плеч свалилась. Выдохнул:

— Можно и так.

И тут Мария захохотала, громко, с надрывом. Ее смех и плач сына слились воедино. Комната наполнилась звоном, и Кешке чудилось: обрушилась снежная лавина, неслась с крутизны, ломала, крушила... По телу пошел озноб. Ошалело смотрел на Марию. Неожиданно она затихла, и малыш почему-то успокоился.

— Ироды... — тихо сказала. — Людей учат жить, справедливость проповедуют, а сами...

Она казалась спокойной, только губы подрагивали. Вдруг торопливо заплела косу, надела кофту, обулась и взяла из люльки ребенка. Бабка Юрашиха поняла: собирается уходить.

— Не пушу!.. — рыдала, обхватив ноги Марии. — Сжался, сношенька!..

Кешка проснулся, когда за окном уже светало. Бокзатек — солома в тюфяке истерлась, спал почти на голом полу. Хотел повернуться, не дал Митяйка — пристроился рядом, обхватил ручонками и посапывал во сне. Спала Анюта. Бабуляка была уже на ногах. Надела стеганое пальто, которое давно пора на подстилку пустить, осторожно, чтобы не шуметь, взяла с печи крынку и вышла — прямиком к повитухе за молоком, которое за Кешкины труды полагалось. Не успела дверь закрыться, как с кровати вскочила Мария. Быстро оделась, собрала нехитрые пожитки в узелок, достала из люльки сына — он сладко посапывал, — завернула в одеяло. У двери остановилась, повернулась к иконе и трижды перекрестилась.

Кешка ее уходу не препятствовал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По речке Горюн банда Ослоухого вышла к гольдскому стойбищу Наан.

Еремей Попов получил прозвище Ослоухий еще в царской армии. Молодым парнем попал в крепость Чныррах. Привычный к свободе, не мог снести солдатской муштры, с полгода отмаялся — бежал. Искать

беглеца не стали — легче иголку в стоге найти, чем человека в тайге. В ту пору свирепствовала повальная хворь, и солдата Еремея Попова списали в покойники. Он в родную деревню не поехал: далеко, опасно и не к кому — отца еще в детстве лишился, мать аккурат перед его уходом в армию померла. И одному в тайге промышлять не способно. Прибился к варнакам — беглым каторжникам. Жили вольготно — грабили вдовсталь... Молодость сгинула, годы стали брать свое, здоровье подтачивать. Наскучила разбойная жизнь. Глухой ночью ушел Еремей от дружков-варнаков в верховья, подальше от мест, где разбои чинил. Дом поставил. И, может быть, мирно скоротал бы старость, но события семнадцатого года повернули жизнь вспять. «Превеликая кутерьма на Амуре зачалась, — говорил он. — а я — как чебак на песке. Нет, сам бог ниспослал эту благодать!» Молодые годы вспомнил — в тайгу подался. Собрал банду. Разбой вел по русским деревням, но гольдские селения не трогал. Унаследовал закон варнаков: гольды — народ тихий, доверчивый, их не тронь — и они не тронут, сделай добро — вдвойне отплатят. Потому привечали его гольды, принимая за доброго человека... Глинобитные домики стойбища не могли вместить ораву Ослоухого, и гольды стали готовить нодьи — охотничьи костры. Казаки помогали, рубили сухие деревья, таскали к очищенным от снега прогалинам, устилали землю вокруг будущего костра лапником. Они знали: нодья — в любой мороз спасительница.

Савелий Ляхов вышел из домика, где поселился атаман. Мохнатая собачья шапка напялена до глаз, поверх козьей душегрейки, сшитой на манер бабьей кофты без рукавов, надет гольдский халат с ярким орнаментом, перепоясан пулеметной лентой, которая была без надобности, но придавала шику.

— Лекарь!.. — крикнул он.

Так звалась жена Афанасия Михеевича Варнакова — Акулина Анисьевна. Когда чета Варнаковых с одnogлазым сыном Власом и недотепой Кузей появилась в банде, она, решив угодить больному атаману, пошла его лечебными травами — давала наугад, а он взял да и выздоровел. С тех пор стали кликать ее «лекарем».

— Лекарь, мать твою!.. — заорал Савелий, в нетерпении постукивая по рукояти сабли.

Из халупы напротив вылез Влас, уставился на Савелия. Тот надулся, расправил плечи. Халат на груди разошелся, стал виден маузер, торчавший из-под душегрейки. Влас нахмурился, скрылся в домике. Вышла Акулина Анисьевна, пригладила головной платок, направилась к жилью атамана. Савка не сводил с нее глаз. Годами стара, а телом крепкая, и в лице свежесть проступала, будто боролась с летами, не сдавалась. «Живая Проська!» — зануло сердце у парня. С тех пор как познал Апросинью, все бабы стали на нее похожими, а Акулина — как две капли. Оттого сгорал желанием позабавиться с ней, не раз у атамана разрешения испрашивал. Но Еремей Харитонович бурчал в ответ: «С Афанаськой, ежели сладишь, побалуй, а лекаря не трожь!»

Акулина скрылась в домике Попова, и Савелий поспешил за ней. Казаки, подтрунивая над атаманом, переговаривались:

— Боров ухи отморозил!

— Вчёрась отвалились — по дороге обронил!..

Появилась Акулина, смех сразу прекратился, казаки, как ни в чем не бывало, продолжали ладить нодьи. Акулина, подбоченившись, подозвала двух гольдов, что-то сказала им, и те побежали в лес.

— Побегли муравейники ворошить, — сказал один из казаков.

— Гляньте, божий служитель на свет выползает! — крикнул другой казак, показывая на Варнакова.

Афанасий Михеевич вышел из своего жилища, осмотрелся и, заметив жену, поманил пальцем. Она отмахнулась и скрылась в домике атамана. Варнаков неторопливо пошел за ней, из-под шубы вылезала длинная поповская ряса, мешала идти. Передумал и свернул в сторону. Сел на пень. Тяжелые думы одолевали его. Младший сын Кузя еще с прошлой осени после неудачной разведки остался в деревне: Савелию тогда удалось бежать, а его ранили. «Впрямь недотепа!» — сокрушался Варнаков. Знал он, что Кузю выходила повитуха и сейчас тот живет в своем доме. Здоров, а сюда не является. Тревожился: не заложником ли держит его Юрашин? Поди голодает парень да издевательства терпит. От этих мыслей Афанасия Михеевича в жар бросило. Распахнул шубу — на груди покоился большой крест. Глянул на него, и на душе еще тягостнее стало.

— Надо мной, сынок, тоже поиздевались... — прошептал, словно обращаясь к Кузе, и натянул поплотнее шапку, из-под которой выбивались клочья волос — следы пострижения...

Варнаков просчитался. Когда в прошлом году в деревню приехал Иван Юрашин и на сходе пригрозил ему маузером, чтобы смуту не чинил, он понял: силу может одолеть только сила. Тайком ушел с семьей из деревни, надеясь на Ослоухого, — задавит в зачатые отряд Юрашина. Но Юрашин перехитрил Попова — банда попала в засаду, еле ноги унесла. Зло за неудачу атаман сорвал на Варнакове, попотчевал розгами и отогнал от себя первого советчика. Савелий Ляхов не преминул случаем попользоваться, прилип к Попову. И тут, как на грех, удача стала сопутствовать — банда уходила от преследователей, оставляя Юрашина с носом...

Разбили бивак. Подвыпивший атаман устроил потеху: «пострижение в экзархи». Варнаков негодовал. Знал: Никон Ляхов его тайные помыслы сыновьям поведал, а Савелий рассказал Попову. Ни ругань, ни мольбы не возымели силы. Святотатство состоялось. Под общий гогот раздели Варнакова донуга, поставили возле костра, чтобы не зазябнул. Атаман велел исповедоваться. Варнаков ежился на морозе, но молчал. Тогда с другой стороны костра поставили Акулину с Власом, и Ослоухий достал маузер. Варнаков понял: медлить нельзя. Прикрыв стыдное место ладонями, тихо заговорил — читал молитву. От казачьего хохота снег с деревьев осыпался. Влас, злобно дыша, рвался из рук казаков, те не пускали, нашептывали: «Терпи. Убьет!» Акулина Анисьевна, не выдержав, свалилась в беспамятстве. Атаман приказал приступить к «обряду крещения». Принесли ведро с водой. Казаки подхватили Варнакова на руки, перевернули вверх ногами и стали окунать головой в ведро. Если бы не «причастие», не выдержал бы издевательств Афанасий Михеевич. После каждого омовения ставили на ноги, и атаман со словами «причащается раб божий» совал ему в рот деревянную ложку с самогоном. Ложка была большой, и от частого «причащения» он захмелел... Обрядили «божьего служителя» в рясу, прихваченную Варнаковым из дому, — надеялся духовником у Еремея Харитоновича стать, — нацепили на шею крест. Ослоухий ножом отрезал у Афанасия пряди волос и сказал: «Те-

перича ты есть безгреховная лань стада божьего. Повелевай людишками, только спрашивай на деяния свои согласия у бога, — ткнул себя пальцем в грудь, добавил: — В бега не ударься, пришибу. Желаешь — с миром отпущу, но лекаря при мне оставишь». Некуда было деваться Варнакову — сдался...

Он встал, придерживая рясу, чтобы не путалась в ногах, направился к жилищу атамана.

Еремей Попов — тучный, широкоплечий — сидел на нарах, опустив ноги в ведро, парил в муравьином отваре больные суставы. Рядом с атаманом восседал Савелий, напыжившийся, важный — точь-в-точь первый министр при государе. Афанасий Михеевич перекрестился, осенил крестом атамана.

— Поминальную не затевай, я ишо долго проживу, — проворчал Еремей и, запустив пятерню в бороду, сказал Акулине: — Остыла, кажись, водица.

Она подлила в ведро горячей воды.

— Не ошпарь! — запоздало предупредил Савелий.

— С пользой пришел али как?.. — спросил атаман Варнакова.

Тот примостился на краешке нар, стал говорить о казаках: истосковались по делу, сабли в ножнах поржавели. Предлагал идти к Амуру, на речке Горюн казакам тесно, и холод собачий, у нодьи зиму не просидишь... Он во что бы то ни стало хотел побудить Попова к действию. Пусть потерпит неудачу, пусть даже наголову банду разобьют, лишь бы в бой пошел. Ему было плевать на Попова, о себе думал: в суматохе улизнет и Акулину с Власом прихватит, в деревню вернутся и прощения у Ваньки Юрашина вымолит. На заступничество верующих, что раньше в его молельню ходили, надеялся... Атаман слушал внимательно: соблазн был — на Амуре есть где разгуляться, но и риск удваивался — накроет Юрашин, не уйти. Когда Варнаков, выложив все доводы, умолк, Попов что-то шепнул Савелию, и тот выскочил на улицу. Перепуганная Акулина присела около ведра и принялась мыть ноги атаману, усердствовала — авось тот душой оттает. Варнаков, не понимая, что задумал Ослоухий, вертел глазами по сторонам, будто искал место, куда спрятаться можно. Вошел Савелий. Гремя цепями, прошел к нарам и бросил кандалы на лежащую на полу кабанью шкуру. Попов, пристально глядя на кандалы, тихо сказал:

— Причиндалы моего дружка незабвенного... — За-моргал, на глазах появились слезы. — Миколаши-горемыки, прозванного за кротость Николаем Угодником.. Не стрелял Миколаша. Тихо резал. Славный варнак был...

Акулина, обхватив ноги атамана, жалась к его коленям, рыдала. Он погладил ее по голове:

— Внуши своему идолу, пущай речи поганые не изрыгает. Ежели и дальше станет вещать — закую.

Он пугал Варнакова. Надевать кандалы на него не собирался. Берег их пуще своего глаза, лелея мечту: кандалы предназначались для Лысухи...

И все-таки Варнакову удалось воздействовать на атамана, уломать его — банда двинулась к Амуру. Попов решил: базой отряда станет гольдское стойбище на речке Горюн. Место безопасное — гольды все знают, все видят, в округе не только человек, но имышь незамеченной не прошмыгнет. Отряд будет делать набеги и возвращаться в стойбище.

Афанасий Михеевич нервничал — уж давно прошли стороной его родную деревню, а Ослоухий вел банду дальше, вверх по реке. «До страха боится Юрашина, осторожничает, — думал Варнаков. — Не достать теперича Ваньке банду. А може, Власа отрядить?» Но тут же отогнал эту мысль: Савка глаз с них не спускает, враз углядит отсутствие сына, тогда хана — Еремей не пощадит. План рушился, и Варнаков сник.

Спустились по отлогому берегу, проехали еще с версту. Атаман показал на другую сторону реки:

— Славный хуторок!

Шесть полуразвалившихся домиков, как замшелые грибы, кучкой уселись на косогоре, седьмой дом стоял на отшибе. В нем жил старинный друг Еремея Попова. Его имя атаман запомнил, но прозвище помнил. Туз! Сам так называл. Причина была: кто бы и как бы ни тасовал колоду, а козырный туз попадал ему — не го везение, не то ловкое шельмовство. И слабость у Туза имелась — хмелел быстро и спал мертвецки. Еремей пользовался этим, без зазрения баловал с женой Туза — баба сдобная, на шалости охочая. И сейчас атаман, предвкушая теплую встречу, ехал в благодушном настроении.

На льду кони скользили. Под Акулиной лошадь осела на задние ноги, и она вывалилась из седла.

— Зашибешь лекаря — изведу, — мирно сказал Ослоухий Варнакову, велел ему слезть с коня и вести лошадь жены под уздцы.

Ступили на берег. Попов снял шапку, широко перекрестился, все сделали то же самое. Он выхватил маузер:

— С богом, сыночки!..

Ватага со стрельбой и криком ринулась на беззащитную деревушку. Из домов выскакивали люди, не помышлявшие о сопротивлении, в панике метались, а казаки бросали на них разгоряченных коней, нещадно палили в воздух и по пустым избам...

В комнате печь пыхала жаром. Туз — крепкий старик с сивой бородой — проворно накрывал на стол. Еремей сидел ссутулившись, будто придавило чем-то, хмурился, нижняя губа отвисла и подергивалась. Савелий заметил, как руки атамана шарили по столу, падали на колени, щипали уши — места себе не находили. Не понимал, что могло растревожить Ослоухого.

— Когда померла?.. — тихо спросил Попов.

Туз вытащил чугунок из печки, бросил ухват в угол, слил воду из чугуна и поставил его на стол — пар валит от вареной картошки. Просто сказал:

— В прошлом годе, под Пасху.

Еремей вовсе сник, пробурчал:

— Славная баба была.

Савелий догадался, что речь шла о жене Туза. Только недоумевал, почему так сокрушался атаман. А тот жалостливо посмотрел на хозяина:

— Кто же теперича меня в баньке мыть будет?..

У Савки рот раскрылся, и глаза круглыми стали. Влас, тоже представив, что здесь раньше происходило, вперился в атамана. Афанасий Михеевич от растерянности покашливал и не смел поднять глаза на жену, которая сидела не шелохнувшись и была краснее рака. Савелий, совладав с собой, легонько толкнул атамана. Тот огляделся, наткнулся на взгляд Власа и молвил:

— Афанаська, будь ласка, скажи своему змеенышу, чтобы око свое на меня не пялил, выбью, поводырем у него станешь. Нонче в моей душе могильный хлад — не тревожьте, не перечьте...

Туз выставил четверть с самогоном. Стали пить, и он окосел первым. Попов, красный и сальный от жары, со словами «помянем усопшую» вливал пахучее зелье в глотку и не пьянел. Савелий глянул на Туза, хихикнул:

— Спит!

Атаман тяжело вздохнул:

— Теперича без надобности...

Савка сидел на бревне возле бани. На снегу лежал связанный Влас. Из бани доносились уханье да кряхтенье атамана.

— От души твоя маманя парит! — засмеялся Савелий.

Влас дернулся, но веревка не подалась.

— Дурак! — сплюнул Савка. — Чего ерепенишься? Еще на рожон полез. Из-за чего?.. — показал на баню: — Пошоркает — и вся недолга.

Он пошел к дому, заглянул в открытую дверь. За столом по-прежнему спал Туз, храпел с переливами. Ему вторил лежащий на полу Варнаков. «Как ни брыкался, а все ж таки упоили», — ухмыльнулся Савелий и повернулся на крик, раздавшийся в деревне. В ближайшем дворе трое голых казаков тащили бабу в баню — пример атамана раззадорил, — она упиралась, орала, и они, гофоча, волокли ее по снегу. Савелий засмеялся и пошел к бревну, возле которого извивался, пытаясь освободиться от веревки, Влас. Остановился. По дороге, припадая на левый бок, шел горбун.

— Ерошка! Каким ветром?..

Кудлай подошел, снял шапку, почтительно поклонился. Это польстило Савке, враз напыжился.

— Чаво тебе? — спросил грудным голосом.

Ерошка шнырял глазами по сторонам:

— Где Еремей Харитонович?

— В бане.

— Тогда подь сюда...

Они зашли за угол, скрылись от взора Власа. Горбун без обиняков сказал:

— Ефрем велел передать, чтобы шастал к Фролу. Просил не гадать. Дело сверхважное!.. — и он заковылял к деревне.

У Савелия лицо взмокло: мудреное затевает брат, иначе не позвал бы.

Поутру банда с обозом уходила из деревушки — обобрали сельчан до нитки. По одну сторону атамана ехал Варнаков, дремал — того и гляди вывалится из седла, по другую — Савелий. Он поглядывал на Попова и прикидывал, как лучше сказать о предложении Ефрема. У атамана бородища от мытья распушилась, ехал довольнехонький. Глянул на спящего Варнакова, растолкал его и, ощерившись, показал на деревушку: — Славный хуторок был!

На косогоре шесть домов полыхали огнем...

О набеге Попова на верхних соседей в отряде Юрашина узнали на следующий день. Иван поднял отряд и повел в тайгу, в погоню за бандой. Петляли по бездорожью, продирались сквозь заросли, но напасть на след Ослоухого не удавалось: недаром столько разбойничал в тайге, познал ее отменно и вел банду своими затаенными тропами.

Возвращались в деревню усталые, угрюмые. Досада донимала — снова улизнули бандиты. Иван заметил, что Денис малость вперед выбился, передал командование Гаврюхе Горелому и прищпорил коня. Догнал, поехал рядом. Денис, будто не замечая друга, смотрел по сторонам, любовался таежной красотой. Иван свернул с дороги, и конь Долова тоже свернул. Тонкая ледяная корка с хрустом ломалась под копытами, отчего конь Ивана, наострив уши, боязливо пофыркивал, сек хвостом по крупу. Под Денисом конь тоже нервничал — подергивал кожей и старался идти боком.

— Во Владивостоке беспокойно, — наконец заговорил Иван. — Неймется белякам. Неужто сызнова война?

— Она не кончалась.

Разговор, вроде затеявшись, тут же оборвался. Выехали на дорогу. Кони, почуяв надежную твердь, нетерпеливо жевали удила, готовые пуститься вскачь. Ездоки придерживали их. Иван, решившись, завел речь на другую тему:

— Я вот, случается, агитирую людей, добрые слова говорю о нашей Дальневосточной республике, а сам не понимаю ее. По указам и декретам мы самостоятельная держава, а живем среди врагов, и главное — не могли трогать этих проклятых япошек. А они до крайности обнаглели. В низовьях, сказывают, русскому челове-

ку — хозяину земли — подледным ловом не побаловать, самурайские надзоры завидят и гонят. Пушкину к рукам прибирают — сами нещадно зверя бьют и у охотников изымают. Золотишко моют, древесиной не брезгуют... В общем, грабят, а мы нишкнем.

Денис не поддержал разговор, и Иван стал горячиться:

— Сколько можно терпеть этот самурайский гнет? Махнуть бы вниз по Амуру, отряд быстро разрастется — русский люд под ярмом уже шею стер!

— В Николаевске, между прочим, японцы. Не одолеть. К тому же трогать их, верно, запрещается, и сам знаешь, почему... Или о великих делах мечтаешь?

— Я человек маленький, но самураев приструнить желание имею.

— Придет время — не только приструним, но и в океан сбросим. А покуда терпеть надо, терпеть, чтобы выжить!.. — Денис посмотрел на друга и продолжал: — Уж коли такой разговор зашел, не обессудь, правду выскажу... Есть люди, вроде правильные и соображение имеют, а вот до власти их допускать нельзя. Дуреют они от власти. С высоты глядят на людей, славой захлебываются и думают, что большие дела справляют, а на поверку выходит обратное...

— Тряпицына вспомнил? — нахмурился Иван.

— Чего его вспоминать, хрен с ним, к чему стремился, то и получил... О тебе речь веду. Выбросило на гребень — уши мхом заткнул, глаза шорами задернул, — никого не слышишь и не видишь.

Иван отвернулся — злился, что мировую затеял.

— Завидуешь, однако... — криво улыбнулся. — Командиром хочешь стать? Милости просим! Сегодня же на штабе подниму вопрос, с себя командирский хомут сброшу, на тебя надену! Погляжу, как тогда запоешь!..

— Во-первых, не сбросишь, — спокойно говорил Денис, — кишка тонка, разве для куража только фортель выкинешь. Во-вторых, я в командиры не гожусь — пыл не тот и ростом не удался...

— Насмехаешься? Крутишь?.. По роже твоей басурманской вижу — авторитет мой покоя не дает. Так и норовишь оглоблю в колесо вставить. Все вижу!.. — Стеганул коня нагайкой, и тот помчался вперед.

Денис ехал шагом. Знал, что гневит Ивана такими разговорами, но молчать не мог. Обиды за прошлое не имел, сорвался на штабе Иван и оскорбил вгорячах —

с кем не бывает. Видел главное: заносит друга, того и гляди — таких дров наломает — не соберешь. Вот и хотел уберечь...

Иван скакал обратно. Осадил коня, поехал рядом.

— Вот что!.. — дышал тяжело. — Или ты на мои мозоли давить перестанешь, или из моих помощников — к чертовой матери!..

— Не выйдет, — замотал головой Денис. — При тебе как тень буду — не отделаешься. Вот прибудет Лаврентий Шалда, сам его ждешь, а он большевик крутой, по Владивостоку знаешь, — тогда и разберемся.

— В чем?

— В себе, Ваня.

— Через меня, значит, в себе разбираться станешь?

— Угадал. И все разберутся, опять же каждый в себе.

— Мудрено!

— Зато позарез необходимо.

Дорога круто повернула, и они увидели идущего навстречу Архипа Ляхова: за плечом берданка, на поясе патронташ. Остановились и, забыв про спор, дожидались, когда тот подойдет. С любопытством смотрели на него, а он — никакого внимания, шел своей дорогой и вроде ничего не видел.

— Здоров, Архип Никоныч!.. — Иван не остыл после неприятного разговора с Денисом и поздоровался с явной издевкой. — На охоту или в бой?

Архип остановился, исподлобья глянул на Юрашина:

— Любопытствуешь или допрашиваешь?

— Понимай, как знаешь.

— Вижу, любопытствуешь... — усмехнулся Архип. — Тогда поведаяю... В Тамбовку иду, за коровой — должок получить с Сычова. Знаешь такого?

— Контра превеликая!

— Для кого контра, а для кого... — Архип поправил берданку, съехавшую с плеча. — Сказал правду, и ты ее наизнанку не выворачивай.

Иван, показывая на берданку, ухмыльнулся:

— Корову под конвоем поведешь?

— Это ты, Иван Игнатьич, по конвоям мастак. А я ружьишко прихватил, может, быка по дороге завалю.

— Не промахнись!

— Только бы попался!..

— Гляди, с Сычовым не спутайся, он с сыном в Тамбовке уже кровь пустил.

— Я по рукам и ногам заботами спутанный, так что не бойся.

— Все вы — сучьи дети!

— Неизвестно, какой грудью ты кормлен!..

Иван схватился за маузер, но из кобуры его не достал — сдержался. Архип не шелохнулся, спокойно смотрел на него. Спросил:

— Дальше можно идти или не дозволяешь?

Иван неожиданно рассмеялся:

— Ступай, борода разбойничья! Только без буренки не возвращайся — разговор круче будет!..

Архип зашагал по дороге. Юрашин и Долов продолжали свой путь. Денис был доволен — встреча оказалась кстати. Поглядывал на Ивана, который ехал в угрюмом раздумье, видно, что-то решал. Вдруг он натянул поводья, и конь остановился.

— Денис!.. — глаза Ивана блестели. — Надо прищучить Сычовых. Возьмешь пяток бойцов — и вслед Архипу, в Тамбовку!

— Гоже! — загорелся тот, и они поскакали к деревне.

В доме старухи Лукии жили гольды. Когда они пришли в отряд, Иван, запомняв гольдский обычай, хотел расквартировать их по разным домам. Дед Маркел напомнил: селить врозь — значит разделить. Обидятся и уйдут. Пришлось троих бойцов, живших у Лукии, переселить в другие дома, их место заняли гольды. Старуха была довольна: в доме появились отменные рыболовы и охотники.

Гольды завалили сохатого, приволокли в деревню. Самар ходил по домам, кланялся хозяевам, звал в гости. Во дворе Лукии лежал целехонький сохатый, каждый должен отрезать себе кусок, оставшееся возьмут добычки: так заведено в стойбищах, так делали гольды и в деревне.

— Нам бы такой обычай... — ворчал Иван, глядя на братьев Букиных...

Иван и Гаврюха вошли в дом. Четверо гольдов сидели на полу, поджав под себя ноги, посапывали трубками. Лукия выбеливала в бадье пряжу. Иван, не увидев Ерма, справился о нем. Самар сказал, что тот в

тайге остался. Не глядя на командира, добавил:

— Удача с ним. Зверя выслеживает.

Иван догадался, какого зверя выслеживает Ерми. Гольд искал встречи с врагом своим — Ефремом Ляховым. Ивана беспокоила настырность парня. Неизвестно, чем кончится эта встреча.

— Морока мне с вами, — признался он и стал говорить о деле, с которым пришел.

Гольды получили задание — выследить банду Ослоухого. Выход в гайгу наметили на завтра, но гольды, переговорив между собой, стали немедленно собираться в дорогу.

Иван и Гаврюха вышли во двор. Солнце ярко светило, оттого, может, настроение поднялось, а может, от предчувствия скорого похода — гольды найдут банду Ослоухого. Горелый, звонко смеясь, сбивал ногами мерзлые конские котяхи. «Как пацан!» — подумал Иван и, придерживав его за руку, спросил:

— Полагаешь, Денис справится с Сычовым?

— Беспременно! — улыбнулся тот.

Тамбовка спала. Только Сычовы бодрствовали. Смрад стоял в доме. В закуте, сбитом на кухне, развалилась свинья, дюжина поросят тыкалась пяточками в ее соски. Вонь с дымным чадом зудила в ноздрах, и Архип морщился. Миней Иванович Сычов с сыном Захаром привыкли к тяжелому воздуху, закусывали с аппетитом. За столом сидел еще один мужик в солдатской гимнастерке с Георгиевским крестом на засаленной ленте.

— Опорос богатый, — говорил старик Миней. — Чертову дюжину принести уподобилась. Ради дорогого гостенечка спробуем... Ешь, Архипушка, ешь. Молочная поросятина — еда царева...

Архип понимал, хозяин потчует неспроста, ублажить хочет и срок возврата коровы оттянуть — отдавать надо, а жалко. Не глядел на Сычова, слушал и выжидал, когда удобнее о корове заговорить.

— Пожаловал в гости дружок Захарки. — Миней мотнул головой в сторону солдата. — Илья Хорь. Герой! Вишь, Георгия имеет, а мне угостить его нечем. Красные обобрали!..

— Бесчинствуют, — подтвердил солдат. — Я из Владивостока... Сколь нашего брата в тюрьмах сидит —

ужасть! Норовят хватать офицеров да нас, кавалеров Георгиевских... — Разгладил пышные усы. — Думают, нам кресты за их головы давали... А чего в городе делается, ни спьяну, ни с трезвости не разберешь. То обнимаются, то мордуются, кто за кого, не поймешь... Сказывают, Спиридон Меркулов всем хвосты прижмет. И красные не спят, тоже в отряды собираются... Подумал я, погадал и двинул к другу своему разлюбозному — Захарию. Бежал от кутерьмы, а тут такая же кутерьма... — Он стал рассказывать, как в Тамбовку нагрянули красные из отряда Юрашина. Удалось улизнуть. Отсиделись в тайге. — Хорошо, Захарий не спал, краля у него гостевала, а то был бы нам каюк, не помиловали бы за поножовщину.

— Подумаешь!.. — пробасил Захар, подкручивая фитиль лампы. — Делов-то — бабу и ее дочку пришили. А что дураку Селезню досталось, сам виноват. Зачем влез? Сидел бы на печке, живой был бы...

Илья Хорь, вспоминая подробности драки, сказал:

— Дюже красиво бился Захарий. В старину за такое в гренадеры определяли.

— Или в каземат. Правда, это без разницы — все одно на казенных харчах. — Захар снова взялся за лампу — коптила.

— За что Георгия выслужил? — спросил Архип солдата, меняя тему разговора. Уж больно противно было слушать разглагольствования о поножовщине — нашли чем хвастать.

— За Гайду.

— Местность такая?

— Бери выше — енерал!.. В девятнадцатом году было и опять же во Владивостоке... Понагнали туда чехов, стало быть, союзников. Наш верховный правитель Кильчак...

— Колчак! — поправил Захар.

— Я и говорю, Кильчак, мать его в самое больное место! Он их с фронту снял, союзники-то были — только насчет грабежу мастаки, а в бою пособники хреновые... Ну, спим. Вдруг подняли по тревоге. Разбежались по своим орудиям, впрягли лошадей и на Алеутскую — аккурат против вокзала... По дороге узнали причину побудки — чехи, стало быть, союзники, взбунтовались и захватили железнодорожный вокзал.

— Вот те раз! — удивился Архип.

— Не в бровь, а в глаз! — нашелся разговорившийся

солдат. — Слухай дальше, все чудеса впереди... Был у них предводитель, енерал Рудольфа Гайда*. Тип из гипов, жулик из жуликов! В шестнадцатом воевал против нас в австро-венгерской армии. Был санитарным унгером, попал в плен и вскорости вышел в люди — из унтеров шагнул аж в енералы.

— Из грязи в князи, — заметил Захар.

— Верно, брат, — подтвердил Илья Хорь. — Тогда всех военнопленных чехов собрали в Чехословацкий корпус, и этот самый Рудольфа вылез в капитаны. А весной восемнадцатого, когда заключили с немцами мировую, Советы решили спровадить Чехословацкий корпус домой, стало быть, в Чехию. Отправить хотели морем, через Владивосток. Погрузились они в эшелоны — с оружием, с полным боевым комплектом — и растянулись от Пензы до Владивостока. И вдруг этот самый Гайда, с ведома своих чешских правителей, взбунтовался супротив красных. Взял город Мариинск. И весь корпус, как по команде, восстал. Советскую власть кувыркнули от Волги до самого Тихого океана.

— Откуда знаешь? — не выдержал Архип..

Солдат неторопливо разгладил усы.

— Я, мил человек, про своо енерала все знаю. А как же!.. — Поправил Георгиевский крест и продолжал: — Опосля Гайда и снюхался с Омской директорией. Но с умыслом. Помог адмиралу Кильчаку стать верховным правителем. Тот отблагодарил — дал Гайде чин енерала и командующим Сибирской армией поставил. Во, други мои, какие делишки обтяпывали наши правители.

— И сейчас так же, — вставил свое слово Захар. — Каждый генерал про собственный живот да карман думает...

— Слухай дальше, — прервал его солдат. — Стал Гайда енералом, а командовать армией не способен, увяз в грабежах, пьянках да бабах... Видит Кильчак, что бьют красные чехов, и снял ихний корпус с фронту, поставил железную дорогу охранять. Рудольфа и на «железке» оскандалил. Тогда затребовал его Кильчак в ставку и самолично сорвал с плеч енеральские погоны, разжаловал, стало быть. И отправил чешских

* Рудольф Гайда — контрреволюционный деятель, авантюрист. Во время второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 г. арестован чехословацким правительством и по приговору народного трибунала казнен.

легионеров к едреней бабушке, во Владивосток, а от туда, чтобы глазоньки адмиральские не мозолили, пушай, мол, в свою Чехию морем добираются... Ну, Гайда, каждому понятно, амбицию потерял. Как домой в Чехию вертаться? Без амбиций?.. Ему, стало быть, какая хочешь, амбиция нужна была позарез. Вот и надумал — взбунтовался. Поднял мятеж. Только теперича супротив самого Кильчака.

— Вот гадюка! — выругался Архип.

— Настоящая! — сказал Захар и покосился на своего друга Илью. — Амбиция амбицией, только сказывают, он там сошелся с местными эсерами. Вот они евоными руками и хотели спихнуть Колчака.

— Точно так, — подтвердил Георгиевский кавалер. — Только от побитой амбиции все и завернулось. — И без передыха продолжал рассказ: — Взяли, значит, чехи вокзал... Прикатили мы на Алеутскую, развернули орудия. И тут подъезжает на белой коняге полковник Драгов. Он, между прочим, завсегда на белых ездил и только на кобылах... Глядит на вокзал и говорит: «Из-за каких-то бунтовщиков этакую красоту порушим!..» Я, конечным делом, смекнул, чего от меня требуется, и гаркнул: «Ежели постараться, можем не порушить. Дозвольте, ваше высокоблагородие, попробовать?» Вижу, мнется он, я и осмелел. «От холода глаз сузился, — говорю, — и слеза прошибает, хорошо бы чего согревающего...» Он враз понял, чего мне требуется, и кивает адъютанту. Тот протягивает мне фляжку. Сделал я глотка три, скинул шинель, гребнем расчесал усы — жду, когда сугрев внутри наступит. Навожу орудю. А полковник на белой коняге гарцует, стало быть, вместе с кобылой нервничает. Я сызнава гаркнул: «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, нарисуем в лучшем виде!» Проверил прицел — аккуратно сугрев подошел. — бац! И в окно! Братишки шапки поскидывали, «ура» орут, а полковник рожу морщит: «Небось случайность». Ах, думаю, мать твою в самое больное место, над русским бомбардиром насмешки строить! Глоток из фляжки. Бац — и в окно! Еще глоток — и сызнава в окно!.. — Солдат перевел дух и, с горечью чмокнув, продолжал: — На четвертом оконце опросто-волосился. Глоток у меня шибко большой, вот и сбило глазомер... Ну, думаю, конец тебе, русский бомбардир Илья Лукич Хорь! За этакую промашку полковник зубы пересчитает, а это он дюже справно делал... Гляжу —

слезает Драгов с коняги. Я вытянулся, зажмурился, башку задрал и гадаю, по какой стороне ударит. Молю бога, чтоб по левой — она у меня из-за гнилости зубов вроде как не своя, не жую ею... Слышу полковничий голос: «Молодец, бомбардир!» Я, стало быть, глаза раскрыл... Сымает Драгов со своей груди Георгия и на мою грудь цепляет... Обомлел я, други мои, но быстро очухался и гаркнул, что положено, а у самого слезы в глазах — ни Драгова, ни евоной белой коняги не вижу...

Он влил стакан самогона в рот, словно в воронку, стал жевать поросятину.

— Этакый герой — и попотчевать нечем, — прибеднялся Миней Иванович.

— Мы не шибко прихотливые, — заулыбался тот и, показывая щербины, добавил: — Жевать-то особо нечем. Тоже благодарность полковника Драгова. Через месяц после Гайды угостил. Три зуба одним ударом, мать его в самое больное место!.. У орудия замок заклинило, а он... Дюже справный кулак был у Григория Викторовича!..

Солдат снова взялся за стакан.

— Что же Гайда? — любопытствовал Архип.

— Зарестовали.

— В трибунал и к стенке?

— Нет. Союзник все ж таки. Отправили под конвоем в Чехию, пушай, мол, евоные правители с ним разбираются.

— Наверняка шлепнули.

— Не думаю. Небось сызнава на поверхности плазает — дерьмо не тонет.

— Это верно.

— Не енерал, а чистый хунхуз, варнак! — снова оживился Илья Хорь, глядя блестящими глазами на собеседников. — Когда из вокзала бунтарей выбили, на путях захватили самоличный поезд Гайды. Ой, други мои, чего в нем только не было! И золотишко, и серебро, и картины разные, а ковров и соболей — считать дня мало. Пять вагонов одних чистокровных рысаков... Вот такие союзники! Одни сморчки да жулики!..

Архип, по привыкнув к смраду, стал закусывать. Миней подсовывал ему поросятину, а он, забыв, зачем пришел, раздумывал над рассказом кавалера. Не понимал, что делается на русской земле. Кого только на ней нет, со всего света, как вороны, слетелись, чуют

ее погибель и норовят растерзать, даже между собой грызутся за жирные куски. Не война, а грабеж. И в округе то же самое: Лысуха с Поповым вздорят, а одним промыслом занимаются, народ обворовывают. Все твари!..

Вдруг вспомнился Архипу брат Василий. Почему он о своем животе не заботился? А Иван, хотя и гад, но в свой карман чужого не кладет... Взмок Архип от этих мыслей, в голове все смешалось.

Илья Хорь спросил его:

— Как у вас в деревне?

— Отряд стоит, Юрашин сколотил.

— Большой?

— Не считал. Во всех домах квартируют, кроме моего да повитухи. Еще, кажись, у Варнаковых пусто, один Кузя проживает. Видать, запомнили, что хозяин в бегах...

— Грабят?

Архип хотел сказать, что даже помыслов таких не имеют, но передумал.

— Пугают, — вздохнул он.

Захар вприщур смотрел на него:

— Тебя не агитировали?

— К стенке ставили.

— И жив?

— Сказал, пугают!..

Илья Хорь разгладил усы, зевая, потянулся до хруста в костях, сказал:

— Везде кутерьма — и только!..

В наружную дверь постучали. Захар насторожился, Миней Иванович засуетил глазками. Архип и Илья были спокойны.

— Може, твоя краля? — спросил Илья Захара.

Тот поднялся.

— Не отпирай! — предупредил отец. — Спроси, кто...

Захар вышел в сени. Миней Иванович не по-стариковски проворно юркнул к кровати, достал из-под перины два обреза. В дверь затарабанили. Захар вбежал в комнату.

— За коровой пришел? Хвост привел, сука!.. — Со всего маху двинул кулаком в лицо Архипа.

Тот, падая, ударился затылком об угол окованного сундука и потерял сознание...

...Денис Долов доложил командиру о неудачном рейде в Тамбовку: ушли Сычовы, только Архипа в доме обнаружили. Оказалось, в подполье был лаз в притулившийся рядом с домом коровник — никто о потайном ходе не знал.

— Мало-мальски серьезного дела доверять нельзя!.. — пробурчал Иван и махнул рукой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ночью пошел снег, задул низовик. В тайге было тише, но темень такая, что Савелию приходилось идти почти на ощупь. Дорогу к зимовью Фрола-косорыла знал, заблудиться не мог, но часто останавливался, прислушивался, словно ждал погони или боялся попасть в засаду...

Он, улучив момент, поведал Еремею Попову о предложении брата на неотложную встречу. Тот задумался — лицо перекосилось, будто судорогой свело. Было над чем задуматься, случай с Лысухой из памяти не выветрился: тогда по слабости душевной доверился льстивым словам да подаркам — впросак попал. Объявил ему Лысуха По гроб жизни не забыть той дьявольской ночи, когда братание шло, пили, лобызались, а потом... Попова в дрожь бросило — почудились порезанные Лысухой казаки. Только двух его подручных оставил. Поглумился вдосталь. С тех пор мечтал Еремей о мщении, планы вынашивал, и вот случай сам в руки плыл. А если снова подвох? Долго Попов гадал и пришел к выводу: Ефрем хочет отрядом завладеть. Все Ляховы, а Еремей знал их хорошо, не привыкли в подчиненных ходить, им бы на плаву быть да верховодить. Решил подсобить Ефрему и из того двойную пользу извлечь: изловит Лысуху, поглумится чертям на зависть, а с новым атаманом сговорится, сообща разбой чинить станут. На Ляхова можно положиться...

До зимовья оставалось шагов двадцать. Тянуло дымом — в зимовье топилась печь. «Не спит Фрол, ждет, — отметил Савелий. — А ежели он там не один?..» Достал маузер, стоял, всматривался да внюхивался. Рука сжимала оружие, от холода и напряжения пальцы окоченели. Осторожно двинулся к зимовью, зашел с подветренной стороны, приложился ухом к стене, но, кроме биения собственного сердца, ничего не

слышал. Скользнул за угол, потянул за скобу. Дверь открылась, и его обдало теплом. Но войти не решился.

— Не студи, — слышался спокойный голос Фрола Кудлая.

Савелий вошел в зимовье, и первое, что увидел, огонь в открытой печке — яркое пламя плясало, резало глаза. Пригляделся. Рядом с печкой на полу сидел Кудлай, перекидывал в руках печеную картошку — лицо от огня багровое, с черными бороздами, словно разделенное на части и неаккуратно склеенное. В зимовье, кроме Фрола, никого не было. Савелий облегченно вздохнул, двинулся к печке, сел на чурбак — против Кудлая. Тот, нахмурившись и громко сопя, обдирал с картошки обгоревшую кожуру. Савелий разглядывал его: вовсе одичал бирюк, волосами зарос, сродни медведю, одни глаза торчат, рожа перекошенная — следы кнута, — штаны из рыбьей кожи, на ногах гольдские олочи.

— Бог в помощь, — нарушил молчание Савелий.

Бирюк даже не глянул на него. Савелий улыбнулся:

— Сызнова довелось встретиться... В прошлом годе отец за казаками присылал, помнишь?

Кудлай молча жевал, потом вытер об рубаху измазанные сажей руки, принес из темного угла кусок вареного мяса, сунул его в руки гостю и стал палкой ворошить золу в печке — отыскивал очередную картошку. Сказал:

— Днем не велено топить. А нонче будет дымиться...

Савка понял: дым из трубы послужит сигналом для Ефрема — брат пришел. Усмехнулся — затеянная игра нравилась. С аппетитом уплетал медвежатину. Насытившись, напился воды и устроился на лежаке. Отогревшиеся ноги ныли, глаза слипались... Ему мерещилось, что лежит дома на печи, внизу мать чугунками гремит, за столом отец сидит, ужина ждет, на лавках братья по старшинству разместились. Алешка крайним примостился — кудряшки белые озорно взъерошились, и глаза блестят, на пустое место, где должен сидеть Савелий, поглядывает. Отец отломил от краюхи кусок, передал буханку Демьяну, и та пошла по кругу — каждому своя доля. Алешка смехом заходится, большой кусок в руках держит, хвастает, что ему доля Савелия досталась. Все громко хохочут. А Савка с печи руки тянет, орет, что его обделили, но никто его не замечает.

Только мать в сторонке от всех на кровати сидит, сухими пальцами юбку перебирает и, глядя на Савку, горько плачет...

— Ты клад не порушил?.. — как громом сверху ударило.

— Какой клад?.. — встрепенулся Савелий и глаза выпучил.

Бирюк сидел на чурбаке, огонь из печи светил сбоку, и его лицо было черным; только левая щека краснющая, будто головешка тлела. Савелий сообразил, что промашку дал, видно, Ефрем небылицу с кладом выдумал, чтобы Фрола-косорыла одурачить, и хитро прошептал:

— Откель про клад знаешь?..

Кудлай закричал и отвернулся к печке. Долго сидел молча. И Савелий выжидал, не заговаривал, боясь что-нибудь невпопад ляпнуть. Наконец Фрол сказал:

— Нонче люди паскудистее зверей... Язык для слов даден, а слово для обману. Вот и проверил. Ляховы — не боги. Хотя и боги нонче паскудились.

— А ты?

— Я тож...

Он достал кисет, принялся большими щепотями толкать в нос табак, всасывал с шумом и присвистом. У Савелия сон как рукой смахнуло. Глазел на темное оконце, ждал рассвета...

Возвращался он ночью. Возбуждение после разговора с Ефремом не проходило, хотелось поскорее добратся до стойбища и обо всем поведать Попову. Вот уж порадует! План нехитрый, но исправно сотворить — сработает на славу. Главное, у Попова ни забот, ни хлопот. Ефрем понял его опаску и вывел из игры. Братья сами все сделают, пусть атаман в сторонке хоронится, только несколько казачков Савелию выделит. На такое Ослоухий пойдет: если обман, потеря невелика, и для собственной головы никакого риска... А уж как братка бирюка околпачивал, завидки брали. О кладе говорил: много отец за жизнь скопил, им оставил, значит, братьям жадничать не к лицу. Говорил, а сам с Савелия глаз не спускал, зло смотрел, словно на спор вызывал. Тот смекнул, несогласие высказал, ругаться стал да так в роль вошел, что Ефрем вправду разъярился, выхватил из кобуры браунинг. Бирюк не стерпел,

корил Савку за скаредность — клад большой, всем хватит. Тот засовестился и сдался. Сговорились встретиться через неделю: придет Савелий, тогда и в путь двинутся. А там, глядишь, бог подсобит... До вечера просидел Савелий в зимовье. Опасно днем выходить. С наступлением сумерек явился Ефрем, торопливо сказал, что его на дворе кадет дожидается — идут посты проверять, — и чтобы Савка за ними следом шел до распадка, затаился в ельнике, а вороний крик услышит — дальше шастает... В ельнике братья встретились — настоящий план оговорили. На прощанье Ефрем сказал:

— Извелся, нутром иззяб. Думал, ты дураком остался, не домозгуешь — и пиши пропало!..

Савелий хмыкнул — гордость распирала. Спросил: — Бирюк не догадается?

Ефрем, знавший алчность Кудлая, сказал:

— Я ему такую сказку про тебя, выродка, сварганю, ночи спать не будет — слюной изойдет!..

На том и расстались...

Мороз крепчал. Но Савелий не только из-за холода спешил — желание скорее увидеть Ослоухого подгоняло, представлял его счастливую рожу и на седьмом небе себя чувствовал. Теперь уж тот не отвертится, предоставит в его распоряжение Акулину Анисьевну — развеселая потеха будет... Он устал. Наломал лапнику, сел передохнуть. Подкрепился медвежатиной, прихваченной на дорогу. Вдруг вспомнил сон, виденный в зимовье. Подробности припоминал и не мог понять, почему его куском хлеба родичи обделили?..

Ефрем преднамеренно оставлял Лысуху одного, вертелся среди казаков, присматривался. Чувствовал, что есаулы следят за ним и доносят атаману о каждом его шаге, потому лишних разговоров не вел, шутками да прибаутками отделывался. Сумел отметить, что молоденькие казаки, которых атаман называл «кадетами», глядят на него с явным почтением. Решил: они его опора.

— Разумно, Ефрем Никонович, — как-то сказал Лысуха. — Сближаетесь с казаками и в то же время наводите порядок... Кстати, приглядитесь к Кудлаю, он вроде исправно свое дело делает, за что жалованье получает, но зверь темный — не узнаешь, что на уме.

Это было на руку Ефрему, теперь можно не таясь к бирюку ходить. Риск уменьшился, но покоя не было, что-то настораживало. Гадал, что крылось за предложением атамана: искреннее беспокойство или тайный ход? Чем больше думал, тем сильнее убеждался: ловушка! Не спал ночами, ворошил в памяти подробности разговоров с бирюком, выскивал, где мог оплошать...

Фрол к Ляховым относился с уважением, вспоминал Никона Демьяныча добрым словом. Ефрему же разговоры об отце — нож острый. Но пришлось вести их, другого хода не было. И как-то, словно ненароком, обронил слово о тайнике в тайге, в котором родитель оставил клад — завещал вырыть, как смутное время кончится. Соврал лихо. Но Фрол не клюнул — никакого интереса к кладу не проявил. Ефрем еще искал подходы к замшелому бирюку, а тот вдруг неожиданно спросил: «Еще кто о захороненном кладе знает?» «Савелий», — тут же нашелся Ефрем. Дальше все пошло гладко, сговорились быстро...

«Вот где осечку дал! — думал сейчас он. — Надо было не сразу соглашаться. Со временем, глядишь, бирюк раскололся бы. А теперь что же?..»

Утром казаки, оголившись по пояс, умывались снегом. Ефрем вышел из избы, скинул рубаху. Натирался докрасна, от разгоряченного тела шел пар. Рядом охал и повизгивал кадет — безусый парнишка, — косился на окно, откуда наблюдал за ними Лысуха. Ефрем давно приглядывался к парню, привечал мелкими побряжками, при атамане называл «братом кадетом», наедине по имени — Сашок. Парень становился разговорчивее, податливее — ему льстило панибратское отношение бывалого поручика.

Ефрем вытирался полотенцем. Сашок улыбался атаману, по-прежнему глазевшему из окна. Тишком зашел за Ефрема и влепил снежком в спину. Тот от неожиданности дернулся, поскользнулся и упал. За окном хохотал Лысуха. А кадет, поперхнувшись, вытаращился на стену. В ней, вонзившись в бревно, подрагивала стрела. Ефрем тоже ее увидел, выхватил из кармана браунинг. Саженьях в пятидесяти с ели осыпался снег — кто-то задел. Ляхов стал стрелять. Из дома выскочил Лысуха.

— Поймать! — заорал, размахивая револьвером.

Кадет бросился в избу, выскочил с винтовкой и побежал к ельнику. За ним припустил полуголый казак.

Они бежали по следу, который, петляя между деревьями, вел в тайгу. Вдруг Сашок остановился:

— Гляны!

На снегу, будто оброненные красные ягоды, застыли капли крови. Сашок двинулся дальше. Снова остановился, показал на кровавое пятно. Не успел сделать шага, как сзади послышался стон и что-то грузное упало на снег. Он резко повернулся. Казак лежал лицом вниз, из плеча торчала стрела. У кадета подкосились ноги, сел, ошалело глазел по сторонам, не понимая, откуда могли пустить стрелу. Второпях щелкая затвором, палил из винтовки наугад.

Они вернулись ни с чем. Атаман принялся распекать кадета, что тот упустил лазутчика. Ефрем вступился за парня:

— Гольд в тайге — как дома... К тому же если бы не брат кадет, я бы сейчас перед вами, Леонид Владимирович, не стоял...

Лысуха сменил гнев на милость — дружелюбно хлопал парнишку по плечу. Сашок благодарно смотрел на Ляхова, который возился с перевязкой раненого: вынул из плеча стрелу, перевязал. Казаки глядели на Ефрема с уважением...

Сумерки в тайге наступают рано и сгущаются быстро, деревья чернеют, сливаются, превращаясь в сплошную стену.

Ерми выбрался из распадка, отдышался и пополз дальше...

Сначала он не чувствовал боли, бежал от преследователей бойко, потом рана дала о себе знать — колола глубже и больнее. Присел передохнуть. Встать не мог — нога ныла, не слушалась. Пополз. Увидел кровавый след за собой и забеспокоился. Знал, что от потери крови человек слабеет. Глядел по сторонам, искал нужную ель. Подполз, встал на колени и ножом смахнул натек смолы вместе с корой. Разрезал штанину. Пуля прошла навылет. Положил на рану смолу, обмотал наколенником.

Он не боялся, что его настигнут, схватят, мучило другое: Ефрем живым остался. Впервые за много лет

пустил стрелу мимо цели. Сокрушался: что бы сказал отец, старый Нёнгя?..

К утру он выбился из сил. Надо было раздобыть еду. Полз и принюхивался. Уловил гнилой запах. За лиственницей обнаружил трухлявый пенёк, разломал его ножом, выгреб труху, проделал отверстие и запустил руку. В пустом корневище нащупал запасы бурундука: орехи, желуди, сухие грибы лежали в разных ходах нор, как в сусеках амбара рачительного хозяина. Ерми достал горсть желудей. Насытившись, захотел пить. Поел снегу.

В полдень добрался до охотничьего зимовья. Оно принадлежало Ляховым — ещё Никон Демьяныч сработал. Русские охотники пользовались им, но гольды обходили. На этот раз деваться некуда было, беда заставила — гольд вполз в зимовье.

Под потолком на привязи висели мешочки с сухим мясом, сухарями, крупой, солью. Ерми ни к чему не притронулся. Растопил жестяную печурку, подкрепился желудями, взятыми из запасов бурундука. Осмотреть рану боялся. Знал: если она красная — хорошо, блеклая — плохо. На всю жизнь запомнил рассказ отца...

Случилось это лет двадцать назад — Ерми и на свете еще не было. Нёнгя дружил с русским охотником Климом Сорокой. Не сговариваясь, встречались в тайге, вместе добывали соболя, били белку, ходили на сохатого, брали медведя. Как-то пропал Клим. Беспокойный Нёнгя пошел на поиски, долго по тайге бродил, но нашел друга. Клим лежал на топчане в зимовье, пылал жаром. Нёнгя не сводил глаз с его ноги... Клим попал в беду, повредил ногу, вовремя рану не обработал. Еле добрался до зимовья. Нога чернеть стала. На счастье, нашлась пила, будто специально кем-то оставленная. Накалил ее на огне и отрезал ногу. Никто не знал, как он смог сделать такое, — вся округа дивилась. Но Клим спас себе жизнь. Выздоровел и по-прежнему охотился — приспособил деревяшку вместо ноги и шастал по тайге...

Рана была блеклая. Пот выступил на лице, в висках застучало. Ерми не ведал, как называлась та страшная болезнь, которая вызывала черноту, но знал: болезнь может одолеть, если ей не помешать. Достал нож, сунул в печурку на жаркие угли, дождался, когда он накалится добела, приложил плашмя к ране.

Острая боль пронзила тело, голова пошла кругом. Отдышался, накалил нож вторично и, тараща слезившиеся глаза, воткнул его в рану. Ничего не видел, мысли спутались.

— Пунякта... Пунякта... — будто подсказывал себе.

Потянулся к печурке, выгреб ножом золу и засыпал рану. Перевязал куском оторванной полы халата...

Он проснулся рано. Мучила жажда. Выполз за дверь, поел снегу. Понимал, что спасение — в деревне, у русских. Но чтобы добраться, нужны силы. Нашарил в кармане последний желудь, съел, но голод не утолил. Покосился на открытую дверь — в зимовье под потолком в мешочках висела еда. Ее наверняка оставил охотник, который последним был здесь — им не мог быть Никон Ляхов. Но Ерми казалось, что именно Никон Демьяныч положил припасы. Зло сплюнул, ударил по двери, и та захлопнулась.

«Свободное войско» готовилось к походу — Лысуха решил сделать набег в верховья реки. Казаки чистили коней, проверяли оружие. Атаман с первым есаулом Ляховым ходили по лагерю — хвалили усердных, журили нерадивых. Ефрем украдкой поглядывал за перешеек, но из лагеря не видно было зимовья Кудлая, мешал густой пихтач. «Неужто не пришел?» — беспокоился за Савку. После случая с гольдом, который пустил стрелу в Ефрема, отношения атамана и первого есаула стали дружескими — Лысуха выказывал явную симпатию к своему помощнику. И Ефрем успокоился — подвоха от атамана не ожидал.

Он незаметно уводил Лысуху к перешейку, благо атаман, вспоминая службу в Сибирском казачьем корпусе, безудержно говорил и забылся. Вышли на тропу, ведущую к зимовью бирюка. Подталый снег скрипел под ногами. За ними шагах в тридцати следовал кадет Сашок. Из крайней избы вышел есаул в черкеске, поверх которой был накинута тулуп, догнал кадета, о чем-то заговорил. К ним присоединился бородатый казак, и они втроем двинулись за атаманом. Ефрем почувствовал неладное. «Провал!» — затылок взмок. Глянул на зимовье, которое теперь хорошо виделось: из трубы струился дым — Савелий со своими в засаде. Ефрем нервно поежился, навязчивая мысль о провале не давала покоя.

Лысуха, засунув руки в карманы бекеши, с упоением рассказывал об атамане Анненкове:

— Умница, черт побери! Горазд на выдумки. Один вид его войска наводил ужас. Представьте полки, одетые в разноцветные мундиры... По цвету мундиров назывались — черные гусары, коричневые кирасиры, голубые уланы... Анненков любил красивое, необычное, возвышенное...

Ефрем вспомнил, как однажды Лысуха восторгался пытками, придуманными лично Анненковым. Содрогнулся: «Поглумится надо мной, если сорвется!»

— И над всей этой красочной армадой... — продолжал атаман, — зеленые, простреленные пулями и стрелами знамена Ермака. Да-да. Ефрем Никонович, знамена самого Ермака!..

Он был возбужден, будто гашиша накурился, и это еще сильнее пугало Ефрема. Сзади по-прежнему вышагивали кадет, есаул и бородач, снег под их сапогами противно чавкал. «Неужто взял их специально?..» — лихорадочно гадал Ляхов, глядя на зимовье — до него оставалось сажень двадцать.

— Что беспокоит? — неожиданно спросил атаман.

— Ваш рассказ всколыхнул воспоминания, — нашелся Ефрем. — Какое было время! Люди какие!..

— Да-да, Ефрем Никонович!.. — подхватил Лысуха и продолжал: — Знамена Ермака взяли в Омске зимой восемнадцатого. Идея Бориса Владимировича. «Покорим Сибирь под боевыми стягами Ермака Тимофеевича!» У Анненкова всегда были блестящие идеи!.. Ночью совершили налет на войсковой казачий собор — и знамена наши! Переполох был в Совете казачьих депутатов — хотели нас обезоружить, а мы с хоругвями Ермака ушли в Прииртышские степи...

Атаман остановился, хотел повернуть обратно. Ефрему показалось, что он глянул на зимовье с опаской. Сомнения исчезли — бирюк продал. Сейчас Лысуха повернет в лагерь, уведет Ефрема, а есаул с бородачом и кадетом ворвутся в зимовье.

— Черт!.. — нарочито выругался Ляхов, хлопая по карманам. — Забыл портсигар!..

— Стрельните у есаула.

— У него не табак, а солома. Возьму у Фрола — горлодер! Я сейчас...

Он хотел уйти, соединиться с Савелием, ожидавшим в зимовье, и дальше действовать по обстановке.

— Не спешите, — остановил его атаман.

Ефрем напряжинулся. Рука полезла в карман, к браунингу.

— Я с вами. — Лысуха взял его под руку и повел к зимовью. — Чуть было не забыл... Верный человек донес. О вашем младшем брате...

У Ефрема перехватило дыхание: сейчас атаман скажет о заготовленной ему ловушке, свистнет, и из засады выйдут казаки, обступят зимовье.

— Жив Савелий, — продолжал Лысуха. — Обошла его пуля Ивана Юрашина. К Ослоухому прибился, в советчиках ходит.

— Не знаю... — с трудом выдавил Ефрем.

— Если с Ослоухим спарился, значит, против меня идет? Согласитесь, Ефрем Никонович, нескладно получается. — Он искоса глянул на Ляхова и тут же сменил разговор, снова принялся вспоминать атамана Анненкова.

Ефрем не слушал его, смотрел на зимовье и не знал, что делать. Ноги стали тяжелыми. Но отступать было поздно. «Будь что будет!» — доверился судьбе, шагнул вперед и открыл перед Лысухой дверь. Тот не успел переступить порог, как на него навалились люди Попова. Ефрем вошел в зимовье, увидел в углу Кудлая: рубаха черная от крови, и на полу кровь. Оглоушенного Лысуху вязали по рукам и ногам.

— Еле утихомирили... — Савелий показал на бирюка. — Всего истыкали — живучий...

— Быстрей! — приглушенно рявкнул Ефрем, и Савелий бросился помогать казакам опутывать веревкой Лысуху.

За дверью слышались голоса — к зимовью подошли есаул, кадет и бородач. Ефрем, прижавшись к стене, мотнул головой Савелию. Тот ударом ноги открыл дверь и стал палить из маузера. Первым упал бородач, за ним есаул. Сашок с криком побежал к лагерю.

— Его оставь! — успел предупредить Савелия Ефрем.

Атамана выволокли из зимовья, потащили к лесу, где были спрятаны лошади. Ефрем глянул в окно. От лагеря, навстречу кадету, бежало полураздетое «свободное войско», впереди трое есаулов. «Пронеси, господи!» — подумал, достал браунинг и выстрелил себе в руку. Вышел из зимовья, пальнул в сторону леса и

повалился на снег. Голоса переполошенных казаков приближались. Ефрем ждал момента подняться. Вдруг есаул в черкеске заворочался, простонал:

— Гаденыш... Савка...

Ефрем догадался: есаул припомнил Савелия, которого видел в прошлом году в усадьбе, когда отец потчевал Лысуху, и вторично при погроме в стойбище гольдов. Подполз к есаулу, сунул браунинг под тулуп и, надеясь, что казаки из-за ора не услышат выстрелов, дважды спустил курок. Тот затих. Ляхов приподнялся, но, словно обессилев, упал. Подбежали казаки.

— Брат атаман! Брат атаман! — кричал кадет Сашок, разыскивая Лысуху.

Ефрем застонал. Его подняли. Он заскрежетал зубами и оттолкнул казаков.

— Бирюка сюда! — глухо приказал.

Казаки бросились в зимовье и тут же выскочили обратно. От догадки Ефрем похолодел, во все глаза смотрел на открытую дверь. Послышался звериный рык, и в проеме появился Фрол Кудлай: глаза безумные, борода и рубаха перемазаны кровью, клокотанье вырывалось из глотки. Двинулся на толпу. Казаки попятились. Ляхов понял: промедление смерти подобно — бирюк увидит его, и все полетит вверх тормашками. Выхватил у растерявшегося казака винтовку, двинулся на Фрола:

— За тридцать сребреников душу продал!..

Кудлай на мгновение остановился, вперился в Ляхова. Узнал, раскинул руки и, рыча, пошел навстречу.

— Иуда! — заорал Ефрем.

Торопливо щелкая затвором, всаживал в бирюка пулю за пулей. Тот с каждым выстрелом дергался и медленно оседал.

Казаки стояли потрясенные. Ефрем, не давая им опомниться, пнул бездыханное тело Фрола-косорыла.

— Всех, кто ослушается, ждет такая же участь! — голос его осип от пережитого страха. Скомандовал: — Ослоухого на кол! По коням!

Казаки побежали к лагерю. Ефрем, зажав раненую руку, двинулся следом. Шел быстро. Голова опущена, глаза выглядывали из-под козырька низко надвинутой фуражки — не упускал из виду есаулов.

Ерми не сразу различил выстрелы, ему казалось, разыгралась непогода. Раскаты грома заглушали топот

чудившегося стада оленей: гордо запрокинув рога-
тые головы, они летели с кручи в темную бездну. И он ле-
тел вместе с ними, дух захватывало, беспомощные руки
и ноги искали опоры, вот и гром исчез... Появились
светлые пятна, неслись на него и, приближаясь, пре-
вращались в лица гольдов — старые, испещренные
морщинами. Он догадался — это его предки. О них мно-
го рассказывал отец, и сейчас они чудились ему...

Когда-то его род имел стадо оленей и вел кочевую
жизнь. По обычаю гольдов, больной или немощный
старец, который не мог больше принести пользы своим
собратьям, не хотел быть обузой для них и объявлял
о намерении покинуть род и уйти в бун — далекий
потусторонний мир. Желанию не перечили, кланялись
благородному человеку и, оставив ему немного еды и
дров, уходили со стадом на новое пастбище. Гольды
знали, что оставленных припасов хватит ненадолго —
они кончатся, стоит пройти им с полсотни верст. И,
пройдя эти версты, останавливались, оглядывались бо-
язливо и, удостоверившись, что духи не преследуют их,
долго всматривались вдаль, куда через год необходимо
прийти и поклониться костям предка...

Медленно приходил в себя Ерми. Он лежал на сне-
гу, прижавшись ухом к земле, — хотел еще раз услы-
шать топот оленьих копыт. Голова горела, боль в за-
тылке мешала слушать, но он, затаив дыхание, уловил
только ему понятные звуки. Рядом был зверь. «Волк!» —
от той мысли сознание стало ясным, и он приподнял
голову. Знал волчью повадку: крадется к жертве с под-
ветренной стороны. Решил перехитрить зверя, отполз в
сторону, сделал петлю и с нового места стал наблюдать
за поляной. «Почудилось», — облегченно вздохнул и
хотел было ползти дальше, к деревне, как на другой
стороне поляны появился медведь-шатун. Ерми замер.
Коварнее и страшнее зверя в эту пору в тайге не было.
Шатун не гнушается ничем и никого не боится, даже
человека будет преследовать до тех пор, пока не на-
стигнет и не одолеет. И этот медведь — старый, с кло-
чьями шерсти на тощих боках — не отставал от Ерми.
Он чуял приближающуюся смерть человека и шел за
ним, выжидая, когда тот ослабеет, чтобы напасть.

Медведь, обнюхивая человеческий след, бесшумно
переходил поляну, приближался к Ерми. Гольд пони-
мал, что не в состоянии перебить хребет зверю, как
делали его сородичи, после чего у медведя отнимались

лапы, тогда и добивали его. Ерми не мог даже как следует натянуть тугую тетиву лука, да и что могла сделать стрела, разве только поранить и еще больше разъярить зверя. Самый надежный выход — распороть медведю живот, а дальше положиться на свою ловкость и помощь всемогущего бога Эндури.

Ерми отбросил в сторону теперь уже не нужный, а только мешавший лук. Медведь остановился и поднял голову. Их глаза встретились. Рука гольда взялась за рукоять ножа. Хитрый зверь заметил это почти неуловимое движение и встал на задние лапы — внюхивался в воздух, показывая изрядно стертые клыки, глухо рычал. Ерми не сводил с него глаз, а тот, будто не собираясь причинять зла, катался по снегу. Ерми призывал духов предков, чтобы помогли ему — отогнали шатуна, пронзили огненной стрелой или замутили зверю разум. Но духи не внимали мольбе...

Ерми полз. Он не оглядывался, не искал глазами своего врага, твердо зная, что тот идет следом. Стар был медведь, к тому же, наверно, хвор, оттого не нападал. Но гольд понимал, что скоро силы оставят его, и тогда зверь решится на бросок. Главное — не пропустить этого броска.

Впереди была речушка. Заходящее солнце поблескивало на облысевшем льду. Вдоль берега тянулась свежевытопанная полоса — следы конских копыт. Здесь проскакали всадники, которых Ерми принял за оленье стадо. Наверно, бандиты Лысухи рыскали по тайге, искали ненавистного гольда. И в который раз он пожалел о промахе: Ефрем Ляхов будет жить, а он умрет неотомщенным. Не мог стерпеть такой несправедливости и, переборов слабость, снова полз. Вдруг понял: к речке ползти нельзя — бандиты могут вернуться и обнаружат его след. Решил дождаться темноты. Одолела дрема. Боль в ноге поутихла, становилось хорошо и покойно. С трудом открыл глаза, достал нож и стал жалить себя, чтобы болью отогнать сон...

Ерми нашли за околицей деревенские мальчишки. Он был без сознания, одежда разорвана в клочья, рука мертвой хваткой сжимала нож. Неподалеку в луже крови лежал окоченевший медведь с распоротым животом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Солнце светило ярко, и птицы радостно переговаривались на все голоса. В снегу пробивались ручьи, сосульки, свисая с крыш, обильно слезились.

В доме деда Маркела было тесно. Лаврентий Шалда, прибывший из Хабаровска, сидел за столом, то и дело поглаживая смоляную, с проседью, бороду. Иван и Денис еще по Владивостоку знали его привычку: занимается бородой — значит, нервничает — новости не веселые привез. В дом вошли дед Маркел и Кешка, устроились на порожке. Они долго совещались во дворе, как на заседание штаба проникнуть, уж больно хотелось большевика Шалду послушать — о нем еще от Василия Ляхова знали. Дед решил: последними в дом шмыгнуть, с краешку пристроятся, авось не заметят. А если турнут — беда небольшая, встанут да выйдут. Иван покосился на них, сказал:

— У нас заседание штаба!

Кешка, стиснув зубы, поднялся, уже в сени шагнул, как услышал голос Дениса:

— Это, Лаврентий Петрович, брат Ивана Игнатьевича — Иннокентий. Можно сказать, с революционным сознанием товарищ. Полезно парню послушать.

— Возражений не имею.

Кешка зыркнул на Ивана и, гремя саблей, сел. Дед Маркел, растерянно глядя на Шалду, несколько раз кашлянул:

— А я, извиняюсь, как же?

— Сиди, Маркел Трофимович. При гостях негоже хозяину на дворе слоняться, — цыганские глаза Лаврентия, светившиеся добром, вдруг угасли. — Все в сборе?

— Все, — глухо ответил Иван.

Шалда расстегнул пуговицы косоворотки, вытер взмокшую шею и негромко начал:

— Скрывать ничего не стану да и незачем. — Посмотрел на мужиков. — Положение Советской России тяжелое, если откровенно — крайне тяжелое. Хозяйственная разруха, голод, другие бедствия гражданской войны, а результат — контрреволюция поднялась и пошла в наступление. Нужно признаться, что удача пока на ее стороне. Крестьянство и часть рабочих недовольны политикой большевиков. Да, народ не может вечно голодать, жить в нужде и холоде. Мы, большевики,

признаем это и делаем все, чтобы вывести страну из разрухи. Но эсеры и меньшевики, пользуясь тяжелым положением народа, организуют кулацкие восстания, бандитские вылазки, сеют панику, призывают к забастовкам и демонстрациям. Красная Армия размела силы помещиков и капиталистов России, но они, эти силы, объединившись с международным капиталом, снова хотят сорвать мир. Не удалось в гражданскую задуть силой, теперь хотят растерзать Советы изнутри. Расчет прост: большевики поймут свое бессилие в управлении государством и сами откажутся от власти. И эта тактика контрреволюции, к сожалению, пока оправдывает себя. Как пожары в засуху, вспыхивают восстания — в Поволжье, на Тамбовщине, Кубани, Урале, в Сибири и Грузии... К повстанцам иногда примыкает и армия.

Мужики внимательно слушали Шалду. Кешка смотрел на его загорелое, обветренное лицо и старался не пропустить ни слова. И дед Маркел напряженно вслушивался и, казалось, не дышал.

— Взять хотя бы Кронштадт. Это же оплот революции. Моряки не раз поднимались против самодержавия. Я мог бы многое рассказать о событиях девятьсот пятого и шестого годов, потому что сам участвовал в них и в числе ста тридцати моряков был сослан на пожизненную каторгу. И тем горше мне говорить о сегодняшнем Кронштадте... — Достал кисет, набил трубку и приглушенно добавил: — Даже Кронштадт восстал против Советской власти...

Денис с Иваном переглянулись. Мужики внимательно глядели на Шалду. Кешка, поддавшись общему настроению, воззрился на кусок тельняшки, выглядывающий из-под косоворотки Шалды — сине-белые полосы расплывались, затуманивались. Лаврентий Петрович раскурил трубку, нервно затягивался.

— Я уже говорил о разрухе в стране... В Петрограде тоже не лучше. Голод, холод, а отсюда и рабочие забастовки. Отчаялись люди, и поддержали их моряки Кронштадта. Нужно сказать, команды кораблей и гарнизон крепости были доведены до полного изнурения. Люди недоедали, не получали обуви и обмундирования. Этим-то и воспользовались мелкобуржуазные партии. Моряков «подогрели», и те решили создать революционный комитет для наведения справедливости и порядка. Создали... под лозунгом «Власть Советам, а не пар-

тиям!» Зная, можете спросить: неужели кронштадтские моряки хотели повернуть революцию вспять? Сейчас мне трудно вам ответить на такой вопрос. Время, как говорят, все рассудит... Скажу только, что в мятеже приняло участие более двадцати пяти тысяч матросов и солдат!

— Мать честная!.. — не выдержал дед Маркел, отродясь не слышавший подобной цифры.

— Мятеж был подавлен, но ценой многих жизней. Говорю с болью, потому что произошло это в революционном Кронштадте. Никто не мог предположить, что таким огненным и кровавым будет двадцать первый год... — Шалда теребил бороду — лицо хмурое, брови сдвинуты. Наконец заговорил снова: — А на Тамбовщине?.. Надеюсь, вам, хлебородам, несложно представить жизнь тамбовских крестьян, которым не только нечего сеять, но и нечего есть. Их бедственным положением умело воспользовались темные силы, и мужики тамбовские восстали. Главарь мятежа Антонов свирепствует, на тамбовской земле — террор и насилие. Обманутый голодный люд слепо идет за ним, пожаром беспорядков и расправ с комбедами охвачена вся губерния. Здесь против Советов поднялось около пятидесяти тысяч крестьян. Цифрами не пугаю, а то, гляжу, побелели от испуга. Говорю их для того, чтобы поняли тяжесть положения, осознали опасность, нависшую над Советской Россией. Борьба предстоит кровопролитная, слабым духом в ней делать нечего...

Он откинулся от стола и, оглядывая мужиков, продолжал:

— Теперь о положении на Дальнем Востоке. В Хабаровске есть какой-то тайный «революционный» комитет, который разбрасывает прокламации с призывом к народоармейцам — бить комиссаров и евреев. Самозванные комитетчики организуют беспорядки, саботаж, грабежи, поджоги и взрывы. Обстановка в городе накалена до предела. Люди живут в страхе. А этот комитет нагнетает страх, распуская слухи, будто вся Россия восстала — и рабочие, и крестьяне, и все они будто против невыносимой жизни под комиссарскими Советами!.. В Гродеково есть даже открытые комитеты, как в Хабаровске. Митингуют во всю глотку, призывают народ на борьбу с большевиками...

Кешка вспомнил недавний разговор с Денисом: по слухам, во Владивостоке началась какая-то смута, но

толком никто ничего не знал. И он, не моргая, глядел на Шалду.

— Теперь о мартовских делах во Владивостоке. Там была попытка переворота...

Голос Шалды, казалось, прозвучал откуда-то изда- лека, затем накатился волной, придавил. Кешка оце- пенел. И мужики сидели, не шелохнувшись.

— Мятежники должны были захватить город, пере- бить коммунистов и всех сочувствующих им, освобо- дить из тюрьмы своих арестованных главарей. В том числе и генерала Лихницкого. Командование народо- армейцев и милиция предупредили события. И все-таки без крови не обошлось... Японцы, как вы знаете, офи- циально признали правительство Дальневосточной рес- публики, обещали нейтралитет и содействие в наведе- нии порядка в случае каких-либо волнений. И что же?.. Белогвардейцы только там и выныривали, где распо- лагались японские войска. А вот когда народоармейцы начинали теснить белых, то они тут же прятались в японских штабах и учреждениях. Едва восстание пода- вили — японцы всех арестованных мятежников взяли под свое покровительство. Русские власти запрашива- ли: что будут делать с ними японцы? Те в ответ, как говорят, ни да, ни нет. А на деле, под шумок, выпуска- ли их. И сегодня все белогвардейцы и главари опять на свободе.

У Кешки от волнения пересохло в горле. Все, что рассказывал Шалда, потрясло его. Жил, обремененный своими заботами, и, казалось, тяготы да беды за се- мерых сносил. Не подозревал, какие громадные собы- тия происходят вокруг.

Шалда продолжал:

— Для нас, большевиков, не должно быть неожи- данных заговоров и мятежей. До тех пор, пока есть буржуазный мир, капиталисты не откажутся от борь- бы против рабоче-крестьянского государства. Нужно только одно: быть всегда наготове, видеть, когда, кем и при чьем покровительстве поднимаются эти мятежи. Скажу больше: сегодня беспорядки могут случиться в Имане, завтра — в Хабаровске. Буржуи и контрре- волюция не станут сидеть сложа ручки и ждать, когда вы хлопните их обухом по голове — они сами на это горазды. Поэтому, повторяю, нужно не вешать носа, а готовиться к тяжелой борьбе.

Лаврентий Петрович замолчал, насупившись, зани-

мался трубкой, будто давая время партизанам подумать, взвесить услышанное и сделать необходимые выводы. Поднялся Иван. Зацепившись за край стола, громыхнула сабля. Кешка по красным пятнам на лице брата понял, что тот возбужден до предела. Иван, глядя воспаленными глазами на мужиков, чеканил слова:

— Текущий момент понимаю так: Дальний Восток находится на грани войны. Если до сих пор она была тайной, то отныне может стать явной. Вчера мятеж не удался, но завтра контра выступит с удвоенной силой!

— Даже, может, сегодня, — перебил Шалда. — Дальбюро нашей партии призывает нас быть готовыми к этому.

Иван продолжал:

— На сегодняшний день наш отряд сделал мало, а если откровенно — ни хрена не сделал! В этом прежде всего виноват я, с меня и первый спрос. — Кашлянул, расправил в поясе гимнастерку. — Наша прямая задача — не ждать, когда контра поднимет голову, а бить, истреблять ее, не жалеючи и под корень!

Он глянул на Шалду, видно, поддержки ждал, но тот по-прежнему занимался трубкой и, казалось, не слышал выступления Юрашина. Иван снял папаху, помял ее в руках, вдруг бросил на стол и заговорил снова:

— Сколько раз я предлагал пойти по Амуру, вплоть до Николаевска! Пока шли — обросли бы силой... — Стал перечислять деревни, подсчитывая, сколько каждая может дать бойцов. — Это же целая армия, родные мои товарищи! Такой силе не страшны никакие мятежи, никакие интервенты!

— Кстати, об интервентах... — снова перебил Шалда. — Не успеет вскрыться Амур, как по нему начнут рыскать японские катера. Строжайший приказ: с нашей стороны ни одного выстрела. Ни одного! Самураи горазды на провокации, потому — держать ухо востро. Мы не можем сейчас допустить войну с Японией — в ней гибель для нас. Сейчас ведутся переговоры об эвакуации японцев с Дальнего Востока. И в недалеком будущем правительство ДВР добьется этого. Но — ни одного выстрела! Это необходимо разъяснить каждому бойцу и помнить самим. — Посмотрел на Ивана, спросил: — Что же мешает тебе обрастать, как ты говоришь, грозной силой?

Тот потупился и более спокойно сказал:

— В наших рядах имеются товарищи, которые не

совсем ясно понимают текущий момент. Выступают против похода. В этом и предлагаю разобраться.

Он взял папаху со стола, напялил ее на голову и сел. Лаврентий Петрович оглядывал мужиков.

— Кто же это?.. — спросил, пытаясь по лицам сидящих угадать осмелившихся выступить против командира.

С присвистом дышал дед Маркел. Кешка устался в пол. Знал, что Иван говорил о Денисе, и сейчас этот выпад брата считал нечестным. Представлял, как достанется Долову, и сильнее злился на Ивана.

— Я! — раздался голос Дениса.

Кешка поднял глаза, Долов встал, расстегнул ворот гимнастерки, словно готовился к драчке, и повторил:

— Я, Лаврентий Петрович!

Шалда выбил из трубки пепел и тут же принялся набивать ее табаком.

— Объясни.

Денис спокойно сказал:

— Поход по Амуру — дело хорошее. Только затевать не время...

— Контра по всему Дальнему Востоку голову поднимает! — вскочил Иван. — А ему — не время! По твоему, нужно ждать, когда нас вовсе за глотку возьмут?

— погоди! — остановил его Шалда.

Иван с шумом сел на табурет и стал скручивать сигарку, пальцы не слушались, дергались. Денис продолжал:

— Рядом в тайге гуляют два атамана. Бесчинствуют две банды. А мы мечтаем о вселенском походе. Потому и не время.

Он сел. И тут мужиков будто прорвало, заговорили все разом — одни стояли на стороне Ивана, другие поддерживали Долова. Шалда, глядя на спорящих, терпеливо слушал. Кешка не сводил с него глаз, пытаясь понять, о чем тот думает. Взгляд Лаврентия Петровича дольше задерживался на тех, кто защищал точку зрения Ивана. Кешка смекнул, что это неспроста: у Шалды есть свой ответ, который идет вразрез с предложением Ивана, но высказывать его не торопится — хочет услышать мнение всех членов штаба.

— Тихо, товарищи, тихо!.. — перекричал мужиков Фотей Стриганов и, когда те утихомирились, принялся

рьяно отстаивать поход по Амуру, при этом сильно размахивал руками, словно дрова колот.

Шалда прервал его:

— Как же так, Фотей? Юрашин чуть не пристрелил тебя, а ты за его идеи глотку дерешь?

Стриганов опешил — не ожидал, что Шалда знает о ссоре. Пробурчал:

— Дело не в личных обидах...

Лаврентий Петрович сидел задумавшись. И мужики сникли, недоуменно поглядывали друг на друга — осведомленность Шалды обескуражила. Иван, не скрывая неприязни, сверлил глазами Дениса, считая, что именно он поведал Шалде о делах в отряде. Успел. Изловчился. Вынес сор из избы. Невольно вспомнил недавний разговор, когда они возвращались из тайги после неудачных поисков банды Ослоухого. С издевкой подумал: «Вот каким макарком мой друг «познает» себя!» А Денис глядел на Шалду и не мог понять, откуда тот знает про срывы Ивана.

— Друг на друга не коситесь, наушника не ищите. У вас все наружу, приглядываться особо не надо. Бойцы открыто высказывают недовольство, а вы не слышите. Оглохли, как тетерева на току.

Иван хотел возразить, но Лаврентий Петрович не дал ему сказать, повысил голос, продолжал:

— Я у вас в отряде всего несколько часов, а наслушался такого, что уши вянут! В подробности вдаваться не стану, сами все знаете. Но анархий больше не бывать! Самосудом, розгами и пулями за Советскую власть не агитируют!

Елизар Клюкин, сидевший в углу, в комок сжался, боялся, что и до него доберется Шалда — поди взболтнул кто-нибудь, у многих языки чешутся. А у Кешки глаза заблестели. Вспомнился Василий. Тогда они лежали в сарае, всю ночь проговорили. Пусть сейчас слова были другие, но смысл тот же. «Значит, верно. Верно!» — утверждался он в мыслях. Глянул на брата. Тот сидел хмурый, лицо, вовсе красным стало, будто после жаркой бани. «Не сорвись, Ваня!» — мысленно умолял Кешка.

— В Николаевске японцы. Забыли? — продолжал Шалда. — Или вы с Японией собрались воевать?.. Ваша прямая и неукоснительная задача — разбить банды Лысухи и Попова. Или считаете это пустяшным делом? А если они объединятся, если к ним примкнут мелкие

бандиты? Что тогда?.. Рвемся в большой поход, мечтаем о великих свершениях и не замечаем дел самых первых. Переоцениваем себя, недооцениваем силы врага. А чем расплачиваться будем? Народной кровью? И так слишком много ее пролили, и, случилось, зря. Революция, мол, все спишет. Нет! Совесть людская не спишет, и история не простит! — Оглядел притихших мужиков, спросил: — Чем отряд ваш отличается от ватаг Лысухи или Попова?

Иван вскочил.

— Ничем! — твердо сказал Шалда. — Только разве не грабите... А может, и до этого дошло?

Иван не выдержал его взгляда, потупился и опустился на табурет. Лаврентий Петрович помолчал, будто вспоминая какие-то события, заговорил исторопливо, приглушенно:

— Гражданская война многому нас научила. С мировой революцией мы лишку хватили. Думали, что она, как ходовой товар, вроде русской пшенички пойдет из России по всей земле... Недалекие головы считали, что Советская власть — это рай небесный: лежи на печке да поплеывай в потолок, а фарт сам тебе в руки упадет. А когда поняли, что рай-то надо собственными руками строить, горбом упираться и потом поливать, ужаснулись. И пошли мозги набекрень.

Кешку в жар бросило. Вспомнил, как перед уходом в армию Иван учил его уму-разуму и про райскую жизнь при новой власти говорил. И Василий вспомнился. Тот ничего не сулил, наоборот, о тяготах предупреждал: нищей и голой Россию интервенты и беляки оставят, и, чтобы поднять ее, до седьмого пота придется спину ломать. Шалда сейчас о том же самом говорил.

Лаврентий Петрович, откинувшись к стене, смотрел на Ивана. Тот чувствовал его взгляд и еле сдерживался — в делах своих правоту видел. Шалда, понимая его состояние, сказал:

— Много людей за годы гражданской войны повидал. И героев, и трусов, и предателей. Всякие были. Только и геройство бывает разным — один для пользы дела, ради товарищей и государства, а другой только ради славы своей. Страшная это штука — слава, если у тебя чести не хватает. Недаром ведь говорят: честь и слава. Они вместе должны уживаться. Слава вперед рвется а честь ее в узде держит. Иначе слава может

таких дров наломать... Вон, например, главком Муравьев, поднявший мятеж в Симбирске. Главком Сорокин, расстрелявший в Пятигорске почти всех руководителей Северо-Кавказской республики. Не говорю о мелких сошках, которые мнили себя Наполеонами и, изменив Советской власти, объявляли области или края независимыми державами. Кого в том винить?.. Виноваты мы — большевики. Все это по нашему недосмотру. Проморгали и вовремя не пресекли. И сейчас мятежи и восстания там и вспыхивают, где по-настоящему партийцы наши не работают. Как в Кронштадте, например. Да что там Кронштадт! Возьмите свой Николаевск. Или вы уже забыли про командарма Тряпицына? А может, стыдно вспомнить? К сожалению, есть еще партизанские командиры, которые стараются умолчать о Тряпицыне, будто его вовсе не было. А уж если говорят, то оправдательно. Нет ему оправданий! И нам тоже. Сами мы проглядели. Передоверили. За что получили сполна! И надо об этом не забывать, а помнить. Чтобы не споткнуться во второй раз на том же месте. Тряпицын — черное пятно на совести организации. Его не смыть, но и прикрывать заплаткой не следует.

Его черные глаза смотрели на Кешку. Парню было не по себе: почему именно на него воззрился, он же не был в низовьях Амура и в событиях, о которых речь, не участвовал. Значит, укоры к нему не относятся. Но что-то непонятное происходило с Кешкой — волновался, сидел, как на углях. А может, относятся?

Шалда спокойно говорил:

— Если белогвардейское отребье хочет взбаламутить Дальний Восток, то наша главная задача — усилить партийную работу, не отрываться от людей. Наоборот, надо быть в самой гуще — разъяснять, объединять. В этом залог нашей победы. Кстати, сколько у вас партийцев?

Гаврюха Горелый первым поднял руку, за ним Денис Долов, затем Иван.

— Не густо, — заметил Шалда. — Больше нет достойных?

Иван мазнул ладонью по мокрому лицу, смахнул с головы папаху — волосы слиплись, торчали клочьями. Лаврентий Петрович повернулся к Копытину:

— А ты, Дмитрий Антонович, разве не в партии?

— Нет.

— Может, жена не велит?

Копытин засопел и махнул рукой. Шалда понял, что попал в точку, сказал:

— Когда договор с ней о мире подпишешь, сообщи, — и тут же обратился к Михайле Дыбову: — А ты, кузнец?

— Сочувствующий, — пробасил тот. — Им и останусь.

— Дело твое, в партию силком не тянут. — Шалда посмотрел на Ивана и, стуча пальцем по столу, повернулся к Стриганову: — Вступай, если желание имеешь. Рекомендацию дам.

Фотей опешил — рот открыл, а ничего сказать не может. Лаврентий Петрович, видя его растерянность, сказал:

— Личных обид за пазухой не держишь. Такие партии нужны. Как считаешь, Иван Игнатьевич?

Тот заерзал — табурет под ним противно заскрипел. Шалда перевел взгляд на Кешку. Парень смекнул: очередь дошла до него. Лихорадочно думал, что ответить. Шалда молчал. Кешка струсил до того, что руки ходуном заходили и озноб по телу пошел. И вдруг какая-то неведомая сила подняла его: опираясь спиной на косяк двери, он выпрямился:

— Я готов, но... наверно, пока не имею права...

Глаза Лаврентия Петровича улыбались. Парень почувствовал тепло его взгляда и, сбиваясь, стал рассказывать о своей жизни. Говорил без утайки. Сомнения высказывал. О Марии: к какой семье принадлежала, как взаимности добивался и не добился, почему из дому ушла. Когда умолк, Шалда сказал:

— Истерзал себя до крови. Только невдомек мне, в чем вина твоя?

— Как — невдомек? — выпучил глаза Кешка. — Предал я!

— Кого?

У Кешки — комок в горле.

— Марию... — хрипло произнес.

Иван с грохотом встал; задетый ногой табурет повалился на пол.

— Слушаю братца родненького и дивлюсь, в кого такой олух уродился! Баба с ним, как кошка с мышкой, играет, измывается, а он не налюбуется ею. Да еще нас хочет уверить: поглядите, какая она хорошая, чистенькая! Ну, это еще вопрос, на который есть один

ответ: Машка — самая настоящая недобитая контра!

— За всех не ори! — встрял Дмитрий Копытин.

— Во, твою налево, еще заступник объявился!.. Слышал, чего в деревне говорят? Или за байстрюка ее вступишься?

— Да ты что? — крикнул Кешка и, испугавшись собственного голоса, тише добавил: — Ребенка не трожь!

— Горло не дери — не твой!

— Мой! — Лицо Кешки запылало, дыхание сбилось.

— Ври, да знай меру!

— И не вру! Коли она моя жена, значит, и ребенок мой!

— Во загнул! — Иван двинулся на Кешку. — Или ты меня дуракомставляешь?

Копытин взял его за рукав, потянул на себя:

— Охладись, командир!..

Иван рванулся, отпрянул назад и в сердцах замахнулся на Копытина. Тот не дрогнул, глядел на Ивана прямо. Шалда и все мужики тоже смотрели на Ивана. Он понял, что дурость выказал, обмяк и плюхнулся на табурет. У Кешки злость прошла, только обида за брата душила. Сполз по косяку, сел на пол и уткнулся лицом в колени.

— Не годится так, Ваня, — спокойно сказал Копытин. — Тебя народ пока еще уважает, командиром над собой поставил, а ты чем платишь?.. — Поправил выбившийся из кармана полушубка пустой рукав и продолжал: — Лаврентий Петрович меня женой Федотьей попрекнул. Скрывать не стану, по ее разумению, в партии делать мне нечего. Говорит, выгоды никакой, одни лишние хлопоты. Баба-дура по-своему рассуждает. Только я дозволения у ей и спрашивать не буду, и крик ейный да слезы мне не указ. Как подумаю, Ваня, что с тобой рядом в партии придется стоять, так наперекор желанию иду. Не понять? Разъясню. Покуда я беспартийный, мне легче твоих безобразий не видеть, отойду в сторону — и все. А партийцем стану — отходить от тебя уже нельзя мне будет. И тогда я тебе спуска не дам. Твое командирство атаманством подванивает. Чуть что — того и гляди, в морду двинешь или, того хуже, пристрелишь. Кто тебе слово против — тот и контра. Дай волю — ты половину деревни к стенке поставишь. А тебе уже деревни мало. Тебе всю тайгу подавай — вот бы где ты с кнутом своим развернулся!..

Кешка сидел ни жив ни мертв. Ему казалось, что всему виной был он: не смолчал, не покорился — и все невзгоды обрушились на Ивана. Лиха беда начало, теперь мужики не остановятся, напрямки говорить станут. И Денис не смолчит, наверняка выскажется. Шалда строг. Ивану командиром не быть...

На кровати стонала бабуляка — занемогла после ухода Марии. Анята с Митяйкой спали на печке, разметались во всю ширь и посапывали. Кешке не хотелось тревожить их и, постелив кожух, устроился на полу. Спать не хотелось. Вспоминал затянувшееся заседание, выступления мужиков. Говорили только об Иване, правду-матку резали. У Кешки от боли сердце стискивалось, будто не Ивана, а его распекали. Выскавывалась правда, а ему хотелось, чтобы она обернулась небывальщиной. Понимал, что такого не могло случиться — мужики справедливо говорили, — и появлялось желание вступить за брата. Когда же слово взял Гаврюха Горелый и стал защищать Ивана, Кешка насторожился. И чем больше добрых слов слышал о брате, тем сильнее раздражался...

Вспомнился Шалда. Сидел чернее тучи. После выступления Гаврюхи поднял усталые красные глаза, говорил негромко, в голосе — хрипота. И строгость. Казалось, судьба Ивана решена. Кешка с замиранием сердца смотрел на Шалду — вот-вот скажет: «Снять!» Но тот умолк, задумался. Встал Денис. Сетуя на поздний час, предложил решения сейчас не выносить: утро, мол, вечера мудренее.

Шалда согласился... Тогда Кешка подумал, устал Лаврентий Петрович, да и все упарились, оттого Шалда согласился перенести заседание на утро. Но сейчас новая мысль не давала покоя: «Может, несправедливость углядел? Не все плохо делал Иван...»

За окном забрезжил рассвет, а он ворочался с боку на бок, кашлял — озноб напал. Сел, обхватил колени и уставился на окно. Скоро в доме деда Маркела соберутся партийцы — Шалда, Долов, Горелый и Иван. Как-то дело обернется? Шалда — кремень. Но и Денис мужик настоящий. А Иван? Как поведет себя?.. Кешку снова тревога обуяла: натворит бед братец!

Он быстро встал, натянул кожух, стал искать папаху — ночью впотьмах куда-то сунул.

— Чего маешься? — слышался слабый голос бабуляки.

— Папаху потерял.

— Я не об том...

Он нашел папаху — за печку завалилась, — подошел к кровати, сел на краешек. Холодная старушечья рука коснулась его лица, видно, хотела погладить, но затряслась, забилась на щеке. Он схватил ее, уткнулся в ладонь.

— Машу верни... — сквозь слезы проговорила бабуляка. — Невиноватая...

— Знаю, — ответил он, положил ее руку на одеяло и пошел к двери.

Во дворе стылый воздух обжег лицо, мерзлый пористый снег хрустел под ногами. В глазах стояла Мария, но виделась почему-то не дома, а там, во дворе Выприна, когда после стрельбы и побега Савелия ее вывели из дома Клюкин и Громов. Спустилась с крыльца. Босые ноги на талом снегу, злобные глаза на людей смотрят. Рванула рубаху. Кешка двинулся к ней, не хотел, чтобы бабулю срамоту люди зрили. Нес домой, дыхание ее ощущал. Тогда думал, роднее человека на свете не сыщешь....

Остановился. Вспомнился дед Маркел. Про Ивана говорит: «Все в нем не евовное, будто оброс чем-то». И верно, Иван не таким был раньше — спокойным, рассудительным. Бывало, ночи напролет рассказывал Кешке о грядущей жизни: все в мире переменится, народ свободно вздохнет, радость познает... Мир впрямь изменился, но и Иван другим приехал. «Что же с тобой стряслось, братка!..»

Когда в прошлом году больного Никона Демьяныча Ляхова с постели стаскивал, Кешка на то смотрел спокойно — с врагом не след церемониться. Впоследствии прав оказался: оправился от болезни Ляхов, беду сотворил — двух бойцов не вытащили из горящего дома, и часового мертвым нашли... Но нельзя же вымещать злобу на всех людях. Чуть что — за маузер хватается... Марию случай спас. И Фотею Стриганову случай помог, неподалеку Денис находился. Не будь его, не известно, чем бы дело кончилось. Кешка не знал, с чего ссора началась, говорили, из-за пустяка — слово за слово, и пошла писать губерния!.. Весь в этом Иван.

«Выходит, для него человека убить, — что орех

расколоть», — от этой мысли зазнобило Кешку.

Он не заметил, как очутился у ворот деда Маркела. Стоял и не знал, входить во двор или не надо — разговаривать с братом расхотелось. Откуда-то Шаман появился, звонко залаял. Кешка толкнул калитку и замер. На бревне возле сарая сидел Иван. В землю глазами уперся, не шелохнется, воротник полушубка поднят, руки в карманах, во рту папироса торчит. Кешка понимал: не заметить его Иван не мог, видно, не хотел глядеть в его сторону, а может, ждал, когда младший брат сам подойдет.

Шаман, повизгивая, крутился в ногах, а Кешка стоял в растворенной калитке и не двигался с места.

Лаврентий Шалда уезжал из отряда. После схода, на котором он выступал, штабные собрались у Маркела. Хозяин угощал вареной кониной. Мясо было старое, невкусное, но никто этого не замечал, ели с удовольствием. Кешка восторженно глазел на Шалду. Иногда искоса поглядывал на брата. Иван за два дня похудел, глаза ввалились, скулы выпирали. «Дюже попарили, — думал Кешка, — и поделом. Наперед мозговать будет».

Разговор зашел о Николаевске. Вспоминали мартовские события прошлого года, когда японцы нарушили мирный договор и напали ночью на спящих партизан. Трое суток тогда шли бои в городе. Денис рассказал о штурме каменных казарм, где самураи как в крепости засели, поливали из пулеметов — не подступиться.

— Много раз атаковали, и все без толку, только бойцов теряли. Анатолий Иванович Комаров, который боем руководил, приказал сыскать артиллеристов, чтобы из орудий пальнуть по казармам — иначе не взять их. Да вот ведь огрех! Почти всех артиллеристов японцы в первую же ночь, когда напали на нас, извели. Квартировали они в одном доме, вот и порезали их. А оставшихся в живых сыскать в той кутерьме было невозможно. Но нашлись бойцы, которые мало-мальски в орудиях кумекали. Стали они стрелять — то недолет, то перелет, никак в казармы попасть не могут. Анатолий Иванович приказал прекратить стрельбу — этакие бомбардиры, чего доброго, в своих угодят. И тут кто-то сказал, что среди пленных белогвардейцев,

взятых накануне, находится артиллерийский подпрапорщик Анока. Ну, этого зверюгу все знали. Славился не только боем метким, но и палачеством своим. Любил пленных партизан истязать — о его изуверствах молва шумная шла.

Денис взял из рук Натана Ковригина козью ножку, затащил ее раз два, сунул ее обратно хозяину и продолжал: — Велел Комаров привести Аноку. Пока за ним ходили, лежал я и думал: неужели этот матерый бандит, холуй японский, по своим хозяевам-самураям стрелять станет? Ни в жизнь не согласится!.. Приводят Аноку. Вид помятый, один погон на плече болтается, а глаза так и пылают ненавистью. Анатолий Иванович говорит: «Знаешь, что за кровавые деяния тебя ждет?» Анока злобно буркнул: «Пощады не прошу. Стреляйте!» Комаров малость повременил и говорит: «Верно, Анока, тебя, как гада, надо уничтожить, но если попадешь из орудия в японскую казарму, то будешь жить. Под суд пойдешь, но это станет смягчающим обстоятельством». У подпрапорщика рожа вытянулась — ошалел. А потом глазки враз сузились, на каменные казармы пристально глядит, словно что-то прикидывает. Вдруг сплюнул и выпалил: «Хрен с ними, с самураями, попаду — своя жисть дороже!..» Увели его. А я лежу и думаю: как же так, ведь его японцы при своем штабе держали, от нас прятали, и до этого обласкан ими был — в довольстве пребывал, и вдруг по своим покровителям палить станет. Уж не на хитрость ли, думаю, пошел: возьмет и накроет нас!.. — Денис снова затащил козью ножку и, выпуская клубами дым, продолжал: — Минут двадцать, пока Анока добирался до батареи, я тревожился. Наконец заговорило орудие. Анока стрелял метко: первым снарядом угол казармы отвалил, вторым в стену попал — брешь огромная. Молодец, сволочь!.. — Денис перевел дух и, показывая на Ивана, заключил: — В эту брешь и повел Иван Игнатьич нашу роту...

Шалда засмеялся и сказал:

— Выходит, с помощью белогвардейского бандюги японцев одолели?..

— Подсобил, — смеялся и Денис.

Мужики снова принялись за еду, а Кешка, замерев, смотрел на Долова. Он живо представлял, как в брешь врываются партизаны, и Денис с Иваном среди атакующих — бегут рядом... «Отныне и дальше вместе

пойдут!» — Он облегченно вздохнул, да так громко, что мужики, перестав жевать, покосились в его сторону.

Потом всем штабом шли до околицы, Гаврюха вел под уздцы лошадь, рядом ехали два конника — должны сопровождать Шалду до Орловки. Мужики шутили, весне радовались. Солнце и впрямь во всю мочь старалось — щедро светило. Кешка, щурясь, глядел на Лаврентия Петровича, будто стараясь запомнить его на всю жизнь — не известно, встретятся ли еще. За околицей Шалда стал прощаться с партизанами, поблагодарил деда Маркела за хлеб-соль, повернулся к Кешке.

— Уважаю настырных, — сказал и протянул руку. — Только впредь не плошай и помни — любовью, как и честью, дорожить надо. — Немного помолчал и добавил: — Свое слово о партийности сказал, теперь дело за товарищами — решат. Но главное — сам реши!

У Кешки дыхание сперло. «Все сдюжу!» — мысленно поклялся. А Лаврентий Петрович подошел к Ивану. Стояли молча. Денис понял, что надо оставить их наедине, кивнул мужикам, и все отошли в сторону. Шалда, почесывая бороду, сказал:

— Если бы не знал тебя по Владивостоку как отличного командира, снял бы. Товарищи убедили — цени. Верят в тебя. И я решил поверить... Недалек час, когда и твой отряд вольется в Народно-революционную армию, прибудет нарочный с приказом, тогда и поведешь отряд в Хабаровск на воссоединение. А пока — готовься. Реорганизуй отряд по всем воинским законам — этому тебя учить не надо, сам все знаешь. И нервы не распускай. Сорвешься — пеняй на себя. Людей береги, врагам — никакой пощады... Пришлем комиссара. Отряд, надеюсь, разрастется и действительно станет грозной силой, так что комиссар по уставу положен. С ним не побалуешь — отрезвит!

Иван не проронил ни слова, стоял и в землю глядел. Шалда протянул руку. Иван хотел что-то сказать, но не смог. Отвернулся, стасив с головы папаху.

— Голову выше, командир! — укоризненно сказал Лаврентий Петрович. — Уныние, как ухарство, не следует бойцам выказывать!.. — Сел в седло и добавил: — А комиссар у тебя будет отменный!

Он поехал к реке. Двое партизан поскакали следом. Всадники спустились по отлогому берегу и вскоре скрылись за поворотом.

Иван стоял с непокрытой головой, всматривался вдаль. Налетел ветерок. Глаза слезились, а он глядел за излучину реки — хотелось, пусть издалека, но еще раз увидеть Шалду.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Юрашин реорганизовал отряд. Его помощником остался Денис Долов, начхозом, как прежде, был Елизар Ключкин. Появились командиры взводов, одним из них стал Кешка. Он удивился своему назначению, но больше дивился переменам в брате: строг, но обходителен — это не могло не радовать.

На заседании штаба Гаврюха Горелый предложил, не мешкая, совершить рейд к Черным марям — разбить банду Лысухи. Кешка неуверенно (выступал на заседании штаба впервые) напомнил о гольдах, которые выслеживают банду Попова: не зная, где находится Ослоухий, нельзя уходить из деревни. С его мнением согласились и решили дожидаться возвращения Самара с товарищами.

Потянулись томительные дни...

У стригановского дома на бревне, где обычно сидели старики, устроились Фотей и Денис. Усталые — умаялись за день, дымили самокрутками да окрест поглядывали.

— Шалда из ума не выходит, — сказал Фотей. — Впервые видел такого — большевик настоящий.

— Василия забыл?

— Сродни. Только Лаврентий Петрович круче — прямо в лоб бьет.

— Стеснительностью обделен. По Владивостоку помню... — Денис осекся, повернулся на скрип калитки.

Во двор вошел Кешка, подсел к друзьям. Фотей, продолжая разговор, сказал:

— Кабы в прошлом году оказался Шалда в Николаевске, может, с Тряпицыным по-другому вышло. Как считаешь?

— Не знаю... — неуверенно протянул Денис.

Кешка неожиданно спросил:

— С подпрапорщиком Анокой, про которого при Шалде рассказывал, чего случилось?

— Эко тебя занесло!

— Интересно, — признался Кешка.

Долов глянул на Фотея — и у того в глазах любопытство, — затянулся несколько раз и стал рассказывать:

— Горбатого могила исправит. Так и с Анокой... Его действительно помиловали, и он дал честное слово не выступать боле против Советской власти. Кстати, таких немало было, и, что удивительно, не только слово держали, но и партизанами стали, воевали против интервентов. И Анока напросился: мол, всю ошибочность своей жизни искупить желает. С артиллеристами после резни в Николаевске худо было, и его как знатока в этих делах назначили командиром батареи... Когда японцы начали новое вторжение, они имели большой перевес, и Тырский фронт дрогнул — партизанские отряды у села Богородского и чуть позже у села Тыр, не принимая боя, отступили на левобережье Амура, к устью Амгуни. В потере тырских позиций немалую роль сыграл этот самый Анока. При подходе японцев, вместо того чтобы стрелять по ним из орудий, он покинул позиции и хотел перебежать к своим бывшим покровителям. Его задержали. На допросе он сказал, что подготовил орудия для удара по красным. От ярости всеми похабными словами в наш адрес сыпал. В общем, предатель остался предателем. Его тут же расстреляли.

— Нельзя верить белякам! — после некоторого раздумья заявил Кешка. — Ну, рядовым — куда ни шло, а офицерью...

— Не скажи, — перебил Денис. — Офицеры тоже разные бывают. К примеру, наш начальник штаба Тихон Наумов. Жизнь за Советы положил, а сам, промежду прочим, бывший штабс-капитан царской армии. И воевал отменно, и Тряпицына часто одергивал. А вот когда Наумов погиб, Тряпицыну вольготно стало... — Денис немного помолчал и обратился к Фотею: — Думаешь, у Тряпицына противников мало было? Хватало! Только одни не сразу его распознали, другие объединиться не сумели. Да он им и не давал, упреждал события...

— Денис Карпыч!.. — послышался голос Ивана, стоявшего за изгородью. — Посоветоваться надо...

Долов пошел к Ивану, а Фотей и Кешка невольно переглянулись. Сидели довольные. Фотей вдруг твердо сказал:

— И все-таки, будь Шалда в Николаевске, не так бы вышло!..

В доме Апросиньи Жмыховой горел свет — у молодоженов гостевал Кешка. Хозяйка угощала вареной картошкой, квашеной капустой и лепешками из отрубей. Двое бойцов, которые раньше жили у старухи Лукки и перебрались сюда по приглашению Федьки Лаптя, от еды отказывались — знали, с каким трудом добываются харчи. Апросинья не настаивала — было бы предложено, в остальном их воля.

Кешка, Федор и Апросинья сидели за столом. На полу устроились на ночь постояльцы, отвернулись к печке, чтобы на едоков не глядеть, не соблазняться. Кешка, понимая это, чувствовал себя неловко. Пил морковный чай, а к еде не притронулся. Хозяйка без умолку щебетала, часто скрываясь за занавеской, отгораживающей угол, гремела посудой или чугунками и возвращалась. Кешка заметил, что с каждым разом Апросинья краснела сильнее и хлебала чай шумливее. Дивился: из чего она ухитрялась гнать самогон? В отряде на варку зелья запрет был, но Кешка выговора сделать не мог: Федька к самогону не притрагивался, а Проська к отряду касательства не имела. Искоса поглядывал на Федьку, который тыкался губами в блюдце и усердно дул на остывший уже чай — делал вид, что не замечает, чем жена занимается. Когда же она пошла хлебнуть в очередной раз, он не выдержал:

— Сядь, а то побью!

Кешка усмехнулся, представив, как неказистый Федька станет мутузить здоровенную бабу.

— Давно пора, — пробурчал мужик, лежавший на полу. — Чистая срамота! Себя травит и нас в искушение вводит.

— А ты спи! — огрызнулась Апросинья и тут же одарила Федора улыбкой. — Не серчай, пуговка моя! Я маненько, самую кроху — в честь гостя.

— Его бы и постеснялась... — сдался Федька. — Как ни говори — мой взводный и скоро партийным станет...

Кешка глаза опустил — не привык к такому обращению, стеснялся, когда его взводным называли, и в то же время приятность ощущал.

— И чего вы в этой партии нашли? — всплеснула

руками Апросинья. — Для нас, баб, сплошной убыток. Вона Ванька — без передыху постится. Сколь незамужниц, стало быть, обездоленных, а он во внимание их не берет. Сознательности нет. И ты ему уподобиться хочешь? Нет, стручок мой, ни в жисть не вступишь!

— Вступлю, — насупился Федька.

— Хочешь несчастной сделать?

— Чего несешь? Дюже хочется в родных краях человеком появиться, потому и вступлю.

У нее краску с лица как рукой смахнуло, круглыми глазами на Федора смотрит.

— Не бойсь, вместе поедем. И партийностью удивлю, и тобой похвастаю. Таких сдобных в нашей деревне не водится.

— Спятил! — отмахнулась она и, снова зардевшись, прошептала: — Чего я там не видела?..

— Чего-нибудь углядишь. Потом возвернемся... Маманю повидать страсть как хочется! Только жива ли?..

Она принялась успокаивать:

— Жива! Ждет. Небось все глазыньки проплакала. Ежели хочешь, мы ее сюда привезем, дом большой, места хватит.

— Не поедет... — помрачнел он. — Там отец и три моих брата схоронены. При них состоит. Не кинет.

— Откель родом? — спросил лежавший у печки мужик и перевернулся на спину.

— Тверской губернии... Семья большая была. Прадед на всю округу славился — лапти плел. Кажись, дело нехитрое, а он лучшее всех им владел — на товар спрос великий был. Оттого прозвали — Лапоть. Умение сыну, стало быть, деду моему передал — тоже Лаптем кликали. Так и стерлась родная фамилия — какая была, не знаю.

— От славного ремесла твоя фамилия. Ценно! — Мужик помолчал, будто прикидывая, назвать свою фамилию или не стоит. Кашлянул и продолжал: — Я тоже с Волги, только из-под Самары. В шестнадцатом в армию забрали, туды-сюда по свету швыряло — и царю службу нес, и Временному правительству верой и правдой, и Колчаку подсоблял. Вот уж действительно одно слово — темнота!

— Прозрел?

— И не один. Цельной ротой перешли и зашагали в обратном направлении. Кабы раньше-то уразуметь,

сколько б жизней сохранилось... А ты как в эти края попал?

— Я ни царю, ни другой какой контре не присягал — сразу супротив пошел. — Посмотрел на Апросинью и, широко улыбаясь, добавил: — Неведомая сила обожгла и сюда потянула...

Она даже всхлипнула.

— Господи!.. — прошептала.

— А я из Томска, — слышался тонкий голос.

Кешка посмотрел в угол. Возле стены лежал паренек — лицо сплошь усыпано веснушками, волосы взъерошились, будто солома стриженная. Паренек, вздохнув, сказал:

— Со всего белого света собрались.

— С Рассеи! — поправил его самарский мужик. — А на нас прут со всего света.

— Одолеем?

— И не сумлевайся! Нам только своих кровных — беляков побить, а с заморскими справимся. Правда, самураи — вояки сурьезные, ничего не скажешь. А вот американцы и англичане, помнится, не очень старались. Я их при Колчаке видел. Они без особой бумаги, которой задницу подтирают, воевать не могли. Вот те крест! Из-за моря ее пароходами везли. От боев увертывались, грабили без зазрения совести, но зато с чистой жопой!..

Все засмеялись. Только Федор в своих думах пребывал: родные края чудились, согбенная мать — одна-одинешенька, небось мыкается, неизвестно чем пробавляется. Апросинья ласково смотрела на него, смахивала слезы. Кешка гадал: то ли жалость от самогона пробудилась, то ли вправду любит?

Стали прощаться. Федор пошел закрыть за Кешкой. Вышли на крыльцо. Небо звездное, с Амура тянуло прохладой.

— Скоро вскроется, — сказал Лапоть и тише добавил: — Ивану про Апросинью Даниловну не говори, а?.. Из гнили гонит — противность одна, а она привыкшая. Но я ее отучу. Раза два побью — и отучу.

— Спробуй... — засмеялся Кешка.

Он вышел со двора, направился в сторону своего дома. Услышал, что дверь за Федором закрылась, повернул обратно. Подошел к дому Выприна, огляделся и припал к забору. В окнах темнота. Знал, что теперь Мария живет в горнице Сидора Парфеныча. Смотрел

на окна и представлял, как она встает с кровати, берет из люльки ребенка, кормит грудью... Закрыв глаза и долго-долго стоял так, не шелохнувшись, боясь спугнуть горько-сладкое видение.

Мария не спала. Накормив сына, лежала на кровати, уставилась в темный угол и прошлое в памяти перебирала. Мать вспомнила. Не в ладах жили — не понимали друг друга. Но зла у Марии не осталось, только доброе припоминала. И отца вспомнила — мельком, словно мимолетной тенью проскользнул. Зато дед стоял в глазах, как живой: лицо суровое, а взгляд ласковый. Всех в доме в страхе держал Никон Демьяныч, только Мария не боялась его, и он ее привечал, баловал, заступником был. Жилось ей при деде вольготно: подарки дорогие получала и работой не утруждалась. А теперь что же? Родной дядька приютить отказался, будто не знает, что у племянницы ни двора, ни кола — податься некуда. Кабы не бабка Христинья, не пустил бы Марию под свою крышу Архип, не позволил бы на половине тестя поселиться.

В тот день, когда она пришла от Юрашиных, Архип с домочадцами сидел за столом. Верка с Юлькой, как всегда, бросились к Марии, забрали ребенка, принялись стягивать с нее шубейку. Христинья предложила внучке поесть, что бог послал, но та отказалась. Архип по ее лицу понял: стряслось что-то. Спрашивать не стал, уткнулся в ложку и с шумом доедал похлебку. Мария не начинала разговора, ждала, когда дядька доест. Он чувствовал ее взгляд и есть не спешил, размеренно работал челюстями, хотя жевать в похлебке было нечего. Облизал ложку со всех сторон, вытер руками усы и бороду, принялся за чай. И тут Мария сказала:

— Ушла от Юрашиных.

Архип чуть блюдце из рук не выронил. Христинья заохала, смахивая слезы, крестилась. А девчонки визжали от радости — теперь с Марией вместе будут жить. Когда они поутихли, Архип спросил:

— Выгнал?

— Нет.

— Чего же?

— Опостылел!

— Сколь кормил, и враз опостылел?

— Не враз!

— Выходит, с камнем за пазухой в его доме жила?

Христинья, чуя назревающий скандал, встряла в разговор — и за внучку вступилась, и Юрашиных обелила. Получалось хитро: никто не виноватый. Стала по сторонам показывать — распределяла, кто где разместится. На Архипа злость нашла: пусть она — мать, но дом не ее, значит, командовать не ей. Будто не слыша слов матери, спросил Марию:

— Где жить собираешься?

Та побелела, губы затряслись.

— У Матрены, в баньке! — выкрикнула и стала закутывать в одеяло сына.

Девчонки заголосили — дом слезами потек. Христинья набросилась на Архипа, бранилась — такого еще никогда не было. Он голову опустил, глазами под стол вперился, слушал обидные слова, но против матери пойти не мог.

— Не пушу! — крикнула Юлька, схватила Мариину шубейку и выскочила за дверь — в горницу Выприна убежала.

Христинью осенило:

— На половине Сидора будет жить!

— А ежели он вернется? — спросил Архип.

— Перед ним и ответ держать стану! — Она взяла у Марии ребенка. — Дитятку извести сподобился, супостат! У-у, ляховское отродье!..

От этих слов Архипа перекосило, но тут же злость схлынула, даже смешно стало: отчудила мать, ничего не скажешь, будто сама не Ляхова...

Сейчас Мария, вспомнив этот разговор, крепко зажмурилась, чтобы слезы сдержать — обида душила. Никогда не думала оказаться в таком положении. При деде дом, что крепость стоял — бревнышко к бревнышку, и души в одном кулаке, дедовском, зажаты. Пусть затаенную ненависть друг к дружке держали, но помыслы единые были: все в дом, чтобы богатеть, чтобы Ляховы еще большую силу имели. Не стало деда, по швам все расползлось, рассыпалось. Даже родство забыли. И Архип на чужбине душу захламил — зачерствела... Вдруг Мария подумала: «А я чем лучше? Иннокентий всей душой ко мне, а я в ответ — черной неблагодарностью. В конце концов черт с ним: пляшет под дудку брата и пускай пляшет, коли ему нравится. Только бабка Юрашиха в том не виновата. Обидела ее

зря — всровкой из дома сбежала. А уж как старуха заботилась, обихаживала — одно добро от нее исходило. А Анюта?..» — У Марии сердце зашлось. И девочку, сироту обездоленную, не пощадила. Привязалась к Марии, словно к матери родной ластилась, во всем помощницей была и подругой — пусть летами намного младше, а без слов Марию понимала. Смышленая. Ушла Мария, ни словечком с Анютой не обмолвилась.

— Как же это я?.. — прошептала

Она явственно видела Анюту: сидит на лавке, колыбельную тихо напевает. — глиняную куклу убаюкивает. Глянет на Марию — в глазах тоска, как у взрослой.

Скрипнула дверь. Мария быстро смахнула слезы, подтянула одеяло к подбородку, будто защищалась от кого-то. В дверях появились две тени, к кровати двинулись.

— Не спишь? — Юлькин шепот слышался.

В комнате было жарко — печь топили девочки и перестарались. Архип, вытянув босые ноги, сидел на лавке, почесывал взмокшую грудь. Христинья, готовясь ко сну, разбирала постель. За стеной слышался девичий смех. Архип прислушался, но девочки угомонились. «И чем их привораживает?» — подумал о Марии. Верка, помнится, всегда с завистью глядела на Марию, так что привязанность понятная. А что стряслось с Юлькой — для Архипа было загадкой. Раньше-то жили сестры, как кошка с собакой, а теперь — водой не разольешь. Может, горе и беды на Юльку подействовали, повзрослела, добротой сердечной обзавелась, а может, влияние Верки сказывалось. Прежде девочки ласковы с ним были, а теперь даже не заговаривают. Стоит ему в комнате появиться, как они, придумав дела, убегают. Из-за Марии все...

Христинья улеглась в постель. Он курил, ждал девочек, хотел отругать, что порядка не знают, вовремя спать не ложатся. В сенцах скрипнула дверь, и вскоре в комнату вошли Верка и Юлька. Принялись стелить тулуп на полу. Архип видел их настороженность и суетливость — нахлобучки ждали. На душе защемило. «Впрямь супостат!» — вспомнил слова матери. Глянул на сундук, потом на Юльку. Поднялся, достал из

сундука старую папаху, отряхнул, пригладил шерсть.

— На-кась, Юляха.

Она глаза вытаращила:

— Зачем мне?

— На твою рыжего — срам смотреть — може, шапка села, а може, башка раздалась...

Юлька взвизгнула и схватила папаху:

— Гаврюха от радости захлебнется!

Архип понял, что его запрет на свиданки не имел силы. Захлопнул крышку сундука и, отвернувшись, взялся за штаны, стал разоблачаться. По окну трижды царапнули. Он замер. Христинья, заслышав условный сигнал, еще мужем Никоном придуманный, подняла голову, уставилась на окно. И девчонки туда же смотрели. Архип застегнул штаны, шаркая босыми ногами по скобленным половицам, вышел в сени, лязгнув засовом. За дверью никого не было. Тихо свистнул. Из-за угла вынырнула тень, двинулась к крыльцу. Петр! Архип остолбенел.

— Пусти, — прохрипел тот, отстранил брата и прошел в дом.

Архип постоял еще, боязливо озираясь по сторонам — нет ли где сторонних глаз, — тихо прикрыл дверь и так же тихо задвинул засов.

Христинья повисла на шее Петра, из-за слез ничего выговорить не могла. Девчонки таращились на дядьку, как на пришельца с того света. Он отстранил мать, снял с плеча японскую винтовку, к стене притулил. Старый, залатанный полушубок, каких отродясь не носили Ляховы, и шапку бросил у двери на пол, прошел мимо Архипа, сел на табурет. Глянул на мать, пробурчал:

— Чего в рубашке порхаешь?..

Христинья заохала и кинулась к кровати, где на спинке лежало платье. Петр перевел взгляд на брата:

— Столбом не стой. Али на колени хочешь плюхнуться, покаяться?..

Архип засопел, голову набок запрокинул, словно шею судорогой свело, и сел на лавку. Христинья, надев платье, засуетилась у печи, искала, чем можно попотчевать сына, но от ужина, как на грех, ничего не осталось. Девчонки не сводили глаз с дядьки Петра: ростом ниже Архипа, в плечах уже, а, видать, сильнее — вел себя как хозяин. Мать выбежала в сени, вернулась с кринкой молока, поставила перед Петром. Тот по-

прежнему глядел на Архипа, а Архип по заплывшим глазам брата понять не мог — то ли смотрит, то ли зажмурился.

— Во дворе давно пасусь, — сказал Петр. — Углядел корову в хлеву. С небес возвернулась?

Архип понял: Матрена за каждым шагом его следит, Петру докладывает, и тот сейчас вынуждает на признание, чтобы сказал, как перед отъездом в Харбин отвел корову к Сычовым на сохранение. Тогда речь о побеге пойдет, значит, и о краденном золоте. Решил уйти от щекотливого разговора, спросил:

— Давно пришел, а чего в дом не входил?

— Сторож вдоль забора шастал, только колотушку за пазухой держал. — Петр осклабился. — Охраняет, жисть твою распрекрасную сберегает.

— Напраслину не лей!

— Чего, петухи, взъерошились? — вмешалась мать. — Живы — радоваться надобно. — Пододвинула табурет ближе к Петру, почти в упор разглядывала его, поглаживала то по плечам, то по коленям.

— На ощупь живешь?.. — сказал Петр и прямо из крынки стал пить молоко.

— Совсем худо вижу.

— Износилась... — сделал еще глотка три и продолжал: — Я тоже запаршивел. Сейчас вроде моргаю, а зимой караул кричал — по утрам глаза не раздернуть, водой отмачивал.

— Завтрева к повитухе сходим, може, даст чего — вылечишься...

— Лучшее к Ваньке Юрашину — излечит враз!.. А Машка в выпринской горнице живет? Догадался по Кешке — долго у забора маячил.

Архип понял, о каком стороже раньше речь шла. Выходит, не отступился парень. Недавно Архип его выпроводил, не допустил к Машке, так он теперь по ночам под окнами выстаивает.

Петр неторопливо цедил молоко. Наконец вытер рукавом губы и, глядя на девчонок, сказал:

— Подросли. Местами округлились, особенно Юлька. Породистая! Щупай — не хочу!.. — Засмеялся. Тонко засмеялся, нехорошо. — Придет и твой черед. В нашем доме родство не шибко ценится. А Архип Никонич — дядька добрый!

Тот, едва сдерживая себя, сжимал кулаки. Строго сказал:

— Бабам выйти надо.

Верка с Юлькой будто ждали этого, вмиг выскочили. Христинья пошла к двери, остановилась, вытирая глаза концами головного платка, тихо сказала:

— Друг дружку пожалейте. Ежели что — не вынесу...

Братья остались вдвоем. Петр взял со стола кисет Архипа, скрутил сигарку. Архип, не дожидаясь, когда тот заговорит, сам начал разговор:

— Спаршивился ты телом и душой.

— А ты?

— За то крест несу.

— Крест — ноша удобная, на словах — тяжелая, на деле — грыжу не набьешь.

— В сердце она. Разъедает!

— Однако живешь. И не тужишь.

— Некогда тужить, заботы одолели.

— У меня, думаешь, их нет?

— Вдосталь у всех. Зачем пришел?

— Долю свою получить.

— Бери чего хочешь и уходи!

— Гонишь?

— Пока прошу.

— Боишься, Иван Юрашин нагрянет? За жисть свою трясешься?

— Отдал бы, но не моя она. Ты мать не прокормишь.

— Золотишком поделись, без тебя прокормится.

— Сплыло!

Петр, уставившись в угол, чадил самокруткой, затягивался нервно. Он знал про кражу золота за кордоном — Матрена у Юльки выведала. Зряшным получался разговор. Чего доброго, озлится Архип и впрямь выпроводит, а то и в драку полезет, бабы прибегут, ор поднимут, тогда беды не миновать — накроют партизаны. И, главное, план, выстраданный ночами, рухнет. Кашлянул и, не глядя на брата, приказным тоном сказал:

— Пороху и свинца дашь. У «японочки» патроны на исходе, заряды к берданке требуются. Картошки, сколько унесу. Соль, что в доме имеется, моя. Ты сало, помнится, любил, небось найдется? Луку и чесноку сготовь...

Архип в согласие кивал, хотя не знал, где требуемое Петром возьмет. Сами с куска на кусок перебива-

лись: картошки полмешка, луку с десяток головок, соли с полфунта да морковного чая пригоршня — все запасы, обмененные на Мариины безделушки. Решил все отдать, даже патроны, которые пуще глаза берег, попусту не расходовал. Пусть забирает, лишь бы смотался и оставил в покое, а то через такое родство и жизни лишиться можно. Застанут Петра здесь — милости не будет.

Петр затоптал окурок и тут же стал скручивать новую сигарку.

— Бери, — Архип показал на кисет. — Еще дам. С прошлого года остался...

Петр будто не слышал его, сидел задумавшись. В тишине громко потрескивал при затяжках табак.

— В счет моей доли утраченного золотишка еще одно дело сделаешь... — сказал и умолк, будто страшно было просьбу произносить.

Архип настороженно ждал, когда брат продолжит. О добром не попросит. Небось такое придумал, о чем вслух сказать не решался. Нутром в отца, значит... У Архипа по коже озноб пошел, уставился на брата — не моргнет. Наконец Петр тихо сказал:

— Невмоготу мне. К людям хочу.

У Архипа от сердца отлегло — не об убийстве речь шла.

— Сам себя боюсь... — У Петра веки дрожали, вот-вот слезы брызнут. — Страхи видятся, того и гляди Сенькой Груздевым стану.

Архип был потрясен, не думал, не гадал, что Петра тоска по людям гложет. Дрогнувшим голосом спросил:

— Може, с Иваном потолковать?

— С кем хошь толкуй. Скажи, душой хвораю.

Архипа не тянул Петька за язык, сам про Ивана ляпнул. Не представлял, как с ним говорить будет, но твердо сказал:

— Сделаю.

— За то прощение тебе пожалуйю и еще кое-что выделю. — Подался вперед, задышал Архипу в лицо: — Золота намыл, в бедности маяться не будешь...

На лесных прогалинах снег стоял, но между деревьями, словно злясь на оттепель, лежал — посеревший и заледенелый. Денис посматривал по сторонам, шел первым, за ним шагал Елизар. У обоих за плечами по-

коились мешки на лямках. Тяжесть давила, и они обливались потом. Охоту нельзя было назвать удачной. Завалили кабана. Если бы только себе — можно жить, но для общего котла добыча малая.

Забрезжил рассвет. Выбрали прогалину посуше и присели передохнуть. Курили молча. Клюкин хмурился, не мог смириться, что Долов на охоту его взял: захотелось по тайге пошастать, ну и шастал бы, а начхозу такое не след, по деревням бы прогуляться — враз продовольствие найдется, знает, где у рачительных хозяев припасы лежат. Не отдадут добром, силой возьмет: брани и слез прорва, зато отряд сыт — и начхоз на высоте.

В таежной чаще раздался хруст сухой ветки.

— Медведь! — прошептал Клюкин.

Загасив самокрутки, скинули с плеч мешки и затаились. Тишину нарушил пробудившийся дятел, долбил спозаранку. Денис и Елизар всматривались в марево — кто-то продирался через кустарник. Выждав немного, выскочили из засады.

— Стой!

Человек остановился. Денис и Елизар с ружьями наперевес двинулись к нему. Клюкин узнал Петра, изумился:

— Ай да медведь!.. Превеликая контра, таежный разбойник Петр Ляхов!

— Давненько не встречались, — заулыбался Денис, закинул ружье за плечо и без опаски подошел к Ляхову. — Здоров, Петр Никоныч!

— Здоров, Денис Карпыч.

— Лет пять друг дружке в глаза не смотрели?..

— Четыре.

— Подсчет ведешь? — засмеялся Денис.

И Петр оттаял, улыбнулся:

— В берлоге нечем заниматься, лапу сосу и, значит, вспоминаю...

Долов не видал Петра с тех пор, как в армию ушел, и с любопытством оглядывал его, дивился затрапезному виду — раньше Ляховы каждый праздник в обновках щеголяли, даже на охоту в таком старье не ходили. Спросил:

— Откуда путь держишь?

— Из деревни. У брата был. Порох, дробь взял... Луку немного...

— Чего же ночью, а не днем?

— Днем боязно.

Клюкин с ухмылкой сказал:

— Забоялась свинья по желуди ходить!..

Петр зло глянул на него:

— Забоишься, когда такие охотнички, как ты, под дубками стерегут. Мало смерти отца, нашей хочешь?

— Остынь! — перебил его Денис и обратился к Ключину: — А ружье опусти — ненароком выстрелит.

— У него и нароком получится, — пробурчал Петр. — Ведите уж, коли зарестовали.

Он снял с плеча винтовку, протянул Долову. Тот покрутил в руках «японочку», оглядел, будто впервые видел такой образец, и вдруг отдал ее обратно.

— Тебя никто не арестовывал. Ступай своей дорогой. А надумаешь — возвращайся в деревню.

Петр оторопел — не ожидал, что дело так обернется. Хотел сказать, что готов хоть сейчас идти в деревню, опостылела волчья жизнь, но глянул на мрачного Ключина и промолчал. Денис пошел к мешку, стал надевать лямки на плечи. Рядом возился со своим мешком Елизар, сердито ворчал. Прошли мимо Петра, который стоял на прежнем месте и широкими глазами смотрел на Долова. Сделали уже шагов двадцать, как раздался голос Ляхова:

— Денис!

— Чего тебе?

— Подь сюда... — Когда тот подошел, Петр сказал: — Лысухе карачун пришел. Знал?

— Нет. А банда?

— Ефрем атаманит.

Денис от неожиданности присвистнул. Петр продолжал:

— Оттого и боязно вертаться. Всякое можно подумать... — испытующе смотрел на Долова, но тот, занятый мыслями о случившемся в банде, не обратил внимания на его последние слова. Петр добавил: — Лысуху Попов поймал. В кандалы заковал и на аркане с собой по тайге водит. Сам видел.

В стороне стоял Елизар. Нервничал. Как ни вострил уши, а ни словечка не услышал.

Утром, вернувшись в деревню, Денис первым делом рассказал Ивану о встрече с Петром Ляховым. Созва-

ли штаб. Сначала мужики заспорили: зря Долов разбойника отпустил. Но, узнав о пленении Лысухи, моментально забыли про Петра — новость всех раззадорила. Стали высказывать мнения, сводившиеся к одному: надо воспользоваться случаем и, пока Ефрем не обрел силу как атаман, напасть на банду. Денис, когда-то друживший с Ляховыми, хорошо знал всех братьев, высказал предположение: пленение Поповым атамана Лысухи — дело не случайное, а продуманное и обставленное. Не исключено, что в этой истории Ефрем играет главную роль. Значит, он в банде поддержку имеет и властвует прочно. Предложил выждать, разведать, тогда и совершить рейд. Последнее слово было за командиром. Иван высказался за немедленный поход.

— Пока мари мерзлые, подхода к лежбищу банды искать не надо. Обложим со всех сторон — и накроем! — заключил он.

На том и порешили.

Иван, оставшись вдвоем с Денисом, сказал:

— Зря Петьку отпустил. Может, еще чего дознались бы...

— Брать не за что, судить — тоже. А тут своего рода агитация — он призадумается и другие помыслят.

— Кто?

— Хотя бы Архип.

— Стоит на двух контриков сердце тратить! И чего ты с ними нянькаешься?

— Во-первых, их не двое, окрест много таких. Во-вторых, люди они, Ваня, и обходиться с ними надо полюдски, авось поймут, вреда Советской власти не станут делать, а может, и на ее сторону перейдут.

— Не верю оборотням.

— Выходит, и мне не веришь?

— Ты — другое дело.

— Почему? Мой отец да брат Леонтий, сам знаешь, кем были. И я мог по их дорожке пойти. Ты остановил и мозги перевернул. Но, помнится, в армии не сразу ко мне подошел, чурался. А я сам к тебе прилип. И не отлипну... Командуй, я подсоблю. И с Архипом да Петром на твой манер поработаю. У тебя вышло, а у меня, думаешь, не выйдет?..

Разговор шел мирный и вроде откровенный, но не было в нем душевности, которая раньше объединяла друзей. И Денис напрямую спросил:

— Обиду затаил?
— Нет.
— Чего в глаза не глядишь?
— Не знаю, — признался Иван.
— Значит, гложет что-то. Переступи. Или поделись.
— Чем?
— Сомнениями...
— Их нет. Что-то другое засело, а вот что — понять не могу...

В дом вбежал запыхавшийся дед Маркел.

— Пришли! — орал он. — Гольды пришли!..

Юрашин и Долов поспешили во двор. Там мужики уже обступили гольдов. Начались расспросы. Говорил Самар, а его товарищи только поддакивали. Оказалось, банда Ослоухого возвращается с очередного набега — продирается через тайгу к стойбищу Наан. Там и Лысуха на привязи. Попов изгаляется: нагайкой его потчует, потехи устраивает. И другую банду видели: рыщет по тайге, отряд Ослоухого настигает — бродит вокруг да около и вдруг в сторону уходит. Мужики поняли, что Долов оказался прав: Ефрем с Поповым сговор имеют, оттого сбивается Ефрем со следа, а перед своими казачками небось норы выказывает, без устали за Ослоухим гоняется, чтобы Лысуху якобы отбить.

Ивану не хотелось менять прежнего решения, и он прикидывал, как лучше разделаться с бандой Ляхова. То, что она бродит по тайге, устраивало его: отряд займет бывшее селение староверов, куда банда непременно вернется, и встретит как надо. Но что-то в этом плане смущало Ивана, и он не давал приказа. Оглядел мужиков, спросил:

— Чего делать будем?

Те мялись, не зная, что предложить.

— Надо идти на речку Горюн, — сказал Денис. — Пока Попов через тайгу продирается, спустимся по Амуру — дорога справная. Выйдем на Горюн и вверх — опять же по реке. Если хорошим ходом пойдем, намного быстрее Попова до Наана доберемся. Там и устроим встречу.

Мужики одобрительно загудели. И Иван не заставил ждать себя — согласился. Счел предложение Дениса разумным, правда, оно не отличалось от придуманного им плана, но — банды разные. Ослоухий мог бы попасть врасплох. Не сориентировавшись, напролом полез бы, банду погубив. А Ляхов навряд ли. Бывший

поручик, служивший в войсках Каппеля, в разных переделках бывавший, — не растеряется, не со всей бандой, но уйдет. К тому же ватага Попова слабее, значит, с ней легче справиться, а это для первого большого боя важно. У бойцов дух поднимется, силу в себе почувствуют.

Сборы были недолгими. Безлошадных партизан — таких оказалось шестеро — решили оставить в деревне. Среди них был Дмитрий Копытин. За старшего оставался Горелый. Он, недовольный таким назначением, вертелся возле Ивана, который седлал коня.

— Что же ты делаешь, Ваня? А еще другом называешься. У меня же коняга добрая, а ты нас обоих в стойле оставляешь. Будь я безлошадным — слова поперек не сказал бы.

— И молчи.

— Не могу, обида душит. Ты же справедливый, чай, должен понять состояние солдата, с которым во многих боях участвовал. Как мы с тобой самураев били? А беляков?..

— К Ерми не забывай наведываться. — будто не слыша его, говорил Иван. — Старуха Лукия его выхаживает, а ты мужским словом подбодри. — Искоса глянул на Гаврюху, на голове которого красовалась папаха, ухмыльнулся: — Тесть как?

— Какой тесть?! — изумился тот.

— Обыкновенный, Архип, значит.

— А-а... — протянул Гаврюха и совсем скис. — У Ляховых головы чугунные — пешней не продолбишь.

— Нехорошо так о тесте... — смеялся Иван.

— Не с ним, чай, миловаться.

— У вас, у молодняка, одни заботы — только о шалостях.

— А ты по бабьему теплу не соскучился?

— Покуда не совершим мировую революцию, не бывать бабе в моем сердце!

— Вспомни, что Шалда говорил про мировую-то? До той поры свихнешься и желание в каком-нибудь море-океане утопнет. И хватит про баб — зубы не заговаривай, к тому же ты в них, по своей чувственной слабости, ни хрена не понимаешь. Моя душа в бой рвется, огня просит, а ты ее — в стойло!..

Иван посмотрел на дорогу, где Кешка, ведя коня под уздцы, шел к дому Выприна. «К своей контре шагает!» — озлился он и прикрикнул на Гаврюху:

— Не канючы! За деревню головой отвечаешь! — и тут же зычно скомандовал: — По коням!..

Матрена спешила к Петру. Она в оконце баньки углядела, как отряд Юрашина уходил из деревни. Побежала к Архипу, будто соли попросить, и без труда выведала у Юльки, куда Иван повел отряд. Девчонка радостно сообщила, что ее Гаврюша здесь, при ней остался, но Матрене эти подробности были ни к чему. Про дела вспомнила и убралась восвояси.

Петр, услышав новость, сидел тихий, будто пришибленный. Она знала, чем муж мается: придумывает, как и какую выгоду из случая получить — деревня-то пуста, почти без ружей осталась. Вспомнила, каких трудов стоило уломать Петра, чтобы к брату Архипу сходил, попросил словечко замолвить, может, смилостивится Иван, дозволит в деревню вернуться. И Денис, как рассказывал Петр, свое мнение высказал — ему верить можно. А мужу вот — нейдет.

У него губы подергивались — что-то бурчал под нос. Вскочил с топчана, замотался в тесном зимовье как неприкаянный. Вдруг, охнув, замер и дикими глазами уставился на жену. И она замерла — испугалась. Он грохнулся на колени, припал к ее ногам:

— Суженая моя, богом посланная!..

— Свят, свят... — Она мелко крестилась, думая, что муж спятил.

— Прости меня, идола! Грехов много за мной, всеми опачканный... — Судорожно сжимал ее ноги, захлебываясь словами, продолжал: — Дурнем жил... Золотишко охраняю, людишек в тайге бью... Зачем? Прок в том малый, только себя пятнаю. Сегодня не узналось, завтра аукнется... А жить надобно, как родитель наш жил. С размахом! У него и мошна пухла, и руки чистыми были... Дурак я, значит, дурак!..

Он вскочил и снова заметался по зимовью. Матрена поняла: придумал злое что-то. Плакала и корила себя — напасть на людей накликала.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Выслав вперед разъезд под командой Михайлы Дыбова, Юрашин повел отряд вниз по Амуру. Шли на

рысях, ходко, талый снег ошметками летел из-под копыт.

Кешка скакал рядом с Федором Лаптем. Тот что-то рассказывал, но Кешка не слышал его. Дробный топот возбуждал, и он думал о предстоящем бое, о первой схватке с врагом. Представлял, как с саблей наголо кинется на бандитов, будет рубить наотмашь — сплеча, как говорил Гаврюха Горелый. Кешка на какое-то мгновение вспомнил долговязого нескладного парня, посетовал, что тот остался в деревне не у дел, и тут же забыл про него... Чудилась Мария. Улыбчивая, будто солнце светится, никогда еще такой ее не видел. Руки к нему тянет, встречает после победного боя. А слова почему-то те же, что при расставании, повторяет:

— Не буду с тобой жить. Не по силам мне... Ты не для меня рожден, а может, я не для тебя... Думала, изломаю свою душу, узлом свяжу — оплачу добром за спасение и любовь твою. Нет! Лютость к Ивану заглушить не могу. Убитый им отец снится. И дед... Знаю, что на это скажешь. Но лучше молчи, не пойдем друг друга... Спасибо тебе, что с лаской не лез — женой признал, а ничего не требовал. Молиться за тебя буду, чтобы живым возвратился. Ступай с богом!.. Об одном прошу — не ходи сюда больше и в окна не заглядывай. Люди увидят, не оберешься сраму... Родители мои правду говорили — не пара мы. Теперь я это поняла и против их воли не пойду — в том память моя о них будет...

Вспомнились эти слова — сердце горечью опекло. Вновь бой почудился, только по-другому тот бой идет: он саблей рубит и из нагана стреляет, а бандиты не падают, обступают со всех сторон и дико хохочут... В жар Кешку бросило. И тут голос Василия услышал: «Веру в наше дело обретешь, точнее сказать, как вера в кровь твою войдет, — все боязни сгинут». Тогда они лежали на нарах в сарае, ночь разговорами коротали, и Ивана с ними не было — не приезжал еще Иван, — а сейчас вот в разговор встрял: «Революции любовь не к месту. Баба — помеха нашему делу». У Кешки голова кругом пошла. Рука дернулась — повод натянулся. Конь сбился с шага, замотал головой, не понимая, чего от него хочет хозяин.

До Тамбовки оставалось версты три, как впереди слышались выстрелы. Иван с Денисом остановились,

и отряд остановился. Всматривались вдаль, где за бугром шла перестрелка. Иван нетерпеливо дергал поводья, и конь под ним гарцевал, готовый в любую секунду сорваться с места и пойти в галоп. Неожиданно выстрелы прекратились. Все ловили тишину, пытаясь разгадать, что делалось за бугром. Но вот на бугре появился всадник, замахал папахой. Отряд галопом поскакал за Иваном, который первым ринулся вперед.

Когда осадили лошадей, увидели, как трое партизан вязали отбивающегося бородача. Неподалеку лежал Михайла Дыбов, около него стоял Гошка Громов, растерянно крутил глазами по сторонам. Оказалось, разезд обстреляли Сычовы — Миней с сыном Захаром.

— Был еще третий, нездешний. Здешних-то я всех знаю, а тот пришлый. Солдат вроде... — докладывал Юрашину один из бойцов. — Солдат и Захарка ушли, а этот, гусь кривоногий, обмишулился — попался.

Иван спешился, подошел к Михайле:

— Живой?

— Дышу еще, кажись... — простонал Дыбов. — Внутрях огнем горит...

Иван распорядился перевязать раненого и сказал Клюкину:

— Наметом в Тамбовку, заberi у этого гада, — показал на Сычова, — лошадь, сани и пригони сюда.

Елизар поскакал к деревне.

Иван, расставив ноги, с усмешкой смотрел на Сычова. Тот мотал кудлатой головой и отплевывался — из губы сочилась кровь, видно, кто-то из партизан двинул в потасовке.

— Ну что, Миней Иванович, отразбойничал?.. — Иван похлопывал нагайкой по голенищу — Отбезобразил, контра!

На Юрашина зыркнули полные злобы глаза. Иван, повысив голос, чтобы слышали все бойцы, стал говорить о резне, учиненной Минеем Сычовым и его сыном в Тамбовке. Потом сказал:

— Конечным делом, тебя следовало бы перед всем народом судить, да некогда мне сход собирать. И оставить под замком до нашего возвращения боязно — изворотливый и пособников имеешь, — убежишь. — Он строго посмотрел на партизан и спросил: — Какой кары заслуживает кулак Миней Сычов?

Десятки суровых глаз воззрились на кряжистого

старика, который шнырял взглядом по кустам, видно, подмоги со стороны ждал. Кто-то из бойцов тихо сказал:

— Смерть...

— Смерть! — разом выдохнул отряд.

Юрашин поставил пять бойцов в шеренгу, а Сычова повели к краю прогалины, где стояла большая сосна.

У Кешки захолонуло в груди. Он понял, что сейчас придет конец Сычову. Отупело смотрел на его связанные за спиной длиннопалые руки, и ему казалось, что вместо пальцев из-под веревок торчат схваченные узлом желтые свечи. В душе щемило от боли: смерть лишает человека самого дорогого и естественного дара природы. И Кешка всем существом противился насилью.

Иван поднял руку и скомандовал:

— Отделение, целься!..

Он стоял неподалеку от Кешки, а парню голос его показался далеким и чужим, будто ветром принесло и обдало холодом. Иван зычно продолжал:

— Именем Советской власти...

— Плевать мне на твою власть! — оборвал его Сычов. — Твоя власть временная, силой народу навязанная! А наша — божеская, вечная! За нее православные, не щадя живота своего, бьются!

Кешка, глядя на разъяренного кулака, забыл только что терзавшие его сомнения. Перед ним был враг, который, оставшись живым, будет злобно стрелять и резать, как было недавно в Тамбовке, когда Сычовы порешили ни в чем не повинных Ротиных — мать с дочерью и подвернувшегося под руку солдата-калеку Селезня.

— Мой Захарий возвернется!... — орал Сычов, брызгая кровавой слюной и скосив широко раскрытый рот — даже коренные зубы оголились. — Он с тебя и твоих краснюков шкуру шлейками спустит!..

Грянул залп. Переполошенные вороны взмыли ввысь и кружили крикливой стаей.

В ночной тишине громко скрипели оглобли и конская упряжь; снег, перемешанный с песком, шипел под полозьями. Эти назойливые шумы лезли в уши и нагоняли на Елизара страх. Угроздило же Ивана отпра-

вить именно его, можно было кого-то другого снарядить сопровождать Михайлу, а можно было и вообще никого не отправлять — оставили бы Дыбова в Тамбовке, вовсе не обязательно волю раненого исполнять. «Перед смертью хочу детишек повидать», — сказал Михайла на предложение оставить его в Тамбовке. А если это не воля, а прихоть? Возьмет Михайла и не помрет... Скакал бы сейчас Елизар со всеми — уж по Горюну небось идут, а он вот страшится в одиночестве, по сторонам озирается. Неровен час, выскочит из темноты Захар Сычов, почему бы не выскочить, тогда пиши пропало, за смерть отца отомстит.

Так и ехал он с думами чернее тучи. В санях на соломе, прикрытый тулупом, лежал Михайла Дыбов. Поначалу стонал — откликался на каждую колдобину, потом уgomонился. Ключкин боязливо поглядывал на него, гадал, не то по привычке к толчкам, не то вправду помирать собрался. И вдруг его обожгла острая мысль: «А может, это судьба?» Пораскинул мозгами, и вроде получалось, что сама судьба направила его в этот путь. Мог бы другой поехать. Мог бы он и в доме Сычовых остаться, где была сделана засада из трех бойцов на случай возвращения Захара и пришедшего солдата. И с отрядом мог бы поскакать. Ан нет! В одних санях с Михайлой едет, а вокруг ночь — черна, будто черти сажеей все вокруг вымазали, и никто выстрела не услышит, а если ружье под тулуп сунуть, выстрел приглушить можно... Мысли перенесли его в бурную молодость.

...Ксюша от слез захлебывается, к нему жметса — жаркая, волнующая. Не забоялась тогда Михайлу, хотя он самым сильным и буйным на всю округу считался, перед самой свадьбой от него ускользнула — с Елизаром ночь в дубняке провела. «А я счастье проворонил... — подумал сейчас Елизар. — Зато теперича, когда Михайлы не станет, свое, упущенное, вполне можно наверстать». Он утвердился в мысли, и рука настойчиво шарила под соломой — ружье искала.

— Чего ты?.. — слышался хриплый голос Дыбова.

Ключкин в страхе дернулся, будто пойманный с личным, но тут же нашелся:

— Кажись, ружье с саней обронил...

Михайла помолчал немного, потом сказал:

— Скатилось под бок... До боли зудит...

Елизар приподнял тулуп, запустил руку в солому

и наткнулся на ружье, лежавшее рядом с Дыбовым. Рука стала липкой — ружье было в крови. «Через повязки сочится, — подумал Ключкин, вытирая соломой руку. — Значит, кобыленку гнать не надо, пущай плетется. Ослабеет мужик — авось справлюсь...»

— Сподручнее из нагана, — вдруг сказал Михайла. — У меня в кармане, аккуратно с твоей стороны... Возьми...

Елизара в жар бросило. Михайла продолжал:

— Хотя и из нагана не убьешь... Рука дрогнет.

Ключкин понимал, что надо возразить, оправдаться, но слов не находил, да и не выговорил бы их. А Михайла, повременив, заговорил снова:

— В прошлом году Ксюша из-за тебя поранила руку в кузнице... Я ведь про вас все знаю... Только напрасну себя изводишь. Что было меж вами, не возвратится... Она побожилась, значит, слово сдержит...

Ему было трудно говорить, хрипы в горле усилились, появилось клокотание. Пересилив себя, выговорил:

— Не убьешь меня... Трус ты, Елизарка...

Ключкин пришел в себя, матюгнулся и стал изо всей силы хлестать кнутом лошаденку...

Когда въехали в деревню и остановились возле ворот дома Дыбовых, Елизар твердым голосом сказал:

— Дурак ты, Михайла. На кой черт мне руки об тебя пачкать? Сам окочуришься.

Михайла не слышал его, от тряски дороги ему стало плохо, и он потерял сознание.

Разбуженная Ксюша охала да причитала, не зная, с какой стороны подступиться к израненному мужу. С Елизаром втащили его в дом, взвалили на кровать. Ребятишки, восемь стригунков, ничего не понимали спросонья и лупили глаза с печки.

— Взопрел... — сказал Елизар и шапкой вытер лицо.

Он ни разу не глянул на Ксюшу, боялся, что ненароком увидит это Михайла. И только выйдя на улицу, почувствовал себя увереннее. Стоял возле лошади и раздумывал, что делать дальше. Иван велел опроретью возвращаться в Тамбовку и примкнуть к бойцам, которые в доме Сычовых засаду устроили. Но возвращаться не хотелось. Увернувшись от одной беды, к другой не спешат. С тоской смотрел в сторону своего дома: «Клавка постель нагрела, и сама лежит теплая...

Была не была! Голову Ванька не снесет, как-нибудь отбредемся». Решив побыть дома до утра, взял лошадь под уздцы, повел по`улице.

Банда Попова вьючными тропами продиралась через тайгу к речке Горюн. Казаки часто спешивались, пористая ледяная корка, покрывшая снег, с хрустом ломалась под ногами. И чем ближе подходили к Горюну, тем чаще атаман объявлял привал. Еремея Попова что-то тревожило.

Варнаковы сидели на корточках возле разгоравшегося костра. Огонь занимался быстро, и они втроем тянули к нему озябшие руки. Афанасий Михеевич до случая с баней, когда Ослоухий принудил Акулину мыть его, корил за все беды и мытарства себя, но теперь все силы своей больной и ненавидящей души обратил против атамана. И лелеял мечту о мщении. Не зная, как и где это произойдет, велел жене и сыну держаться вместе, и сейчас, притулившись друг к другу, они грелись у костра. Афанасий Михеевич думал о Кузе — жив ли? — но с женой о нем не заговаривал, не хотел беспокоить и без того растревоженное сердце ее. И сам разнервничался. Отвлекаясь от тяжелых дум, стал Власу внушать, чтобы вел себя осмотрительнее — не выказывал гнев, на рожон не лез, а то Ослоухий не в духе, не дай бог — за маузер схватится.

— Афанаська! — вдруг раздался голос атамана.

Варнаков поднял испуганные глаза. Еремей полулежал на тюках с награбленным добром, рядом сидел ухмыляющийся Савелий. Варнаков догадался, что Савка, развлекаясь, нашептал что-то атаману. Попов, не сводя глаз с Варнакова, достал из-за пазухи кисет с трубкой, протянул Савелию.

— Порченный ты человек, Афанаська, — говорил Ослоухий. — Я из тебя, дурака, экзарха сделал, такой сан отвалил, а ты вместо того, чтобы молиться за мое здоровье, супротивное замышляешь. Все шушукаетесь промежду себя.

Афанасий Михеевич зыркнул на Савку, и лицо его покрылось серым налетом, выпученные глаза налились кровью. Только что предупреждал сына об осмотрительности и выдержке, а сам не мог стерпеть нахального вида зарвавшегося родственника.

— Ишь, как тебя распирает! — осклабился атаман,

приняв злобный взгляд Варнакова в свой адрес. — Так бы и бросился на меня — загрыз!.. Уговор помнишь?

Варнаков стоял ни жив ни мертв, думал, конец пришел. Атаман окинул взглядом казаков и громко сказал:

— Лекарь — мой! А посему надлежит ему быть при мне и днем, и ночью. А чтобы Акулине Анисьевне не дуло с другого боку, я с того краю Савку положу.

— Не дадим зазябнуть!.. — радостно выкрикнул Савелий и подмигнул Варнакову

Казаки хохотали. Попов махнул рукой Афанасию, ступай, мол, вон, и отвернулся от него. Лицо снова стало хмурым, потеха не принесла радости. Савелий хищно оглядывал жену Варнакова, которая, смигивая слезы, мелко крестилась. Набил трубку табаком, раскурил и сунул ее в рот атаману. Прилег рядом, тихо сказал:

— Чего-то, батька, деется с тобой несусветное..

— Жаба в груди сидит, холодит, — признался Попов.

— А ты ее вынь.

Атаман догадался, что Савка завел разговор неспроста, но переспрашивать не стал, ждал. Савелий, глядя на казаков, которые таскали к кострам целые лесины, продолжал:

— Все дело в тяжести. Взвалил на себя, она и тянет... — Видя, что Попов упорно молчит, добавил: — В Лысухе дело.

Еремей свободно выдохнул, будто впрямь от груза освободился. «Боюсь Лысуху — в том вся закавыка!» — подумал и тут же приказал Савелию привести пленника. «Не ровен час, сбежит. Тогда заживо хоронить себя надобно, — продолжал размышлять Попов. — Уберу его — и полегчает».

Послышался звон цепей. Попов повернул голову. Савелий вел Лысуху. Вид у бывшего атамана был трапезный: фуражка со сломанным козырьком, бекеша грязная, сапоги худые. Он, гремя кандалами, подошел к Ослоухому, на небритом лице появилась улыбка:

— Как поживаете, Еремей Харитонович?..

Попова бесило его спокойствие. Уж как только не измывался над Лысухой, чего только не придумывал, а тот не терял самообладания.

— Как всегда, безобразите? — продолжал Лысуха. — Одно дело бить красных или белых — в том раз-

ницы для вас нет, — другое дело над женщиной издеваться. И не стыдно, Еремей Харитонович?

Тот крикнул, хотел что-то сказать, но Лысуха опередил:

— Акулина Анисьевна от недугов вас вылечивает, а вы ей черной неблагодарностью... — Он посмотрел в сторону Варнаковых и заговорил громче: — Афанасий Михеевич-то какое лихо вам причинил? Верующий, глубоко порядочный человек. Вот так, Еремей Харитонович, народ-то вы от себя и отвращаете.

Попов смекнул, для чего подобные слова говорит Лысуха: хочет разжалобить Варнакова, авось склонится на его сторону, бежать подсобит. От разгадки вражьих помыслов полегчало Еремею, даже глаза засветились. Савелий, видя перемену настроения Ослоухого, наоборот, забеспокоился — как бы не перерешил батяка, чего доброго, помилует Лысуху или, того хуже, отпустит. Тогда расплаты не миновать — Лысуха не только Савелия, но и всех Ляховых из-под земли достанет. Повернулся к пленнику, торопливо сказал:

— Чем других учить, помолился бы перед... — и оборвал фразу, наслаждаясь эффектом.

Наступила тишина. Даже казаки, побросав лесины, уставились на Попова — последнего слова ждали. И Лысуха ждал. Внешне был спокоен, а внутренне сжался, проклинал тот день и час, когда предложил Ефрему Ляхову вступить в «свободное войско». Вровень с собой поставил, думал, помощником будет, а тот предал.

Попов зашевелился, устраиваясь поудобнее на тюках, наконец произнес:

— Чего напоследок скажешь?

Лысуха с трудом протолкнул ком в горле, заставил себя улыбнуться:

— Покурить. Больше ничего.

Еремей сделал пару затяжек, протянул трубку Савелию, а тот передал ее Лысухе. Лысуха тщательно вытер мундштук подолом вылезшей из штанов рубахи. Попов в хитром прищуре смотрел на него. Казаки, чувствуя скорую развязку, широким кольцом обступили Лысуху. Он видел вокруг злобные лица и неторопливо попыхивал трубкой. Чуть поодаль стояла Акулина, прижималась к мужу и не сводила испуганных глаз с Лысухи. Он заметил на ее щеках застывшие слезы, сказал:

— Не стыдитесь своих слез, Акулина Анисьевна. Прошу вас, поплачьте в голос...

Она от неожиданности вздрогнула и помимо своей воли заголосила. Лысуха закрыл глаза. Его лицо то бледнело, то вдруг покрывалось краской, ноздри раздувались и подергивались. Попов поманил пальцем Савелия и что-то шепнул ему. Тот соскочил с тюков, схватил с собой трех казаков, и они, вчетвером, побежали к двум молоденьким лиственницам.

Лысуха услышал стук топоров и выронил трубку. Он смотрел на казаков, подрубающих одну из лиственниц вершках в двадцати от земли, и от мысли, что его погубят мучительной смертью — посадят на кол, — потерял самообладание.

— Не имеешь права! Я офицер! — орал он Ослоухому. — Я поручик царской армии!

Теперь Еремей расплылся в улыбке: достиг своего — Лысуха струсил. Ехидно спросил:

— А ты, ежели бы меня поймал, чего бы сделал?

— Расстрелял! — выпалил Лысуха. — Офицерская честь не позволила бы на кол посадить!

— Насчет офицерской чести я умом слаб... — Ослоухий достал из кобуры маузер. — А вот в бога верующий...

Два выстрела разорвали таежную тишину. Лысуха упал замертво. Попов снял шапку и широко перекрестился.

Погода взбунтовалась. Сначала пошел сырой снег, падал хлопьями, и вдруг, словно сорвавшись с сопки, задул ветер, бесновался, хлестал мелкой ледяной крупой.

Казаки кутались с головой в одежонку, пригибаясь к конским гривам. Только Еремей Попов сидел в седле прямо, подставлял лицо ветру, будто испытывал себя или остужался. Ледяные крупинки жалили, норовя попасть в глаза, борода заиндевела. От казни Лысухи кровь его не разгорячилась, засевшая в груди жаба, как говорил он, по-прежнему тяготила душу. Он не мог понять, чего боялся, но предчувствие дурного не покидало его. Савелий, наоборот, пребывал в радостном настроении, озорно смотрел на Акулину Анисьевну, отпускал сальные шутки. Он был уверен: атаман сдержит слово, на ночь заберет лекаря в свой домик, и предвкушал развеселую потеху...

Перед последним переходом, когда закрутила ме-

тель, Афанасий Михеевич изловчился и накоротке высказал жене и сыну план побега: Ослоухий, прибыв в стойбище, первым делом велит казакам снять его с седла и устремится в жилище, в тепло. И казакам, занятым заботами о согреве, будет не до Варнаковых. Они, втроем, направятся к своему домику, от которого до леса рукой подать. Главное — бежать сразу, не мешкая. Он молил бога, чтобы атаман сразу по прибытии в стойбище не призвал к себе Акулину...

Банда миновала узкую падь, поднялась на косогор и въехала в дубняк. Погода неожиданно сменилась — ветер поутих, снегопад кончился. Вскоре из-за туч выкатилось солнце. Казаки повеселели. Только Варнаков злобно поглядывал на небесное светило, спутавшее его планы. Теперь бежать будет сложнее, но отступить от задуманного он не собирался.

Вышли к Горюну. Попов остановил коня, пристально смотрел на другую сторону речки. В этом месте она была неширокой, и стойбище виделось как на ладони. Из глинобитных домиков струился дымок, у амбаров и вешал копошились гольды, возле них крутились мальчишки. У прибрежного кустарника намело сугробы, они, подтаявшие, сверкали на солнце. За ними громоздились глыбы камней — у одних снег стоял на верхушках, у других оголились только бока, и сверху торчали сдвинутые набекрень снежные пахахи — вот-вот свалятся.

Казаки недоуменно поглядывали на атамана, не понимали его медлительности. Савелий не выдержал и, подмигнув Акулине Анисьевне, заорал:

— Поспешай, родимая!

Лошадь, ощутив удар нагайки, взяла с места в галоп и в два прыжка очутилась на льду реки. Савелий, желая выказать удаль, хотел вздыбить лошадь, сделать разворот и со свистом кинуться к стойбищу. Но лошадь не послушалась, дернулась в сторону, ноги ее скользнули, и она завалилась на бок. Савка вылетел из седла и распластался на льду. Дружный казачий гогот сотряс воздух.

Савелий сидел на льду, морщась от боли, растирал ушибленное колено. Мимо ехали смеющиеся казаки.

Конь атамана ступил на берег. Попов остановил его, хотел кликнуть казаков, чтобы сняли его с седла, но слова застряли в горле. Из домика вышел Иван Юрашин: на голове — ухарски заломленная барсучья па-

пах, полушубок перетянут ремнями, на боку — кривая японская сабля и маузер. Заложив руки за спину и поскрипывая амуницией, сделал несколько шагов вперед, навстречу атаману. Остановился. Покачиваясь на расставленных ногах, улыбочиво смотрел на Попова. Еремей уставился на его начищенные до блеска сапоги, будто они околдовали его.

— Приехали, Еремей Харитонович. Слезай. Отвечался, — спокойно сказал Иван. — И все слезайте, вы окружены, и прошу без баловства.

А Еремей не мог оторвать взгляда от проклятых сапог, голова шла кругом, руки безжизненно лежали на луке седла. Иван усмехнулся:

— Слух потерял, гражданин атаман?

Их разделяло шагов двадцать, и Иван хорошо видел вконец растерявшегося Попова и его обескураженных казаков.

— Слазь, контра! — повысил голос он.

Вздрогнул Попов, будто его нагайкой стегнули. Засопел, глаза налились кровью.

— С богом, сыночки! — закричал и вздыбил коня.

Из-за домика раздался выстрел. Атаман повалился на шею коня. Гольды, стоявшие в оцепенении возле амбара, как по команде, упали в снег, и тут же сугробы, кустарник, каменные глыбы ошетились ружьями. В грохоте стрельбы тонули крики казаков и ржание лошадей. Бандиты, сбившись в кучу, будто попали в водоворот — кружили, толкались, мешали друг другу. Нескольким казакам удалось отделиться, и они, пришпорив лошадей, ринулись вниз по речке. Из леса, наперерез им, вылетели конники с саблями над головами. Впереди скакали Денис и Кешка.

Савелий лежал, жался спиной к убитой лошади. Таращился на ледяную гладь — в нее вгрызались пули, словно норовя выбить вмерзшие прошлогодние листья.

— Обходят! — заорал кто-то.

Савелий поднял глаза. Красные конники обтекали банду с тыла, отрезая путь к отступлению. Страх перед пленом побудил к действию. Забыв про больное колено, вскочил, метнулся в сторону, сдернул раненого казака с коня и вмиг очутился в седле. Стреляя из маузера, помчался вверх по реке к релке — там было спасение. Еще немного — и он скроется за поворотом. Что-то больно ударило в затылок. Ему показалось, что на него рухнул церковный колокол, тот самый, в Ус-

пенском соборе, которому когда-то они дивились с отцом. Колокол накрыл его, оглушил звоном. Красные языки заплясали перед глазами. Он выронил поводья и упал с коня...

Бой был коротким. Никому из бандитов не удалось уйти.

Иван, разгоряченный, хвалил бойцов и тут же давал распоряжение — с убитых бандитов снимали оружие, ловили уцелевших лошадей. Ему показали на Еремея Попова. Он подошел к атаману. Тот лежал на снегу, зажимая рану на животе, красная слизь сочилась сквозь пальцы. Глядя на Ивана, с трудом выговорил:

— Чуял, достанешь меня... Жаба в груди...

— Где Лысуха? — строго спросил Иван.

— На том свете... И мне пора... Избавь от мук... — Он умоляюще смотрел на Ивана. — Пристрели... Ты же сам солдат... Помоги...

Иван неторопливо достал из деревянной кобуры маузер.

— Не смей!.. — раздался пронзительный крик.

Иван повернулся. Братья Букины вели Варнакова: волосы торчали клочьями, ряса порвана, на груди болтался большой крест. Афанасий Михеевич упал на колени и пополз к Ивану.

— Не убивай! Дозволь с ним расквитаться!.. — заходясь истерикой, горланил Варнаков. — Натерпелись от него! Надругался над душами и телами нашими! Сущий изувер!..

Он изловчился и, как-то по-заячьи прыгнув, оказался возле атамана. Сорвал с груди крест и стал наотмашь бить им по лицу Еремея. Букины оттащили его.

— Кровушки иудиной хочу испытать!.. — орал невменяемый богослужитель.

Агафон Букин, обхватив его, попытался отвести в сторону, но тут же взвыл от боли — острые зубы Варнакова впились в руку. Афанасий Михеевич выхватил у него из-за пояса наган и кинулся к Попову.

— Хриstopродавец! Иудино семя!.. — истошно вопил Варнаков, разряжая наган в уже бездыханное тело атамана...

Савелий очнулся. Нестерпимая боль в затылке затуманила голову, не давала сосредоточиться. Почувствовал под щекой что-то липкое и скосил глаза — кровь лужицей расплзлась по льду. Тотчас вспомнил, что с ним случилось. Хотел подняться, но, услышав выстрел

лы и крики Варнакова, замер. От мысли, что сейчас настанет его черед, холод стиснул внутренности и пополз к горлу. Даже о боли в затылке забыл. «Пронеси, господи!» — взмолился он.

— Змееныша Ляхова нашли? — слышался голос Ивана.

У Савелия вовсе душа в пятки ушла.

— Пока нет, — ответил Кешкин голос.

— Мой Власушка его подстрелил... — всхлипывая, проговорил Варнаков. — Здесь где-то лежит...

Савелий даже не понял смысла сказанных слов, им всецело овладел страх от приближающихся шагов, подковки чьих-то сапог цокали по льду, нарастающим гулом отдавались в ушах. Он затаил дыхание. И шаги замерли. Кто-то остановился за его спиной.

— Кровищи-то сколько!..

Голос был знакомым, но кто говорил, Савелий определить не мог. А тот крикнул:

— В башку твой Влас угодил! Наповал!

Савка боялся, как бы человек не нагнулся. Вздумает удостовериться, нагнется, тогда хана. Померещился стук копыт: отец скачет спасать сына, и он явственно увидел бородатое, улыбающееся лицо Никона Демьяныча. А конский топот приближался — теперь он действительно его слышал. Донеслись взволнованные мужицкие голоса. И человек, стоявший за спиной, пошел прочь...

Когда всадники приблизились, все узнали Гаврюху Горелого. Он, обессиленный, еле держался в седле. Подбежали бойцы, сняли с лошади, положили на кем-то расстеленную шубу, расстегнули стеганку — из-под рубахи выглядывали кровавые повязки. Иван склонился над ним, принялся снегом обтирать лицо. Тот открыл глаза, смотрел на друга и не мог признать.

— Это я, Ванька твой...

Горелый с трудом разнял белесые губы:

— Ефрем Ляхов... захватил деревню...

Иван, сжав кулаки, отпрянул от него.

Савелий по-прежнему лежал без движения. Он не знал, что случилось у красных, напряженно вслушивался в какие-то шумы, суету. Пуще всего боялся, что к нему вернуться.

— По коням! — раздалась команда.

Он не поверил своим ушам. Сердце забилося учащенно. Лед под ним сотрясался, загудел сплошным

звоном, будто целая армия скакала по реке. Топот удалялся, наконец стих. А он все лежал, коченел от холода, боясь шевельнуться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кадет Сашок, пристроившись у окна, ловко набивал папиросные гильзы табаком. Ефрем полулежал на мягком ложе, устланном домотканым ковром, благодушествовал.

Когда Петра Ляхова ввели в «воеводскую» (данное еще Лысухой название избы осталось и при новом атамане), Ефрем не признал в грязном, обросшем мужике брата и спросил казаков:

— Где взяли?

— К зимовью крался.

— Оказал сопротивление?

— Никак нет, брат атаман!

Петр, услышав такое обращение, ухмыльнулся. Это не ускользнуло от Ефрема, и его глаза злобно прищурились. Оттолкнулся руками от лежака, вскочил на ноги. Кадет Сашок помог ему надеть френч — на плечах красовались погоны поручика. Ефрем, заложив руки за спину, медленно двинулся к задержанному, на ходу выговаривая:

— К бирюку шел? Не знал, что в живых нет? Лазутчик?

— Коли поймали, значит, лазутчик, — развел руками Петр и захохотал.

Ефрем узнал брата, растерянно глазел на него, а тот заливался смехом. Один из казаков ударил его в бок. Петр поперхнулся, зыркнул на обидчика и поднес к его носу кулак:

— Гляди, свиная харя, энта штуковина враз сопатку набекрень сворачивает!..

Теперь хохотал Ефрем.

Оставшись вдвоем, братья уселись за стол, щедро накрытый кадетом. Петр не снял залатанного полушубка и шапки, так во всем и плюхнулся на табурет.

— Чего паришься?

— Похвартчусь — и ноги в руки.

— За тем и пришел?

Петр, будто не слыша вопроса, продолжал:

— У тебя тут одни разбойники. Рожи — страх! А

душонки небось заячьи. Чуть что — продадут с потрохами... Береженого бог бережет. Вот и мне нет резона здесь долго сидеть. Не ровен час, налетят краснюки...

— Раскаркался!

— Сам посуди, какой резон мне своей головой рисковать? Покуда поношу, сгодится еще, кладь не тяжелая, к земле не тянет... А у тебя как?..

Он говорил смело, не страшась гнева брата, знал, что припасенная новость, которую не спешил выкладывать, ошеломит Ефрема. Так и вышло. Насытившись, Петр неторопливо вытер усы и бороду, улыбочиво сказал:

— Нежишься на барских перинах да китайских коврах, ленью маешься, а там... — Он сделал многозначительную паузу, вкрадчиво добавил: — Там, в выпринской горнице, как в темной могиле, томится девичья душа. Струны в ней тонкие, значит, слабые. Другой, кто расторопнее да ласковее, заденет их и... А у нее, между прочим, сын родился...

У Ефрема дыхание сбилось, побледнел, сидел будто окаменелый... Став атаманом, он только и грезил о Марии, думал о ней днем, видел ночью. Не терпелось броситься в бой, взять деревню и предстать перед Марией победителем — только таким примет. Сколько раз воображал, как будет гарцевать на серой лошади, той самой красавице, на которой когда-то восседал Лысуха. Но он понимал, что отряд Юрашина без военной смекалки не одолеть, и пересиливал желание, памятуя отцовский завет, обдумывал операцию. И перед приходом Петра ломал голову над планом взятия деревни, но план не созревал.

— Поспешай, брат атаман! — не без ехидства заметил Петр и подмигнул Ефрему. — Путь, значит, свободен.

Он стал говорить, как изловчилась Матрена, чтобы добыть эту тайну, об утраченном золотишке, которое пошло на подкуп. Брат, мол, не скряга, убыток возместит и еще толику прибавит. Но Ефрем не слышал его, мысленно был уже в деревне — с Марией...

Елизар Клюкин, наспех перекусив, загасил лампу, скинул рубаху и порты, сел на кровать. Занялся самокруткой. Так делал всегда, прежде чем лечь под бок к жене. Думы о Михайле не давали покоя. Каким чело-

веком оказался! Все про Елизара и Ксюшу знал — и молчал. Держал про запас, на крайний случай. Учужал, чего Елизар надумал, когда ружье в соломе искал, и выложил. Как обухом по голове. Елизар даже не помнил, как до деревни добрались. одни страхи чудились. Что же теперь? Хорошо, если помрет. Одну тайну Никон Демьяныч с собой унес, другая, дай бог, с Михайлой сгинет. А коли жив останется, не представлял, как вести себя, что делать... Чертыхнулся и стал думать об Иване. Нужно половчее соврать, чтобы оправдать задержку. Ничего путного на ум не шло. «Утро вечера мудренее, чего-нибудь придумается, — швырнул окурок на пол. — Пущай зябнут на Горюне, а я божьим подарочком попользуюсь». Он забрался под одеяло и обхватил Клавдию холодными руками. Она поежилась, но тут же прижалась к мужу. Почувяв ее тепло, Елизар разомлел. За окном слышались выстрелы. Оба замерли. Выстрелы, крики и конский топот заполнили улицу. Заголосили на печке разбуженные Марфонька и Миколка. Клавдия, опомнившись, хотела встать, но не могла вырваться из объятий мужа — его руки от страха свело судорогой. В наружную дверь затарабанили.

— Господи!.. — взмолилась Клавдия и зарыдала.

Елизар лежал в оцепенении, слушал удары прикладов в дверь. Ветхие доски с треском ломались...

На улице возле дома Выприна, против окон горницы, на серой кобыле гарцевал Ефрем. Он размахивал саблей, показывая дома, которые надо брать в первую очередь, посылал казаков то в одну сторону, то в другую.

— Пошевеливайся, орлы! — кричал, а сам зыркал на окна горницы. — Управляйся да без разбоя! За мародерство к стенке! Моя рука не дрогнет!.. Краснюков ищите, краснюков!..

Но стрельба не унималась. Вопли и плач раздавались в каждом доме.

Кадет Сашок перелез через забор и распахнул ворота. Ефрем, прищпорив лошадь, влетел во двор, осадил ее возле дома и спрыгнул на крыльцо. С силой дернул ручку двери, та подалась легко, и он чуть не упал с крыльца. На пороге стоял Архип, будто поджидал брата.

— Гостей встречаешь? — бросил на ходу Ефрем, направляясь к горнице, где должна находиться Мария. Рывком открыл дверь и вбежал в комнату. В ней никого не было. Одинокaя пустая люлька, привязанная веревками к кольцу на потолке, чуть заметно покачивалась. У Ефрема задергались желваки: понял, что Мария ушла недавно, возможно, бежала от него — наверняка в окно видела. А он, дурень, гарцевал, красовался. Выскочил в сени. Там по-прежнему стоял Архип, глядел в пол и теребил бороду. Ефрем схватил его за рукав рубахи:

— Где она?!

— Дома... — пожимая плечами, протянул Архип. Ему не хотелось говорить правду, бесить брата.

Заслышав стрельбу, в доме переполошились: не знали, кто напал на деревню. Когда же под окнами раздался командирский голос Ефрема, успокоились. Только Мария металась по горнице. Она знала, какая беда ждет односельчан, расправа будет жестокой — Ефрем расстарается, — и, испугавшись за бабуку Юрашиху, Анюту и Митяйку, схватила из люльки сына и огородами побежала к ним. Архип пошел закрыть за ней дверь и столкнулся с Ефремом.

— Дома, — повторил он и более тихо добавил: — Она теперича у Юрашиных живет.

Ефрем выругался, стеганул нагайкой по голенищу и выбежал на крыльцо.

— Ты хошь с матерью поздоровкайся, — Архип показал на дверь своей комнаты.

— Некогда! Здравовкаться опосля будем! — уже сидя в седле, крикнул Ефрем.

Он выехал со двора и, пришпорив лошадь, понесся по улице. Впереди, за сопками, занималась заря, и ему казалось, что мчится ей навстречу. Двойное чувство владело им: радость и страх. Нестерпимо хотелось видеть Марию и в то же время боялся ее. Они не встречались с прошлого лета. Тогда у рыбацкого домика Мария чуть не раздавила его конем. Какая она теперь? Как примет?.. Она жаждала власти, теперь он — атаман, даст ей эту власть. Бедность не для нее. Мечтала о роскоши — получит. Награбленное когда-то Лысухой он взял в поход на выючных лошадях. Мария не устоит перед богатством.

Кадет Сашок хлестал коня, но не поспевал за Ефремом. Тот свернул за угол. Когда Сашок подскакал

к повороту, увидел, как лошадь атамана, не сбавляя хода, взметнулась вверх и перелетела через изгородь.

Ефрем осадил лошадь перед домом Юрашиных, спрыгнул на землю. Вбежал в комнату и остолбенел: Мария сидела на кровати — золотистые волосы ниспадали на плечи, темная кофта оттеняла белую грудь, к которой присосался малыш. Рассвет еще не наступил, в окно пробивался тусклый свет, и Ефрему казалось, что Мария богородицей сошла с иконы. Не мог оторвать глаз от Марии, не замечал ни Юрашихи, жавшейся к стене, ни Анюты и Митяйки, лежавших на печке и испуганно выглядывающих из-под одеяла. Мария кормила сына. Его сына! Сердце размякло от тепла и гордости. Он осторожно, будто боясь спугнуть кого-то, двинулся к кровати. Мария подняла голову. На Ефрема смотрели спокойные, запавшие от бессонницы глаза. В них, когда-то озорных, бесовских, сейчас были усталость и безразличие. Ефрем вдруг понял, что в тяготах Марии виноват он.

— Царица моя! Повелительница!.. Прикажи — все для тебя сделаю. Весь мир к твоим стопам ковром постелю!..

В эти минуты он был искренен, исполнил бы любую ее прихоть. Голова шла кругом — никого и ничего, кроме нее, не существовало.

— У меня муж есть, — раздался спокойный голос Марии.

Ефрем замер. Кровь ударила в лицо. С трудом выдал:

— Кто он?

— Разве не знаешь, в чьем доме находишься? Здесь хозяин Иннокентий Игнатьевич. Запомнил такого?.. Кликни казаков, прикажи схватить меня — жену красного командира.

Колющие глаза Ефрема впились в Марию. Она, будто не замечая его ярости, спокойно говорила:

— Счастье разным бывает — это я не сразу уразумела, — поправила грудь, чтобы младенцу способнее было сосать, и продолжала: — Дед Никон к тайнам тайги меня приваживал, про повадки зверей да птиц рассказы вел... Ты знаешь, когда ворон счастлив бывает? Увидит мертвеца и перво-наперво глаз выклевывает. Поблаженствует, перышки почистит, за второй принимается... — Положила сына на подушку, неторопливо застегнула кофту. Убрала волосы с плеч и, глядя

Ефрему в глаза, закончила: — Мне вороньего счастья не надобно.

Он почувствовал, как его затылок холодеет, а лоб, наоборот, покрывается горячей испариной. Перевел взгляд на малыша, который почмокивал, шевелил пухлыми губами, видно, не наелся и искал грудь матери. Ефрем, совладав с собой, глухо спросил:

— Как назвала?

Он с тревогой ждал ответа: не дай бог, назвала сына каким-нибудь именем из рода Юрашиных — так могло быть и, наверно, должно быть.

— Никоном.

У Ефрема на душе полегчало: дух прежний у Марии — ляховский! — кобенится только, цену себе набивает.

— Ну-ну!.. — улыбнулся он и пошел к окну, хотел крикнуть кадету, чтобы пригнал выючных лошадей. Он уже предвкушал, как заблестят глаза Марии при виде подарков. Ненароком задел лавку, с нее что-то упало и, попав под ногу, громко хрустнуло. Раздался крик Анюты. Она спрыгнула с печки, бросилась к лавке и в ужасе уставилась на раздавленную голову глиняной куклы. Ефрем хотел пнуть куклу под лавку, но взвыл от боли — зубы девчонки впились в ногу. Он отшвырнул Анюту, замахнулся нагайкой.

— Не смей! — остановил его грозный голос Марии.

Она стояла, гордо выпрямившись, глаза горели недобрым огнем. Ефрем сразу вспомнил этот взгляд. Тогда он в страхе жался спиной к суглинистой стене обрыва, она приближалась к нему на лошади, и ее полные ненависти глаза жгли его. «Ублюдок!» — крикнула тогда. И сейчас ему казалось, что еще немного — и она выкрикнет то же самое. Если это случится, ее не удержишь, и дело не поправишь — знал ее характер хорошо. Он сник, потупился, будто винясь в содеянном, поплелся к двери.

— Господи!.. — простонала Мария, когда Ефрем вышел, и трясущимися руками закрыла лицо.

Бабуляка, охая и стеная, собирала глиняные осколки. Анюта, забившись в угол, дрожала и не сводила глаз с раздавленной глиняной куклы, сделанной когда-то отцом.

В выпринской горнице обосновался атаман. Переставлялась мебель, выносились рухлядь. Ефрем хо-

по комнате, показывая кадету, где что поставить, и все время натыкался на люльку. Это бесило его, чудилось, будто не он наталкивается на нее, а она норовит стать ему поперек дороги. Выхватил саблю из ножен и рубанул по веревкам — люлька с грохотом упала на пол. Сашок потащил ее в сени. Не успел он выйти, как дверь снова открылась, и двое казаков ввели мужика в исподнем. Ефрем узнал Елизара Ключкина, но виду не подал, строго спросил:

— Кто такой?

Ключкин, бледный, трясущийся, лупил глаза на концы веревок, болтавшиеся под потолком, и не мог вымолвить слова.

— Прямо из-под одеяла от бабы оторвали, — пояснил один из казаков. — Хотели в расход пустить — винтовка у него нашлась, признали, что краснюк. А он взмолился, чтобы к тебе, брат атаман, отвели. Засумлевались — може, впрямь свойский человек, в приятелях у тебя ходит.

От этих слов Ефрема передернуло: не хватало еще, чтобы его в ровни к этой твари приписывали. Взял со стола нагайку и хлестанул Ключкина по лицу. Тот заорал, дернулся, казаки не удержали его, и он повалился на пол.

— В сарай! — приказал Ефрем. — Потом допрошу!..

Казаки поволокли Елизара к двери. Тот плакал и умоляюще глядел на Ефрема. Ефрем презрительно сплюнул. Ключкина утащили, но даже через закрытые двери из двора доносился его крик.

— Заткни ему глотку! — заорал Ефрем вошедшему кадету, и тот снова скрылся за дверью.

Вскоре во дворе стало тихо, казаки утихомирили Елизара, попросту говоря, оглоушили.

Ефрем сидел за столом. Из головы не выходила Мария — не приняла, отвергла. Он не мог смириться с положением побежденного, искал выход, чтобы словчить и подступить к ней. Главное, сломить ее гордыню — оттает, а там, глядишь, образумится. А может, отцовский выверт применить — благодетелем стать? Возьмет и одарит крестьян зерном, благо прихватил его из лагеря. Запаслив был Лысуха, дай бог ему смерти легкой! Ефрем хотел пшеницу вместо овса на корм лошадям пустить, но у сельчан наверняка сено найдется — обменяют с превеликим удовольствием. А он кадету Сашку повелит, чтобы при раздаче пшеницы про

Мариину доброту говорил: она, мол, упросила атамана. Такое Мария оценит. Непременно оттаает. Но что-то смущало в этой задумке Ефрема, потому решил повременить.

В комнату вошел Архип. Ефрем по хмурому лицу брата понял: разговор предстоит серьезный. Он повернулся к окну, за которым по-весеннему ярко светило солнце, с наигранной веселостью сказал:

— Благодать-то какая!..

— Снизошла... — вздохнул Архип, глядя на кровавые пятна на полу. — Курицу резал?

— Елизарка наследил, — ответил Ефрем и тут же сменил разговор: — Не пойму Ивана Юрашина — дурак, что ли?..

— Сродни тебе, — не задумываясь, брякнул Архип. — У обоих один сказ — к стенке.

Ефрем пропустил мимо ушей слова брата, продолжал свое:

— Двух краснюков казаки на куски изрубили, еще одного пулями изрешетили — удрать хотел. Сколь же их в деревне было? Неужто только трое?..

Архип знал о шестерых бойцах, оставленных Иваном. По словам Юльки, хвасталась, над ними головой был ее Гаврюша. Значит, бойцов оставалось семеро. К тому же Иван наказывал старикам ушами не хлопать, чуть что — за ружья браться. Врасплох попала деревня, никто не ждал налета в первую же ночь, оттого у Ефрема легкий верх вышел.

— Откель мне знать... — пробормотал Архип.

— По глазам вижу — врешь! А кто по моим казакам палил? Изрубленные не стреляют!..

— Выходит, я. Ставь к стенке. Или поначалу нагайкой попотчешь?

— Ежели прихвостнем у красных стал, шкуру спущу!

— По-братски, значит?.. — усмехнулся Архип.

Ефрем откинулся на спинку стула, уставился на брата:

— Теперь я шуток не терплю, Архип Никоныч!..

— Ты не баба, чтобы с тобой шутки шутить. К тому же не браниться пришел, нужда заставила. — Он сел на лавку, стал скручивать сигарку. Закурив, продолжал: — Напраслиной занимаешься. Твои казаки грабят и насильничают...

— Чужое добро пожалел. Твой дом не трогают.

— В том-то и суть! Всех разоряют, а меня обходят, к тому же ты здесь поселился — все половицы кровью опачкаешь. А как Юрашин возвратится, тогда что?..

— Опять шутишь?

— Возвратится, сам знаешь!

— Не пущу! — Ефрем громыхнул кулаком по столу. — Деревни ему больше не видать!

— Тьфу, мать твою!.. — Архип швырнул сигарку на пол, раздавил сапогом. — С ним по-сродственному, а он... Выкурит он тебя, как пить дать! Пораскинь мозгой, что опосля с нами будет?

— Струсил?

— Струсил! — подтвердил Архип. — Иван церемониться не станет, головы враз посшибает. Вот и берет страх за мать да за девчонок. А Мария? Один раз от смерти ушла, второй — не удастся.

— Я ее с собой увезу! — заявил Ефрем. Эта мысль пришла ему только сейчас, и он с радостью выложил ее брату.

Архип, укоризненно глядя на него, сказал:

— Эх ты — сродственник! Байки мне заливаешь, а сам давно все наперед решил — пограбишь да пятки салом смажешь — и поминай как звали... — Повернулся, тяжело ступая, направился к двери. Уперся руками о косяк, через плечо посмотрел на брата. — Ежели отсель не съедешь, баб ночью уведу, а дом вместе с тобой спалю. Вовсе голыми останемся, зато живыми.

Архип ушел. Ефрема не испугала угроза брата и в предательстве его не подозревал — не станет Ляхов служить у красных. «А Василий?!» Ему тотчас представилась грохочущая по колдобинам подвода, а на ней связанный Василий... Ефрем часто вспоминал Василия — может, совесть мучила, а может, высказанные братом мысли покоя не давали? Только после дум о нем ходил он сам не свой — растерянный, обескураженный. Но сейчас не время в расстройстве пребывать, и он отогнал страшное видение. Встал, заходил по комнате. Крикнул кадета. Приказал привести пленного Клюкина, снова сел и, откинувшись на спинку стула, стал ждать.

В доме Юрашиных все были настороже — беду чуяли. Бабуляка уговаривала Марию оставить их — как бог повелел, так и будет, — в тайгу податься, в зимовье укрыться, а после ухода казаков вернуться

домой. Та наотрез отказалась. Когда же Юрашиха возобновила разговор, Мария прикрикнула:

— Будет об этом!

Старуха умолкла, только тихо всхлипывала. Анята, прижимая к груди закутанную в тряпки безголовую куклу, подошла к кровати, терлась возле Марии, наконец, решившись, прошептала:

— Не уходи... С тобой лучше...

Мария, охнув, притянула ее к себе, прижала — сидели в обнимку, покачивались. Каждая думала о своем: Мария нелегкую задачу решала, как Ефрема провести — просто так не отступится, характер и власть проявит; Аняте же грезился Кеша — вернется, увидит Марию, радость познает.

В сенях слышались шаги. Все замерли и уставились на дверь. Шаги затихли, но никто не входил. Мария, отстранив Аняту, на цыпочках прошла к двери и резко толкнула ее. За порогом стояла Юлька. Мария облегченно выдохнула и тут же набросилась на сестру:

— Чего в сенцах торчишь, людей пугаешь?..

Юлька вошла в комнату и, забыв поздороваться, принялась рассказывать про страсти, чинимые казаками:

— В доме Букиных попойку устроили, а потом Ольга с Дашкой орали, будто резали их... Апросинью Жмыхову плетками избили за то, что в подполье двух партизан прятала. Нашли их и зарестовали... И дядьку Елизара взяли, и Копытина. Его Федотья затяжелела, как бы от горя с ребеночком чего не вышло... И Михайлу Дыбова зарестовали, он, сказывают, раненый, так его волоком по улице тащили. И Ерми, что у бабки Лукии жил, вылечивался, тоже забрали. Бабку за укрывание гольда так отделали, что пластом лежит... Господи!.. Бабушка наша в ноги к Ефрему бросилась, молила, чтобы пощадил ее седины, не снесет позора — порешит себя...

Бабуляка, слушая про людские беды, охала да причитала. Мария побелела; сидела недвижимо. Понимала, что это только начало, Ефрем еще что-нибудь придумает, поиздевается над людьми. Если потребуется, многих изведет, кары господней не забоится. Юлька продолжала:

— По дворам рыщут, по всем закутам лазают, все уголки обшаривают... Скоро и до нас доберутся...

Бабуляка знала, что Ефрем в доме Выприна оста-

новился, и недоуменно глянула на Юльку. Та поняла ее, насупилась, губы ее задрожали:

— Съехал от нас дядька Ефрем... При нем в конюшне лошади стояли, а теперича пусто. Не на что надеяться... — и она заплакала в голос.

Мария, будто очнувшись от тяжелого сна, стала успокаивать сестру: бояться нечего, дом в целости останется — Ефрем против матери не пойдет.

— У дядьки Архипа лошади нет, одна корова... — всхлипывала Юлька. — А Гаврюша говорит, на корове далеко не ускачешь...

Мария отпрянула от сестры:

— Какой Гаврюша?

— Мой...

Мария вспомнила, как однажды сестра рассказывала про долговязого парня: при пожаре усадьбы из огня бабу Христинью и ее вытащил, потом на Юлькином пути всюду встречался — перемигивались. А Юлька, размазывая слезы по щекам, говорила:

— В коровнике у нас прячется... Раненый он... Без лошади ему не уйти...

У Марии руки похолодели, только сейчас поняла, какая угроза нависла над домом Архипа. Догадалась, о какой надежде твердила Юлька: хотела лошадей Ефрема воспользоваться, а что потом станет с бабушкой Христиньей, Архипом, Веркой — невдомек младшей сестре. Подумала: «А вдруг Архип заодно с ней?» Напрямки спросила. Юлька в страхе замотала головой:

— Он хоть и повздорил с дядькой Ефремом, но ежели про Гаврюшу узнает — выдаст! Он ведь и красных ненавидит...

Мария знала, как поступит Ефрем, если найдет партизана — пощады никому не будет. Может и на хитрость пойти: пощадит, но взамен ее, Марию, потребует.

— Машенька, подсоби... Отведи напасть... — молила Юлька.

Мария задумчиво спросила:

— Подсобить?..

— Ага. Добудь лошадь.

— Конокрадкой стать?

— Да нет! У Гаврюши есть лошадь, только она во дворе у Грязновых. Он ведь у них жил...

— И что дальше?

Юлька сникла и, потупясь, прошептала:

— Я сейчас там была. Гаврюшину лошадь казак обихаживает, небось себе забрал — у Гаврюши лошадь справная. — Подняла на сестру умоляющие глаза. — Воровать не надо. Можно как-нибудь обманом... У тебя же с дядькой Ефремом...

Сильная пощечина оборвала ее речь. Юлька, зажав лицо, пятилась, а Мария наступала, в ярости выговаривала:

— Змея подколодная! Удумала!.. Вон отсюда! И чтобы твоей ноги здесь больше не было!..

Она вытолкала Юльку за дверь, лязгнула крюком. Подошла к кровати, на которой заливался плачем разбуженный малыш, и, вместо того чтобы успокаивать его, сама разрыдалась.

Копытина, Дыбова, Ерми и двух бойцов — постояльцев Жмыховой — арестовали в одночасье, и никто не мог понять, как Ефрем пронюхал про партизан. Он тотчас приказал занять под штаб дом Варнаковых. Не из-за угроз Архипа переехал. Из-за матери. Она хотя и привыкла к отцовским «сурьезным дознаниям», но навряд ли вынесет крики и стоны, которыми будут сопровождаться допросы и пытки. Запомнил ее обещание: не снесет мук, порешит себя. И убрался от греха.

В большом доме Варнаковых атаману было вольготно — есть где развернуться. В горнице намеревался обедать, принимать гостей и просителей; в спальне, как и положено, почивать; в кухне допрашивать. Допросы вел в присутствии есаулов. Только с Клюкиным встречался без них.

Кроме охраны, которая состояла из молодых казаков, в доме находился Кузя Варнаков. После ранения, полученного в прошлом году, когда с Савелием удирали от преследовавших их мужиков, жил у повитухи. Баба Евникия, памятуя доброту отца, приютила недотепу, выходила. Выздоровел и перебрался в родительский дом.

Вечером, когда Ефрем в горнице вел беседу с пленным Клюкиным, Кузя узнал голос Елизара. Подслушав разговор, в котором предатель рассказывал о боеготовности партизанского отряда, не вытерпел и выскочил из своей конуры — он жил в чулане.

— Врешь, гад! Врешь!.. — набросился он на Клюкина.

Сашок с трудом оттащил разъяренного парня от насмерть перепуганного Елизара. Ефрем строго спросил:

— Почему, сопляк, лезешь не в свое дело?

— Врет он, Ефрем Никоныч! Нет такой силы у Юрашина, я про отряд все знаю. — С ненавистью посмотрел на Клюкина. — Он вылизывал сапоги у Ваньки, в дружках евонных ходил... — Упал на колени перед Ефремом, взмолился: — В честь нашего родства и родительской дружбы дозвожь мне по-своему поговорить с этим шкурником! В честь всего святого — дозвожь!..

Ефрем услышал слова о родительской дружбе, вспомнил распри и усмехнулся, но, предчувствуя любопытное зрелище, одобрительно кивнул. Кузя стремглав оказался у печки, схватил кочергу и бросился на Елизара. Тот взвыл. Удары сыпались градом, и он не мог от них уберечься. Ефрем и Сашок хохотали. Клюкин метался по комнате, а Кузя старался загнать его в угол, где стояла кровать брата Власа. Загнав. Елизару ничего не оставалось, как только влезть под кровать.

— Получай, гад!.. — истошно орал Кузя, стоя на коленях и орудуя кочергой под кроватью...

...Случилось это месяца два назад. Клюкин по приказу командира следил за Кузей — как бы связь с бандитами не наладил. Темной ночью появился в дом Варнаковых. Кузя зажег свечу, зевая, таращился на гостя. Под кроватью рычала собака.

— Чего кобелину в доме держишь? — строго спросил Клюкин, заглянул в соседнюю комнату, сел на лавку рядом со стопой богословских книг. Взял одну, покачал на руке, словно взвешивал. — Видать, умная... Верно говорю, недотепа?..

Кузя шмыгнул носом. Елизар сказал:

— Ответ держи, сучий выродок! Кто вчерась у тебя был?..

Он орал, запугивал парня. Тот только глазами хлопал — не знал, что говорить, у него действительно никого не было. Из-под кровати заливалась лаем собака.

— Утихомирь, а то шлепну! — Клюкин щелкнул затвором винтовки.

Кузя бросился к кровати, загородил собой собаку: — Не убивай! Без нее одному в доме страшно!..

Елизар отпихнул его в сторону и сорвал зло на собаке, шуровал винтовкой под кроватью, бил прикладом. На весь дом раздавался визг. Кузя, чтобы не слышать его, зажимал уши...

Сейчас из-под кровати на разные голоса орал Ключкин.

— Получай, сучье отродье! — кричал Кузя, как когда-то кричал Елизар.

Ефрем вытирал платком влажные глаза — насмешил его недотепа. Сашок держался за живот — до боли нахохотался. В дверях стояли казаки-охранники, прибежавшие на шум, глазели на непонятное зрелище. Атаман приказал им убрать Кузю. Его уволокли.

— Появись на свет божий! — сказал Ефрем Елизару.

Когда тот, стелая, вылез из-под кровати, атаман и кадет снова захохотали: на Ключкине живого места не было — весь в царапинах да шишках. Он пробормотал:

— За что? Я вам верой и правдой... За что?..

— Значит, врал, Елизар Матвеевич, относительно отряда? Не так уж он боеспособен, как расписывал.

— Истинную правду сказал. Зачем мне небылицы складывать.

— Выходит, врет Кузьма?

— Откель ему знать про отряд, из дома не выходил, не видел... — И снова плаксиво повторил: — Я вам верой и правдой...

Ефрем брезгливо сморщился:

— Думаешь, я тебя уважаю? Нет, голубчик. Такие, как ты, ни уважением, ни жалостью не пользуются. Сволочь есть сволочь — и при красных, и при белых. А может, за твои услуги прикажешь пожаловать тебе чумизной мучки?..

У Ключкина по коже мороз пошел. Думал, его тайна вместе с Никоном Демьянычем утонула, никто не знает о подлых делах. Оказалось, знают. Чего доброго, и в отряде о них проведают. А Ефрем продолжал:

— Дешево вы с моим отцом оценили жизнь Василия. Всего в пять фунтов!.. Твоя, полагаешь, дороже?..

Елизар не сводил глаз с атамана, по лицу среди ссадин и кровоподтеков петляли слезы. Откуда-то издалека до него доносился голос Ефрема:

— Жизнь твоя ломаного гроша не стоит. Но я ее тебе сохраню и за усердие отблагодарю — при всем честном народе розгами выпорю!

У Ключкина в голове помутнело, и он упал на пол. Лежал и клял свою долю: виновником всего видел Никона Демьяныча — опутал, окрутил и, вместо того, чтобы тайну скрыть, наруже ее оставил. Теперь Ефрем

кровушку его прольет, отцовское дело продолжит... Щелкнул портсигар. Елизар вздрогнул — почудилось, что атаман взвел курок нагана.

Ефрем по-прежнему сидел за столом, пускал дымные кольца, смотрел, как они расходятся, становятся больше и больше, наконец расплываются и тают.

— На все божья воля, — благодушно сказал. — Терпи, Елизар Матвеевич. Придет время — получишь сполна!

Клюкин облегченно вздохнул — смиловился атаман, еще и награду сулит. От радости в голос заплакал. Ефрем же имел в виду другое: не уйти перевертышу от расплаты, белые или красные — все равно когда-нибудь расстреляют.

Грязный талый снег кровоточил ручьями. В мутных лужах отражались белые, почти прозрачные облака. А далеко-далеко над сопками зависла черная туча, будто ухватила за деревья и не хотела дальше уползать.

— Не сегодня-завтра вскроется, — сказал Ефрем, глядя на Амур.

Есаул с пышными усами, торчащими в стороны словно лисьи хвосты, крикнул и, заглядывая в глаза Ефрему, ответил:

— Как прикажет брат атаман!..

Ефрем его понял: стоит погнать толпу на лед, и тот не выдержит. Посмотрел на хмурых молчаливых людей.

Все было как при Лысухе: та же кузница, тот же пустырь с согнанными жителями деревни, те же казаки вокруг, тот же столб с ржавым лемехом и рядом та же породистая серая лошадь. Только на ней новый атаман. Ефрем сидел в седле прямо, погоны светились желтизной, в зубах — папироса. Он ждал, и люди ждали. Наконец слышались окрики и удары нагаек.

По дороге казаки гнали пленных партизан. Их было шестеро: в нижнем изодранном белье, обессиленные пытками, еле переставляли босые ноги. Грязь чавкала. Михайлу Дыбова поддерживали Копытин и Клюкин. За ними шел пожилой боец, прижимал к себе светло-голового парнишку. Последним плелся Ерми.

Ефрем заранее продумал план расправы: никаких речей — порка плетью и расстрел. Но расстреляют четверых, живыми останутся Клюкин и Ерми. Он решил, что Елизар еще может сгодиться, но оставлять в

живых его одного — дело подозрительное, пользы не извлечешь. Поэтому и гольду суждено было жить. Временно. Для него придумывалась особая казнь. Ефрем помнил пущенную в него гольдом стрелу и не мог отказаться от искушения изобрести что-нибудь сногшибательное — чем он хуже Анненкова или, по крайней мере, Лысухи.

На козлах распластали Ключкина. Два казака стегали плетьюми с усердием. Елизар орал на всю округу. Но еще сильнее кричала Клавдия с детьми, их еле удерживали сельчане. Ефрем выказал милосердие — прекратил экзекуцию. Прежде чем дать сигнал, чтобы пороли следующего, достал из портсигара очередную папиросу, пошарил по карманам и, будто не найдя спичек, обратился к старикам, стоявшим в первых рядах толпы:

— Огоньку не найдется, односельчане?..

Старики молчали. И все молчали: кругом только ненавидящие глаза.

— Проспали свой час, горе-воины?.. — Ефрем ткнул пальцем в одного из стариков. — Вот ты, Громов, ежели бы вовремя с печки вскочил, стрелял бы в меня?.. — Забыв, что пучеглазый старик глух на оба уха, повторил вопрос: — Стрелял?..

Рядом стоявшие старики пояснили Громову, о чем спрашивает атаман. Тот шагнул вперед, разгладил длинную седую бороду и молвил:

— Какую хреновину городишь, Ляхов? Неужто думаешь, я свое ружье супротив своего внука Гошки, что в партизанах ходит, направляю? Бандюги твои отняли ружье, а то непременно бы в тебя стрельнул. И не промахнусь — в том сомнения не имей!..

— Ох, Максим Максимыч, за что же так ненавидишь меня?... — улыбочиво сказал Ефрем, кивнул казакам, и те схватили старика.

Пока Громова пороли, Ефрем ни разу не глянул в его сторону: жив будет или помрет — без разницы. Он рассматривал баб, выбирал подороднее, хотел срамной наготой потешить казаков. Задержал взгляд на Фене Стригановой. Разглядывал красивое лицо, обрамленное ситцевым платком, и сожалел, что ни разу не повстречал ее, когда жил в деревне до ухода к Лысухе. «Годы, кажись, не берут бабу», — с изумлением и завистью подумал. Вспомнил ее мужа Антипа — видный мужик, друг друга стоили. Он не знал, что Антип

уже пятый год как в тайге сгинул, и стал шарить глазами по толпе — его искал. Вдруг замер. Мария! Все стояли потупившись, только она не сводила с него взгляда, смотрела спокойно. Искоса глянула в сторону Фени и, ухмыльнувшись, снова воззрилась на Ефрема. Его передернуло, даже зябко стало. «Углядела, как зыркнул на Феньку, — догадался он. — Теперь милости не жди, поиздевается — у нее всякое лыко в строку. А может, выпороть Стриганову?» Представил, как раззадорятся казаки, раздевая догола туго сбитую бабу, наверняка сопротивление окажет, чем большую потеху вызовет, но тут же перерешил: проку не будет, только выдаст себя — Мария враз поймет, что он поркой свои мыслишки прикрывает. И расстреливать партизан на ее глазах опасно — не известно, как воспримет.

— Черт!.. — пробурчал себе под нос. — Как она здесь очутилась?..

Он строго-настрого наказывал казакам никого не трогать из двух домов — Юрашиных и Архипа, и кадету приказал проследить за выполнением. «Проморгал, сосунок!» — озлился Ефрем и зыркнул на него. Сашок понял взгляд атамана по-своему, стал покрикивать на казаков, чтобы хлестали старика сильнее...

Пленных после порки повели обратной дорогой — в сарай. Ефрем не решился на расстрел, Мария помешала.

Спал тревожно. Чудились глаза — злобные, негодующие. Тысячи глаз. Среди них самые большие — Марии. Они отделялись от всех, приближались — он даже различал прожилки в белках. И, как горное эхо, многократно, гулко, ее голос:

— Крюком — и в помойную яму! Крюком — и в помойную яму!..

Он вскочил, в ужасе огляделся. Не мог понять, почему Мария повторяла слова пани Матильды, которые говорились когда-то про дворника, убравшего из-под забора окоченевший труп. Выкурил папиросу, опять лег. Но стоило ему забыться, как снова — глаза, снова — голос. Ефрем встал, разбудил кадета. Вышли во двор. Ночную тишину нарушало цоканье копыт — казачий разъезд проезжал по улице. «Хорошо службу несут, — отметил Ефрем. — Надо поблагодарить, и другие дремать не будут». Сашок подошел к колодцу.

Журавль громко заскрипел. Ефрем скинул нижнюю рубаху, нагнулся. Студеная вода обожгла тело.

Занимался рассвет, когда пленных, четырех смертников, связали по рукам и ногам, заткнули им рты кляпами, бросили на сани и прикрыли рогожей. Эти меры предосторожности принял Ефрем: везти обреченных придется через деревню — как бы не закричали, не подняли жителей. Он не боялся односельчан. Страшился Марии. Она непременно появится на улице. Что ей в голову взбредет, то и сотворит. Может и с вилами на казаков кинуться, и с поленом, а то и с древней берданкой какой-никакой. А поди удержи нечаянную казацкую пулю, если казаку бунт примерещится!

Благополучно миновав деревню, небольшой отряд выехал на проселочную дорогу. За ночь ее подморозило, и кони ступали с опаской на обманчивую твердь. Полозья саней скользили легко. Проехали версты три, свернули к Амуру.

Ефрем скакал берегом, выбирал полынью, к которой подход был безопаснее. Поднял руку. Казаки спешились. Есаул с пышными усами сбросил рогожу с саней, саблей перерезал веревки на пленных, выдернул тряпичные кляпы.

— Теперича базлайте! — сказал и стал выстраивать казаков в ряд.

Пленных погнали к полынье. Под тучным есаулом затрещал лед, он с матюгами кинулся на берег.

— Дальше пущай одни идут, — пробурчал и прикрикнул на пленных: — Шагай, шагай, голодранцы!..

Они еле волочили ноги, изодранные рубахи и кальсоны не могли скрыть рубцов и кровоподтеков. Михайла Дыбов одной рукой зажимал раненый живот, другой обхватил за плечи Дмитрия Копытина. Светлоголовый паренек жался к своему старшему другу. Тот тихо говорил:

— Крепись, сынок. Ты мужик томский, не подведи сибирского звания... Главное, не выказать робости перед этими говнюками. Им все равно крышка. А мы умираем за праведное дело, жаль, что поздно его распознал... Коротка была твоя жизнь, но дюже красна. Крепись, сынок, из последних сил крепись...

Пленные остановились у края полыньи, повернулись лицами к казакам. Ефрем смотрел на обезображенных

пытками людей и мрачно дивился их спокойствию. Никто не кричит, не просит пощады. Неужто и этот мальчишка с копной соломенных волос промолчит? Ефрем видел его испуганные глаза, чувствовал, что тот боится, и ждал хотя бы его мальчишеского крика.

— Прикажете кончать, брат атаман? — не выдержал есаул.

Ефрем выплюнул недокуренную папиросу. Еще немного помедлил, не спуская глаз с мальчишки, выругался и махнул рукой. Есаул побежал к шеренге казаков. Затворы щелкнули, приклады уткнулись в плечи.

Михайла Дыбов, собрав все силы, выпрямился, повернул голову к сопкам и во всю мочь прокричал:

— Э-э-эй!..

Ефрем посмотрел в сторону, куда глядел Дыбов, и тут же зажмурился — глаза резануло лучами поднимающегося солнца. Раздался всплеск. Ефрем снова повернулся к пленным, их осталось трое — Михайла скрылся подо льдом. Ушел от казни — убил себя. Не принял смерти из чужих рук. Ефрема охватила ярость. Заорал:

— Пли!

Обратную дорогу гнал лошадь галопом. Думалось о Дыбове. Не мог понять, кому тот кричал. В той стороне никого не было. Значит, схитрил, отвлек внимание атамана и казаков и бросился в воду. Но Дыбов мог сделать это раньше, когда подошли к полынье — помехи не было. Наверно, посчитал это простым бегством и не бросился. Хотел презреть смерть, посмотреть ей в лицо, оттого, повернувшись к казакам, глядел на них с вызовом.

Дорога проходила неподалеку от частокола, за которым когда-то находилась родная усадьба. Ефрем придержал лошадь, приказал казакам следовать дальше, в деревню, а сам, кивнув кадету, чтобы ехал за ним, свернул на тропу, ведущую к потайным воротам.

Спешившись, Ефрем стоял перед частоколом, рассматривал ладно пригнанные друг к другу колья, гладко обструганные доски ворот. Казалось, открой их — и перед тобой раскинется большой двор с пятистенным двухэтажным домом и прирубам, конюшней, сараями. Сколько здесь прожито радостных, безмятежных лет! Почувствовав прилив тепла, он торопливо отсчитал

десяток кольев, надавил на последний, тот легко подался в сторону. Влез в щель и замер в тоске: кругом груды щебня, головешки, камни. Только посередине пожарища стояла уцелевшая печь. Из нее торчала обгоревшая потолочная матица — точь-в-точь пушечный ствол, направленный жерлом на деревню.

Он снял фуражку, двинулся по двору. Подошел к печи. В ней гудел ветер. «Не сдается ляховский дух!» — подумал и до боли стиснул зубы. Нога ступила на что-то круглое, скользнула, и он чуть не упал. Из-под щебня виднелся бок самовара: носок отбит, весь в дырах и вмятинах. Раздался собачий лай. Поднял голову — четыре собаки кидались на него. Он сразу узнал Буйку, Шакала, Монаха и Елку. Манил их к себе, почмокивал языком, как делал раньше, но они не признавали хозяина. Одичали собаки. Но верные своему долгу не ушли после пожара, остались на пепелище — сторожили. У Ефрема, растроганного собачьей преданностью, сжалось горло. Достал платок, нагнулся и положил в него щепоть земли, перемешанной с пеплом.

— Клянусь, отец, всех красных изведу! Под корень!..

Он шел к проему, где когда-то была калитка, а собаки провожали его лаем.

Впереди, за оврагом, раскинулась деревня. Он сразу различил дом Юрашиных — плоше дома не было. Скрежетнул зубами и пошел к нему. Сашок нагнал его у ворот, спешился и стал ждать.

Ефрем подошел к дому, затарабанил согнутой нагайкой по окну. Появилось лицо Марии. Он увидел испуг в ее глазах и заговорил резко, отрывисто:

— Не придешь — сожгу деревню! Дотла! Не мне одному по пепелищу ходить, пускай другие поспотыкаются о головешки!..

Он круто развернулся, направился к воротам. И по улице шел быстро. Сашок, ведя коней на поводу, еле поспевал за ним.

Ефрем вспомнил, как прошлым летом, после разбоя, учиненного Лысухой, он вот так же шел по улице. Тогда за воротами дома Егорки Мокина повизгивали пила и рубанок — делался гроб для убитого хозяина, — и это заставило думать о бессмысленной жестокости. Он видел ее всюду, где проходила армия Колчака. Жестокость вызывала людской гнев и мщение... Тогда, на этой улице, он мечтал стать атаманом. Приберет банду

к рукам, все будет по-другому, чуть ли не миротворцем себя видел. Теперь он — атаман. И все делает, как делали до него — насилие, грабежи, убийства. Почему?.. Он не мог найти ответа и злился. «А может, виновата приобретенная власть? Добыта кровью и требует защиты. Не защитишь — потеряешь!..»

Он остановился. Перед ним стоял вынырнувший из-за угла Сенька Груздев. Тогда, в прошлом году, было так же. «Наваждение!» — пронеслось в голове. Но перед ним стоял живой Груздев. Ефрем рассматривал полоумного старика. Вовсе сплюгавился, ветхая одежда висит, как тряпье на огородном пугале, за плечом вместо ружья длинная палка на ремне, а на голове... Ефрем признал соболью шапку. Отцовская! «Перед смертью за грехи пожаловал, что ли?» — подумал, не спуская глаз с шапки. А Сенька, хмыкая, прошел мимо него навстречу лошадям. Стал гладить коня кадета, шепелявя приговаривал:

— Кошуля моя... Пришла... Домой пришла Груня...

Ефрем пытался припомнить лицо дочери Груздева и не мог. Не мудрено — много лет прошло с тех пор, как Груня сгинула с помощью родителя Никона Демьяныча. Помнил только ее глаза: большие, смеющиеся. И он впервые за долгие годы почувствовал жалость к человеку и его горю.

— Отдай ему коня! — приказал кадету и зашагал прочь.

Сделал несколько шагов и снова озлился: на отца, что наследил, не убив Сеньку, и на себя — за слюнтяйство. Так, чего доброго, и впрямь миротворцем станешь. А во вселенской смуте таким быть нельзя — без креста распнут. Копытины и Дыбовы за все отплатят, отплачутся... Он вдруг вспомнил: когда посмотрел в сторону, куда глядел Михайла, ему в глаза резануло солнце. Вот кому кричал кузнец...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С наступлением сумерек деревня казалась вымершей, никто не смел выходить из домов — так повелел атаман. Боялся он, что сговорятся сельчане и пошлют кого-нибудь на Горюн предупредить Юрашина. Такого допустить нельзя. В неведении должен быть Юрашин. Банду Ослоухого наверняка разобьет и возвращаться

домой должен в полном спокойствии, без тревог и забот о деревне. Как снег на голову свалится на него Ефрем. Не сдюжить красным. Оттого повелел казакам следить за каждым домом и двором, на любой шорох реагировать. И казаки справно этот его приказ выполняли.

Сельчане и собак забирали на ночь в избы, спасали от казачьих разъездов — заслышат лай и палят. И света в домах не зажигали, боялись беду накликать, слух о расстреле четверых партизан облетел деревню. Сидели люди впотьмах, перешептывались, стонали да охали! Ксюшу Дыбову поминали, как жить теперь со своей оравой будет, Федотью Копытину печальным словом не обходили — пятеро на руках, шестого ждет. О двух бойцах, постояльцах Жмыховой, сокрушались, хотя никто даже имен их не знал — пришлые, из бывших солдат — больше ничего не ведали. О дальнейшей судьбе Елизара и Ерми гадали.

Только окна в доме Варнакова ярко светились. Ефрем пил, сидя за длинным столом в одиночестве. Сашок дивился силе атамана: выпитое пятерых бы свалило, а ему хоть бы хны.

Ефрем думал о бое с отрядом Юрашина, которого не миновать. Даже если прознают красные о взятии Ефремом деревни, врасплох не застанут — дозоры удвоены, разъезды выезжали далеко за околицу. Но у него созрел другой план: вместо обороны — наступление. Внезапность и стремительность всегда брали верх. Подобное усвоил еще в армии. И сейчас думал о неожиданном ударе. Места здешние знал отменно, мысленно проходил путь от Горюна по Амуру, мысленно выискивал, где лучше встретить партизан и накрыть. Но чем больше пил, тем беззаботнее становилось на душе, победа казалась легкой.

Почудилась Мария — глаза то искрятся, манят, то дикими становятся, гонят.

— Озолочу, озолочу... — шептал он.

Вдруг вспомнил Элиз. За стеной мертвый Стефан Берязовский, а ей хоть бы что — смеется, к Ефрему ластится. «Ее бы сюда!.. — подумал. — А что? Возьму и привезу!» Он не давал себе отчета в том, как это сделает, в пьяном угаре видел Элиз уже здесь — хозяйкой по комнатам ходит, а Мария прислуживает ей. Фантазия до того разыгралась, что представил даже, как Мария на коленях ползает, оборки платья у Элиз

поправляет... Ему нестерпимо хотелось подчинить себе Марию, принизить, оттого и чудилось такое...

— Ох, ропщут!.. — донесся до него голос кадета. Ефрем, очнувшись от дум, спросил:

— Кто?

Сашок стал рассказывать про есаулов: насмехаются над атаманом, что сробел при народе пленных расстрелять и сейчас окружил себя безусыми сопляками, чтобы жизнь его сохраняли, хлещет самогон в одиночестве, ни их, есаулов, ни старых казаков не признает. Не удивился сообщению. Знал есаулов — закадычные дружки Лысухи, только и ждут, чтобы новый атаман оступись, враз низвергнут. Стал рассуждать вслух:

— Власть прельщает... Голову мою хотят на плаху положить. Забыли, стервы, что шея у меня ляховская — не скоро перерубишь... К тому же втроем атаманить нельзя, одну власть на три доли не распилишь. Перегрызутся, перережут друг дружку... Жаль мне их — в бою незаменимые помощники...

Он велел немедленно созвать есаулов, а когда те придут, Сашку быть начеку и охрану за дверью держать. Пока тот бегал за есаулами, Ефрем придумывал, как их устроить, чтобы впредь против него не шли...

Пьянка была в самом разгаре, когда Ефрем сказал:

— Господа, не желаете сыграть в «жмурки»? Есть такая детская игра. Забавная, милая игра.

Есаул с пышными усами достал из кармана бабью косынку, служившую носовым платком, и закрыл себе глаза. Его друзья громко хохотали. Ефрем выждал, пока они успокоятся, сказал:

— Нет, господа, в моей игре ни платки, ни полотенца, ни лошадиные шоры не пользуют.

Он пронзительно свистнул. В комнату вбежали молодые казаки во главе с Сашком, встали у окон, дверей и позади есаулов. Те, почуяв неладное, переглядывались. Ефрем рассматривал их испуганные лица. Неторопливо закурил.

— Поиграем, братья есаулы!.. — Впервые за вечер так их назвал, и они, услышав явную издевку в этом обращении, вконец перетрусили. А он почесывал мизинцем переносье и, показывая на грудь богословских книг, приказал кадету: — Растопи печи!..

Сашок принялся за дело, и вскоре в печи полыхал огонь — засаленные книги горели с треском.

— Шомпол! — потребовал Ефрем.

Один из казаков вывинтил шомпол из ложа винтовки, протянул атаману. Тот направился к печке. Есаулы, онемевшие от ужаса, следили за Ефремом, который сидел на корточках и ждал, когда накалится шомпол. Они понимали, что задумал атаман, и мысленно прощались с белым светом, которого больше никогда не увидят. Шомпол стал красным. Ефрем сказал:

— Готовьсь, господа!.. Сейчас я обучу вас своей игре в жмурки. — Немного помедлил и крикнул: — Гольда сюда!

Сашок выбежал из комнаты. Ефрем, думая о Ерми, прошептал:

— Отныне он будет охотиться за мной на ощупь!..

Лязгнул замок, дверь заскрипела, и в сарай, где находились Елизар Ключкин и гольд Ерми, ввалились два казака. Один из них чиркнул спичкой, поглядел на пленных. У Ключкина, казалось, сердце остановилось, но казаки прошли мимо него, подхватили Ерми и скрылись в проеме двери. Елизар остался один. Таращился по сторонам, и ему чудилось, что сидит в глубокой черной яме...

Когда казаки стащили Елизара с постели и привели в выпринскую горницу, он надеялся разжалобить Ефрема и умолить о пощаде. Но Ефрем огрел его нагайкой по лицу, и он понял, что мольбами и увещеваниями делу не поможешь, жизнь свою другим способом придется спасти. На первом же допросе выдал партизан, оставшихся в деревне. И Ефрем смиростивился: даровал жизнь Ключкину. Переселился атаман в дом Варнаковых, и Елизара из выпринского в варнаковский сарай перевели. Втолкнули в дверь и кинули наземь.

— Кто?.. — слышался из темноты чей-то голос.

Он не мог различить, кто спрашивает, но догадался, что посадили его вместе с выданными им партизанами.

— Елизар?! — изумился Дмитрий Антонович Копытин, признав соседа. — Как здесь очутился?

Ключкин рассказал, что произошло под Тамбовкой, как ранили Михайлу, как расстреляли Минея Сычова и о приказе Ивана.

— Привез сюда Дыбова и сразу обратно, как велено было. Не успел за околицу выехать и вляпался — на Ефремовых бандюг напоролся.

— Не повезло, выходит... — пожалел его Копытин.

— А тебе повезло? — спросил самарский мужик, что раньше квартировал у Жмыховой.

— Все ж таки трех бандюг уложил. Наган разрядил, а с винтовкой одной рукой несподручно, а то бы...

Клюкин не слышал его, о своем думал: кажется, поверили вранью, дай бог, пронесет.

Ночь казалась бесконечной. Тишину нарушали одиночные выстрелы — вслед раздавались вопли. Дмитрий Антонович по звукам определял, в каком дворе бесчинствуют бандиты.

— Людей изводят, а они неповинные... — с горечью вздохнул он.

— Ваш Ефрем Ляхов мародер опытный, — сказал самарский мужик. — Ни жалости, ни сомнений...

— А може, в воздух палят для острастки? Или скотину и курей бьют?.. — в голосе Копытина звучала надежда.

— И их побьют, не побрезгуют...

Некоторое время молчали. И снова заговорил Дмитрий Копытин.

— Проморгали. Задаст нам Иван перцу.

— С превеликим бы удовольствием!.. — самарский мужик крикнул и добавил: — Только от таких, как ваш Ефрем Ляхов, живыми не уходят...

— Чего ты заладил — «ваш» да «ваш»!

— А чей? Кабы с Волги был, в нашенские определил. Впрочем, там такие же — одним мирром мазаны...

— Тетку Апросинью страсть как жалко... — прогундосил белобрысый паренек, лежавший рядом с мужиком — жался к нему как к отцу родному. — Сильно ее стегали и ногами били...

— Из-за нас, — сказал мужик. — Говорил ей, не сажай в погреб — авось уйдем. Она мальчонку силком втолкнула, ну и я за ним...

Елизар не вмешивался в разговор, косился на лежавшего неподалеку Михайлу Дыбова. Тот дышал сипами, то и дело подкашливал. Опасался Клюкин, что заговорит Михайла и непременно про возвращение из Тамбовки скажет — напакостит напоследок.

Когда пленных повели на пустырь, Елизар знал, что их пороть будут, и решил снести истязание достойно: не посрамит себя перед народом. Стал снимать порты и голос жены Клавдии услышал — благим матом орала. И Марфонька с Миколкой на всю округу голосили.

Упало сердце у Елизара, вмиг силы растерял... Потом пленных снова привели в сарай. Лежали молча, только стонами перекликались.

Чуть забрезжил рассвет, и в сарае появились казаки. Вывели во двор Дмитрия Копытина, Михайлу Дыбова, самарского мужика и белобрысого парнишку. Елизар в открытую дверь видел, как их связали, бросили в сани, заткнули рты тряпками и прикрыли рогожей. Понял: конец мужикам пришел. Двери закрыли. Вскоре послышался скрип полозьев, понукания возницы. Двор опустел. Елизар вслушивался в тишину, хотел уловить хоть какие-нибудь живые звуки, а ему мерещилось сильное дыхание Дыбова — будто не увезли его, рядом лежит. За все время, что находились в сарае, ни слова не промолвил Михайла. И о детях, восьми стригунках, в которых души не чаял, не помянул, и о Ксюше не заговорил, и о нем, Елизаре, смолчал. А силы в нем еще были, это видел Елизар...

Теперь, когда остался в сарае один, он снова думал о Михайле: то с горечью, то с завистью. И казнил.

Дверь заскрипела. Он видел, как двое казаков заволокли гольда и швырнули в угол — тело глухо ударилось о землю. Казаки закрыли за собой дверь, и Елизар уставился в угол. В сплошной темноте не мог различить Ерми, а двинуться к нему не было сил... Еле дождался утра и, поборов страх, пополз к Ерми. Тусклый свет из щели падал на гольда. Елизар увидел его изуродованное лицо и отшатнулся...

Бабуляка поставила на стол чугунок с картошкой — дед Маркел где-то немного раздобыл ее и перед уходом на Горюн принес. Митяйка устроился на лавке, глотая слюни, смотрел на чугунок, ждал, когда дадут ему картофелину. Анюта тоже села за стол, положила рядом с собой завернутую в тряпки, словно перебинтованную, глиняную куклу.

— Захочешь, да не убежишь... — сказала бабка Юрашиха, глянув в окно на двух казаков, разводивших во дворе костер.

Мария не села за стол — не могла есть. Устроившись на краешке кровати возле спящего сына, смотрела перед собой и ничего не видела. После угроз Ефрема во дворе появились казаки — сторожили. Но она не собиралась бежать, в том малый прок видела. Убе-

жит или останется, все одно ходить людям по пожарищу. Чтобы спасти деревню, был один выход: явиться к Ефрему. Представила, как он станет лезть к ней, по телу лапищами елозить, и содрогнулась.

Она не знала, сколько прошло времени, сидела и не сводила глаз с сына, жизнь которого дороже всего на свете. Раньше только о себе беспокоилась, не думала, не гадала, что такое тепло в душе появится, щемящей тревогой обернется, и не за себя, как бывало, а за ребенка. Спалит Ефрем деревню, уйдет в тайгу. Ей не жить. Люди от горя лютостью нальются, в одночасье изведут. Найдется какой-нибудь Ключкин — и сына ее не пощадит. Вот когда пожалела она, что младенца Никоном окрестила, в имени этом люди одну беду видят. Но дело сделано. Теперь о другом думать надо. А выход один. И она решилась. «От судьбы не уйти!..» — вздохнула, хотя в душе надежда теплилась — авось по ходу что-нибудь спасительное придумается.

— Благословите меня... — Она стала надевать шубейку.

Бабка Юрашиха руками всплеснула, вымолвить слова не может. Мария, комкая шерстяной платок, жалобно смотрела на нее. Тихо сказала:

— Ой, бабуляка... Давайте поплачем, что ли... Может, легче будет...

Старуха не заставила себя ждать — разревелась. К ней прижималась Мария, в голос плакала, будто навек прощалась. Анята не выдержала, к ним бросилась, вцепилась в Мариину шубейку, рыдая, кричала:

— Не уходи! Не уходи!..

Мария, поправляя платок на голове, вышла из дома. Казаки, о чем-то переговариваясь, стояли у костра. Она пошла по двору, но один из казаков преградил ей дорогу:

— Не велено пущать.

Она смерила его презрительным взглядом, небрежно обронила:

— К атаману! — и, отстранив его винтовку, направилась к калитке.

Непролазная грязь стояла на улице, и Мария старалась держаться обочины, где было посуше. Сзади слышалось чавканье сапог — казак дороги не разбирал. Это раздражало ее — не любила, когда кто-нибудь по

пятам ходит. Понимала, что злость сейчас не помощник, и, стараясь не слушать противное чавканье, стала думать, как вести себя с Ефремом. Робость нельзя выказывать — враз одолеет. Нужно условия поставить, чтобы время оттянуть. Вспомнила Юльку и ее просьбу. «Кажется, придумывается!» — обрадовалась она и, резко свернув с дороги, пошла к дому Выприна. У ворот остановилась, строго сказала казаку:

— Зайди в дом, кликни мою сестру Юльку.

Казак мялся, не зная, что делать. Она, гордо вскинув голову, повторила приказ:

— Ступай! — и тут же добавила: — За послушание перед атаманом ответишь!..

Казак исчез за воротами. А она дивилась своему властному голосу — и впрямь силу обретала. Глядела на жидкую дорожную хлябь, сердце ныло: «И я теперь такая же липкая да вязкая, кто дотронется, враз запачкается». Мысли ее оборвал голос Сеньки Груздева:

— Груня моя пришла! Домой пришла!.. — Он шел по грязи, вел под уздцы оседланного коня, показывал на него и радостно кричал: — Домой Груня вождвернула!..

Мария опустила глаза — горько было смотреть на безумца.

Из ворот вышла Юлька, с вызовом сказала:

— Чего тебе?!

Мария выпрямилась, свысока глянула на сестру:

— Ишь, патока застоялая, в комок сжалась и думает — камень!.. Пойдем!.. — Она направилась через дорогу, и Юлька, обескураженная ее воинственным видом, послушно засеменила следом.

Когда они вошли в дом Варнаковых, Ефрем сидел за столом, опохмелялся. Перед ним стояли есаулы, слушали план, по которому «свободное войско» выступит из деревни и перехватит партизан в пути, когда те в деревню возвращаться будут. Увидев Марию, Ефрем окаменел. А она, распахнув шубейку, подбоченилась и громко заявила:

— Ворюги!

Есаулы побагровели — вот-вот на нее кинутся. Мария, не обращая на них внимания, подошла к столу и обрушила гнев на Ефрема:

— Жрешь?! А о сродственниках подумал?.. У Юльки последнюю надежду забрал. Конюкрадом сделался? Разве не помнишь, как дед, царствие ему небесное, по

лошади нам с ней подарил, чтобы пешими не шастали, а верхами ездили?!

Ефрем не помнил, чтобы отец дарил девчонкам лошадей; хотя подобное могло случиться без него, когда в армии служил. Но пьяная мысль на этом не остановилась. Главное — Мария пришла. И он был готов отдать ей всех лошадей, лишь бы умаслить, подчинить себе, а на казаков плевать — пешком походят.

— Прикажи, чтобы подарок — дедовскую память — немедля вернули. Юлька укажет, в каком дворе украденная лошадь. А ежели не прикажешь, моей ноги здесь не будет!..

Ефрем кивнул тучному есаулу. Она глянула на есаула и изумилась:

— Ай да усы! Дюже красивые!.. — Озорно подмигнула: — Только смотри, как бы ваши казачки спьяну с лисой не спутали — подстрелят и освежают!..

Ефрем хохотал. Смеялись есаулы. И Юлька, радостно повизгивая, глядела лучистыми глазами на сестру, дивилась ее выдумке.

Оставшись вдвоем с Ефремом, Мария вольготно уселась на стуле. Смотрела на него прямо и говорила спокойно:

— Пить бросишь. А то и свою, и мою власть пропьешь — одолеют красные. — Взяла со стола ополовиненную бутылку и запустила в стену. Бутылка разбилась вдребезги.

На шум в комнату вбежал Сашок.

— Пошел прочь!.. — повысила голос она и, когда тот выскочил за дверь, спокойно продолжала: — Женой — стану. Но повелевать собой не позволю. Чтобы крепче это помнил, объявишь атаманшей.

Ефрем от неожиданности даже присвистнул. Мария вскинула на него глаза:

— Власть делить не хочешь? Не бойся, в военные дела влезать не стану — не смыслю в них, а вот хозяйство приберу к рукам. О жизни наперед надобно думать, потому и приберу.

— Разумно... — придя в себя, ухмыльнулся он.

— Для пользы дела казаки мое звание признавать должны, при встрече в пояс кланяться.

— Они ни перед кем не сгибаются.

— Передо мной будут. Кто ослушается — самолично пристрелю.

Ефрем не мог оторвать от нее глаз — еще желаннее

стала. И она пристально глядела на него, будто проверяла, верит или нет. Глухо заключила:

— Ежели согласен, станем вместе радость и горе хлебать. Не согласен — решу себя, но тебе не достанусь!..

Он, зная ее нрав, решил не перечить: пусть покобенится, пусть думает, что верх взяла. Поначалу прихоти бабы исполнит, а потом все на свои места поставит. Прошелся по комнате, будто сказанное Марией обдумывал, подошел к ней сзади, положил руки на плечи и, не выдержав, запустил их спереди под шубейку. Она зубы стиснула — кричать хотелось. Чуть повременила и, полегоньку освобождаясь от его рук, поднялась.

— Баловать опосля свадьбы станешь.

— Спятила?.. Вся деревня знает, кем друг дружке по родству приходимся. Смеха да позора не оберешься!

— Не поздно ли про родство и позор вспомнил?.. — Она прошла к окну, оперлась плечом о косяк, смотрела на улицу. — Когда мой позор норовил из платья вылезти, мне не до смеха было. Отец чуть до смерти не забил. А потом люди в глаза плевали, камнями вслед... — Закрыла глаза, веки дрожали, из-под ресниц пробивались слезы. — Честно крест несу. А ты малую толику ноши на себя взять не можешь... Герой! На весь белый свет саблей замахнулся, а деревни испужался!..

Эти слова задели его за живое, враз нахмурился и желваками задергал. Мария, не давая ему опомниться, продолжала:

— В любовницах ходить не намерена. И не буду! Только после свадьбы к себе допущу. Думаешь, дурью маюсь? Нет. Просто не хочу больше в обмане пребывать да от людей глаза прятать. Пусть невенчаной женой стану, но какую-то законность соблюсти требуется — душой оттаять...

Он понял, что Мария не сдастся. Спросил:

— А мать? Что с ней станется?..

Она ухмыльнулась:

— Думала, навечно запомятовал, а ты, слава богу, помянул, — стянула с головы платок, провела рукой по волосам и, снова глядя на улицу, закончила: — Ее и Архипа на моей совести оставь. Как-нибудь слажу.

Он молчал. Мария круто развернулась и, стуча каблучками, зашагала к двери. На улице вдохнула свежий воздух — голова закружилась. Долго стояла, смотрела

по сторонам. «Начало есть, что-то дальше будет!..» Увидела на окраине деревни березняк, возле которого приютился дом повитухи, и новая мысль осенила. Не хотелось обращаться к бабке Евникии, но без ее помощи в этом деле не управиться. Решив пойти к ней позже, направилась к дому Выприна.

Стояла во дворе, смотрела на коровник, с усмешкой думала: «Поди иззябся Гаврюша!». Заглянула в конюшню — лошадь уже стояла в стойле.

В комнате Юлька с жаром рассказывала, как дядька Ефрем пожаловал ей лошадь — складно врала. Мария представила парня, скачущего верхом, и вдруг поняла, что натворила. Партизан не только свою жизнь спасет, как того желала Юлька, но и за отрядом Юрашина ускачет — это конец Ефрему и ей.

— Чо с тобой? — спросил Архип, заметив, как племянницу в сторону повело.

— От счастья валюсь... — через силу улыбнулась Мария.

К ней подскочили Верка и Юлька, стали стаскивать шубейку. «Кажись, вправду любит, — подумала Мария, глядя на сияющую Юльку. — А мне, видать, другое на роду написано. — И тут же решила: — Три дня, да мои!..» Отстранила девчонок, подошла к кровати, где лежала бабка Христинья — занедужила старая, узнав, что вытворяют в деревне казаки ее сына Ефрема.

— Завтра гульба будет... — спокойно говорила Мария. — Ефрем победу празднует — приказал пировать три дня...

Бабка только охнула — плакать не было слез, видно, кончились. А девчонки, предвкушая веселье, радостно хихикали.

— Какую еще победу?.. — поднял удивленные глаза Архип. — Уж не ту ли, что верстах в трех от деревни сотворил?..

Мария, будто не слыша его, продолжала:

— Пришла сказать, чтобы ты, моя старуня, и ты, дядька, сидели дома смирно и наговорам людским не верили. Пускай себе судачат, а вы в голову не берите. Юлька с Веркой со мной будут, за них не бойтесь, в обиду не дам.

Христинья лежала тихая, бесцветные глаза в потолок уставились — о добром не думалось, привыкла напасть ждать. И сейчас смиренно слушала да гадала, с какой стороны беда подступит.

— Помру скоро... — прошептала.

Мария встала на колени, терлась щекой о сухие старушечьи руки. Сказала:

— Не спеши... Мы с тобой еще на солнышке погреемся...

Архип уловил в ее голосе какие-то странные нотки. Догадка мучила: неужто снова в бабу бесовский дух вселился, что-то неладное затеяла. Она собралась уходить. Он, чуя беду, решил задержать ее:

— Погодь малость. Потолковать есть о чем.

— Опосля побеседуем, сейчас некогда, — она остановилась в дверях, улыбнулась дядьке. — Тороплюсь к подруженьке сердечной. Приворотное зелье взять.

Архип вспомнил, как когда-то тайком ходил к бабке Евникии, зелье покупал, чтобы извести тестя Сидора Парфеныча. Не знал он тогда, что выпринская ключница Таська дружбу с повитухой вела — перехитрил его Сидор.

Он подошел к окну, шаркнул ладонью по запотевшему стеклу и увидел, как по тропе, минуя огороды, трусцой бежала Мария к дому, что стоял на отшибе, в березняке. «Сатанинское дело затеяла. Отравит Ефрема!..» — крестился Архип.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Всю ночь чадили печные трубы, разнося по округе терпкий запах зерна и гнили — варили брагу, гнали самогон. Пригодилась прихваченная атаманом пшеничка, а чтобы сельчане не уворовали ее, казаков к ним приставил. Людям было невдомек, по какому случаю затевается гульбище, горько шутили: Ефрем Ляхов отметил страстную неделю страданиями расстрелянных партизан, а теперь их воскресение праздновать будет и, чего доброго, себя посланцем с неба объявит.

Сашок с раннего утра торчал в конюшне, чистил лошадей — серую красавицу атамана и буланую для Марии. Парень то и дело поглядывал во двор, где сновали казаки, разную снедь да бутылки в дом таскали. Распоряжались ими две девки: одна — миловидная, но худая, высокая, другая — крутобедрая, с короткими золотистыми волосами, сильно на Марию смахивала, только моложе и ростом поменьше. Сашок, забыв про немилость Марии при первой встрече, когда она выдво-

рила его из комнаты, глазел на ее сестру — понравилась ему Юлька. Та, заметив его взгляд, вскинула голову, подбоченилась. Командует нерасторопными казачками, а сама нет-нет да зыркнет с лукавинкой на кадета.

К полудню все было готово к застолью. «Свободное войско» потянулось к дому Варнаковых. Только дозорным и разъездам был дан атаманский запрет на питье.

В горнице несколько столов, взятых из соседних домов, выстроились в единый ряд. Казаки входили, кланялись Ефрему и Марии, сидевшим на почетном месте под образами, живехонько пили, чуть ли не давились закусками и нехотя уступали место другим. Есаулы, не сходявшие с лавки, заметно хмелели. Осмелев, пялили сальные глаза на Марию. И казаки, несмотря на кратковременное пребывание за столом, успевали ее разглядеть и даже полюбоваться. Гордая осанка Марии настораживала и охлаждала горячие головы, и в то же время прямой добродушный взгляд располагал, притягивал. На ней была поплиновая блузка, с плечей ниспадала кашемировая шаль с яркими цветами и длинными кистями, в ушах — серьги с сапфиром, на пальцах — золотые кольца. Все это раньше находилось в сундуках запасливого Лысухи, а теперь щедро пожаловано ей Ефремом. Он был втиснут в парадный френч (опять же благодаря гардеробу Лысухи) с новенькими погонами и аксельбантами. Искоса поглядывал на Марию, которая одаривала гостей чуть заметной улыбкой. «Прирожденная царица!» — восхищался он и невольно подтягивался — позвоночник выпрямлялся, грудь выпирала бугром.

Сашок, забыв о своих обязанностях, которые заключались в прислуживании атаману и Марии, стоял позади них у стены и не сводил глаз с Юльки. Та, румяная, порхала по горнице, носила бутылки с самогоном, меняла блюда с едой. Иногда, будто ненароком, задевала кадета и, хихикнув, устремлялась к двери.

Поднимались стаканы, говорились тосты за здоровье атамана и его племянницы, добровольно вступившей в «свободное войско». Мария накануне сговорила с Ефремом, что о свадьбе никто не будет знать, пусть гуляют казаки, победу празднуют. Но чем больше хмелели казаки, тем тревожнее становилось у нее на душе. Понимала, что самое страшное впереди, когда все разойдутся и она останется с Ефремом наедине.

Ефрем не пил — решил потрафить Марии. Пригубит после тоста и, с трудом сдерживаясь от желания осушить стакан до дна, ставит его на стол. Это не устраивало Марию: останется трезвым — задуманное рухнет. Смотрела на стоящий перед Ефремом стакан и придумывала, как ловчее, чтобы подвоха не заметил, заставить его выпить. Один из есаулов перехватил ее взгляд и, еле ворочая языком, сказал:

— Брат атаман... брезгует с нами пить...

— Ему нездоровится, — улыбнулась Мария. — Но вас он уважит. А, Ефрем Никоныч?..

Он малость помедлил, взял стакан и встал. Воцарилась тишина. Он с усмешкой оглядел присутствующих и вдруг сказал:

— Выпьем за жену мою — атаманшу Марию Демьяновну!

Казачьи поначалу растерялись, но, уразумев, что Ляхов не шутит, наперебой заорали:

— Горько! Горько!..

Мария сидела ни жива ни мертва. Казалось, и сердца уже нет, и в груди — пустота. Не сдержал слово Ефрем. А он стоял рядом, самодовольно улыбался и ждал, когда она поднимется. От казачьего ора и топота дребезжали стекла. Пуще всех надрывался тучный есаул и старательно приглаживал пышные усы, будто это он был женихом и готовился совершить свадебный обряд. В дверь вошла Юлька — она часто выходила на кухню за закусками и самогоном, иногда задерживалась, словно готовила что-то, а сама бегала к себе во двор, где в коровнике прятался Гаврюха Горелый. Юлька глядела на сестру, кусая губы, покачивала головой. Мария поняла: побег партизана не удастся, есть какие-то препятствия. А шум нарастал, и Ефрем стоял в терпеливом ожидании. Она уперлась в край стола, медленно поднялась. Руки Ефрема легли ей на плечи, ее будто обожгло. Хотела рвануться в сторону, но цепкие пальцы не пускали, стискивали, тянули. Вот и пахнувший сыростью френч рядом, вот и губы Ефрема... Голова пошла кругом, ноги подкосились, и она зарыдала.

— Сама того хотела! Сама!.. — с жаром шептал Ефрем, целуя ее в губы, глаза, шею.

Вечером, когда пьяный угар затуманил головы, когда гвалт перешел в ругань с размахиванием кулаками,

Марии удалось выскользнуть из горницы. Выйдя с Юлькой на крыльцо, спросила о ее Гаврюше. Та рассказала об усиленных разъездах — рыщут, высматривают.

— Пыталась угостить, не пьют. Гнева атаманского боятся, — захлопав, добавила: — Выслуживаются казаки перед дядькой Ефремом...

— Какие они казаки!.. — зло сказала Мария. — Окрестил их так Лысуха. А они бандюги без роду и племени! Нагляделась на рожи. Чтоб их всю жизнь не видеть!..

Юлька, не понимая сестры, уставилась на нее. Тихо спросила:

— Чего делать будем?..

Мария жадно вдыхала прохладный воздух и молчала. Предосторожность Ефрема спутала карты — партизану не ускокать. А если удастся? Представила, как отряд красных врывается в деревню: пальба, крики, паника. И ее не пощадят, но о том не думалось, главное, Ефрем не будет владеть ею, а что станется потом — плевать.

Послышалось цоканье копыт — по темной улице приближался разъезд.

— Бутыль! — бросила Мария Юльке.

Та исчезла в доме и вскоре появилась с бутылкой самогона и кружкой. Мария прошла по двору, распахнула калитку. Мимо проезжали трое дюжих парней.

— Подь сюда, любезные! — зычно крикнула она.

Те не откликались, следовали своей дорогой.

— А ну, подь сюда, кому говорю!

— Кто там глотку дерет?.. — донесся в ответ сердитый голос, и один из парней, играя нагайкой, свернул с дороги.

Когда он подъехал, Мария улыбочиво сказала:

— Охладись, удалая голова! Это атаманша Мария Демьяновна Ляхова глотку надсаживает, чтобы тебя, дурака, уважить!.. Али не признаешь? Может, и за мое здоровье не пригубишь?

Тот растерялся, голос поубавился, но пить отказался.

— А ежели прикажу?

— Не велено нам, за нарушение строго взыщется, — не сдавался казак, поглядывая на подъехавших товарищей.

— Тогда кликну Ефрема Никоныча! А у него, сами знаете, один сказ... — Мария звонко щелкнула язы-

ком. — Не испугаетесь?.. Нет, соколики, по мне, лучше ходить с хмельной головой, но целой, чем со светлой, да продырявленной!

— Чего за базар?! — раздался с крыльца голос тучного есаула.

Парни струхнули. Это не ускользнуло от Марии. Крикнула есаулу:

— Глянь на сучьих детей! Не желают пригубить за мое здоровье. Гнушаются!

Есаул крутнул головой, засопел и с кулаками двинулся на казаков — лошади шарахнулись.

— Пить, оглоеды! За здоровье атаманши!

Юлька торопливо наполнила самогоном кружку, протянула казаку. Есаул не унимался, орал:

— За Марию Демьяновну! За красавицу атаманшу!..

Она потянула его за рукав, решив увести от греха: не дай бог, выйдет на крик Ефрем — увидит, как спаивают разъезды, вмиг отрезвеет.

— Пойдем отсель, лисий хвост!.. А вы, казаки, и другим накажите, чтобы причаститься пожаловали! — Повернулась к Юльке: — Угощай, не скупись! Помощника пришлю!.. — и она, смеясь, потащила есаула в дом...

Шло время, а Юлька не появлялась в горнице, не приходил и посланный ей на подмогу Сашок. Мария в беспокойстве оглядывала упившихся гостей: в одном углу казаки горланили песню, в другом — о чем-то спорили, ругались, за столом храпел тучный есаул, двое других осаждали Ефрема, что-то доказывали, а он сидел багровый, с выпученными, будто стеклянными глазами. Мария поежилась, поправила сползающую с плеч шаль, подошла к окну. Разглядела, как у ворот Сашок потчевал самогоном казаков, которые держали за поводья лошадей и, забыв про службу, передавали кружку по кругу.

— Машенька!.. — слышался голос Юльки.

Мария резко повернулась. В дверях стояла Юлька — улыбка до ушей, глаза сияли. Мария поняла: партизану удалось ускакать. Сердце до боли сжалось. А Юлька бросилась к сестре, рыдая от радости, прижалась к ней. Ефрем ошалело глядел на них. Мария перехватила его взгляд, заставила себя улыбнуться:

— Меня оплакивает. Оковы на себя надеваю, вот и оплакивает.

Ефрем хотел что-то сказать, но не мог — разговевшись первым стаканом, нещадно вливал самогон в глотку и опьянел. Мария, пользуясь случаем, зычно сказала:

— Гостенечки дорогие, а на дворе-то ночь! Попили, поели — пора и честь знать!..

Казаки загалдели, никому не хотелось уходить, полезли к Марии, уговаривали продолжить веселье. Есаул с пышными усами проснулся и, поняв приставание казаков по-своему, растолкал их, с вытянутыми для объятия руками пошел к Марии.

— Ишь, старый кобель, без очереди лобызаться лезет! — смеялась она. — Усы сбрей, а то в обморок упаду, подумаю, что лисий зад целую!..

Казаков прорвало — хохотали безудержно, и громче всех, до слез, хохотал есаул. Мария тоже смеялась и подталкивала казаков к двери. Ей весело помогала Юлька.

Когда гости были выпровождены, Юлька в изнеможении повалилась на лавку — умаялась. Мария оглядела комнату — Ефрема не было. «В спальне!» — догадалась. И тут раздался его пьяный голос:

— Ма-ша!..

Она прижалась спиной к стене и стояла недвижная. Юлька в изумлении смотрела на нее.

— Ма-а-шка-а!.. — кричал Ефрем.

У нее руки упали плетью, и Юлька вскрикнула — до того изменилась Мария: лицо в белых пятнах, будто в лишаях, глаза испуганные, колени мелко подрагивали, отчего по юбке бежала зыбь.

— Помоги мне, господи!.. — прошептала, глядя на иконы, и двинулась к спальне. Шла тяжело, словно за порогом была пропасть. Вдруг остановилась — о Верке вспомнила. Ни днем, ни вечером ее не видела, только в начале гульбы та суетилась, а потом исчезла. Может, не смогла глядеть на страшные рожи и домой ускользнула, а может... Мария не на шутку встревожилась: бандиты — люди бедовые. Повернулась к Юльке: — Верка где?..

— В чулане.

И снова голос Ефрема:

— Ма-ри-я!..

— Сейчас иду!.. — бросила она и быстро вышла в сени. В темноте на ощупь дошла до чулана. Дверь заперта — на наружном засове висел замок.

— Это я для виду повесила, открытый он, — сказала из комнаты Юлька.

Мария сняла замок, лязгнула засовом. Из чулана пахнуло сыростью и гнилью. Тотчас вспомнились рассказы матери, когда та до замужества жила в родительском доме: за малейшую провинность Афанасий Михеевич сажал Юстину в чулан. Страсти рассказывала мать.

— Верка! — позвала Мария. — Где ты?..

— Здесь, — чуть слышно отозвалась Верка.

— Чего тут делаешь?

— Сижусь... Казаки платье порвали...

В чулан вошла Юлька с керосиновой лампой. Верка сидела в углу, сжавшись в комочек, размазывала слезы по щекам. Рядом притулился Кузя, жмурился от света.

— А ты зачем тут? — спросила Мария.

Кузя, глядя на нее из-под ладони, пробурчал:

— Оберегаю.

Мария улыбнулась и ласково сказала:

— Недотепа ты мой!..

Ефрем сидел на кровати, таращил глаза на дверь. Мария вошла в спальню, в темноте наступила на валявшийся на полу френч и от неожиданности вскрикнула. Ефрем схватил ее, притянул к себе, облапил.

— погоди!.. — старалась вырваться Мария. — Я же тверезая, дурень!..

Он что-то бурчал, тыкался лицом в ее грудь, норовил укунить.

— Угару хочу! — страстно говорила она, высвобождаясь из его объятий. — Чтобы голова затуманилась, чтобы ничего, кроме тебя, не чувствовала!.. — Рука скользнула между кроватью и стеной, нащарила стоявшую на полу загодя припасенную бутылку. — За столом не пила, хозяйке нельзя хмельной быть. Сейчас угорю и обласкаю. Ой, как обласкаю!..

Ефрем недовольно рыкнул, но отпустил ее. Мария взяла с подоконника стакан, также загодя поставленный, плеснула из бутылки и сделала вид, что пьет. Он шелкнул портсигаром, искал в карманах брюк спички. Она насторожилась: зажжет спичку и увидит, что за самогон в бутылке — по цвету отличит.

— После покуришь. Истосковалась я... — Наполни-

ла стакан, протянула ему: — Вместе в любовном жару угорим! Пей, Ефремушка!

Он в два глотка опорожнил стакан, схватил Марию: — Царицей сделаю!.. — с трудом выдавливал слова. — Всеми людишками править станешь!..

— Погодь еще малость! Разденусь.

Она увернулась от него и принялась расшнуровывать высокие ботинки. Ефрем, заваливаясь на бок, пытался снять сапоги.

— Разденусь — и подсоблю, — прошептала она, а руки тряслись, не могла развязать узел шнурка.

Ефрем откинулся на подушки. Мария наконец сняла ботинки, бросила их к двери, прошла к окну и стала шумно снимать блузку. Ефрем что-то невнятно промычал.

— Сейчас, милый, сейчас...

Она сняла блузку и, чувствуя, что не выдержит, упадет, прислонилась плечом к косяку окна. Подумала о револьвере, который был у Ефрема, но тут же отогнала эту мысль — убийцей не станет. Лучше сама удавится. «Там, в чулане», — решила. Увиделся сын Никон — пухлые губенки выпятил, причмокивает, грудь ищет. У нее горло сдавило, слезы брызнули: обида душила, что так по-глупому жизнь отдает. Вдруг замерла — Ефрем храпел. Не веря своим ушам, подошла к кровати. Глаза, привыкшие к темноте, различили разметавшегося по постели Ефрема — спал мертвецким сном. Мария, держась за спинку кровати, сползла на пол, чуть ли не в голос ревела, благодарила бога и повитуху — маковый настой сделал свое дело.

Ефрем спал до полудня. Проснулся и не мог поднять головы — тяжелая, будто свинцом налитая. С трудом встал, ноги в сапогах затекли — переставлял словно деревяшки. Открыл дверь, и на него пахнуло табачным дымом и перегаром. Казаки приветственно загудели, есаул с пышными усами поспешил со стаканом навстречу. Он, морщась, выпил, сел на табурет. Отыскал глазами Марию: еще краше стала — сапфиры в серьгах сверкают и под стать им глаза искрятся, цветастая кофта стан обтянула, шелковая шаль белизной слепит.

— Буйные, разудалые головушки!.. — нараспев обратилась она к казакам. — Атаманша ваша желает по

деревне в седле проехать, сверху на людишек поглядеть! Да чтобы кланялись до земли и за мое здоровье чарки поднимали!..

Казаки одобрительно зашумели.

Во дворе Юлька подскочила к Марии, испуганно прошептала:

— Чего делаешь? Спятила?..

— Семь бед — один ответ! — с вызовом сказала Мария. — Тихой смертью помирать раздумала — не хочу! Память по себе оставляю — может, кому икнется!..

Сашок подвел буланую лошадь, нагнулся, подставляя спину. Мария шагнула на нее, взялась за луки и оказалась в седле. Ефрем, надевая френч, улыбался — радовала угодливость кадета.

Казаки выгоняли людей из домов на улицу (по велению Марии, дом Выприна и хибару Юрашиных обошли стороной). По дороге ехали Мария и Ефрем, их сопровождали пешие есаулы и гурьба казаков — месили грязь сапожищами, орали:

— Кланяйся атаманише! Кланяйся!..

Люди смотрели на Марию — кто зло, кто испуганно, но силе подчинялись, сгибались в поклонах. Сашок обносил их чаркой.

— За здоровье Марии Демьяновны! — радостно кричал.

Она сидела в седле прямо, с легкой улыбкой осеняла односельчан крестом — щепотью плавно чертила его в воздухе.

Подъехали к дому Стригановых. Филимон Алексеевич, его жена и Степанида стояли у ворот. Бабы поклонились, но дед стоял не шелохнувшись — седую голову гордо держал. Казаки ругались, грозились, а он будто не слышал их. Тучный есаул выхватил из ножен саблю и двинулся к нему.

— Не смей! — остановил его грозный голос Марии. Она рассматривала старика и, будто не замечая его неприязни, мягко спросила: — Отчего не веселы? Обидел кто али Фотей худую весточку прислал?..

Старуха Стриганиха слезно проговорила:

— Я трижды поклонюсь, ежели от того радость тебе, а мужика мово не трожь, обойдись без его поклона.

— Почему же?

— Нрав его знаешь, только богу в пояс кланяется.

Мария перевела взгляд на деда:

— Боишься переломиться?

Филимон Алексеевич укоризненно сказал:

— Креста на тебе нет! Кланяются за добро да ласку, а за зло — бьют. Обобрали, даже самовар унесли. За то тебе кланяться, что ли?

— Это как же, Ефрем Никоныч?! — всплеснула руками Мария. — Казаки самогон хлещут, а божьим старичкам не из чего чаю напиться, последней радости их лишили!..

«Умно дело ведет», — подумал Ефрем, хотел дать распоряжение казакам, но тучный есаул опередил его. Бросился к Марии, схватился за стремя и, целуя ее ногу, восклицал:

— Вернем! Все вернем, разлюбезная!

Она выхватила из рук Ефрема нагайку и огрела по спине есаула. Тот отскочил к забору. Ефрем зло шепнул Марии:

— Вражду сеешь!

Она громко засмеялась. Казаки глазели на нее и ничего не понимали. Пытливо, вприщур глядел на нее дед Стриганов. А Мария, показывая на есаула, крикнула:

— Кобель проклятый! Слова любезные рассыпает, а сам норовит лапищами под юбку забраться!..

Громовой хохот сотряс воздух. Веселая кавалькада двинулась дальше. Не успели миновать стригановский забор, как снова остановились. На обочине дороги стояла Феня Стриганова: голова покрыта черным платком, глаза опущены, в руках коромысло, на земле ведро с водой. Мария с усмешкой сказала Ефрему:

— В соку еще вдова горемычная. — Повернулась к нему: — Али не приметил?..

На него смотрели озорные глаза. Он сделал вид, что не слышит ее. И в то же время недоумевал: что с Антипом случилось, почему и когда Феня вдовой стала?

— Почтение не окажешь?..

Феня подняла глаза — спокойные, безразличные. Мария поняла: не покорится, в поклоне не согнется. И все-таки не выдержала, крикнула:

— Кланяйся!

Феня не дрогнула. Мария не знала, что делать. Глянула на кадета. Сашок, свистнув, сорвался с места. За ним бросились двое казаков. Насели на Феню и поставили на колени. Ни покорности, ни боязни на ее лице не было, и глаза, по-прежнему спокойные, смотрели на Марию...

...Когда кавалькада вернулась во двор Варнаковых, Мария легко спрыгнула с седла и направилась к дому. Веселое настроение исчезло. И виновата в том чертова баба Фенька! Еще в молодости независимость выказывала — и на острова с ватагой не плавала, и в играх не участвовала. Вроде жила, и вроде не было ее. И после смерти мужа Антипа в отрешении пребывала. Сегодня открылась. «С норовом баба!» — подумала Мария, поднимаясь по ступеням крыльца. Вдруг про Елизара Клюкина вспомнила — лютую злобу на него имела. С сельчанами, принизив их, расквиталась за обиды прошлые, а с ним — нет, позапамятовала про ирода.

— А ну, покажите мне пленных!

— Не надо!.. — встрепнулся Ефрем.

— С ворогом своим сердечно побеседовать хочу! — заявила она, взяла у него нагайку и решительно двинулась к сараю.

Сашок открыл амбарный замок. Мария хозяйкой вошла в распахнутую дверь и тут же попятилась — обезображенное лицо Ерми увидела.

— Я же говорил... — виновато пробурчал Ефрем.

Она, стиснув зубы, смотрела на лежащих на земляном полу пленных: гольд был недвижим, вытянулся, словно покойник; Клюкин, скрючившись, трясся в ознобе. В ней шевельнулась жалость, в груди сдавило, и дышать стало трудно. Но вспомнила, как Клюкин натравливал на нее мальчишек, как измывался зимой у колодца, как изгалялся в избе, вручая козьи кости, и посуровела.

— Лисий хвост, почему этот висельник жив?

— Прикажи, матушка!.. — вытянулся есаул.

— И прикажу!.. При народе эта тварь недостойна казни — много чести! Ночью повесишь!.. — Пошла к дому, неожиданно остановилась и громко, чтобы слышал Клюкин, заключила: — А поутру вместе с деревом — в Амур! Пусть нечисть сгинет бесследно!..

Пораженный Ефрем не сводил с нее глаз.

Кутеж продолжался. Казачьи глотки надрывались, звенела разбитая посуда, ломово грохотали в пляске сапожищи.

Мария стояла у стены, смотрела на стол, где в ряд выстроились керосиновые лампы — перестарались казаки, со всей деревни собрали. Языки пламени все ра-

вом то плавно колыхались, то мелко дрожали, то бились, мотаясь из стороны в сторону. Душу смертный грех разъедал. Не о Фене, не об изуродованных пленниках думала — забыла про них, — приближающийся час расплаты тревожил. Юлькин партизан, наверняка, уже добрался до своих, и не сегодня-завтра отряд Юрашина будет здесь. Боялась не за себя — поделом вору му́ка. Страшилась за сына: одинешеньким останется. Среди людей, а как в пустыне, и за непутевую мать всю жизнь будет казниться... И Ефрема сегодня сложнее упоить. Если не изловчится дать ему макового настоя, порешит себя — все равно не пощадит Ванька.

Ефрем, малость захмелев, то и дело поглядывал на Марию: сегодня уж он не упьется, норму соблюдет. Представил, как с нее кофту сдирает, потом юбку, лиф — и разгоряченная кровь ударила в голову. Мария чувствовала его взгляд. Он мешал думать, злил. Крикнула:

— Стой, казаки!

Пьяная братия притихла.

— Петь буду!

Казаки загудели, стали рассаживаться — кто на лавках, кто прямо на полу. Она запахла на груди шаль, глядела себе под ноги и долго молчала, будто слова песни запомнила. Наконец протяжно запела:

Черный ворон... Черный ворон...
Что ты вьешься надо мной...

Ее густой бархатный голос лился по горнице. Замерли казаки, и языки пламени в лампах не шелохнулись. Мария вскинула глаза, исподлобья уставилась на Ефрема:

Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой...

Их глаза сцепились. Ефрем понимал, почему именно эту песню завела Мария, и глядел на нее не мигая: «Стерплю, но после отыграюсь!..» А она — руки в боки, упруго покачиваясь, неторопко шла к нему.

Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой...

Сашок смотрел на атамана и атаманшу и не мог сообразить, что с ними происходит. Замерла в дверях Юлька, только она одна, зная характер сестры, чуяла

беду и в испуге глазела на Марию. А та, не спуская глаз с Ефрема, пела:

Я помру своею смертью,
Сникну гордой головой.
Ты не вейся надо мною,
Черный ворон, я не твой.

Казачьи не раз слышали эту песню, пели сами, но так, как ее выводила Мария, слышать не приходилось — душу наизнанку выворачивала. Вспоминались родные дома, тепло бабьих рук, и не выдерживали казаки, слезные глаза прятали...

Предутреннюю тишину, когда Сашку виделся сладкий сон, разорвали выстрелы. Он вскочил с лавки, бросился к окну. По двору бегали его собраты кадеты из охраны атамана, кричали, отстреливались. Сашок понял: напали партизаны. Стремглав кинулся в спальню.

Ефрем в брюках и сапогах развалился на кровати. Сашок не мог разбудить его, ни крики, ни студеной вода не действовали. Тогда он выхватил наган и стал палить в стену. Ефрем приоткрыл глаза.

— Партизаны! — истошно заорал Сашок.

Это слово привело Ефрема в чувство. Тяжело поднялся, двинулся в горницу, взял бутылку со стола и на ходу стал вливать в глотку самогона. Сашок, опередив его, выскочил во двор. Там залегли казаки, отстреливались от партизан, спускавшихся с крутой сопки к огородам. Ефрем вывалился на крыльцо. Пули свистели, врезались в стену — белая рубаха была хорошей мишенью. Он кинулся вниз по ступеням. Сашок вывел из конюшни лошадей. Ефрем швырнул бутылку и взобрался на лошадь.

— Саблю! — прорычал он.

Сашок выхватил из ножен клинок и бросил ему. Ефрем поскакал к воротам. Сашок, вспрыгнув на коня, последовал за ним.

Стрельба разгоралась. Партизаны теснили полураздетых, еще не пришедших в себя бандитов. Ефрем метался по улице, искал брешь, чтобы выскочить из западни. Решил действовать наудачу. Ринулся в проулок. Впереди показались конники — партизаны с шашками над головами неслись навстречу. Раздался крик кадета:

— Сюда!..

Ефрем развернул лошадь. В полуоткрытых воротах стояла Апросинья Жмыхова: лицо в ссадинах и кровоподтеках — отделали казаки, когда нашли у нее в подполье двух партизан. Ефрем направил лошадь на нее. Апросинья посторонилась, и оба всадника влетели во двор. За ними захлопнулись ворота, загремел деревянный засов. Ефрем и Сашок пересекли двор, лошади легко взяли изгородь, за которой был пустырь, а дальше — река. «Спасение!..» — облегченно вздохнул Ефрем и остановился. Захотелось поблагодарить Жмыхову — он-то о ней запомнил, а она, оказалось, помнила. Лошадь перемахнула изгородь, и он снова очутился во дворе. Апросинья стояла, прижавшись спиной к воротам, слезы ручьями бежали по лицу. Он смотрел на нее и не находил слов.

— Я вернусь! — крикнул, размахивая саблей.

Она не поняла: то ли грозился, то ли обещал, вернувшись, защитить.

Ляхов поскакал к изгороди. Неожиданно лошадь вздыбилась — вынырнувший из-за сарая Сенька Груздев преградил дорогу, и Ефрем чуть не вывалился из седла. Обезумевший старик, крепко держась за узду, мотался вместе с лошадиной мордой — душераздирающий крик вырывался из глотки. А Ефрем уставился на соболью шапку, которая когда-то принадлежала отцу, а сейчас — уже замызганная и истертая, напаянная до ушей, маячила на голове придурка. Она заворожила Ефрема... В ворота затарабанили прикладами. Ефрем очнулся и, подавшись назад, со всего маху рубанул саблей по шапке. Груздев повалился наземь.

Радость и горе соседствовали как добрые друзья. В доме Лукии кланялись до пола, уважение хозяйке выказывали — самая древняя, в чем только душа держится, а избиение плетью выдюжила, не надломилась. У Дыбовых и Копытиных в глубокой скорби стояли. Перед стариком Стригановым шапки да картузы снимали, глядели с почтением — на волоске от смерти был, а устоял, поклон атаманше не отвесил. И у Громовых возле глухого деда сидели: не испугался правду в глаза атаману высказать. И во дворе Выприна толпились, злобные слова выкрикивали, камни в окна швыряли. Только дом Апросиньи Жмыховой стороной обходили: не знали, что делать — то ли жалеть за пе-

ренесенные страдания (пороли-то сильно за укрывательство партизан), то ли плевать в бесстыжие глаза, что помогла Ефрему бежать.

Иван Юрашин шагал по улице, на ходу давал распоряжения, похлопывал по плечам отличившихся партизан. Бой был скоротечным, врасплох застали бандитов, и все-таки с десятков казаков бежали в тайгу. Главное — ушел Ефрем Ляхов. Ивана бесило, что не посчитался с заклятым врагом.

К нему подбежал Гошка Громов с двумя партизанами. Наперебой заговорили о пленных, схваченных в хлевах, сараях и закутах. Он, стиснув зубы, отмерял шаги. Гошка сплюнул.

— Воды в рот набрал, командир?! А мы сомнение имеем...

Иван остановился, суровыми глазами уставился на Гошку, отчеканил по слогам:

— Какие пленные? Нету пленных! Нету!..

Громов понял командира, подмигнул партизанам, и они втроем поспешили к дому Варнаковых.

Иван продолжал свой путь. Сабля с деревянной кобурой маузера громко бряцали. Проходя мимо дома братьев Букиных, слышал, как кто-то с хрипом и слезами крепко бога поминает и клянет судьбину. Вошел во двор. На крыльце сидел Макар, обхватив голову, то стонал, то злобно рычал. Иван напрямик прошел в дом.

За столом сидел Агафон, руки нелепо разметались, затуманенные глаза уставились на стену. Иван глянул, куда смотрел Агафон. Проем двери, что когда-то мужики досками забили, зиял дырой, куски сломанных досок висели на косяках. Он прошел через проем в другую комнату. Замер Иван. На широкой кровати лежали Ольга и Дарья: лица зареванные, опухшие, из-под одеяла босые ноги торчат, синевой светят. На полу одежонка бабья, в клочья разодранная. Иван понял, что за беда в доме Букиных приключилась: натешились казаки. Он снял барсучью папаху, от взмокшей головы валил пар. Стоял, смотрел на тихо стонавших баб и не мог слова вымолвить — не знал, как в таком горе успокаивать.

Возле Елизара суежилась Клавдия. Марфонька и Миколка стояли в сторонке и жалостливо смотрели на отца. Он лежал на постели. Глаза закатил, дыхание за-

держивал, будто не дышал. Сильно был нагайками да кочергой пораненный, но помирать не собирался — мученика великого изображал. Он не знал, почему усатый есаул не выполнил приказа Марии — не повесил да вместе с деревом в Амур не кинул. Теперь радоваться бы — в отчем доме на мягкой постели лежит, а он снова в страхе пребывал. Чудилось, что в отряде прознают о его предательстве.

Скрипнула дверь, раздался мужской голос:

— Здравствуй, Клавдия!

Клюкин по голосу признал Ивана, насторожился. Иван протопал к кровати. Клавдия, сменив на лбу мужа смоченную в холодной воде тряпку, отошла к столу, к ней тотчас прижались ребятишки. Елизар приоткрыл глаза, грозного командира увидел. «Дознался!» — в ужасе подумал.

— Держись, Елизар Матвеевич!.. — сказал Иван и сжал его ослабевшую руку.

У Клюкина вырвался вздох облегчения. Иван понял это по-своему и, чтобы не тревожить больного, решил отложить разговор. Собрался уходить, но Елизар остановил его:

— Погодь чуток... — Облизал сухие губы, жалобно продолжал: — Извиняй, что приказа не выполнил. Перехватили... — Передохнул и стал рассказывать про зверства Ефрема Ляхова, и на вражью бабу Марию ушат грязи вылил.

— Предал кто-то, Ваня. Шельма в отряде завелась, упредила Ефрема о нашем походе.

— Подозрение имеешь?

— Подозрение — штука трухлявая. Факты нужны. Вот кабы Матрену Ляхову слегка потормозить...

— Какой прок?

— Кто ее знает... — хитро молвил Клюкин и добавил: — Може, и в ее Петьке проку нет?..

У Юрашина брови сошлись на переносье, крутит сигарку, а она не сворачивается, расползается. Елизар спросил:

— Варнаковых, сказывают, отпустил?

— Сюда привез. Судить вроде не за что. Сообща решили.

— И Савелия Ляхова помиловал?

— Убит. — Ивану удалось свернуть сигарку, закурить. — На Ерми жутко смотреть. Отделал его капелевский выкормыш, ослепил.

Клавдия вскрикнула и в ужасе зажала рот руками. Иван, покачивая головой, продолжал:

— Старуха Лукия удивила. Сама еле дышит, а затребовала, чтобы гольда к ней в дом привезли. Ковригины выходить его решили, а Лукия про то прослышала и затребовала — сама, мол, выходит. Уважил. Дюже плакала — забоялся, как бы не померла раньше срока. — Иван встал и, пожимая руку Клюкина, заключил: — Крепись, Елизар Матвеевич. А справедливость наведу — разыщу Иуду!..

Иннокентий шел к дому деда Маркела, куда Иван велел явиться командирам взводов. Из ума не выходила Мария: натворила дел, на весь белый свет оскандалила. Знал: Ефрем силой взять ее не мог — под смерть пойдет, но не подчинится. Значит, по доброй воле к нему явилась. Прав был Иван: вся в деда, свое, подлое, крепко на уме держит. А он за нее глотку драл, против братки пошел. На Горюне отчаянно бился, за что Иван перед всем отрядом его хвалил. В бою за деревню тоже не подкачал, не страшась в самое пекло лез, чем уважение своих бойцов вызвал. А теперь срамоту хлебать придется: на штабе Иван про все выскажет, для того небось и собирает.

Из-за угла дома выбежала Юлька — испуганная, запыхавшаяся, бросилась к нему, схватила за рукав:

— Гаврюша где?!

— В Наане. Гольды на санях привезут.

— Живой!.. — радостно вскрикнула она.

Иннокентий, отстранив ее, зашагал дальше. «Того же рода-племени!..» — зло подумал о Юльке. А в глазах стояла Мария — глядит на него и смеется.

— Будь ты неладна!.. — в сердцах сказал и со всего маху пнул валявшееся на дороге покореженное ведро.

На спешном заседании штаба выступал Иван:

— Разбиты две банды. Одна — наголову, другая... — покосился на Гошку Громова, взвод которого рассеялся под натиском казаков и упустил их. — Прозевали! К родным домам потянуло, соскучились по мамкиным юбкам?..

Гошка, потупясь, теребил темляк сабли. Иван продолжал:

— Ефрем Ляхов и его варнаки в свое лежбище к Черным марям подались — больше некуда. Ставлю первоочередную задачу: идти по следу и добить остатки банды!.. Всем отрядом не след за горсткой бандюг охотиться, только коней заморим. Взода хватит.

Гошка смекнул, что самое время слово молвить: достанет Ефрема, командир по-другому заговорит. Резко встал.

— Дозволь, Иван Игнатьич!

— Не позволяю! — оборвал тот и ткнул пальцем в сторону Кешки. — Смекалку и удаль проявил, теперь докажи, что это не случайность, до последнего бандита истреби!

Иннокентий краской залился — не ожидал такого доверия. А Гошка, зло глянув на него, с шумом сел.

— Возьмешь в подмогу пяток бойцов у Фотей, — продолжал Иван. — А ты, Фотей, отряди лучших и братьев Букиных к ним причисли.

Стриганов понял, почему это делает командир: Букины как черти драться станут, за поруганных жен отомстят — отведут душеньку. Иван малость помолчал, посмотрел на Дениса Долова и сказал:

— Старшим назначаю тебя.

Кешка вмиг побелел. Получалось, что хвала в его адрес — пустословие, а на деле Иван ему не доверял. Поняли это и другие. Первым за Кешку вступился Натан Ковригин:

— Зачем парня забираешь? Вполне сам справится.

— А ты супротив Долова?! — вспылil Иван.

— Ни в коем разе, но и Иннокентию недоверия высказывать не стану.

Иван спросил Дениса:

— Считаешь это дело пустяшным?

— Простых боев нет. Надо — выполню задание. Только, по-моему, Иннокентий Игнатьич один сладит.

— Верно! — подхватил Фотей. — Пускай к самостоятельности привыкает!..

Мужики все разом заговорили, доводы веские в пользу Кешки высказывали. Только Громов молчал, набычившись, зыркал на мужиков. Не выдержал и вскочил:

— Може, еще к героям его причислим?!

У Кешки лицо огнем вспылало, не понимал он неприязни бывшего друга. А Иван саданул кулаком по столу:

— Хватит!.. — исподлобья оглядел мужиков и, впевнившись в брата, строго заключил: — За операцию головой отвечаешь!..

Взвод Иннокентия, пополненный стригановскими бойцами, выступил из деревни. Впереди ехал Иннокентий, следом, стараясь не отставать от командира, скакал на худой лошаденке дед Маркел. Рад был старик за парня и с гордостью поглядывал на него.

— Прищемим хвост Ляхову! — весело говорил. — Я его, супостата, беспременно заловлю!

Иннокентий молчал. Он был уверен, что Ефрема на Черных болотах нет.

Ефрем и Сашок все дальше удалялись от деревни вверх по Амуру. Оба промерзли, особенно Ефрем — он был в нижней рубахе. И лошади притомились, часто спотыкались. Выбрали место поукромнее, спешились. Сашок принялся собирать валежник для костра. Ефрем сидел на камне. Он пытался восстановить события последних трех дней... Пришла Мария, завладела сердцем и разумом. Дела забросил, долг забыл — и получил сполна. Строил планы, как одолеть отряд Юрашина, а в пьяном угаре запамятовал, даже дозорных и разъезд ни разу не проверил. Доверился есаулам, а они проморгали. Мария охмурила его и всех одурманила.

— Стерва! — плюнул и встал.

Сашок разжигал костер. Руки зазябли, не слушались. Искоса поглядывал на атамана. Тот прохаживался по льду, поглядывал по сторонам. «Полынью выбирает, — в беспокойстве думал Сашок. — Не дай бог, бросится!» Костер разгорелся, и Сашок кликнул Ефрема. Тот вышел на берег, задержался возле взмыленных лошадей, с тоской смотрел на свою серую красавицу, будто прощался. Сашок нервничал. Снял безрукавку на козьем меху, поспешил к Ефрему — мала атаману безрукавка, но все-таки согреет. Тот, не глядя на него, прошел мимо, сел на камень и протянул руки к огню. Сашок положил безрукавку на седло — решил вровень с атаманом зябнуть, и пристроился с другой стороны костра.

— У тебя какое оружие? — спросил Ефрем.

— Наган и сабля... — растерянно ответил Сашок.

— Как поделим?

Парень в изумлении открыл рот: не понимал, что задумал атаман.

— Зачем делить? Возьмите то и другое.

Ефрем смотрел на огонь костра, блики играли на лице, и оно, казалось, дергалось. Глухо сказал:

— Расходятся наши пути-дорожки. Послужил ты честно. Свободу даю. Ступай на все четыре стороны.

— А вы?.. — чуть слышно спросил Сашок.

Ефрем взял хворостину, ломал на мелкие кусочки, швырял их в костер и молчал. Сашок снял вместе с ремнями кобуру и саблю, положил возле ног Ефрема и отошел на прежнее место. В тишине громко трещал сырой валежник да пофыркивали усталые лошади.

— Следом пойду, — тихо, но твердо сказал Сашок. — Ежели надобно, поползу... Вы — в огонь, и я с вами. Вы — в омут, и я туда же.

— Не стою я того, Сашок, — Ефрем мазнул ладонью по небритым щекам. — Но сдаваться не намерен, еще погрызусь. До Хабаровска бы добраться.

— А я?.. — парень умоляюще смотрел на Ляхова.

Ефрем не сомневался в его преданности, но брать с собой не хотел. Надеялся, что один доберется до Хабаровска, получит от Богородова рекомендательное письмо и отправится во Владивосток — к генералу Вержбицкому. Там назревали главные события, а может быть, уже свершились. Значит, там — схватка, пекло. Зачем юнца подвергать опасности, глядишь, уцелеет. И бог добрый поступок заметит — в беде не оставит.

— Я про вас все знаю... — донесся до Ефрема дрожащий голос парня. — И как с братом Савелием в зимовье бирюка встречались, и как капкан на Лысуху ставили.

Ефрем в изумлении смотрел на него.

— Он велел мне глаз не спускать с вас. Но ему я ничего не докладывал, врал, — Сашок немного помолчал, словно думая, стоит ли рассказывать дальше. Заговорил снова: — Есаула возле зимовья бирюка вы убили, а я с него опосля черкеску снял, чтобы никто опаленного сукна не увидел — вплотную браунинг свой приставили, оттого и опалили.

«Боже праведный!.. — думал Ефрем. — Я-то, дурак, гордился, что дело славно обтяпал, а выходит — наследил!»

— Ненавидел Лысуха казаков и меня зуботычинами да пинками потчевал. «Низкопробным» называл. А вы в человеки меня зачислили, оттого помог вам, не проболтался.

Ефрем дивился его хитрости. Невольно вспомнился Хабаровск, Витоль Драгов. Тот не походил на этого парня. Был открытым и наивным. Но тоже преданным Ефрему. А чем он отплатил ему?.. Стиснув зубы, отогнал неприятные воспоминания. Решил: и этот будет предан, как собачонка. Но нахмурился и сердито сказал:

— О твоих слезках знал — от меня тайны не ускользают. А не беру с собой, потому что опаску имею. Там, куда еду, атаманов да генералов — пруд пруди. И каждый важнее другого. Переметнешься. Как Лысуху предашь!

Сашок побагровел и, сжав кулаки, крикнул:

— В полыню кинусь, только прикажите! Ну, прикажите!..

Ефрем вприщур уставился на него, будто решал — приказать или не стоит. Наконец дружелюбно сказал:

— Охладись. Путь дальний.

У парня глаза загорелись, во всю ширь заулыбался, благодаря за заботу:

— Верой и правдой послужу! Не пожалеете, брат атаман!

— Нет больше брата атамана! — хрипло рявкнул Ефрем. — Не хочу слыть самозванцем! Надоело! Это Лысуха комедию разыгрывал, и я по своей прихоти в клоунах ходил. И кадета больше нет! В насмешку тебя так Лысуха называл. Ты — не кадет. Мы направляемся в регулярную армию, поэтому ты отныне... мой вестовой!

Сашок преданно смотрел на своего поручика.

Когда сели на лошадей, Ефрем поежился — снова зябко стало.

Сашок сказал:

— Может, к Черным болотам вернемся? В лагере и шинель, и оружие...

— И Ванька Юрашин дожидается! — перебил Ефрем и тут же сменил разговор: — Еще верст двадцать осталось. В деревушке согреемся и экипируемся — старые друзья небось вспомнят. А надо, там и половодье переждем. Лошадей продадим, лодку добудем, — подмигнул парню и погнал лошадь берегом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день, когда взвод Иннокентия находился далеко в тайге, в деревне хоронили погибших партизан. Трех убили бандиты при захвате деревни, и еще трех потерял отряд в бою. Среди них числился Федор Лапоть, крестьянский мужичок из Тверской губернии. На митинг собрались сельчане. Выстроился отряд. Речь говорил Иван, страстно призывал крепить партизанские ряды и яростнее биться за республику. Гробы с телами партизан опустили в одну, братскую могилу. С ними был похоронен и Семен Никитич Груздев.

Трижды прогремел ружейный салют. Постояли люди в скорбном молчании и к делам своим поспешили.

Вечером на дороге, ведущей к кладбищу, появилась Апросинья Жмыхова. На митинге не присутствовала — не допустили. Сначала на колкие глаза наткнулась, потом на стену людскую. Сомкнулись — не пробраться, не протиснуться. Да и сил после казацких нагаек не было. Дождалась, когда темнеть стало, выбралась огородами за околицу. Еле шла, опираясь на толстую палку. Остановилась у могилы.

— Феденька!.. — прошептала и, как подкошенная, повалилась наземь.

До утра пролежала. Нашли ее мальчишки. В деревню сбегали. Долго никто не шел на кладбище — чертыхались да отплевывались, говорили, что поделом ей. Но людская злоба угасла. Не выдержали бабы, перенесли Апросинью домой. Отходили. Лежала она в постели и жалобно поскуливала.

За окном стемнело. Максим Максимович Громовничком лежал на кровати, мерно посапывал. Умаялся от разговоров — Филимон Стриганов да старец Елисей Хозин проведовали. Жена Агафья и мать Гошки, Зинаида, бесшумно, чтобы не нарушить его редкого сна, разбирали постели — готовились почивать. Витька, младший брат Гошки, забрался на лежанку и глазел на дедовскую спину — вся в следах казацких нагаек. Иногда бросал взгляд на отца, сидевшего на лавке: большие волосатые руки покоились на коленях, тусклые глаза уставились в пол.

Силантий дожидался Гошку. Отбился от рук сын.

Раньше управлялся с ним, а теперь никакого сладу. У парня усы только-только пробились, а он вояку из себя корчит. Нашел забаву. А она смертью обернуться может. На этот раз обошлось, но Ефрем уцелел и сиднем сидеть не станет. Соберет новую банду — снова нагрянет. Пощады никому не будет. Потому решил Силантий без кулаков поговорить с сыном. Жалость вызвать — не к себе, а к матери.

Дверь с шумом растворилась, и в комнату вбежал Гошка.

— Не спите?! — радостно крикнул.

— Без кагала не можешь? — пробурчал Силантий.

Гошка хихикнул, но промолчал. Снял ремни с кобурой и саблей, бросил на лавку, полушубок — в угол, а сапоги с грохотом полетели под стол.

— Чо бесишься?! — забыв про мирный разговор, который собирался вести с сыном, грозно сказал Силантий.

Гошка, будто не слыша его, заложил руки за спину и прошелся по комнате.

— Завтрева объявляется всенародный праздник! — заявил он и громко щелкнул языком, будто выстрелил.

Зинаида, переполошенная его словами, как была в нижней рубахе, так и выскочила из соседней комнаты:

— Сказались? У людей горе, а они чего удумали!..

Дед Максим не видел лица внука, тот спиной к нему стоял, и не мог по движению губ слов определить. Спросил:

— Стряслось опять чего?..

Гошка поднял руку вверх и торжественно заключил:

— Попрошу, дорогие сродственники, обрядиться завтрева справно!.. — Снял рубаху и, таинственно улыбаясь, полез к братишке на лежанку.

Силантий сидел оторопелый — что-то непонятное в деревне затевалось. Послышался храп — не успел Гошка голову к подушке притулить, как заснул. Силантий с досады выругался: осерчал, что не случился разговор с сыном.

На пустыре собрались жители деревни и партизаны. Суд открыл Иван. Снова речь страстной была — проiski контры крепкими словами обличал. Перевел дух и стал говорить о Марии, которую привели под конвоем и с краю на подводе поставили.

— Все вы, родные мои сотоварищи, в курсе дел этого злостного лица, именуемого Ляховой Марией Демьяновной, так как доподлинно испытали их на себе!.. За блуд пускай ее бог карает, а мы, революционные бойцы, по всей справедливости и строгости судить станем за политическую порчу, проявившуюся во всей полноте в последние роковые дни!.. — Он повернулся к Клюкину. Тот, закутанный в стеганое одеяло, полулежал на руках мужиков. — Слово по обвинению дается претерпевшему муки и страдания товарищу нашему Елизару Матвеевичу Клюкину!.. Давай, Елизар, все как есть высказывай!

Клюкин дрожащим голосом стал говорить о зверствах Ефрема и причастности к ним Марии. Когда он рассказал, как она вошла в сарай к пленным и приказала его, Клюкина, повесить и, чтобы навечно сгнуло партизанское отродье, вместе с деревом в Амур бросить, по толпе прокатился ропот.

Мария стояла прямо, не шелохнувшись. Глядела поверх толпы на березняк. Представляла, как скоро голые ветки набухнут почками, потом расцветут, оденутся листвой. Ей было безразлично, что делалось вокруг, еще дома приготовилась к казни...

Ночью, опоив Ефрема маковым настоем, она ушла из дома Варнаковых кормить сына. Никон не успел насытиться — помешала стрельба. Заметались бабуляка и Анюта, не понимая, что происходит. Но Мария знала: партизаны нагрянули. Стала пеленать мальчишку. Юрашиха слезно просила остаться, но она упрямо мотала головой — не вмоготу с Иннокентием здесь встречаться. Надо все рассказывать или уходить. Не дай бог, жалость выкажет, под защиту ее возьмет. Лютым врагом у Ивана станет, людей против себя настроит, но ее не спасет. Даже мольбы Анюты не подействовали. Просила не поминать лихом и ушла в дом Выприна, к дядьке Архипу... И сегодня, когда за ней пришли конвоиры, была спокойной. Неторопливо оделась во все чистое, накануне выстиранное, шкатулку с драгоценностями, пожалованными Ефремом, отдала Архипу. Прощалась так, словно не на смерть шла, а к Юрашиным погостевать. Больная Христинья ревом зашлась, просила взять с собой сына. Поняла Мария хитрость старухи: люди увидят грудного младенца — сердцем размякнут. И не взяла...

— Вот истинное лицо контры! — кричал Иван, за-

ключая речь Клюкина. — Затаилась, а пришел час — клыки оскалила и мертвой хваткой вцепилась в народное тело! Расплата будет суровой, и приговор один...

— Смерть! — заорал кто-то.

— И только смерть! — подхватил Иван. — А посему, именем Советской власти...

— Дай народу высказаться, — перебил его Денис.

Иван осекся, хотел отбрить Долова припасенными на такой случай словами, но тут истошно заорала Клавдия Клюкина:

— Неча баланду в ступе толочь!

Поддерживая ее, раздались голоса:

— Верно! Нечего лясы точить!

— Расстрелять суку, и дело с концом!

— Кончай контру!

Долов вспрыгнул на подводу, поднял руки:

— Тихо, граждане, тихо!

— В защитники лезешь?! — крикнул Гошка Громов.

— В адвокаты не гожусь! Мозгов маловато. Но мы должны судить по справедливости, за что вчера штабом голосовали, и ты, Громов, за то руку тянул, а сейчас наш суд на расправу смахивает!

— В какую степь воротишь?! — опять крикнул Гошка.

— К революционной сознательности призываю!

— А мы, выходит, зазя святую пачкаем, невинность к контре причисляем?!

По толпе побежал смешок. Денис перекрыл его:

— Вот и говорите! Высказывайтесь, чтобы обвинение полным было — в том и есть наша революционная справедливость!

— И скажу!.. — Громов влез на подводу, обвел толпу глазами и, размахивая руками, заорал: — Всю жизнь Ляховы пили нашу кровушку, и она сподобилась! Може, конечным делом, она сама не стреляла, не порола, глаз не выжигала, только в сторонке от этих дел не стояла!.. Белогвардейские да японские генералы тоже сами не режут и не жгут, но приказы на то от них исходят! Так, може, мы их еще до вселенского суда, так сказать, досрочно помилуем?!

Люди загудели — последние слова Гошки всем по нутру пришлись. И Иван голову вскинул — все шло на лад, Марии несдобровать. А Громов продолжал:

— Надо ради справедливости, к которой Денис Карпыч призывает, моего деда сюда доставить. Только не

ходячий он нонче, потому как щедро его плетями потчевали. А хорошо бы поглядеть на евонную спину — вся в ранах!.. Знаю, сейчас защитник ейный скажет, что, мол, ее светлость Мария Демьяновна здесь ни при чем, что не ее рук это дело. А чье?.. К Ефрему не мой дед, а она метнулась! Не другая баба, а она подстилкой евонной стала!

— Не жила она с ним! — закричала Юлька.

— Молчи, шкура! — пригрозил ей кулаком Гошка. — Прищемили хвост ляховской гидре — враз заскулили!

— Не жила! Не жила!.. — продолжала орать Юлька.

Архип схватил ее в охапку — даже косточки у девчонки хрустнули — и зажал ей рот.

— Так-то лучше!.. — засмеялся Громов и, посерьезнев, продолжал: — Кто родимую в атаманши произвел? Ефрем! А он такой чести зазря не удостоит! Значит, она с ним в одной упряжке была — делишки обтяпывала! Он убег. Так кому ответ держать?

Из голпы раздались голоса:

— Кончай суд!

— В расход контру!

— Объявляй приговор!..

Гошка глянул на Ивана, сорвал с головы папаху и со всего маху швырнул ее на подводу:

— Не расстреляешь, командир, эту суку, тогда меня стрелять придется, потому как такой несправедливости моя партизанская душа не перенесет — самолично порешу змею подколодную!

— Обвинять-то обвиняй, да не заносись! — выкрикнул Фотей Стриганов и шагнул из толпы.

— Грудью прикроешь?!

— Ежели народ ее оправдает — прикрою!

— За народ прячешься?! — Гошка потрясал в воздухе кулаками. — А може, ты сам с ней разговлялся?

— Не смей, гад! — не сдержался Стриганов.

— Слыхали? В гады меня зачислил!.. Да коли ты эту змею прикроешь, я вас обоих пришью!

— Руки короткие!

— Достану!.. — Громов прыгнул с подводы на Фотея.

Они сцепились. Гошка норовил ударить Стриганова, а тот не давал, отбивал его руки. Поднялся крик — одни подзадоривали Громова, другие поддерживали

Фотей. Иван выхватил маузер и пальнул в воздух. Гошка отскочил от Фотея, споткнулся, упал к бабьим ногам и испуганно уставился на командира.

— Сознательными бойцами называетесь, а правду кулаками доказываете?! — гаркнул Юрашин, помедлил и зычно произнес: — За проявленное недостойное поведение при разбирательстве контрреволюционного дела лишаю Фотея Стриганова слова!

— Вот те раз!.. — развел руками гот. — Громов бузы натер, в драку полез, а меня слова лишаешь?

Из толпы раздался голос деда Стриганова:

— Дай внуку сказать! Дай!..

— Мне заступники не нужны! — прервал деда Фотей. — Сам за себя постою!

— От поддержки народа отказываешься? — Иван зло глядел на Фотея. — Супротив идешь?

— Не шельмуй, Ваня! Мы не в карты перекидываемся, а человеческую судьбу на весы кинули.

— Давай, говори! — Иван с грохотом сунул маузер в кобуру, более мирно добавил: — Говори, а мы слушаем.

Фотей подошел к подводе, повернулся к народу:

— Жизни любого лишить можно, а она, жизнь-то, одна — сызнава не возвернется! — Посмотрел на Громова, который, отряхиваясь, поднимался с земли. — Не пойму тебя, Гоша: не то молод, не то глуп...

— Вовсе безголовый! — снова встрял дед Стриганов.

По толпе пробежал смешок.

— Ну и родичи у меня! — рассердился Фотей. — Так и норовят палку в колесо сунуть!.. — Взял с телеги папаху, сунул ее Гошке и продолжал: — Так что же получается, граждане? А все просто у нас получается! Какая-то паршивенькая бабенка на всю деревню страху нагнала. И во всех бедах виноватой стала. Только где она была, когда наших бойцов бандит Ефрем Ляхов тайком за деревню вывез и расстрелял? Оказывается, она в доме Юрашиных находилась и небось неспроста к старухе да малым детям пожаловала!.. — Повернулся к командиру: — О том поразмыслил, Ваня?..

Иван побагровел — не ожидал такого оборота и впервые подумал о содеянном Марией. Может, и вправду неспроста к бабуляке прибежала, защитить собиралась?..

Две бабы, стоявшие позади толпы, переговаривались:

— Не по-божески судят — дитя у нее малое, про то запамятовали.

— Нонче — дитя, завтрава — разбойник.

— Все дети в одну крапинку. Не по-божески, судят!..

Фотей снова повернулся к народу:

— Нынче в нашем доме от людей отбоя нет. Ну что ж, милости просим. Горжусь своим дедом! Он-то сдюжил, не склонил головы перед распутной бабенкой, а остальные поясницы надламывали да лбом в землю упирались! А теперь за то злобу на ней вымещают! Верно тут Гоша про своего деда сказал — надобно было доставить сюда. Он перед Ефремом Ляховым не дрогнул, один за всех высказался, и сейчас бы не струсил, правду выложил. И за это ему наше спасибо!.. А где Мария находилась, когда его вот на этом самом месте пороли? Сказывают, среди вас находилась...

— Любовалась! — крикнул кто-то.

— А вы чем занимались? Глазки задернули да руками в штанах колокольчики перебирали?..

Иван шагнул вперед — подвода заскрипела.

— Не про то, Стриганов, толкуешь! По-твоему, ее и судить не за что?

— Есть за что! В атаманшах три дня ходила, с бандитами самогон жрала, песнями их ублажала, над односельчанами изгалялась! Вот за то и судить ее требуется, как ты, Ваня, сказал, по всей справедливости и строгости!

Наступила тишина. Люди задумались — одни углядели в поведении Марии что-то новое, неизвестное, другие ворошили память, выискивая случаи, которыми можно еще сильнее ужалить. Денис, воспользовавшись затишьем, сказал:

— Имею предложение, командир! Поскольку вина с подсудимой не снимается, требуется ее поведение прояснить — дозволим ей сказать... Говори, гражданка Ляхова, но одно помни: за чистосердечное признание закон дает снисхождение, а за вранье — наказание суровое!

Она даже не глянула на Долова, по-прежнему отрезанно смотрела поверх толпы на березняк.

— Пущай про Клюкина скажет! — крикнула одна

из баб. — Вправду его повесить собиралась или только пужала?

Мария молчала. Денис, чтобы развязать язык упрямыце, решил вопросами ее расшевелить — лишь бы ответила, а там разойдется, заговорит.

— Может, промеж вас что-нибудь личное имеется?

— Ишо не хватало! — возбужденно выкрикнула Клавдия.

Люди захохотали. Это разозлило Клавдию, крикнула:

— Чо скалитесь?! Мой Елизар таких змеюк стороной обходит!

— А може, она им побрезговала? — озорно крикнул кто-то из мужиков.

Толпа загудела — мужики отпускали острые шутки в адрес Ключкина, а бабы язвили насчет Марии.

— Я же не о том спросил! — старался перекрычать всех Денис. — Может, друг к дружке злобу имели, или чего еще...

Народ поутих. Елизар не выдержал и громко сказал:

— Ничего личного промеж нас не имеется! Мы с ней враги, так сказать, классовые!

— И голос враз прорезался!.. — заметил кто-то.

Мария повернула голову к Ключкину, смотрит на него — не моргнет. У того губы затряслись и даже щеки подергиваться стали — боялся, что она правду скажет. Мария молчала.

— Сама пулю выпрашиваешь! — крикнул Долов. — Говори, коли тебе последнее слово дадено!

Она смерила его взглядом, поправила шаль и, сжав под ней кулаки, уперлась в них подбородком — снова вдаль уставилась. И тут послышался тихий голос Федотьи Копытиной:

— Ее слово с моим мужем в полынье утопло... — Держась за округлый живот, двинулась вперед — люди расступились. Подошла к подводе, не спуская глаз с Марии, сквозь зубы выдавила: — Дайте-ка я ее без вашего следствия задушу!.. — Дотянулась до Мариной юбки и цепко схватилась за подол.

Конвоиры удерживали Марию — не давали с подводы стянуть. Жилистые руки Копытиной не отпускали юбку, и та трещала. Федотья выла. Люди вмиг гневом налились:

— Кончай Ляхову!

— К стенке вражину!..

Фотей Стриганов и несколько партизан оттащили Федотью от подводы. Толпа неистовствовала. Лицо Марии посерело, испуганными глазами смотрела на разбушевавшуюся толпу: попади им в руки — разорвут. В страхе зажмурилась. Иван понимал, что еще один-два человека так же, как Федотья Копытина, выступят — и конец Марии Ляховой. Он отыскивал в толпе Ксюшу Дыбову — вот кто наверняка правду скажет, об осиротевших ребятишках слово вымолвит, — нашел ее и поднял руки:

— Тихо, тихо!.. — Когда у людей пыл поубавился, заговорил тише, но каждое слово чеканил: — Гнев ваш понятен! Никому не удастся обелить контру! Но порядок, родные мои граждане и гражданки, будем блюсти! Самосуда прошу не устраивать!.. Слово предоставляю еще одной жертве бандитского изуверства — Аксинье Ивановне Дыбовой!

Мужики расступились — на Ксюшу глядели. Она — блее полотна, исхудалая, с глубоко провалившимися глазами — стояла и не знала, что делать. Иван подбодрил:

— Крепись, Аксинья Ивановна! Разделяем твою горе, но соберись с силами, выскажись, наблевшее излей.

Она медленно двинулась вперед. Ей помогли взобраться на подводу. Глядела на людей и никого не узнавала — впервые с высоты на них смотрела. И люди на нее смотрели, сострадание проявляли — у кого слезы выступили, у кого стон вырвался, а некоторые бабы едва не в голос захлюпали.

— Давай, Ксюша, — мягко сказал Денис, — без утайки и стеснительности говори...

Она посмотрела на него и опустила глаза — дрожащие пальцы по лицу бегали. Иван кашлянул, положил руку ей на плечо:

— Если невмочь говорить, вспомни своих ребятишек и от их имени и от своего скажи одно слово — заслуживает Ляхова Мария расстрела или... — он осекся — на него смотрели Ксюшины глаза, в них было столько боли и горечи, что у него комок к горлу подступил.

Она спокойно сказала:

— Ежели ее расстреляют, думаешь, мои дети сытыми станут?..

Иван опешил. У людей гнев как рукой смахнуло, стояли потупившиеся, хмурые. Ксюша тяжело вздохнула и пошла к краю подводы. Мужики помогли ей спуститься наземь.

— Ванечка!.. — раздался голос бабки Юрашихи.

Ивана передернуло: «Этого еще не доставало!» Увидел, как бабуляка, вытянув к нему руки, протискивалась через толпу.

— Чего делаешь, Ванечка!.. — Юрашиха схватилась за край подводы, чтобы не упасть. — Ты же к церкви приобщенный...

— Заговариваешься, бабуляка!.. — попытался улыбнуться он.

— Нет, крещеный ты, Ваня! Кому энтó лучше знать, как не мне. Спервоначала только крещеным был, а опосля в большевики записался. Значит, вера твоя с двух сторон православная! А ты чего удумал?.. Я среди людей стояла, слушала и никак уразуметь не могла, чего добиваешься, только сейчас, старая, поняла... Не похоже энтó на тебя, Ваня!.. Маша нам жизни спасла, а ты ее под смерть подводишь. Кругом лихолетье без разбору людей уносит, неужто тебе мало?..

Иван хотел возразить, но бабуляка опередила его:

— Раз тебе мало, убей меня. Век свой отжила, некудышняя стала... А ее оставь! При всем народе на коленях тебя прошу!

Она грохнулась на колени и стала поклоны ему отбивать. Толпа охнула и замерла. Иван соскочил с подводы, подхватил бабуляку. С другой стороны очутилась Мария — конвоиры зазевались, она и спрыгнула. Вдвоем стали поднимать Юрашиху. Та слезами обливалась, несвязные слова бормотала. Иван положил старухе руку на плечо — хотел обнять. Мария отшвырнула его руку:

— Не трожь ее!

Их взгляды встретились. Иван оробел — никогда не видел таких жгучих ненавидящих глаз. А она, подерживая Юрашиху, повела ее от подводы, передала бабам. Бабуляка хваталась за Марию, не отпускала, тянула к себе.

— Пусти, — настойчиво сказала Мария. — А то внук твой подумает, что от смерти за тебя прячусь.

Она высвободилась из старушечьих рук, прыгнула на подводу и встала перед конвоирами. Иван был уже на подводе — лицо пятнами покрылось, глаза огнем горели, того и гляди за маузер схватится. Оконфужен-

ным перед бойцами и народом себя считал и не мог простить этого родной бабке. Денис, видя его состояние, сказал:

— Ставь вопрос на голосование, командир!.. — и глянул на Натана Ковригина, который понимающе кивнул.

Иван исподлобья зыркнул на Долова и обратился к народу:

— Прошу, граждане, высказывать предложения!..

— Расстрелять! — тут же выкрикнул Гошка Громов.

— Расстрелять! — поддержал его Клюкин.

— А у меня вот какое предложение... — начал было Натан Ковригин, но его перебил дед Стриганов:

— Погодь, сынки, погодь!.. — Он, опираясь на железную клюку, отделился от толпы.

— Уже все высказались! Хватит! — выкрикнул кто-то.

Дед поднял голову, выпрямился:

— С каких это пор старикам стали рты затыкать? Не новая ли власть тому учит?..

— Говори, говори, Филимон Алексеевич!.. — поспешно заявил Иван.

Старик неторопливо разгладил усы и бороду, прокашлялся и, не повышая голоса, сказал:

— Все шибко горячие, одни — огонь, другие — пламя. На ваших разговорах только воду кипятить. А мне сдается другое... — Посмотрел на Марию. — Когда она, окаянная, на кобыле к нашему дому подъехала, я на нее, не мигая, в упор глядел. Поверьте старику, прожившему век, повидавшему всякой всячины, но углядел я в ее глазах не злобу и не гнев, а что-то такое мудреное, чего объяснить не могу. Один я не уразумел, так, може, всем обществом поймем?..

В тишине послышался чей-то густой бас:

— Оказия — и только!

— В цацки с контрой играем! — заорал Гошка Громов. — Голосуё за приговор, командир!..

— Глядите!.. — закричал один из конвоиров, показывая на дорогу.

Люди повернулись. К деревне приближались сани, на которых лежал раненый Гаврюха Горелый. Впереди вышагивал Самар, вел под уздцы запряженную лошадь, позади саней шли трое гольдов, вели другую — оседланную. Их оставил Иван на Горюне, чтобы помогли

сородичам собрать убитых казаков и зарыть, после чего в деревню вернуться, доставить Горелого.

— Гаврюха едет!.. — крикнул кто-то из партизан.

Люди, забыв про суд и про подсудимую, хлынули к дороге. Облепили сани, тянулись к Горелому, каждый хотел пожать руку спасителю. Он лежал на тюках, прикрытый медвежьей шкурой, улыбался, хотя было заметно, что дается это ему с трудом. Иван забрался на тюки, обнял друга.

— Не тискай шибко, — сморщился тот. — Я, чай, не баба...

— Гаврюша! Мой Гаврюша!.. — кричала Юлька, расталкивая людей. Пробилась к саням, отстранила Ивана, который соскользнул с тюков наземь, жалась к Горелому и плакала.

— Будет, утихни, — шептал он. — Срамно на людях-то... — Поглядывал по сторонам, кого-то искал. Ни к кому не обращаясь, тихо спросил: — А Мария Демьяновна где?

Юлька отпрянула от него, зло сказала:

— Пушай расступятся — поглядишь на Марию Демьяновну!

Толпа раздвинулась, подалась в стороны, и Горелый увидел пустырь, столб с лемехом, возле него подводу, а на ней — Марию под стражей. Картина была нелепая, и Гаврюха даже хмыкнул, но, сообразив, что здесь происходит, насупился:

— Кто же такое учудил?

Люди глядели на него и молчали. Он растерянно продолжал:

— Она деревню сохранила — от смерти и пожара уберегла. Коня мне добыла и через Юльку доставила... — Приподнялся на локтях, но, застонав, повалился на тюки. Посмотрел на стоящего рядом с санями Ивана, глухо сказал: — Не встать мне... Исполни просьбу, Ваня. Подойди к Марии Демьяновне, поклонись в ноги. За меня поклонись!..

Иван стоял темнее тучи, зубы до боли стиснул...

Ночь выдалась холодной и ветреной. Непогода действовала удручающе, и Ивану казалось, что все восстали против него: командирский авторитет потерян, вера в него утрачена.

Он с вечера заперся в доме деда Маркела, благо,

хозяин уехал с Иннокентием на задание — громить остатки банды Ляхова. Кто-то сильно стучался, по всей вероятности Денис, но Иван не открыл дверь. «Занят! — рывкнул, а сам подумал: — Переночуешь в другом месте!» Он не мог видеть Долова, считал, что тот снова на пути встал: вступился за Марию и сорвал заслуженное возмездие. Ловко вступился, ни слова поперек командира, а дело так повернул, что народ стал за нее высказываться. А Фотей и вовсе напрямки попер. Слова-то говорились правильные, к справедливости призывающие, а на деле безнаказанностью обернулись. Сбили с толку людей, враз запамятовали деяния Никола Демьяныча и что Мария — его кровинка, злобу и хитрость унаследовала.

«Снова увернулась, гадюка! Все верно задумал, а выполнил не до конца: одного защитника на Черные болота спровадил, а другого — не смог!..» — Иван мотался по темной комнате — лампу не зажигал, чтобы светом в окне не привлекать людских глаз. Чадил самокруткой — в горле першило.

Про бабуляку вспомнил: жалостливая, всех бы пригрела, привыкла беременную Марию оберегать и сейчас этой привычки забыть не может. И Ксюша Дыбова — баба горем сложенная, чего от нее ждать, кроме сострадания, вмиг откликнулась да словами, будто вилами, к стенке пригвоздила. Старику Стриганову какая-то хреновина в глазах контры увиделась, а какая — не разобрался, а народ взбулгачил. А друг Гаврюха отмочил, словно обухом по голове со всего маху. Попросил поклониться при всем народе. Кому?.. Даже в добром поступке Марии видел Иван коварство: лошадь-то дала, да разъезды с постами кругом понатыкала. Чудом проскочил Гаврюха...

К утру Иван забылся, лежал в тяжелой дреме. Вскочил от сильного стука в дверь, схватился за маузер. Пот прошиб, и голова кругом пошла. Стук повторился — настойчивый, упорный. Иван осторожно подошел к двери и, держа маузер наготове, снял крючок с петли. На крыльце стоял Гошка Громов: помыт, подтянут, выбрит до противности — округлый подбородок лоснится, как коленка голая. Увидел в руках Ивана маузер, ухмыльнулся:

— Гостей с пушкой встречаешь?

— Чистил, — соврал Иван и сунул маузер в кобуру.

— Дело к тебе, командир...

— погоди с делом, — оборвал его Иван, вышел на улицу, оголился по пояс. — Полей!

Громов зачерпнул ведром из бочки и окатил нагнувшегося Юрашина студеной водой. Тот охнул, проворчал:

— В штаны не лей!

Вошли в дом. Уселись за столом.

— Какое дело? — спросил Иван.

Гошка насупился, но заговорил твердо:

— Я, конечным делом, могу приказом прикрыться, но не с руки такое делать... Маху я дал, Иван Игнатьич. Помнишь, мы к тебе подскочили после боя, насчет пленных сомнение высказывали? Ну, постреляли их. Перед смертью один бандит — усатый такой — на колени встал, молил о пощаде. И тайну выболтал — перед налетом на деревню был у атамана его брат Петр.

— Ну и что? — насторожился Иван.

— Петька упредил Ефрема о нашем походе на Горюн — вот что!

От новости Иван обомлел. Громов продолжал:

— Шлепнул я есаула. А вот вчера пожалел. Вишь, как суд над гидрой обернулся? Есаул сгодился бы нонче — все знал. Уж про Машку доподлинно рассказал бы. А я его шлепнул.

Иван перебирал в памяти людей, искал, кто мог сообщить Петру о походе. Архип и даже Мария отпали — они из деревни не уходили, да и откуда им знать о походе? А может, брат Кешка брякнул сдуру? Он перед отходом отряда к Марии шел. Нет, такой промашки не мог братка допустить... Матрена! Она беспрестанно в тайгу к мужу шастает, корзины с провиантом таскает. Конечно, это ее рук дело! Но откуда прознала про поход?.. Иван вдруг вспомнил, как однажды Петр тайком приходил в деревню к Архипу, а когда шел обратно, наткнулся в тайге на возвращавшихся с охоты Долова и Клюкина. Петр арестованным себя признал и винтовку отдал, а Денис винтовку вернул и отпустил с миром. Мало того, что отпустил, еще и с глазу на глаз шушукались на прощанье. Клюкин говорил, что не расслышал разговора — тихо беседовали.

Иван подошел к лавке, взял ковш, зачерпнул из ведра воды. Пил жадно.

— С Матреной кто якшается? — строго спросил.

Гошка напыжился, крикнул и сказал:

— Об ней не беспокойся — поймаю. Сегодня банька пуста, видно, сызнова к своему разбойнику направилась, но вернется — накрою! А якшаются с ней многие. Она, паскуда, хитро дело ведет — в бедность играет, по дворам ходит, у кого головку лука попросит, у кого щепотъ соли выклянчит. А в тайгу, между прочим, полные корзинки таскает. Видал миндал!.. — Он потер руки. — Все одно от меня не уйдет, сказал, накрою, значит, так и будет!

Иван сидел сосредоточенный, восстанавливая в памяти события тех дней, когда Долов и Клюкин повстречались в тайге с Петром. Утром Денис доложил на штабе об Ефреме Ляхове, который вместо Лысухи атаманить стал. Решение вынесли: идти к Черным болотам и разгромить банду. Но тут вернулись гольды, выслеживавшие в тайге банду Попова... Иван побледнел. Он явственно увидел Самара. Гольд рассказывал про банду Ослоухого — продирается через тайгу к стойбищу Наан. Рядом стоял Денис. Иван спросил мнение мужиков о дальнейших действиях отряда, и Денис с ходу предложил изменить план: идти на Горюн и, опередив Попова, встретить его в Наане...

— Нет! — заорал Иван, отгоняя плохие мысли о Денисе.

Громов растерянно смотрел на командира, который с грохотом вскочил из-за стола, ринулся к стене и, уперевшись в нее руками, стоял неподвижно. Парень робко сказал:

— Мысль одна есть... Подозрений никаких не имею, но проверить не грех... С Архипом часто Денис разговоры ведет. Вроде уламывает контру перекраситься, значит, на путь истинный наставляет. Може, последить, послушать?

Иван, оттолкнувшись от стены, протопал к столу:

— Говорить-то говори, но не заговаривайся! В партизанах числишься, а не в царской охранке!

Громов хотел что-то сказать, но Иван перебил:

— И чтобы впредь ничего подобного не слышал! Вякнешь напраслину про Дениса, самолично пристрелю!

Сидели молча. Иван, казалось, поставил точку разговору, а сам не мог отделаться от мыслей о Денисе, все его поступки перебирал, когда поперек шел, за руку хватал. Гошка сидел с кислой физиономией — заранее продуманное сорвалось, зря ночь не спал, мозговал, встал с первыми петухами, при керосиновой лампе скоб-

лился и чистился. Не поддержал его командир, еще и пригрозил.

В дверях кто-то кашлянул. Оба повернулись. На пороге стоял Самар. Иван пошел навстречу гостю, поздоровался, пригласил к столу и велел Громову поставить самовар. Завел разговор об Ерми:

— Непременно выдюжит — сильный мужик. А как поставит его на ноги Лукия, в стойбище отвезешь. Требуется всем гольдам разъяснить геройскую жизнь Ерми. Настоящий боец! Правильного сознания товарищ!

Гошка работал старым дедовым сапогом, раздувал в самоваре огонь. Иван споласкивал кружки. Спросил Самара о настроении гольдов после разгрома банды Попова, где зарыли убитых бандитов, как добрались до деревни. Самар теребил полу халата и молчал. Наконец тихо сказал:

— Савка — нет...

Иван не поверил своим ушам, переспросил:

— Что ты сказал? Повтори!

— Савка — нет, — развел руками гольд.

— Как — нет? — недоумевал и Гошка.

Самар сбивчиво рассказал, как после ухода отряда гольды сносили убитых бандитов в овраг, засыпали землей. Савелия Ляхова среди них не оказалось.

У Ивана руки онемели, в висках стучало. Перевел взгляд на Гошку. Тот сидел на полу с маркеловским сапогом в руках — глаза круглые, будто плоски, и челюсть отвисла. Оба думали об одном: ведь тогда, там, на Горюне, Денис Долов после боя нашел на льду Саведия и крикнул, что тот убит наповал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Деревня залечивала раны — дорого обошлось ей трехдневное пребывание банды Ляхова. Рыдали возле раненых и избитых, плакали по изведенной скотине, охали да стонали над порубленной казаками утварью.

У Стриановых ущерб был невелик, самой большой утратой стал красной меди самовар.

— Возвернули, называется!.. — сокрушался дед Филимон, глядя на продырявленные медные бока. — Ни себе, ни людям!..

— А ежели запаять? — предложил Гаврюха Горелый, лежавший на топчане возле печки. Теперь он жил

у Стригановых — уход за раненым нужен, потому и пригласил его Фотей. — Запаять, а потом покрыть полудой. Налощить покрепче — от нового не отличишь.

— А скус? В нем, мил человек, такой чай получался — без заварки обопьешься. Чинить — и пробовать неча. Скус потеряет — расстройство одно. Пущай на подоконнике стоит, проходим о лиходейском времени напоминает.

— Пусть так, — вздохнул Горелый. — Но я бы сладил.

Филимон Алексеевич, горестно почмокивая, погладил израненный самовар и пошел к двери. Накинул на плечи полушубок, взял притуленную к углу клюку.

— Погляжу, чего бабы сработали. Может, помощь нужна.

Гаврюха остался один. Бабка Стриганиха, Степанида, мать Фотей, и Феня порядок наводили в хлеву и сарае — казаки Ефрема все вверх дном перевернули, и девчонки, две младшие сестры Фотей, там же были. Тишина стояла в доме. Гаврюха, уставившись в потолок, думал о Федоре Лапте. Потеря была невосполнимой, даже порой не верилось, что больше не войдет, не заговорит...

Во Владивостоке, в восемнадцатом, сдружились. Тяжелый бой тогда был, беляки со всех сторон наседали. Они рядом бились. С тех пор друг от друга ни на шаг. Как братья жили. Мечтали после войны в Тверскую губернию податься. У Гаврюхи ни отца, ни матери, ни родственников — сиротой по свету мотался. А Федор душевно о своей деревне рассказывал, и решил Гаврюха на его родине новую жизнь строить и век доживать. Правда, последнее время о другом подумывать стал: зачем в дали дальние глядеть, и так помыкался, молод, а почти всю Россию-матушку исколесил, можно и здесь новую жизнь сладить. Причиной была Юлька. Но не успел поведать о том другу, откладывал, боясь обидеть его, теперь же все само собой разрешилось — не с кем планами делиться...

Когда прошлой осенью вытащил из горящего дома Ляховых бабушку Христиныю с внучкой, считал, обычное дело сделал: ничего особенного, на войне как на войне, кто-нибудь кого-нибудь обязательно спасает. Повстречает Юльку, о здоровье справится. Она зардеется и отвечает, что не жалуется, того и ему желает. Разойдутся в стороны — и все вроде. Но как-то три дня не видел

ее и забеспокоился: не случилось ли чего? Как не свой по деревне мотался. Не стерпел — в дом заявился. Юлька в ужасе к стене спиной прижалась, стоит будто припечатанная. Бабка Христинья долго его разглядывала и чего-то бурчала. Наконец, признав, в улыбке расплылась. За стол усадила, чаем морковным потчевала. И стал Гаврюха не таясь к ним в гости ходить. Сидят втроем, пустой чай гоняют, разговоры о том о сем ведут. Все, казалось, на лад шло, да гром грянул — Архип с дочерью из Харбина вернулись. Юлька предупредила, чтобы в дом не смел являться и о возвращении дядьки молчал. Гаврюха дал слово. И сдержал. Правда, на Ивана Юрашина глядеть не мог, избегал, и с Федором старался не встречаться, благо тот своим делом занят был — одна Апросинья на уме. Вскорости переехал Федор к Жмыховой — вроде поженились. А Гаврюха не знал, как к Архипу подступиться. После встречи с ним в коровнике, когда тот застал его с Юлькой, вовсе сник. Понял: с Ляховым не сладить — ни за что не отдаст за него племянницу. Пошел к Федору, горем поделился. Долго думали и надумали: Горелый уведет тайком Юльку, в доме у Федора и Апросиньи переночуют, и пусть тогда Архип беснуется — поздно, никуда не денется. Гаврюха планом хотел поделиться с Юлькой, но события, обрушившиеся на деревню, помешали. Теперь же, после разгрома банды, к чему, как он считал, Юлька полное касательство имела, решил в открытую действовать. Поправится — и напрямик к Архипу. Если тот несогласие выскажет, черт с ним, нынче новые порядки, без его благословения обойдутся. Бабка Христинья против не пойдет, а главное — Юлька согласна. За два дня, что он дома у Стригановых находился, обо всем сговорились. Только бы поскорее на ноги стать.

Обихаживали его Стригановы, как родного. И подкармливали, что себе на стол, то и ему, и лечили. Перевязки делала мать Фотея, помогали ей бабка Стриганиха и Феня — в шесть рук ладно управлялись. Сильно изменилась Феня — посуровела. Ни шуткой, ни улыбкой не удостоит. Мария виновата. Не мог уразуметь Гаврюха, зачем ей понадобилось над сельчанами изгаляться — атаманшей назвалась, всех на улицу выгнала, кланяться велела. Для потехи? А может, Ефрем заставил? Нет, не такой у Марии характер, чтобы чужую волю исполнять. Видно, прав дед Филимон, здесь

что-то другое, но что именно, не разгадать. И на Юльку Феня косо глядит, зло, будто та к проделкам сестры отношение имела. За два дня Юлька раз пять здесь появлялась. И каждый раз Феня, увидев ее, платок на голову, пальто в руки — и за дверь.

— Ничего, не век у них жить, поправлюсь и убе-
рюсь... — сказал и осекся.

В комнату вошла Феня. «Легкая на помине», — подумал и зажмурился, притворился спящим. Она подо-
двинула к его топчану табурет, поставила на него круж-
ку с молоком.

— Испей, кружка нужна, — сказала строго и стала
снимать пальто.

Ему ничего не оставалось, как взять кружку. Теп-
лое парное молоко цедил с удовольствием и поглядыва-
вал на Феню, которая отщипывала лучины от полена. Руки сильные, ловкие. Любая работа спорилась. Даже позавидовал Гаврюха: сноровистая, ничего не скажешь. «А кружка, кажись, не требуется», — улыбнулся он. Ее забота теплом откликнулась в сердце, и ему захоте-
лось поговорить с ней. О Марии, о Юлке. Поймет и
оттает. Осторожно повернулся на бок, хотел было уже
заговорить, но Феня, словно почуяв, о чем речь пойдет,
опередила его:

— В душу мою, как в дверную щелку, не загляды-
вай. Не разберешься. К тому же прав у тебя таких
нет. Квартируй, а в дела не лезь.

У него слова в горле застряли — не ожидал, что
так отбреет. Снова лег на спину, подождал, пока боль
в потревоженных ранах стихнет, и все-таки начал:

— От злобы люди чумеют...

— Это ты своим сродственникам, что напротив жи-
вут, скажи, — перебила она. — Они тебя с радостью
послушают.

— А ты не хочешь?

— Я про себя все знаю. И у них все на виду. Лю-
бая власть всласть. Закон — дышло.

Гаврюха присвистнул:

— Ну, хватила!

Феня невозмутимо продолжала:

— Одни страсти-мордасти! И все с рук сходит. Не
пойму: то ли вы не видите, то ли управиться не можете?

— Не об том говоришь, Феня.

— Не об том? Может, не в них дело? Так чего же
вы с ружьями в обнимку ходите?

— Война!

— А я, стало быть, про мир да про пир? Нет, это ты не ту речь ведешь. Разомлел от нежности, расслюнявился.

Гаврюха еле сдержался, чтобы не ругнуться. Стиснул зубы, сморщился.

— Вишь, как от боли корчишься!

— Не от боли, а от слов твоих.

— А кто тебя изранил, скажешь, не они?

— Не они!

— Весь сыр-бор от них загорелся. Земля полыхает. Кругом жуткота — грабят, убивают. И ежели вы с ними жалеючи воевать будете, они вас одолеют! Изловчатся и удавку на всех накиннут. Так-то.

— По-твоему, всех надо стрелять. Без разбору. Но там, чай, тоже люди, есть и случайно попавшие, и сомневающиеся, и...

Феня громко засмеялась:

— И дураки, вроде тебя!

— Разные есть! — повысил голос Гаврюха. — И такие же мужики, как мы, имеются. Ни кола, ни двора, да еще обманутые!

— Дитятки малые! — с издевкой сказала она. — Поманили леденцом, они потянулись, их и сцапали. Так, что ли?

— Хуже дитятки. Темные! Несознательные!

— Они вас пулями, а вы их, значит, сознательностью?

— Всех под одну гребенку стричь не след. Разобраться надо — вот в чем суть. Отличить, кто заблудший, кто беляк. Они, чай, такие же русские. А мы новую жизнь строим для всех, стало быть, по справедливости надо.

— Они вашей справедливостью нос утирают!

— Кто утирает, а кто на ум берет. Справедливость, как врачевание, излечивает.

— Не партизаны, а сестры милосердия!

— Ну, это ты зря. До милосердия нам еще далеко. Только и на одной жестокости нового государства не построишь. — Глянул на Феню и добавил: — Не мои слова, один человек высказал, а я запомнил.

— Чужим умом жив не будешь!

— Не скажи. Бывает, чужие слова твоими мыслями становятся.

— Вижу, у сродственников много позаимствовал!

Только у меня своя голова на плечах. И слова, пусть поплоше, но свои. Что хочешь говори, знаю одно: сорняки в поле надобно все вон, оставишь — разрастутся и урожай погубят.

— Это верно. А вот ежели Ляховых в виду имеешь, тут разобратся требуется. К примеру, Мария. Баба с придурью. В ней и зла и добра с лихвой.

— Разобрались и пожалели?

— Не пожалели, а пощадили. Разум верх взял. Вот и ей есть над чем призадуматься. Или возьмем Архипа. Какой вред от него? Никакого.

— А польза?

— Но вреда-то нету! — не сдавался Гаврюха.

— Когда вред принесет, поздно будет!

— А ежели не принесет? Уразумееет происходящее и на нашу сторону перейдет.

— Перейдет, чтобы напакостить. У них у всех одно на уме.

— А Василий?

У Фени полено вывалилось из рук, побелела. Стоит как неживая. Гаврюха пожалел, что Василия затронул, но другого выхода не было — не доказать иначе правду. Феня тяжело задышала — приходила в себя. Ушла в другую комнату. Гаврюха маялся — и зачем ляпнул! — не знал, как дело поправить. Искал подходящие слова и не находил. Шаги слышались. Потом голос Фени:

— Ежели еще раз о Василии скажешь, не посмотрю, что израненный, вместе с топчаном за дверь выкину!

Он не видел ее, за изголовьем в глубине комнаты стояла, но по голосу понял: Василий для нее — кровоточащая рана. Но он, говоря о Василии, не собирался ее обидеть, задеть или, того хуже, укорить. Чтил его, а она не поняла. Обидно стало, и он тихо сказал:

— На Нижнем Амуре вместе воевали. Радость и горе мыкали. Не обессудь, но говорить о нем не запретишь — на то право, чай, заслужил.

По скрипу лавки догадался, что она села. Всхлипываний не слышно было, но по частому дыханию определил: давится слезами. И у него почему-то в горле запершило, будто наждаком скребли. С трудом выдавил:

— Про жестокость и справедливость он сказал... Крепко запомнил — не оброню...

Феня вскочила и истошно закричала:

— Чего душу-то рвешь?!

Дверь распахнулась, и на пороге появилась Юлька. Феня торопливо ушла в другую комнату. Юлька села на край топчана и развязала принесенный узелок.

— Опять харчиться?.. — скривился Горелый.

— Сил надо набираться, — нарочито строго сказала Юлька, и на табурете появились маленький чугунок и ржаная лепешка. — Бабушка теперь с запасом готовит — на тебя.

— А то его голодом заморили! — раздался голос Фени. — Того и гляди помрет!

Она, громко топая, прошла по комнате, сняла с гвоздя пальто, шаль и вышла на улицу.

— У-уф!.. — с шумом выдохнул Гаврюха. — Досталось мне! Видишь, как уши горят?

— Драла?!

— Этого еще не доставало, чай, не маленький... Беседу о революционных делах вели. Напористая — страсть! Не знал, что в ней такое таится. Еле выплыл.

Юлька показала на чугунок и улыбочиво сказала:

— Теперь ешь.

— Успеется... — Он, забыв про Феню, ласково глядел на нее. Подмигнул и спросил: — Дядька Архип как?

— Зря плохо о нем думаешь. Правда, по словам его трудно понять, зато в душе — тепло и согласие.

— Так уж и согласие... — во всю ширь заулыбался Гаврюха. — Откуда знаешь?

— Мы, бабы, в душевных делах лучшее вас разбираем, — сказала она и зарделась.

Он потянул ее за рукав, она нагнулась, и они замерли в долгом поцелуе.

— Теперь ешь.

— Я уже сытый.

Она лукаво улыбнулась и, подражая его говору, нараспев сказала:

— Поцелуями, чай, сыт не будешь!..

Он засмеялся и снова притянул ее к себе.

Ел овсянку с аппетитом. Юлька отламывала куски от лепешки и подсовывала ему.

— Скусно!.. — почмокивал он. — Царь поди такое не едал. Разжились или разбогатели?

— Дядька Архип выменял. Куда-то вниз по Амуру ходил. В деревне-то не у кого и не на что, а у Маши

серьги, кольца и еще разное. От деда осталось.

Горелый сморщился и недовольно глянул на нее: не по нраву было, что они дедовским, наворованным, пользуются. Юлька поняла его взгляд по-своему, насупилась. Вдруг сказала:

— Вру все! И безделушки не деда, и дядька Архип никуда не ходил. Серьги и броши Марии Ефрем пожаловал. А дядька у повитухи кое-что на еду сменял. Ее вы не трогали — запасы имеются. Архип наказал: молчи, прознают — разорят Евникию.

— Кто разорит?

— Иван.

— Разбойник он, что ли?! — вскипел Гаврюха.

— Не разбойник, но ты ему все равно не сказывай.

Горелый откинулся на подушку, зажмурился. Пропшептал:

— И чего мне с тобой делать? Как перековывать?

— Я не железяка, чтобы перековываться. — Юлька жалостливо смотрела на него. Стала о сестре рассказывать. Злой стала Мария, неразговорчивой — слова не вытянешь. Сидит в выпринской горнице, о чем-то думает, а обедать в комнату Архипа придет — похлебают молча и сразу уходит.

— А когда ест, на берданку зыркает — ее Архип на стене держит. Ой, боюсь, Гаврюша! Баба с нором: чего удумала — не отступится.

— Про что толкуешь?

— Не пойму, чего у нее на уме. Вчера бабушка про Ивана заговорила, а Мария — хрясь ложкой по столу и за дверь.

— Дела-а... — протянул Горелый. — Выходит, лютой ненавистью налилась. А зря! У Ивана линия — контру выслеживать и руки ей отрубить. Ну, с Марией Демьяновной малость перегнул, но без того, чего греха таить, не бывает — бдение!

— Чего?.. — засмеялась Юлька.

— Бдить — значит во все глаза за революционным порядком следить!.. — Он, уперевшись локтем в тюфяк, устроился поудобнее и продолжал: — Ежели поняла, то возьми на себя задачу разъяснения текущего момента Марии Демьяновне — баба с умом, чай, поймет.

Юлька нахмурилась:

— Не могу с ней по этому делу говорить.

— Почему?

Она, кусая губы, еле слышно сказала:

— Я сама — контра...

Он глаза вытаращил.

— Контра! — громче повторила Юлька, часто заморгала, чтобы слезы удержать.

— Не шуткуй так, — наконец нашелся Гаврюха. — Ну, помогала Марии Демьяновне, потчевала казаков, самогоном обносила, даже пушай с улыбкой. Но то для великого дела!

— И нет! — она заплакала.

Он успокаивал ее, по плечам гладил, слезы со щек смахивал. А Юльке грезился другой — Сашок!.. Тогда, готовясь к гульбищу, она поймала его взгляд и ответила тем же. И во время застолья его задевала, лукавыми взглядами одаривала. Ночью он к лавке, где она спать улеглась, подкрался — решил взять свое. Домогался сильно. До греха дело не дошло, посулами отделалась. Но миловаться пришлось. Поначалу противность ощутила, потом страх сгинул, во вкус вошла. Целовалась с Сашком, а сама о Гаврюше думала: лишь бы спасся... Теперь же, милуясь с Гаврюхой, Сашка вспомнила: если жив, зябнет где-то...

— Контра я! Контра!.. — голосила она.

— Дуреха ты! — обнимал ее Горелый. — В жены партизанские собралась, а сама еще дитя неразумное.

Она вырвалась из объятий, подбежала к окну, глядела на улицу и хлюпала. Вдруг, кого-то увидев за окном, вскрикнула, на Гаврюху испуганный взгляд метнула и стремглав выбежала из комнаты. Он недоумевал: чего с девкой стряслось?

На поляне, где когда-то была пасека Груздева, снег почти стоял, только местами белел островками. Солнце набирало силу, и островки серели, таяли, все больше открывая истосковавшуюся по теплу землю.

В тени деревьев на валуне сидел Петр Ляхов, изредка поглядывал на поляну, жмурился от яркого солнца — резкая боль вызывала слезы. Обхватив голову, чертыхался: надеялся, что с весной болезнь уйдет, а нет, недуг не отступал. Он, провожая Матрену, наказывал, чтобы повитуху навестила, лечебные средства выпросила. Матрена ушла, а он уже который час сидел на валуне, про жизнь распроклятую думал...

Когда он собирался идти к Ефрему, чтобы сообщить об уходе отряда Юрашина на Горюн, вспомнил хватку

отца — чужими руками пользу себе добывал. Решил двойную игру затеять: сам — к брату, а Матрену — на Горюн к Ивану. Пускай лбами столкнутся — на смерть биться станут, глядишь, друг друга изведут, если даже не до конца, то все одно сила поубавится. Ему на руку — в слабости отрядов свое спокойствие видел. И Иван такое сообщение без внимания не оставит — на случай возврата Петра в деревню очень даже сгодится. Все могло бы ладно получиться, но Матрена воспротивилась, наотрез отказалась на Горюн идти. Как ни старался Петр — ни просьбы, ни посулы, ни угрозы не возымели силы...

«Много бы людишек побилось, — думал он сейчас. — Оставшимся было бы не до меня».

Хрустнула ветка. Он насторожился, шею в плечи втянул, взял «японочку» наизготовку. На поляну вышла Матрена. Петр растерянно глядел на нее. Выждал, когда приблизится, и вышел из кустов.

— Чего стряслось?

— Вернулась... Хорошо, Юлька упредила... — тяжело дыша, ответила Матрена. Присела возле дерева, принялась рассказывать, как вошла в деревню, прошла дом Стригановых, свернула в проулок, да Юлька догнала — она у Стригановых была — и поведала, что Матрену в ее баньке Гошка Громов сторожит-поджидает.

Петр смекнул: что-то пронюхали красные. От волнения слова про баньку мимо ушей пропустил. Присел, шарил глазами по кустам — опасался слежки за женой. Не обнаружив ничего подозрительного, спросил:

— Ефрем где?

Она охнула, дрожащим голосом сказала:

— Наголову беляцкую банду разбили — так Юлька хвастала.

— Ефрем где, спрашиваю?! — прикрикнул он.

— Ушел. С ним ишо несколько казаков. Только погоню наладили, Кешка со своими вслед пошел.

— Хана, значит! — испуганно прошептал Петр, и Матрена не поняла — то ли про Ефрема говорил, то ли про себя.

Он засуетился, мотнул головой жене, чтобы следовала за ним, и они пошли по тропе. Матрена кляла себя, что про баньку сказала — вырвалось. Не дай бог, он спохватится и спросит, тогда придется рассказывать, как родичи из усадьбы ее выпроваживали — Савелий

бил, за волосы таскал. В тайне долго держала, и вот сподобилась — выложила. Видно, от страха слова выскочили. Залютует Петр: ее за вранье отделает и на невиновных зло выместит. Требовалось, когда Никон Демьяныч дом спалил, сказать, что в баньке Доловых поселилась — жить-то надо где-то. А она почему-то ляпнула: у старухи Лукии устроилась. Он засмеялся: «С умыслом небось. Стара, одна как перст, помрет скоро, хозяйкой останешься». Теперь обман раскроется, прощения от мужа не жди — не умеет прощать. Вспомнила про гольдов, что у Лукии проживают, и придумала, как Петру соврать: Иван ее согнал, гольдов к старухе определил, а она в баньку перебралась.

Шли торопко. Петр вполголоса задавал вопросы, она отвечала — все, что Юлька успела поведать.

— Чего она у Стригановых забыла?

— Жених там.

— Фотей, что ли?

— Ишо хуже! Погорелый, партизан, длиннющий да сухой — ни жирилки!

— Мокрохвостка! — Петр в злобе сплюнул. — Все бабы у нас, Ляховых, порченые — с плесенью!

Дошли до каменной осыпи, полезли в щель между двумя валунами. В низком лазе было темно и сыро. Петр неловко шагнул и ударился головой об острый выступ. Посыпались матюги, весь гнев на Матрену обрушился:

— Коза безрогая! Только худые вести носишь!.. Не схотела Ваньку упредить — сейчас другой бы коленкор имели! А теперича, значит, он, поганец, и до меня доберется!..

Петр торопился. Боялся, что Ефрем опередит, раньше его в зимовье окажется — деваться больше некуда — и спрятанное золото найдет, чутье-то собачье, по нюху определит.

Когда вылезли из лаза, Петр, забыв про больные глаза, таращился, обливался слезами от яркого солнца, но бежал через поляну к зимовью. Матрена еле поспевала. Остановились перед дверью. Он, вытирая шапкой градом бегущие слезы, пробормотал:

— Ступай глянь!

Она поправила сбившийся на затылок платок и потянула за ременную ручку. Дверь заскрипела. Матрена шагнула в зимовье и тут же с криком кинулась назад. Петр шелкнул затвором винтовки, бросился в зимовье.

Попад с яркого света в полутьму, ничего не видел. Напряг слух, готовый в любое мгновение выстрелить. Постепенно проглядывались предметы: стол, чурбак, топчан. На земляном полу ничком лежал человек — не то мертвый, не то без сознания. Петр двинулся к нему, различил на голове пропитанные кровью тряпки. Взял за плечо и рывком перевернул.

— Савка!.. — прошептал и попятился.

Теперь путь в деревню Матрене был заказан. Гошка Громов не сам по себе ее выслеживал, наверняка Ивана рук дело. А уж тот, коли взялся, не отступится. Одного не понимала: за что Юрашин преследовать стал? Вреда никому не делала, тихо в баньке жила. По дворам ходила, толику чего-нибудь, как милостыню, выпрашивала и к разговорам прислушивалась. Так велел Петр. Выведанное ему приносила. Но в том беды не было — люди не тайные беседы вели, а вслух радости, горести и недовольства высказывали, — к тому же откуда про то Ваньке знать. А может, пронюхал, что Ефрема на деревню навел Петр? Пленные казаки поведали — наверняка его в банде на Черных болотах видели, — и Юлька могла проболтаться: ненароком, мол, сказала тетке об уходе отряда на Горюн. У нее язык, что помело, и нашим и вашим служит. Гадать нечего; деревни больше не видать ей. В зимовье придется жить. Не было бы Савки, куда ни шло — многое претерпела от мужа и еще бы снесла. Но находиться здесь с Савелием не вмоготу. Сейчас он в беспамятстве, лежит, как чурбак, и только иногда стонами оповещает, что живой. А придет в себя, поправится, что тогда? Новая боязнь появилась: делами и мыслями врозь жили Петр и Савелий, а теперь возьмут и спарятся — как ни крути, а братья. Вдвоем-то расстараятся — изведут. Что она, баба беспомощная, с волками сделать может. Выход один: петля. Ничего больше на ум не шло...

Через пару дней, когда Савелий окончательно пришел в себя, между братьями состоялся разговор:

— Как узнал про мою берлогу?

— Ефрем сказал: Перед пленением Лысухи сговорились, если что не так выйдет, здесь, у тебя, встретиться.

— Выходит, все обмозговали!

— Кому на колу сидеть охота? Оттого и мозговали.

— А сейчас, когда ко мне полз, тоже думал?

— От раны туго соображал, не знал, что делать.

— Хочешь под карачун меня подвести? Ванька нагрянет — и конец. Я один — мирской отшельник, а вдвоем — банда!

— Юрашин сюда не доберется. И на кой хрен ты ему сдался? У него нонче другие заботы — Ефрем деревню взял.

— Откель знаешь?

— На Горюн партизан прискакал, сообщил, а я слышал.

— Вот и полз бы на деревню!

— Не сообразил. К тому же туда дальше.

— Зато к смерти ближе. Пятки салом смазал твой Ефрем! Банду евоную на корню подрубили!

— Новую соберет.

— А может, уже на том свете атаманит?

— Он везучий!

— Дай-то бог!.. И ты, значит, без войска остался?

— В Наане Юрашин поджидал. Накрыл и перещелкал. Всех, в том числе и Ослоухого.

— И поделом! Безобразить надобно в меру, а он не только грабил, но и жег. Это не от ума! Настоящий хозяин тайги тот, кто исподволь дела вершит, а на глазах и обиду терпит, и ласковое слово молвит.

— Отца вспомнил?

— А разве постыдно? Если бы его ум — нам, то не Юрашин, а мы бы в деревне верховодили.

— Гляжу, отшельником пожил и поумнел.

— Не шибко. Два дня назад слюну до пупа распустил — разжалобился. Хотел тебя добить, да не добил. Значится, не по-умному поступил.

— Смог бы?

— И смогу!

— Мы же братья!

— Какие там братья?! От одной матери, но порознь народились и порознь жили. Поленья мы одного бревна! А поленья, как ни клей, единого дерева сызнова не будет!

— Выходит, враги?

— Не враги, но и в друзьях не числимся.

— Порешишь меня?

— Уж коли раздумал, значит, не порешу. Сам уйдешь. Я тебя сдуру на топчан уложил, опосля пере-

таскивать не схотел, больно тяжел. На лавке узкой маюсь, так что изволь поскорее убираться.

— Поправлюсь — уйду.

— И с богом!

— За приют и ласку я тебе опосля кое-чего пожелаю...

Савелий достал из кармана часы, которые когда-то принадлежали Лысухе. Щелкнула крышка — по зимовью полился тонкий мелодичный звон. Петр слушал, и его лицо добрело...

Матрена не слышала разговора братьев, в конюшне была. Сена подложила Гнедому и глядела на него тоскливо — от черных дум отделаться не могла.

В деревне все шло своим чередом. Забылись люди в делах суетных и запамятовали недавние беды. Поглядывали на реку, ледохода ждали. Амур не вскрывался — запаздывал.

— Чем бойцов кормить?.. — рассуждал Иван. — Конечно, в половодье одни дураки ловят рыбу, но все ж таки...

— На артели разобьемся — поймаем! — успокаивал командира Гошка Громов. — И мужики из тайги не с пустыми руками придут. Не один и не два — гурьбой пошли. Правильно. В тайге разделятся, окрест разбредутся — и живность добудут, и шуму наделают. Попужают Ефремовых бандюг, которые из деревни от сабель убежали и поодиночке бродят. Глядишь, и на Петра Ляхова наткнутся. Ладно будет?.. — Посмотрел на Ивана, но тот не ответил.

Они стояли на каменистом угоре, где когда-то любил бывать Никон Демьяныч Ляхов. Никто не смел сюда ходить — его угор считался. Теперь же часто бывали здесь люди — хотелось посмотреть на то, что запретным раньше было. Дивились: удобное место, всю округу видно — залюбуешься. Особенно повадились сюда пацаны, для них угор излюбленным стал. Гошка, поглядывая вокруг, спросил:

— Ты здесь раньше бывал?

— Еще стригунком...

— Не боялся?

— Боялся, — признался Иван. — Только мы сильное желание имели насолить ему — украдкой забирались и кое-чего делали...

— И не попались?

— Нет, — соврал Иван. Ему не хотелось рассказывать, как однажды они, мальчишки, не углядели засады и были пойманы с поличным — со спущенными штанами. Братья Ляховы били их крепко — бока долго ныли, и до ушей не дотронуться.

Громов, глядя на частокол, стоявший неподалеку, сказал:

— Спалить эту крепостную стену к чертовой матери! Стереть, так сказать, с лица земли логово сплутаторов!

— Без пользы добрый лес сгорит. — Иван достал кiset, но, раздумав закуривать, снова сунул его в карман. — Кликни клич, вмиг по бревнышку растащут, на делянки ездить не надо... — Вдруг выругался, глядя на Амур: — Етит твою!.. Кто это?..

Гошка повернулся к реке. С противоположного берега, ловко орудуя длинным шестом, по льду пробирался низкорослый мужик. Остановился, поширял шестом по сторонам, двинулся вправо, положил шест на лед и пополз по нему.

— Смельчак! — восторгался Громов. Пригляделся и в изумлении прошептал: — Ерошка-горбун!..

Иван тоже узнал Кудлая. Нахмурился, не понимая, зачем понадобилось горбуну жизнью рисковать, что так припекло?

— Пойдем-ка... — сказал Юрашин.

Они пошли по тропе, не доходя дороги, свернули в овраг и вскоре оказались на берегу. Затаились в кустарнике. Ерошка был уже близко. Он видел их давно, еще на угоре, и сейчас заметил, но виду не подал. Достиг берега, положил шест возле подножия и, припадая на левый бок, пошел к деревне.

— Не таясь идет, — тихо сказал Иван. — Может, впрямь дело важное, а может... Теперь, Гоша, гляди в оба!..

Они, нагнувшись, двинулись по оврагу к дороге, чтобы выйти к деревне с другой стороны — опередить Кудлая.

Клюкин лежал на кровати и стонал. Когда же Иван заговорил о Кудлае, который неведомо зачем пожаловал в деревню, стон прекратился — у Елизара появился интерес к рассказу.

— Сперва горбун зашел к повитухе, долго сидел,

Гошка потом выведал у старухи — за травами да кореньями приходил, жена у него шибко хвора. Потом к Архипу заглянул, но разговора не получилось — Архип дверь перед ним закрыл и с крыльца спустил.

— А теперича где?

— Успел до ледохода на ту сторону перебраться. — Иван хлопнул себя по бедрам. — Он шустрый! Шестом, что черт кочергой, работал!..

Клюкин вздрогнул — вспомнилось, как Кузя загнал его под кровать и кочережкой дубасил. Глаза злобой налились. Заворочался, но спохватился — не могла боль враз пройти — и застонал.

— Лежи и не дергайся — раны бередишь.

— Нет, Ваня, теперича пролеживать бока не имею права.

— Вставать запрещаю!

— На то дать приказа не можешь. Не шуми!.. А насчет того, что у Ерошки с Архипом разговора не вышло, сумлеваюсь. Можно не входя в дом словечком переброситься. А опосля не грех и затрещину получить. — Помолчал, хитро добавил: — Денис с Архипом возится, агитирует. Попроси, может, чего выведает?..

Иван задумался.

В конюшне стояли две лошади, вокруг них суелись Юлька и Верка, без умолку трещали — радости не было конца. Архип подложил сена в кормушки, отошел в сторону и в который раз стал любоваться доставшимися задарма животинами...

Когда в комнату вбежала Верка, он сидел на лавке, чинил охотничьи снасти для дичи. Она впопыхах рассказала про «ничейных» лошадей, бродивших за деревней возле старого рыбацкого домика. Архип бросил работу и поспешил к Амуру. У заброшенного рыбацкого домика сгрудились пять лошадей. Архип догадался, что они принадлежали казакам из банды Ефрема и убежали во время боя. Отобрал двух лучших — в его хозяйстве больше не требовалось — и повел к деревне...

Верка сияющими глазами поглядывала на отца — гордость распирала, что именно она обнаружила лошадей. Скупой на похвалу Архип на этот раз не выдержал, мягко сказал:

— Бог за порванное платье казачьим же добром обласкал...

Во дворе слышались шаги и бряцанье сабли. «Иван! — в сердцах подумал Архип. — Пронюхал про удачу. Реквизирует, сволочь!» Покосился на девчонок, тихо сказал:

— Ступайте в дом!

Юлька и Верка побежали к крыльцу. Архип поправил хомуты на столбе, перевесил сбрую с гвоздя на гвоздь, поменял местами дуги — делал все не спеша и к дверям не поворачивался. Иван стоял возле косяка и терпеливо ждал. Архип не выдержал, глянул на него из-под густых бровей и буркнул:

— Чего требуется?

Юрашин показал на лошадей, улыбочиво спросил:

— С кого должок требовал?

— У рыбацкого домика поймал. Там еще три животины.

— Чего же не забрал?

— Тебе оставил!

Иван разглядывал Архипа, словно давно не видел, неожиданно крикнул:

— Громов!

В воротах появился Гошка. Иван отрывисто приказал:

— Пулей к рыбацкому домику! Пригони трех коняг! — Ухмыльнулся и добавил: — Мне их Архип Никонич пожаловал!

Гошка исчез за воротами, вскоре слышался конский топот — ускакал. Архип прошел мимо Ивана, взялся за створку двери:

— Не зашибить бы...

— Не спеши, — Иван глянул на него через плечо. — Ежели наврал, снова отпирать придется.

Архип понял: если не приведет Громов трех коней, Иван заберет этих. Засопел, сел на крыльцо. Иван, хлопывая нагайкой по голенищу, расхаживал по двору, будто высматривал, что еще можно реквизировать. Архип потупил голову, томился в нервном ожидании. Иван подсел к нему, мирно спросил:

— Живешь как?

Архип недоуменно посмотрел на него:

— Как все.

— Все — воюют. А ты?

— Мне не с кем войну вести.

— А Ерошку за что отделал?

— За паскудство!.. — Архип стал рассказывать, как

с Веркой возвращались из Харбина, попали в пургу, как Кудлай за ночлег и лепешку соболей запросил. — Пришел долг требовать. — я ему и отпустил!

— Справно Денис тебя агитирует!.. — смеялся Иван, искоса поглядывал на Архипа, пытаюсь понять, правду тот говорит или врет. Но по хмурому лицу трудно было что-либо определить, и он ехидно спросил: — Может, в отряд вступишь?

— Кабы тебя в нем не было, може, вступил, — не задумываясь, напрямки ответил тот.

У Ивана смех в горле застрял, в глазах появился недобрый блеск:

— Гляди-ка!.. Вдвоем тесно?

— Беззакония не люблю, — просто сказал Архип, достал кисет и занялся сигаркой.

— Интересно у тебя получается, Архип Никоныч! Люди, выходит, не по тем меркам живут, что им положены. А ты все по закону делаешь?

— Стараюсь.

— Врешь. Закон, который предусматривает равенство, тебе не по нутру. И стараешься ты для утробы своей, ничем не брезгуешь и, коли есть возможность, норовишь лишку урвать. Не знаю, какие разговоры с тобой ведет Денис, но, вижу, перемен в тебе ни на грош. Как был кулаком, так им и остался!

— По каким таким признакам определил?

— Кругозор узкий имеешь, кроме своего двора ни хрена не видишь!

— Верно. В чужие закрома не заглядываю.

— Заглянул бы, да время другое, знаешь, что ничего не обломится, еще и с синяками уйдешь.

— Такое в любые времена бывало. Чего доброго, а взяшей давать научились. И справно!

— Слава богу, на одном сошлись, нашли, так сказать, общую точку! Тогда сызнова начнем: зачем горбун приходил?

— Уже сказал. Не веришь, у него спроси.

— Он, как и ты, не промах. Соврет и не моргнет. Всю жизнь обманом жили, жирные куски цапали!

— А ты, гляжу, все время постишься?..

Иван хотел ответить, но, услышав конский топот, осекся. Подъехал Громов, возвышаясь над забором, крикнул:

— Двух поймал! Добрые, не чета нашим!

Юрашин глянул на Ляхова: «Не соврал, гад!» Но

сдаваться не хотелось, и он спросил Архипа:

— Где же третья?

Архип чадил сигаркой, щурился от едкого дыма. Вдруг резко встал, пошел в конюшню и вывел лошадь.

— Получи третью!

Иван сверлил глазами недруга, который неторопливо прошел к крыльцу, стал подниматься по ступеням:

— Доберусь до тебя, сука!

Архип не ответил, скрылся в доме — дверью сильно хлопнул и крюком звякнул. Раздосадованный, Юрашин крутил в руках нагайку и думал о только что происшедшем разговоре, который не получился, вернее, был безрезультатным и явно не в его пользу. Встал, огрел нагайкой лошадь, стоящую возле крыльца, и та шарахнулась к конюшне. Выйдя на улицу, он оглядывал пригнанных Гошкой коней. Справными оказались. Почувствовал чей-то взгляд — даже спина зазудилась. Повернулся. В окне выпринской горницы тотчас задернулась занавеска, но он успел узнать Марию.

В ту ночь, когда Иван не открыл дверь Долову, тот нашел приют у Натана Ковригина. Не сомкнули глаз до утра, вели разговоры о смутном времени. Оба понимали, что белогвардейцы, окопавшиеся во Владивостоке, затаившиеся в Хабаровске и других городах, никогда не смирятся с созданием Дальневосточной республики, попытаются свергнуть правительство большевистского толка, и японцы, конечно, помогут. Оба чувствовали, что кровавая борьба не за горами. До этой ночи Денис и Натан редко заговаривали, разве только по неотложным делам да на заседаниях штаба. Теперь же, как это часто бывает, наговорились досыта, открыли друг другу души, сблизились.

— Понимаю, что не ко времени... — говорил тогда Натан Северьянович. — Жисть еще тягчее станет, а ничего поделать не могу. Сердце тоской изводится — шибко дитя хочу. Уж больно много лет маялся, баба затяжелела, а я в тревоге пребываю — ночи не сплю... Ушел в другой мир Дмитрий Антоныч, пятерых оставил. Трудно сейчас Федотье, но с божьей да людской помощью не помрет, всех пятерых вытянет. Сызнова на сносях она, шестого ожидает. А мы со своей одного справиться не можем.

Он помолчал и, к удивлению Дениса, вернулся па-

мью в далекие годы русско-японской войны, когда с Дмитрием Копытиным добровольцами в армию ушли. Рассказывал о Порт-Артуре, где устраивались крестные ходы да молебны — генералы в городе вымаливали у бога победу, а солдаты в окопах гибли. Поведал, как насмерть стояли, обороняли Кумирненский редут. Там их обоих и изувечило.

— Ужастей навидались, горюшка похлебали... Попали в лазарет. Раненых в нем, что в улье пчел, прямо на полу почти друг на дружке лежали. Один тюфяк на двоих, а тюфяк — меньше и тоньше собачьей подстилки. Но мы не роптали, живы — и ладно... Со мной рядом солдат притулился, тоже пехотный, только со второго форта. Шрапнели, что десятерых бы убила, ему, бедняге, одному досталось. Уже в годах, щетиной седой оброс, сурьезный, а удержу не имел, шибко мучился, с криком стонал. Потом слабеть начал. Мертвечье тело его стало — ноги отнялись, руки не действовали, шевелиться вовсе перестал. Одни глаза живые. Уставится на окно, откуда свет пробивался, и смотрит, не мигая. Цельный день смотрит. Мы тоже неходящие, но подсобить ему хотели, спрашивали, чего дать или сделать. Он глаза закроет, головой тихо качает — ничего, мол, больше не требуется...

Денис слушал Ковригина и не понимал, куда тот рассказ ведет. А Натан Северьяныч неторопливо продолжал:

— Как-то ночью слышу, поскуливает сосед, и так тонко, жалобно, что прямо за душу берет. Спрашиваю, чего надобно. Он скулить перестал, но молчит. Я сызнава: «Чего хочешь, друг?» И вдруг слышу в ответ: «Дитятю». Я обомлел, но быстро догадался — бредит, не в себе, значит. А он полежал малость, потом тихо говорит: «Нескладно жил, все не как у людей. Соседние избы полны ребятишек, а в мой пусто — не сподобился». Не бредит, здраво говорит. Хотел его успокоить: поправишься, мол, вернешься и все наладишь. И вдруг слышу: «Помирать без дитя согласия во мне нету». Больше ничего не сказал, тихо лежал. И я слова не вымолвил — горло захлестнуло. Слушал его дыхание и про свою избу думал... К утру задремал. Когда пришел в себя, хотел первым делом доброе что-нибудь соседу сказать, повернул голову, а там уже другой лежит...

Натан Северьяныч взялся за кисет. Денис не сводил

глаз с его дрожащих пальцев, и волнение Натана передавалось ему. Ковригин привстал, прикурил от лампы. Затягивался глубоко, видно, успокаивал себя.

— Долго того солдата помнил, со временем забывать стал. Вроде совсем запомнил, и вдруг... Скажи на милость, чем старше становлюсь, тем явственнее его вижу, по ночам даже голос чудится — тонко скулит, жалостливо... — Он перевел дух, глянул на Дениса: — Жисть наша теперича неизвестно как обернется, може, я так же скулить буду — и от ран, и от дум. Нету во мне согласия без дитяти помирать. Оттого не могу покоя найти. И баба моя опаску имеет, как ни говори, два приема было, и оба раза не народила — выкидыши. Болячка у ней в душе снова заныла, того и гляди в страх перекинется — все за живот держится. Може, повитухе поклон отвесить, дать кое-что, а? Глядишь, подсобит бабе...

На Дениса смотрели умоляющие глаза — он даже заерзал на табурете. Знал повитуху Евникию хорошо — шельма превеликая. Бывало, излечивала, случалось, и порчу делала — не по злему умыслу, а от незнания. И Денис сказал:

— Сам решай, но я бы не доверился ей. Кабы хуже не было.

Натан Северьяныч засопел и большим пальцем прижал окурок к краю стола — загасил, даже огня не почувствовал. Денис понял, какого ответа ждал от него Ковригин, а он надежду его порушил...

Сейчас Денис шел по улице, вспоминал тот ночной разговор и корил себя, что отсоветовал к повитухе обращаться. Роды — дело темное, никто не ведает, как они могут пройти, к тому же у жены Натана дважды не случалось, потому мучился: вдруг помогла бы Евникия? Решил исправить оплошность, зайти к ней — авось не откажет по старой памяти, чего греха таить, относилась раньше к Доловым с почтением.

У дома старухи Лукии, где жил израненный гольд Ерми со своими товарищами, бойцы свалили старую, прогнившую изгородь — ладили новую. Он задержался возле них, оглядел работу, похвалил. Из дома напротив вышел Клюкин, ноги широко ставил, в руках палка, спина дугой выгнулась.

— Не рано встал? — спросил Денис.

— Скажи — не поздно ли?.. Не знаешь, откуда беда пожалует. Ох, напасти!..

— Ты про что?

— Ушли мы на Горюн, а тут чего приключилось?.. Завелась змея в отряде, упредила Ефрема Ляхова.

Денис от удивления присвистнул:

— Ну, хватил!..

Елизар, пристально глядя на него, сказал:

— Через Петьку кто-то упредил. Доподлинно известно!

Денис слышал об этом впервые. Выходит, и Иван знал, наверняка он Ключину сказал, а ему, своему помощнику, словом не обмолвился.

— Призадумаешься, правда?.. — многозначительно сказал Елизар.

— Верно, — подтвердил Долов, думая о своем.

Разошлись в разные стороны, Денис замедлил шаг, размышлял об Иване: почему не поделился догадками или сведениями? Такого давно не случалось. После отъезда Лаврентия Шалды отношения друзей вроде бы наладились. Нельзя сказать, что между ними было полное согласие, но и размолвок не повторялось. Иван зарвался на суде Марии, личное отношение к Ляховым возымело силу, но Денис и другие бойцы положение исправили. «Значит, дюже обиделся, — думал Денис. — Самолюбив и свое мнение превыше всех ставит».

Он свернул в проулок и чуть не столкнулся с повитухой. Старуха, одетая, как всегда, во все черное, ковыляла по дороге. Он, глядя на ее плюшевое полупальто, улыбнулся:

— Не жарко?.. Пора разоблачаться, Евникия Авдеевна.

— Сама знаю, когда пора, а когда нет, — прошамкала она и подняла на него бесцветные, будто полинявшие за долгую жизнь, глаза. — Бог с тобою свел... Кешка с Маркелом ускакали куда-то, не сидится дома бедолагам. А мне поклониться боле некому.

— Что стряслось?

— Дрова кончились. Чурбаки есть, опять же Кешка с Маркелом напилили, а порубить сама не могу.

— Солнце припекает, а ты о дровах заботу ведешь.

— В моем божеском ремесле они завсегда нужны — на солнышке снадобья не сготовишь. К тому же глянь-ка туда... — Она повернулась к Амуру, показала на сопки, горбившиеся на другой стороне. — В распадах туман до полудня не расходится, значит, быть холодам.

Они пошли к ее дому. Денис был доволен — нарубит дров и о жене Натана Северьяныча поговорит. Уладит дело, в том полная уверенность появилась.

Во дворе разгуливали куры. Повитуха, охая, поднялась на крыльцо, скрылась за дверью, а Денис пошел к сараю. На ходу расстегнул ремень, снял вместе с кобурой и положил на бревно. Остановился возле груды напиленных чурбаков, повел плечами — вдосталь разомнется. Стал искать топор. Увидел на земле след от поленницы — снег на этом месте не стоял, и след был свежим. Это насторожило его. Вошел в сарай и встал как вкопанный: вдоль стены вытянулась ладная поленница, еще на ползимы хватит. «Вот те номер!..» — на лбу даже испарина выступила. Вышел из сарая, взял ремень с кобурой и быстрым шагом направился к дому.

Он переступил порог комнаты, хотел было пожурить повитуху за дурацкую шутку, но слова застряли в горле. Прямо перед ним на кровати лежал отец. Денис узнал его сразу, хотя волосы отца заметно поседели, будто покрылись густым слоем инея, и лицо стало морщинистым. Они не сводили друг с друга глаз и не находили слов. Карп Карпыч часто заморгал — борода задергалась, по скулам покатались слезы. Денис не шелохнулся. Карп Карпыч тяжело вздохнул:

— Вот и свиделись...

Голос был хриплый, незнакомый, и Денис на какое-то мгновение засомневался, отец ли перед ним. А тот продолжал:

— Свиделись. Бог свел!..

Он протянул дрожащие руки к сыну. Денис не выдержал и шагнул к нему. Обнялись. Повитуха возилась у печки, переливала по посудинам сильно пахнущий отвар. Тихо сказала:

— Не велено было говорить, вот и взяла грех на душу — обманула.

Денис отстранился от отца, тряхнул головой, будто отгонял наваждение, и снова уставился на родителя. И тот разглядывал сына, дивился: «Возмужал, окреп, справным мужиком стал, военная форма к лицу — богатырь!»

— Кабы матери поглядеть на тебя... — прошептал, зажмурился, и его борода снова мелко затряслась.

У Дениса в душе похолодело — горько о матери подумалось, а спрашивать про нее боялся, не дай бог,

померла, и про сестру Ленку не справлялся, тоже боязно было. Глухо сказал:

— Четыре года не виделись.

— Почитай, поболе... Присовокупи еще четыре месяца и десять дён.

Денис невольно улыбнулся. Карп Карпыч легонько щелкнул языком:

— У тебя шаг большой — годами жисть меряешь. А для меня дни — что зарубки на сердце.

Глаза Дениса светились теплом...

Он пробыл с отцом до вечера. Говорили о житейских делах, но о политике — ни слова, даже про службу Дениса у красных отец не упомянул: может, не хотел беречь рану, а может, смирился. Денис узнал о болезни отца — в дороге скрутила. Поправится и к Юрашину пожелует. Таким вот скрюченным не след перед Ванькой стоять, молод еще Ванька, как бы не возомнил, что винится старик, оттого и «сгинается». А виниться не за что — прежние грехи отмолил, крупные жертвования церквам сделал и свечей множество поставил, а новых грехов не наделал. Мирно жил в чужих краях, поизносился да состарился, помирать решил на родной земле. Жену и дочь в надежном месте оставил. Побоялся в деревню вести. Наслышан об Иване много — крут до крайности, чего хочешь ожидать от него можно. Но говорить с ним придется, не обойти. Не известно, как разговор обернется — может, голову под топор прикажет положить, а может, милосердие проявит. На все согласен Карп Карпыч — смирился со своей судьбой. Денис просил не мешкать с разговором, но отец стоял на своем — хворый, к тому же к поспешности не приученный. Денис сдался — в конце концов день-два не имеют значения, лишь бы отец не передумал. Тот на кресте побожился. На прощание условились, что сын завтра с утра зайдет — сейчас больше не вмоготу говорить больному отцу, — тогда и узнает, как к матери и сестре добратся.

— Недалече отсель... Небось глаза проплакала... — заключил Карп Карпыч...

Денис искал Ивана — решил нарушить данное отцу слово и доложить командиру о появлении родителя. Он был убежден, что Иван воспримет приход отца спокойно — поймет. Но Юрашина нигде не было. Зашел к Ковригиным, и Натана дома не оказалось, жена сказала, что с командиром куда-то ускакал. Денис вышел

на улицу. Возле дома Лукии Гошка Громов распекал бойцов за только что сработанную изгородь — высока, в небеса упирается. Денис вступился, шуткой охладил пыл Гошки, потом про Ивана спросил — куда делся. Громов поправил рубаху в поясе, потрогал кобуру с наганом и сказал:

— О братухе беспокоится — долго не вертается. Взял людей, встренуть поехал. — Прищурился и с хитринкой добавил: — Може, по дороге Петьку Ляхова изловит...

Денису показалось странным, что Иван отправился на розыски Иннокентия, не предупредив его, своего заместителя, и последние слова Громова о Петьке пропустил мимо ушей. Отогнав дурные мысли об Иване, строго сказал:

— Держи ребят наготове, мало ли что!..

— Держу. — Гошка напыжился: — Иван Игнатьич вместо себя меня оставил.

Денис побледнел, но, совладав с собой, улыбнулся: — Тогда командуй.

...Перевалило за полночь. Иван не возвращался. Денис знал, дорога до Черных марей неблизкая, навряд ли к утру обернутся, а сам то и дело поглядывал на темные окна, выходил на крыльцо, прислушивался, не скажут ли. Он был уверен, с Иннокентием ничего не случилось, и не из-за брата уехал Иван. Но причины отъезда найти не мог, оттого нервничал.

Он сидел на лавке у окна, дремал. Грезилась мать: хлопчет по хозяйству, кашеварит, норовит, как всегда, лучший кусок ему да Леонтию сунуть. Отец все замечал, словом мать не попрекал, но в нужный час отыгрывался — больно бил. Когда Денис подрос, вступился как-то за мать, кулак на кулак — и драка. И вот интересное дело: мать, которую только что отец мордовал, на отцовскую же сторону стала. Денис от растерянности размяк — его и одолел родитель. Потом часто вспоминал тот случай, и слова родительские запомнились: «Супротив головы семейства не моги идти — тебе же достанется. А жена, что шуба — чем больше бьешь, тем она мягче!..»

«А почему отец про Леонтия не заговорил? — вдруг подумал он. — Неужто ничего не знает?» Такого быть не могло, повитуха непременно поведала — расстаралась. Тогда почему не заговорил?.. Маялся Денис, но ответа не находил. Наконец малость успокоился: на-

верно, тяжело было отцу вспоминать изуверскую смерть сына. И снова встревожился: а может, что-нибудь другое на уме имел?..

Утром, когда за окном на все лады запели птицы, он умылся студеной водой и решил идти к Гошке Громову — раз тот за командира, ему и надлежит доложить о приходе отца. Тяжело это делать — не Гошка, а он, Денис Долов, законный помощник командира, — но пересилил себя.

На улице, то здесь, то там, стояли бойцы, о чем-то переговаривались. «Спозаранку поднял отряд Гоша, — подумал Денис, — дорвался до командирства!» Помрачнел — еще и бессонная ночь сказывалась — и быстро пошел вдоль изгороди.

Во дворе Громовых, за домом, где находились постройки для скотины, кто-то плакал. Денис не придавал этому значения — слезы часто гостевали у односельчан. Прошел в дом. В комнате был только старик Громов: ничком лежал на топчане — спина в ранах и рубцах. Денис подошел ближе и увидел, что дед плачет. В беспокойстве спросил, что случилось. Дед молчал, только глазами показывал на окно, выходящее на черный двор. Денис подошел к окну. Возле раскрытых дверей конюшни и коровника толпилась вся родня Громовых, только Гошки не было. Мужики стояли понурые, бабы ревели.

— Чего стряслось?! — крикнул Денис.

— Животину потравили... — услышал в ответ.

Он выбежал во двор. Оказалось, что ночью кто-то отравил корову и лошадей — громовских и партизанских. Мужики сказали, что подобное случилось и у Стригановых. Денис стремглав выскочил на улицу, побежал к Стригановым. Во дворе натолкнулся на Фотей.

— Свинья, корова и лошадь околели, — сообщил Фотей. — Животы вздулись — того и гляди лопнут.

Денис стоял потрясенный. Такой порчи еще не делалось в деревне, и случившееся не укладывалось в голове. Из-за угла дома вышла Феня: лицо без кровинки, губы плотно сжаты, глаза большие, дикие. Увидела Дениса и напрямик к нему:

— Что, праведник, пришел на суд-потеху народ кликать?! Одну гадину оправдал, теперь остальных гадов под защиту возьмешь?!

— Не дури!.. — встрял было Фотей, но она, оттолкнув его, продолжала:

— За сволочей глотки дерете, а народ от напасти уберечь не в состоянии! А они, ироды, плюют на ваши суды, по ночам, как волки, скотину режут! Скоро до людей доберутся, а вам все нипочем!..

Фотей, видя, что у изгороди собираются любопытные, схватил Феню, потащил к крыльцу. Она сопротивлялась и кричала:

— Иди, Долов, милуйся с дружкой! Архип облакает и накормит! А нам прикажи с голодудохнуть!..

Фотею удалось втолкнуть Феню в дверь, и они скрылись в доме. Денис стоял не шелохнувшись, настолько был поражен поведением Фени. Несправедливые обвинения глубоко ранили его. Вышел за ворота. По обе стороны дороги, возле домов, по-прежнему стояли бойцы, обсуждали ночное происшествие. Солнце одаривало теплом, а Дениса знобило: «Может, впрямь зря вожусь с Архипом? В душу-то не заглянешь. Неужто обманулся в нем?..» Перешел на другую сторону улицы. Проходя мимо дома Выприна, услышал бабьин крик. Открыл калитку. Возле распахнутых дверей конюшни стоял Архип — лицо серое, губы тряслись. По земле каталась бабка Христинья, навзрыд плакала. «И у них такая же напасть, — с горечью и в то же время с каким-то облегчением подумал Денис. — Нет, Феня, Архип тут ни при чем, и за него стоит побороться». Хотел двинуться дальше по улице, но от страшной мысли ноги одеревенели: отец! Ясно представил лежащего у повитухи родителя и понял — это дело его рук...

Денис еще мальчишкой знал о темных делах отца: вместе с Никоном Демьянычем Ляховым разбой чинили — мощну набивали. Но что-то не поделили и крепко повздорили. Когда Денис в армию уходил, поведал ему отец: если с ним, матерью и Ленкой что-нибудь случится — всему виной Ляховы. После отъезда Дениса еще с год старики Долов и Ляхов тягались. Никон Демьяныч верх взял. Пришлось отцу, ставшему погорельцем, покинуть насиженное место и с бабами в чужие края податься — об этом Денису рассказал дед Маркел. Лютыми врагами расстались бывшие друзья. Съехать-то отец съехал, но наверняка злобу затаил — не из тех, кто обиды прощает, о своем часе мечтал...

Денис разгадал действия отца: Ляховым порчу сделал, хотя Архип касательства к делам своего родителя не имел, а заодно напакостил Грозовым и Стригановым, с которыми раньше тоже не ладил — несговорчивыми

были, поперек его желания становились. Мелко мстил, даже не похоже на него, всегда с размахом любые дела вершил. Видно, стар стал, не под силу большие дела раскручивать. Или струсил. А может, это было только началом — подлинную расправу на потом оставил.

Денис шел к дому повитухи, чтобы арестовать отца. Он был уверен в его виновности. Ругал себя, что забыл про умение родителя притворяться, поверил сладким словам да слезам — и попался.

В сердцах хлопнул калиткой, размахисто зашагал по двору — куры с кудахтаньем разбегались. Поднялся на крыльцо. В сенях душисто пахло зеленью. Дернул на себя дверь, перешагивая порог, пригнул голову, чтобы не удариться о притолоку. Выпрямился и обомлел. За столом сидели Иван Юрашин, Елизар Клюкин и Гошка Громов с перебинтованной головой. Они пристально смотрели на Дениса. Он понял: ждали его. Огляделся. На краешке прибранной кровати сидела повитуха Евникия. Отца в комнате не было.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Денис Долов сидел под арестом в маркеловском сарае. Дыр было столько, что сарай продувался насквозь. Он прозяб. Зарывался в трухлявое, неведомо когда скошенное сено, но оно не спасало от холода — порывистый ветер со свистом врывался в щели, сдувал труху. Босые ноги коченели. Невольно вспомнил повитуху, которая показывала на сопки и говорила о приближающихся холодах. Пытался забыться, задремать, но мысли о происшедшем гнали сон прочь.

...На заседании штаба разбиралась контрреволюционная деятельность Дениса Карповича Долова. Он не знал, что говорилось в начале заседания, еще надеялся на исправление ошибки, на прояснение дурацкого положения, в которое угодил. Но когда его — обезоруженного, разутого, со связанными за спиной руками — ввели в комнату и он увидел суровые лица, понял: между ним и его товарищами, с которыми бок о бок воевал за праведное дело, стоит непреодолимая стена.

«Так и должно быть! Ты же Долов! Сын кулака! Брат каппелевца!.. Разве такому поверят?»

В комнате стояла сторожкая тишина, она тонко зудила в ушах. И кругом глаза — острые, пронизывающие. Они словно рылись в его душе, ворошили прошлое, с которым он порвал однажды и навсегда, но которое было корнями его жизни.

«Их не вырвешь! Не отрубишь!»

Он ненавидел свое прошлое. Теперь возненавидел себя за то, что не мог защитить свою сегодняшнюю, настоящую, жизнь. Покой ушел. Он измывался над собой:

«Ну, расскажи, кулацкий сынок, как был обманут отцом, как после встречи с ним разыскивал Ивана, чтобы доложить о неожиданном появлении родителя! Расскажи, как мучился ночь, предчувствуя беду. А утром побежал к Гошке Громову. Не нашел? Но почему ты не сказал ему об отце накануне? Ты же, возвращаясь от повитухи, встретил его у дома Лукии и разговаривал с ним. Не встречал? Не говорил?.. Врешь, Долов! Есть свидетели — бойцы, ладившие новую изгородь. Они были рядом. Они видели тебя и Громова. Значит, ты скрыл приход отца. Держал в тайне! А может, забывал о его появлении? Тогда открой душу, поведай о потрясении, охватившем тебя при виде загубленной скотины! Добавь, что ты понял, чьих рук это дело, и пошел в дом повитухи арестовать виновника!.. Какой же ты дурак, Долов! Кто поверит тебе?!»

Он четко понимал свое положение: получалось, что правда, за которую стоял горой, в данный момент оборачивалась против него. Расскажи ее, и она будет выглядеть ложью. Значит, нужно сказать так, чтобы его товарищи поняли — он вручает им свою судьбу и пусть они сами ее решат.

— Как все объяснить, Денис Карпыч?.. — послышался голос Фотея Стриганова.

И Денис сказал:

— Если признаете виновным, расстреляйте!..

Стриганов заерзал на лавке и чересчур громко вздохнул. Денису почудилось, это все вздохнули — легко и свободно. Он посмотрел на Стриганова и растерялся. Глаза Фотея были строгими, но вовсе не злобными. Увидел сидящего рядом Ковригина и пришел в еще большее замешательство: во взгляде Натана ясно виделась просьба. Денис понял нового друга и пожалел, что ответил не так. Но слова сказаны, исправляться поздно. Тяжелый голос Гошки Громова, которому Иван

дал слово для разъяснения обстоятельств, назойливо и сверляще лез в уши.

— ...Повитуха — в дом, а Денис Карпыч во дворе остался. Плечами поводит, будто дрова собирается колоть, а сам, как шворень у повозки — туда-сюда крутится — поглядывает, нет ли кого. Даже в сарай заглянул и оттуда — в дом!.. До сумерек сидел. Во мне терпение все как есть перекипело. Но дождался. Вышел он сам не свой — дерганый, рожа красная, глаза блудливые. И заметался по деревне — про Ивана Игнатьича у всех справлялся... Только должен заявить, товарищи-граждане, был у него повод и к повитухе поспешать, и опосля по деревне метаться. Но покуда говорить об том не стану, чтобы, так сказать, наперед не забежать... Докладываю дальше. Ночью, когда все товарищи-граждане крепко спали, я зябнул возле дома повитухи. Чувал, что именно из ее логова должен вылезти змей. И вылез! В звездный час — по Иудиному расписанию... Мужик приземистый, с бородой и в шапке. Особо разглядеть его не мог из-за темноты и осторожности передвижения. Направился он огородами во двор Выпри-на — к Архипу. Тут мне стало понятно, почему Ерошка-горбун по тому же пути шастал — одна веревочка разматывалась. Хотел было поднять тревогу, да решил малость погодить. Слежу. Недолго он пробыл во дворе Архипа, в дом не заходил, покрутился чегой-то и шасть через дорогу — во двор Стригановых. Пес затывдал и враз умолк. Тут, товарищи-граждане, оторопь меня взяла. Може, думаю, свой, може, кто из Стригановых — впотьмах мог не разобрать. Хотел не таиться, выйти из засады, глядь — тень из двора и прямиком к нашему дому. Я — на живот и ползком к сараю. Смотрю — дверь в конюшню чуть растворена. Поднимаюсь, тишком по стене — и остолбенел. Около угла конюшни наш кобель в судорогах дергается. Тут, товарищи-граждане, мне все как есть ясно стало. Вышел я из-за угла, наган на взводе, отворяю дверь настежь и громко спрашиваю: «Кто здесь?» А из темноты голос: «Энто я, Гоша! Долов!» Спокойно так сказал, а у меня и от голоса, и от фамилии сердце в пятки ушло — ничего сообразить не могу. Стою, рот разинул и шаги слушаю, как они ко мне приближаются. И снова голос: «Долов Карп Карпыч. Не признал?..» Мне бы, дурню, не допускать его, наганом пужнуть или выстрелить... В общем, товарищи-граждане, допустил я оплошность великую, за

что и расплачиваюсь теперича своей пораненной головой... Очнулся, когда уже светало. Бойцов из своего взвода поднял. Одного за Иваном Игнатьевичем отослал — знал, где он находился. А с двумя другими — к бабке Евникии... Прижали старушку божью, она и поведала про Карпа Карпыча — хворый был, неходячий, а ночью уполз, чего-то, мол, испужался. Мы ее еще поприжали, напрямки про Дениса спросили. Деваться ей некуда — все как есть выложила. А тут akurat командир подоспел... Решили проверить слова повитухи, поутру сговорились отец с сыном встретиться. И проверили!..

Рассказ Гошки поразил мужиков. Сидели, опустив головы, дымили самокрутками, пыхтели, отдувались — обмозговывали услышанное. Молчание нарушил Натан Ковригин:

— Кем ты у нас служишь, Гоша?

— Комвзвода!

— А сдается, сыщиком в охранке! Може, и за мной слежку ведешь?

Денис видел, как лицо Громова краской покрылось. Не выдержал Гошка, обругал Ковригина. Тот выслушал его ругань и, как ни в чем не бывало, продолжал свое:

— Кто тебя уполномочивал выслеживать да вынюхивать? На каком основании «хвостом» был у Дениса Карпыча?

Гошка мялся, зыркал на Ивана, кашлял, словно глотку прочищал. Мужики ждали. И тут раздался спокойный голос Ивана:

— Я приказал.

...Вспомнил это Денис, и его бросило в жар. Повернулся к стене, прижался лицом к щели — холодный ветер обдал разгоряченную голову, по телу пошел колющий озноб.

Как он верил в Ивана! Как хотел, чтобы все случившееся оказалось сном!..

Иван был для него не только другом, а учителем. Первым. Настоящим. Еще во Владивостоке, когда они начинали службу в царской армии, Денис потянулся к Ивану, который открывал перед ним новый, неизведанный мир. Сначала в нем пробудилось обыкновенное любопытство, потом пришло понимание и вера. Благодаря Ивану он отрекся от своего прошлого и безоговорочно принял этот новый мир...

Перед заседанием штаба, надеясь на исправление ошибки и идиотского положения, в которое попал, он ни на секунду не сомневался в друге. Пусть прежде вздорили, но Денис был уверен, что мелкое личное никогда не застит большого дела, которому оба служили и были преданы. Он был убежден: Иван не допустит несправедливости. Но признание Ивана, что именно он приказал следить за другом, сразило Дениса. Ему тогда показалось, что перед ним разверзлась пропасть и он с устрашающей быстротой летит вниз. А Иван продолжал говорить: был на редкость спокоен, ни один мускул не дернулся на лице. Денис, вслушиваясь в его слова, постепенно приходил в себя. На какое-то мгновение представил: обвиняют не его, а кого-то другого. В ужасе подумал, что тогда всецело поддержал бы Ивана...

Действия и поступки Дениса, на которых раньше никто не заострял внимания, принимая их как должное, сегодня обернулись против него, стали обличающими фактами.

В деревне знали о давней дружбе семейства Ляховых и Доловых, хотя Никон Демьяныч и Карп Карпыч близость свою напоказ не выставляли. С камнем на шее кончил жизнь Никон Демьяныч. Но дел его темных не забыли. Карпа Карпыча тоже поминали — обдирал людей и, не отставая от друга, не один смертный грех на душу принял.

Теперь тайная дружба семейств связывалась с действиями и поступками Дениса.

Перво-наперво вспоминали приезд в деревню Ивана Юрашина, Дениса Долова, Гаврюхи Горелого и Федора Лаптя. Тогда сход был, Иван агитацию вел — партизанский отряд организовывал. Натерпелись люди и решили сообща ярмо кулацкое сбросить. Даже Апросинья Жмыхова, ходившая в полюбовницах Ефрема, каяться стала — влезла на подводу, хотела о деяниях Никона Демьяныча народу поведать, но выстрелы оборвали ее речь. Стреляли из-за забора Демьян и Савелий. Бабу поранили. Сами в тайгу ушли. Разгневанные мужики направились в усадьбу Ляховых, где больной Никон Демьяныч лежал. Иван хотел порешить контру, чтобы зло с корнем вырвать — Денис Долов не дал. Чуть ли не собой контру прикрыл, суда народного потребовал. Вроде справедливо поступил — находившегося в беспамятстве больного убивать непотреб-

но, поправится, перед судом ответ держать станет. Только на деле другое случилось. Поправился Никон Демьяныч, в тайгу сбежал, затаился, будто сгинул, а темной ночью объявился и усадьбу поджег. Месть вершил. В доме его тогда партизаны поселились — хотел их спалить.

Мужики понимали, что к этому делу Денис Долов отношения не имел, но заступничество за Никона Демьяныча выглядело по-иному — настораживало. К тому же вспомнилось, как тогда Денис просил Ивана повременить со сходом — рано, мол, народ поднимать. Мелочь вспоминалась, а призадумался.

И в дальнейшем Долов за контру вступался — Архипа выгораживал, беседы с ним вел, будто уму-разуму учил, агитировал. На поверку вышло — как был Архип кулаком, так им и остался. Аресту не подлежал, оправдание имел — у него, как у Стригановых и Громовых, отравили скотину. А может, в том уловка была?

О Марии и говорить не приходится — по милости Дениса увернулась от возмездия. А что лошадь выделила Гаврюхе, в том теперь хитрость виделась. Баба с умом, хватку и смекалку от деда унаследовала. Тот смерть сеял и благодеяниями ее прикрывал, знал, что любое тайное дело явным стать может. Так и она поступала. И за Кешкой, как за глухой стеной, пряталась. Завлекла, а к себе не допустила — облапошила партизана.

А Петр Ляхов? Тут улики налицо. Встретились в тайге, когда с Елизаром с охоты возвращались. Денис, вместо того чтобы арестовать бандита, с миром его отпустил, еще и оружие вернул. И о чем-то сговорились. Клюкин далеко от них стоял, слов не слышал, но не молча же они любовались друг другом. Денис на штабе доложил: Ефрем вместо Лысухи атаманить стал, о том Петр сообщил. И больше ничего. А говорили-то порядком... Дальнейшие события подтверждали догадку — Денис выступал против похода на Черные болота. Все как на ладони... Гольды из разведки пришли, доложили о продвижении банды Ослоухого. И тут Денис предложил немедленно двинуться на Горюн, встретить банду в стойбище Наан. Мужики, истосковавшиеся по настоящему делу, поддержали предложение — какую банду бить, нет разницы. Покинул отряд деревню, и в первую же ночь ее Ефрем взял. Не имей он точных сведений о походе отряда, так быстро не объявился бы. Петр

предупредил — это стало известно от пленного есаула, которого Гошка Громов в расход пустил. А кто Петру об уходе отряда сообщил? Снова подозрение падало на Дениса: через Матрену передал, недаром она из деревни исчезла — почуяла, что ее спаают... Тут и выложил Гошка то заветное, что в рассказе своем упустил, преднамеренно отложив на потом, чтобы наперед не забегать. Оказалось, что накануне злодеяний старика Долова сначала Елизар, затем Гошка сказали Денису о Петре, который сообщил брату об уходе отряда. С умыслом сказали — проверяли, как будет вести себя Денис. И вывод сделали: узнал он, что его делишки могут раскрыться, стал действовать спешно, пока Иван Игнатьич отсутствовал. А Юрашин напрямки выложил: отлучился из отряда, чтобы Денису свободу предоставить.

Случай с Савелием на Горюне подлил масла в костер. Все тогда слышали, как Денис крикнул, что Савка наповал убит. Оказалось: был жив! Уполз, скрылся. Кто ему в том помог? Получалось — Денис.

Вспомнили о рейде на Тамбовку, когда Денис по приказу Ивана взял с собой пять бойцов и вслед Архипу отправился, чтобы бандитов Сычовых накрыть. Дом окружили, все выходы перекрыли, а Сычов с сыном Захаром и пришлым солдатом ушли. После возвращения из Тамбовки Денис доложил штабу о потайном ходе, который вел из подполья в коровник. Тогда в хитрость Сычова поверили, но сегодня она под сомнение бралась. Не знал ли Денис о тайном лазе, не умышленно ли бандитов упустил?

Главным же обвинением стал отец. Потому и вспомнили о дружбе Ляховых и Доловых — как ни вздорили промеж собой старики, но друг друга держались, чтобы новой власти насотить. Денис дружил с сыновьями Ляхова, он не скрывал этого. Значит, заодно с ними был. Затаился. Выжидал. По возможности помогал. С появлением отца активно стал действовать. Не рассчитал: пошел на очередное тайное свидание с родителем — с поличным попался. Никаких оправданий и смягчающих вину обстоятельств не было — Денис Долов обвинялся в пособничестве врагу.

Лязгнула наружная щеколда, дверь открылась.

— Покурить не желаешь?.. — слышался сиплый голос.

Денис поднялся. Затекшие ноги не слушались. Упер-

ся плечом о дверной косяк и тут же сполз вниз, на корточки. Часовой — не то сутулый, не то согнувшийся от холода, притулил винтовку к стене, присел против Дениса, достал кисет. Денис не мог скрутить сигарку, пальцы не гнулись, рвали бумагу, рассыпали табак. Боец забрал кисет, свернул папиросу и протянул ее Денису. Зажег спичку. Огонь из согнутых ладоней осветил лицо Дениса. «Враз исхудал паря!» — подумал боец. Прикурил сам. Теперь Денис разглядел его лицо: морщинистое, с большим сизым носом и седой щетиной на щеках.

— Особо не серчай... — заговорил пожилой боец. — Разули, чтобы не убег. Босому в тайге далеча не уйти...

— Не обижаюсь...

— Значит, правильное понимание имеешь...

Сделали еще по несколько затяжек. Боец спросил:

— Руки-то сам развязал?

— Иван.

— Значит, тоже с пониманием...

Денис усмехнулся. Вспомнил, как его выводили из комнаты после первого допроса. Повернулся к двери, и все штабные увидели связанные за спиной руки. Мужики зароптали. И Иван взбеленился, крепкими матюгами покрыл Гошку, отвечавшего за охрану Долова, выхватил из ножен саблю и перерезал веревки.

— Ты прав — с пониманием!.. — сказал Денис часовому.

Почти докурили самокрутки, когда боец спохватился:

— Мать честная! Чего же я, бестолочь, лясы с тобой точу — сам в стеганке, а ты... Погодь чуток, у меня шинелка про запас имеется! — и он скрылся в темноте.

Денис удивился его уходу, пост покинул и винтовку возле стены оставил. Загасил окурок. Ветер баловал дверью, то распахивал настежь, то с силой швырял на Дениса. Он отталкивал ее, а сам не сводил глаз с дома Маркела, где в оконцах горел свет. Представил упарившихся мужиков — весь день заседали и сейчас, ночью, заседают...

Ругань началась еще при Денисе. Фотей Стриганов и Натан Ковригин потребовали разбирательства порочащих Долова фактов. Их поддержал Гаврюха Горелый, который, узнав, по какому делу собирается штаб, упросил перенести его в дом Маркела. Он лежал на

дедовской кровати и, морщась от боли, спорил с Елизаром Ключиным. Когда началась пустая перебранка, Иван приказал увести Долова — неловко стало за младших командиров. Денис тоже чувствовал себя отвратительно. Ругались из-за него — одни обвиняли, другие защищали, а он не мог ни поддержать, ни опровергнуть спорщиков...

— Еще заседают... — сказал боец, подходя к сараю. Бросил Денису шинель. — Теперь потеплее станет...

Долов взял шинель, поднялся. Держась за косяк, спросил:

— Фамилия?

— Фомин... — растерянно ответил боец.

— Из какого взвода?

— Гошка у нас за командира. Стало быть, громовский...

— Распустил он вас!.. — Денис укоризненно качал головой. — Ты что же, дядя, дверь не запер и винтовку оставил?..

— И ничего не сделалось... — развел руками тот.

Такая беспечность возмутила Дениса, и он повысил голос:

— Могло случиться! Я же под арестом! Мог бежать!..

Фомин присвистнул и засмеялся, но смех тут же обернулся кашлем. Кашлял долго, отдышавшись, взял винтовку:

— Такие, как ты, не бегают, даже ежели виноватые... — Снова закашлялся. Потом сплюнул. — А зря!.. Я, промежду прочим, для того и за шинелкой ушел...

Денис недоуменно смотрел на бойца, который переминался с ноги на ногу.

— За мой побег тебя бы расстреляли!..

Тот крикнул и заговорил просто, словно речь шла о сущих пустяках:

— Никого у меня нет... Родителей бог весть когда схоронил. Ни сестер, ни братьев. Жену и двух ребятшек еще в восемнадцатом золотопогонники порубили... Одна болезнь моя родня. Изнутри гложет — и чем дальше, тем больше. Какой из меня вояка? Того и гляди скувыркнусь. Стало быть, ты нужнее...

Он снова поставил винтовку к стене, отошел в сторону, занялся самокруткой. Денис в сердцах швырнул ему шинель и захлопнул за собой дверь. Улегся в угол. Сразу стало зябко, и боль в висках усилилась. Под-

ставил лоб к щели, ветер холодил его, и боль, казалось, уползала к затылку. Скрипнула дверь. Повернул голову, но не различил, кто вошел в сарай. Чей-то сапог задел его босую ногу, и тут же на него упала солдатская шинель.

Ночь шла на убыль, когда за ним пришел Гошка Громов.

В комнате дым висел коромыслом, мужики то и дело откашливались — сорвали глотки. Денис обратил внимание на Клюкина: лицо белое, щеки подергивались — до изнеможения довел себя в спорах. Не чище его выглядел Гаврюха: лежал на кровати обессиленный, не то потревоженные раны болели, не то сдался, поняв, что против Ивана идти бесполезно. И Натан Северьяныч сидел будто побитый — обхватил низко опущенную голову и тихо стонал.

Фотей Стриганов поднял на Дениса красные, опухшие глаза — видно, и он напорился, — и задал тот же вопрос, что и на первом допросе. И Денис ответил так же, как отвечал прежде. Фотей с досады саданул кулаком по столу.

Иван встал, и мужики встали, кроме Горелого и Ковригина. Читался приговор. Денис не слушал его — не мог оторвать взгляда от Натана Северьяныча, который, уперевшись подбородком в грудь, сжимал голову так, словно силился раздавить. Денис вспомнил ту ночь, когда гостевал у Ковригина. Натан Северьяныч вот так же маялся, дитя сильно хотел, а как помочь не способной рожать жене, не знал...

Иван не выходил из дома. Иннокентий еще не вернулся, и он был рад задержке, не хотел встречи, боялся ее...

Когда после суда над Марией появились сомнения относительно честности Дениса, он гнал темные мысли, оттого и на Гошку набросился. В голове не укладывалось, что Денис — его друг — мог пойти против общего дела, изменить идеалам, за которые они боролись. Но сообщение Самара об исчезновении Савелия Ляхова, которого Денис объявил мертвым, ошеломило. Ему тотчас вспомнились подозрения Клюкина, рейд в Тамбовку и таинственный разговор Дениса с Петром. Во всем виделось одно и то же... Сомнения исчезли. Личной неприязни к Долову не питал, просто он знал много

случаев, когда враг скрывался под личиной верного бойца и друга, а потом, улучив момент, делал свое гнусное дело. Необходимо было проверить Дениса и убедиться в истинном смысле его деяний. В этом Иван видел свой долг и был уверен в правильности своих действий.

Теперь же, когда свершилось самое страшное — Дениса Долова не стало, — Иван вдруг понял, что поступки, еще вчера выглядевшие уликами преступления, оказались случайным стечением обстоятельств, что произошла ошибка, которую невозможно исправить.

В который раз он видел Дениса на краю крутого обрыва — лицо спокойное, только бледность выдавала внутреннее напряжение. Тогда Иван принял это за страх. Спросил осужденного о просьбах, которые непременно исполнит. Денис после некоторого раздумья сказал:

— Об одном жалею — не доведется увидеть той жизни, которая наступит после победы... Ты увидишь. И непременно вспомнишь... — Он помолчал, глядя в глаза Ивану, добавил: — Вспомнишь лихолетье!.. Только не дай бог, чтобы оно повторилось...

Иван тогда уловил в тихом голосе уловку и не поверил Денису. Сейчас же был убежден в искренности его слов, понимал их смысл. Он — Иван Юрашин — должен помнить эту роковую ошибку и никогда ее не повторять.

Это было завещанием друга. Кровавым завещанием.

За окном послышался конский топот. Иван представил разъяренного Иннокентия — сейчас ворвется в дом и набросится на него. Прислушался, с трудом различил какие-то голоса, но они стихли. Огляделся. В доме деда Маркела все стояло на своих местах, а он разглядывал сундук, табуреты, лавку, ведро, будто видел все это впервые. Снова послышались голоса. Он не разбирал слов, слышал только говор, который нарастал, превращался в гул. Казалось, на улице разыгралась непогода, река бушевала, пытаясь вырваться из берегов. Он даже почувствовал сырой воздух — в глотку не протолкнуть. Уперся руками о стол, тяжело поднялся, толкнул дверь и шагнул за порог.

Двор запружен людьми, и за воротами люди — весь отряд и все сельчане собрались. Иван вышел на крыль-

цо — и воцарилась тишина. Наткнулся глазами на деда Маркела и Иннокентия, они не мигая смотрели на него. Рядом, опираясь на винтовку, стоял боец Фомин — сгорбился, глаза тоскливые. За ним толпились мужики — лица суровые, непроницаемые. Отдельным косяком сгрудились бабы. Иван смотрел на их сжатые губы и ждал, когда кто-нибудь крикнет, проклянет его. Но никто не промолвил ни слова, никто не шелохнулся. У него по коже пошел мороз. Руки медленно потянулись к поясу, нашарили пряжку, расстегнули, сняли ремни. Маузер и сабля оказались непомерно тяжелыми. Пальцы разжались, и оружие упало наземь.

Собрался штаб. Не было Клюкина — внезапно занедужил. И Ивана не было — находился под арестом в дедовском сарае. Острый взгляд Иннокентия, казалось, пронизывал мужиков, и те ерзали на лавках. Он думал о Денисе, не мог смириться с утратой, с той несправедливостью, которая произошла по вине его товарищей и прежде всего брата.

— Денис, Денис! За себя постоять не мог... — вслух размышлял Иннокентий. — Совести людской доверился... Твое молчание против тебя и обернулось... На смерть по собственной воле пошел... Нет, Денис Карпыч, без пользы нам помирать не положено... — Вытер взмокшее лицо и снова оглядел мужиков. — Как же вы, люди, не разобрались, одним махом человеческую жизнь под корень? Подобное беляцкому отродью с руки, а нам, красным партизанам, такое не дозволено. Незрячими стали, мать вашу в душу!..

Он зажал лицо руками, застонал, будто боль из сердца выдавливал. Резко опустил руки, строго продолжал:

— На всех нас вина лежит, и, покуда живы будем, никто о ней забыть не посмеет!.. А теперь... — Помолчал и обратился к Ковригину: — Ты, Натан Северьяныч, старший среди нас, военный опыт имеешь, с японцами еще в девятьсот четвертом бился, тебе и власть в руки. Принимай ее и открывай заседание штаба.

— Что ты?! — замахал руками Ковригин. — Какой из меня командир? Спятил?! Дома без бабьей подсказки ничего путем сделать не умею, а тут... Нет! Не сдюжу!..

— А почему Натан?.. — осмелел Гошка Громов, но,

поймав недружелюбный взгляд Фотея Стриганова, залился краской.

Иннокентий сказал:

— Не тебя ли выбрать, Гоша?.. Была бы моя власть, я бы тебя из комвзвода — в рядовые!

— Не за что... — пробурчал Громов. — Я приказ выполнял...

— А если тебе прикажут весь отряд истребить, тоже выполнишь? А потом заявишь, что ты ни при чем!.. На других вину сваливать — паскудистое дело... А может, звание рядового бойца революции тебе не подходит?.. По мне, Гоша, все одно кем, лишь бы за народное дело биться! Иначе службу революции не понимаю!..

Громов втянул голову в воротник гимнастерки и глаз не поднимал. Фотей сказал:

— Насчет выбора командира скажу следующее... Натан Северьяныч мужик справный, всеми уважаемый и не раз в огне бывал. Только верно он свою кандидатуру отклоняет. Медлительный шибко, нерасторопный, а командир враз должен решения принимать, особенно во время боя...

— Кого предлагаешь? — спросил Иннокентий.

— По-моему, все само определилось. Ты уже заседание штаба открыл, продолжай в том же духе и направлении.

Гошка зыркнул на Фотея, зло выдавил:

— По наследству власть передаешь?..

Стриганов спокойно ответил:

— Никто из нас, кроме Иннокентия Игнатьевича, командиром быть не может. Запятнали мы себя. Я был против смертного приговора, но тоже виноват — не хватило духу бороться за отмену приговора до конца, в чем казнию себя строже любого суда.

Иннокентий уже знал подробности: поначалу Фотей Стриганов, Натан Ковригин и Гаврюха Горелый были против расстрела. Шел яростный спор, но опровергнуть обличающие Дениса факты не удалось, и сильное давление командира свою роль сыграло. Горелый после долгих колебаний принял сторону Ивана, Ковригин остался посередке — ни «за», ни «против», — один Стриганов поперек решения штаба шел, но его голос уже не имел значения.

Фотей продолжал:

— Наследством, Гоша, не подковыривай — мы не

графья и не баре. Иннокентий свое право на командирство в бою доказал — сами видели. И на Горюне лихо бандитов рубил, и здесь, освобождая деревню, в самое пекло лез. Чист, прям, совестлив. Несправедливости не потерпит. И с разгильдяйством в отряде покончит. Молод? Это не его беда, а заслуга. Башковитый. Справится. А мы поможем. За то и голосую!..

Он поднял руку, за ним то же самое сделали Натан Ковригин и другие мужики. Гошка покосился по сторонам, увидел, что все голосуют за Иннокентия Юрашина, и медленно потянул руку вверх.

— Принять командирства не могу, — неожиданно заявил Иннокентий.

Мужики переглянулись.

— Не из-за брата. И не из-за Марии. Наша жизнь с ней сладиться не может, но со временем образуется... — Он смахнул пот со лба, взял с лавки офицерскую полевую сумку, которая в лагере банды Ляхова как трофей досталась. — Произошло такое, товарищи, что не дает мне права быть командиром...

Заскрипела дверь, и двое конвоиров ввели Ивана.

— В чем дело? — строго спросил Фотей Стриганов.

— Да вот... — замялся один из конвоиров. — Иван Игнатьевич потребовал, чтобы на штаб повели. Мы, конечно, делом, отказались, никакого такого приказа не было, а он...

Фотей перевел взгляд на Ивана:

— Что так спешно потребовалось?

Иван стянул с головы папаху, поднял воспаленные глаза и твердо сказал:

— Прошу высшей меры. — расстрела!

В комнате стояла тишина, даже дыхания мужиков не слышно. Иннокентий, еле сдерживая себя, процедил сквозь зубы:

— Красиво помереть захотелось?

Иван резко повернул голову к брату, их глаза встретились, не моргнув. Иван не выдержал, потупился. Иннокентий встал, вытащил из кобуры наган. Мужики замерли. Иван, готовый принять смерть, выпрямился. Иннокентий с грохотом отодвинул ногой табурет, вышел из-за стола и почти вплотную подошел к Ивану. Взяв наган за дуло, протянул рукоятью ему:

— Возьми.

Тот растерялся, но наган взял. Иннокентий, не спуская глаз с брата, сказал:

— Ступай в сарай и приведи свой приговор в исполнение.

Он сел на прежнее место. Пораженные, мужики главели то на него, то на бывшего командира. Иван держал на ладони наган, разглядывал и вспоминал, как, уходя в армию, подарил его Кешке. Напутственные слова говорил, чтобы хранил боевое оружие, а когда час настанет, свято помнил, против кого наган направлять... Лицо Ивана покрылось белыми пятнами, голос сел:

— Мне это сделать — раз плюнуть. Щадить себя не приучен. Только самоубийство с руки беляцкому офицерью — в нем бегство от суда, от совести, от себя. — Подошел к столу, положил наган перед Иннокентием: — Выносите приговор и приводите в исполнение при всем народе. Пускай все видят справедливое наказание и мою позорную смерть.

Мужики молчали. Молчал и Иннокентий. Фотей кашлянул и сказал:

— Покуда разбирательства дела бывшего командира Юрашина Ивана Игнатьевича не происходит, вношу предложение: продолжать заседание штаба в намеченном порядке. Что же касается просьбы арестованного, то предлагаю без внимания ее не оставлять, — и тут же обратился к Иннокентию: — Так что стряслось в тайге?

Тот взялся за сумку, но, вспомнив про брата, сказал конвоирам:

— Уведите арестованного!

Иван двинулся к Иннокентию, хотел что-то сказать, но наткнулся на колючий взгляд и передумал. Когда он и конвоиры вышли, Иннокентий достал из полевой сумки военную фуражку, положил на стол:

— Вот.

Мужики, ничего не понимая, рассматривали ее: выгоревшая, почти белая, на околышке — красная звезда...

...Взвод Иннокентия благополучно добрался до Черных болот, напал на лагерь бандитов, бежавших из деревни. Завязался бой. Ни один бандит не ушел от расплаты. Ефрема Ляхова, как и предполагал Иннокентий, в лагере не оказалось. Стали искать окрест, всем хотелось изловить атамана, привести в деревню на суд односельчан. Поиски были бесплодными. Реши-

ли выйти на Амур и берегом спуститься к деревне. Прошли верст двадцать, достигли берега и там обнаружили еще тлеющие угли костра. Думали, напали на след Ефрема, и, изменив маршрут, поскакали вверх по реке. Шли ходко. К вечеру увидели вдали трех всадников, стали преследовать, но те, заметив погоню, свернули к тайге. Иннокентий приказал открыть по ним огонь. Одного сбили с лошади, двое других, побросав коней, скрылись в чаще. Когда подъехали к убитому, ужаснулись — на нем была форма народоармейца. В кармане гимнастерки нашли мандат, удостоверяющий личность убитого...

Иннокентий читал текст мандата:

— «Командование Николаевского фронта уполномочивает представителя особого отряда товарища Шмеля Виктора Степановича на действия любого рода по установлению порядка и законности. Его распоряжения и приказы надлежит исполнять всем неукоснительно. Начальник штаба К. Зайцев».

Ошарашенные мужики, пожимая плечами, переглядывались. Иннокентий не сводил глаз с красной звезды на фуражке.

— Погодь!.. — Гаврюха Горелый, лежавший на кровати, приподнялся на локтях. — Дай-ка сюда этот мандат...

Ему передали изрядно замызганный лист бумаги. Он крутил его, рассматривал. Что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу и горячо заговорил:

— Все верно, видел я такие, только в них слова были покруче, вроде «подлежит уничтожению» или «расстреливать на месте»... — Он выругался и, размахивая листом, продолжал: — Эти мандаты действовали у нас в Николаевске в мае прошлого года, когда командующий армией Яков Тряпицын учинил расправу над жителями города. Выдавались они надежным, значит, своим людям, и печатались, как этот, на машинке — она у нас при штабе имелась...

— Постой, паря!.. — перебил его Натан Ковригин. — Ты говоришь, что мандаты выдавал командующий, а здесь подпись начальника штаба. Помнишь ли ты его фамилию?

— Наумов. Но в марте, когда японцы провокацию устроили, его убили, и вместо него командующий на-

значил свою кралю Лебедеву. У них все сообща было. Только мандаты она не подписывала — это точно. — Он растерянно вертел в руках мандат, разглядывая подпись. — Тут фамилия — Зайцев. Такого начальника штаба не знаю.

Мужики молчали. Наконец Натан Ковригин сказал: — После суда над врагами революции и их расстрела, стало быть Тряпицына, Лебедевой и прочих, в партизанских отрядах перемен много было. Может, оттого и не знаком тебе Зайцев?

Гаврюха пожал плечами:

— И такое могло быть...

Иннокентий спокойно сказал:

— Об этих самых переменах я тоже думал, там полная реорганизация армии произошла, о том еще Денис Карпыч рассказывал... — При упоминании этого имени у Кешки сердце захолонуло и кровь в лицо ударила. Совладав с собой, продолжал: — Может, это красный отряд, пришедший с низовьев? Места наши незнакомые, они никого не знают, своих документов да мандатов в тайге не напечатаете, вот и пользуют старые, заготовленные еще в отряде Тряпицына, а подписывает их начальник штаба партизанского отряда.

— А ежели банда? — с вызовом заявил Гошка Громов.

— Может, и так, — согласился Иннокентий. — Тогда зачем им мандаты красных партизан? Для прикрытия?

— В том суть! — подхватил Гаврюха. — Они, чай, не дураки! С такими бумагами большие делишки можно обтяпывать. К тому же, сам говорил, они от вас удирали. Ясное дело — бандиты!

— А если нас за бандитов приняли? — не сдавался Иннокентий. — То-то и оно! Как говорится, сплошные неразъясненные вопросы. Потому считаю, до полного выяснения обстоятельств быть командиром отряда не имею права.

— Согласен! — встал Фотей. — Коли совесть гложет, командиром не будешь!.. — Помолчал, глядя на недоуменных мужиков, и заключил: — А вот временно исполняющим его обязанности до выяснения вопроса вполне можешь. Голосую!..

Мужики вслед за Стригановым дружно подняли руки.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Дед Мәркел стоял на берегу, смотрел на бегущие льдины и думу горькую думал. Ледоход на исходе, холод вот-вот отступит, и земля, обласканная теплом, зазелееет жизнью. Только на душе не потеплеет. Происшедшее терзало сердце, и он не мог успокоиться. Знал Ивана и Дениса с малых лет, на глазах росли. Иван был ближе. Роднее. Денис стороннее — жизнь Доловых мало волновала. Поэтому, может, неприязнь к Денису имелась и с появлением в деревне, когда тот вместе с Иваном приехал, не враз прошла. Понимал, что Долов другим стал, но глядел на него и в душе, где-то на самом донышке, что-то кололо, не согласовывалось. Слышал разговоры друзей, всю ночь, бывало, глаз не сомкнут — горячо спорят. И он не спал, затаившись под одеялом, слушал. Не мог разобраться в рассуждениях о политической линии, с которой сошел их бывший командарм, о разлагающем массы анархизме, но безошибочно определял, где правда, а где кривда кроется. Все больше к словам Дениса прислушивался и чуял в словах Ивана какую-то зыбкость, будто не свое, а чужое высказывает. Изменился Иван за годы отсутствия. Упрям и крут — не подступись. Правоту свою не делами, а горлом доказывал, и чуть что не по нутру — за оружие хватался. Видел дед, как Денис горой за правду стоит, удерживает друга, от промашек остерегая, и поменялось стариновское отношение: сторону Долова принял. Пытался заговаривать с Иваном, чтобы, как когда-то, советом подсобить. Но тот смеялся, отмахивался — не понять старику премудростей, новое время для молодых умов. Случалось, посылал к черту и дальше. Благо, дураком не называл, а если бы и назвал, стерпел, не обиделся: впрямь слабоум, коли не смог беду, которая на его глазах накатывалась, предотвратить.

«Оттает ли?..» — снова подумал и потер рукой по груди.

Шел к дому, и новые мысли, не менее тревожные, будоражили его. Вспоминался бой в лагере бандитов на Черных болотах. Уж больно яростно бились Агафон и Макар Букины. Озверели. Понимал, что это месть за поруганных жен — ярость любым овладеет. Но не осядет ли она в их душах, не дай бог, навечно приживется, разъест доброе и святое — много бед понаделают.

Он прошел по двору, даже не взглянув на сарай, где сидел под арестом Иван. Третий день там находился, дважды собирался штаб, а все оставалось по-прежнему. Маркел не знал, почему штабные не выносят решения, откладывают, и волновался: «Зря тянут. Народ пока молчит, а может взбулгачиться». Представил, как объявляют приговор — оправдания, а значит, пощады не будет, — и голова кругом пошла, даже качнуло деда.

В комнате все было, как прежде, а он ходил и на вещи натыкался. Еще одна тревога одолевала. «Кешка! Парень справный. Командиром стал. Заслужил, но уж больно молод. Правда, за короткую жизнь горюшка досыта наелся, но, чтобы людьми командовать, опыт и сноровка нужны. Совладает ли?» Деду сильно хотелось, чтобы у парня все сладилося — может, не враз, со временем, лишь бы промашек не делал. А они будут, без них человек не живет. Но промашка промашке рознь. Одни выправить можно, другие, как ни старайся, навсегда черными пятнами останутся.

— Зря тянешь!.. — громко сказал Маркел, словно перед ним Кешка стоял. — Брат он тебе, а это понимать по-разному можно. Найдутся горластые, обвинят в укрывательстве по родству!

От собственного голоса успокоился малость. Сел на лавку. Оттопырив нижнюю губу, сурово смотрел на дверь, будто Кешкины шаги слышал и ждал, когда тот войдет: без обиняков сомнения выскажет. Вспомнил вчерашний случай и невольно усмехнулся...

В первый день, когда Иннокентий по решению штаба стал командиром, деда Маркела чуть удар не хватил — так испугался за парня. Очухавшись, решил: Кешке одному управлять отрядом никак нельзя — так накомандует, что к вечеру в рядовые угодит. И как тень стал следовать за Кешкой. А тут еще пес за стариком увязался: куда Иннокентий, туда и Маркел с Шаманом. Дед слушал разговоры и распоряжения, иногда поддакивал, иногда свое слово вставлял, а случалось, и спор затевал. Не замечал, как мужики подсмеиваются над ним, и не понимал, что помехой в делах Иннокентию является. За день так умаялся, что еле до дома добрался и, не раздеваясь, на лавку завалился. Проснулся ни свет ни заря — и бегом во двор Юрашиных. Долго у сарая сидел, у ног Шаман лежал — оба ждали появления командира. Наконец пробудились в доме. Вскорости на крыльцо вышел Кешка. Шаман со-

рвался с места и к парню ласкаться бросился. Тот погладил пса, ловко надел ему на шею веревочный ошейник и, держа его на поводке, направился к деду. Повернулся спиной.

— Держись, — сказал и сунул в руку Маркела конец короткой веревки, привязанной к поясному ремню.

Не успел дед сообразить, что происходит, Кешка шагнул к калитке, веревка натянулась, дернула Маркела, и он засеменил следом, то и дело подпрыгивая, чтобы не наступить парню на пятки. И Шаман мешал идти — рядом вертелся, стараясь освободиться от ошейника.

— Чего удумали, окаянные!.. — смеялась бабка Юрашиха, стоя на крыльце.

Из дома выбежали Анята с Митяйкой, и смех стал звонче и громче. И тут только Маркел понял, какую шутку сотворил с ним Кешка. Чертыхнулся, бросил веревку и, выхватив из рук парня поводок, крикнул:

— Ступай куда знаешь!.. — обиженно посмотрел вслед Кешке и добавил: — На охоту пойдешь, Шамана шиш получишь!

Иннокентий, не проронив ни слова, зашагал по дороге. А ребяташки еще долго смехом заливались, глядя на деда...

Сейчас Маркел, забыв на время о мучивших его тяготах, вспоминал этот случай и невольно улыбался. Зла на Кешку не имел, сам виноват: пристал к парню, как банный лист к одному месту, вот он его и смахнул. Справно поступил — без слов урезонил. «Зато ребяташкам в радость, — подумал дед. — Хошь порозовели от смеха, горемыки».

Он прошел к печке, сунул руку в проем, нашарил возле стены тряпичный сверток. Сел на лавку, развернул тряпицу и с любовью смотрел на богословскую книгу с тиснеными завитками на переплете. Еще в прошлом году, когда обыск делали в доме Варнакова, спер ее. На лавке тогда много их лежало, думал, не обеднеет Афанасий Михеевич, к тому же в банду к Попову удрал — не перед кем виниться.

— Сподобился на старости лет, — вздохнул он и, как бы прощаясь с книгой, ласково погладил по потрескавшемуся кожаному корешку.

Сунул книгу под армяк, вышел на крыльцо. От сарая отделился часовой, стороживший Ивана, трусцой подбежал к деду и скороговоркой прошептал:

— Спаси, Маркел Трофимович, посторожи чуток, я по надобности...

— Я тоже по надобности! — сухо бросил дед и быстро зашагал по двору. Прикрывая калитку, глянул на свою полуразвалившуюся хибару, с горечью подумал: «Раньше был штаб, а теперича — зиндан».

Акулина Анисьевна Варнакова дальше кухни его не пустила. Притулился дед в уголке на лавке и ждал Афанасия Михеевича — в молельне находился. Акулина Анисьевна возилась у печи, жаловалась на распроклятую жизнь — с голоду скородохнуть придется. Маркел понимал ее хитрость, прибеднялась баба, запах-то из чугуна приятно щекотал в носу — мясо сохатого варилось. Влас на кухне часто появлялся, недружелюбно зыркал на гостя. «Он сохатого завалил», — догадался дед. Забеспокоился: как бы умысла какого не таил, в тайге могут быть бандиты, с которыми раньше якшались. Вдруг Влас под видом охоты к ним ходит? Решил предупредить о том Кешку.

Влас вышел в сени, Акулина Анисьевна направилась с плошкой в комнату, и тут же на кухне появился Кузя. Глядит на деда — в глазах тревога и просьба. И Маркел на него смотрит, понять не может, чего надо недотепа. Послышались шаги матери, и Кузя, резко повернувшись, ушел в комнату. Но стоило ей выйти в сени, как он снова явился. Приблизился к деду, хотел что-то сказать, да не успел — с улицы вошел Афанасий Михеевич. Кузя юркнул за дверь. Варнаков перекрестился, прошел мимо Маркела.

— Извиняй любезно, Афанасий Михеевич... — робко начал дед и вдруг выпалил: — Черт попутал! Уж не гневись, помилосердствуй!

Варнаков в недоумении уставился на Маркела. Тот достал книгу из-под армяка. Афанасий Михеевич, увидев ее, просиял:

— Господи! Да что же ты у порога стоишь, гостенечек мой дорогой!

Он подхватил деда под руку, провел в комнату, усадил на стул.

— Потчевать нечем, не те времена, но чайком с сухариками побалуемся... — Варнаков кликнул жену, велел поставить самовар. Рассматривал книгу, радовался ее возвращению. — Сохранил!

— Украл.

— Не говори таких слов, негожи они тебе. Крадут не для того, чтобы опосля вертать. Вот Ефрем — сродственник, чтоб ему пусто было, — все в печке спалил. А ты возвернул, значит, на время взял, интерес к писанию проявил. Знаешь ли, о чем глаголит она?

— Откель мне, темному, знать. На красоту любовался.

Варнаков поднял книгу и произнес:

— «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Вот что ты возвернул, елеем окропив душу мою. — Он положил книгу на стол и, указуя на нее перстом, стал рассказывать об Аввакуме Петрове, сыне сельского священника, жившего во времена царствования Алексея Михайловича и восставшего против церковных реформ патриарха Никона, за что и гоним был, и расстрижен, предан анафеме и сожжен заживо.

Увлеченно, страстно говорил Варнаков. Дед заслушался. Даже Акулина Анисьевна, вскипятив самовар, не решалась внести его в комнату, боясь помешать мужу. И Влас с Кузей затаились в дверях. Много слышали они от отца о разных писаниях, но сегодня его рассказ вызывал неподдельный интерес.

Афанасий Михеевич раскрыл книгу и стал торжественно, нараспев читать:

— «А в нашей России бысть знаменение: солнце затмилось в 162 году, пред мором за месяц или меньше. Плыл Волгою-рекою архиепископ Симеон Сибирский, и в полудне тьма бысть, перед Петровым днем недели за две; часа с три плачючи у берега стояли; солнце померче, от запада луна подтекала, по Дионисию, являя бог гнев свой к людям: в то время Никон отступник веру казил и законы церковныя, и сего ради бог изливал фиал гнева ярости своея на русскую землю; зело мор велик был, неколи еще забыть, вси помним. Потом, минув годов с четырнадцать, вдругоряд солнцу затмение было; в Петров пост, в пяток, в час шестый, тьма бысть; солнце померче, луна подтекала от запада же, гнев божий являя, и протопопа Аввакума, беднова горемыку, в то время с прочими остригли и соборной церкви власти и на Угреше в темницу, проклинав, бросили. Верный разумеет, что делается в земли нашей за настроение церковное. Говорить о том полно; в день века познано будет всеми; потерпим до тех мест».

Он закрыл книгу, сидел не двигаясь: лицо белое, глаза вытаращенные, немигающие, будто через стену силятся смотреть. Маркел поежился — что-то таинственное и страшное было в облике Варнакова. Влас и Кузя, переглянувшись, тишком отошли от двери. Афанасий Михеевич наконец молвил:

— Сколь нам еще терпеть?.. — посмотрел на деда скорбно, жалостливо

Маркел заерзал на стуле, не зная, что ответить. Варнаков продолжал:

— Мор будет, люди друг дружку есть станут, иссохнет Амур, исслезится земля. Не страшась смерти, о том говорю, потому как в помыслах моих одно — веру православную сохранить, кою топчут, огнем жгут антихристы. В божеской власти спасение, она даст людям то, чего они жаждут — мир и благоденствие.

Маркел понял, куда клонит Варнаков, к чему призывает. Встал и, глядя в глаза Афанасию Михеевичу, строго сказал:

— Упреди свою Власа, чтобы в тайгу без согласия штаба не шастал, а то впрямь терпение лопнет. Люди не только миловать, но и карать могут.

Он удивился собственным словам — откуда только взялись, — и, выпрямившись, вышел из горницы. Уже на улице подумал: «Оттаял, идол, по-прежнему людей мутить будет». Вспомнил Кузю и, забыв про Афанасия Михеевича, стал гадать: чем встревожен парень, что хотел поведать?..

Иннокентий поднимался по крыльцу дома Апросиньи Жмыховой и думал, как вести себя с заблудшей. В том, что говорить с ней надо, не сомневался. Помнил, как Василий сожалел: вовремя не побеседовал, она и оступилась, попала под пята Никона Демьяныча, который через Ефрема на нее воздействовал. Умело сработал на бабьих чувствах поручик: вскружил голову, насулил благостей, она и поверила — пособницей в ляховских делах стала. Потом вроде образумилась, против самого Никона Демьяныча пошла, за что пулю кулацкую получила. Когда же Федор Лапоть ее мужем стал, окончательно прозрела: белое от черного отличала. И главное, любила Федора, шагу без него не могла ступить, душевным теплом его согревала. И вдруг такое сотворила, что все вверх тормашками опрокинулось. Ее Еф-

ремовы казаки нагайками и сапогами били за укрытельство партизан, а она Ефрема спасла. Не понимал Иннокентий, что произошло с ней, почему так поступила, оттого не знал, какой разговор вести.

Апросинья полулежала на кровати. Боец Фомин, один из новых постояльцев Жмыховой, устроился возле печки, дымил сигаркой и подкашливал. По этому подкашливанию и признал его Иннокентий: из взвода Гошки Громова, стоял на часах около Маркелова сарая, где находился под арестом Денис Долов. Иннокентий поздоровался, но ему не ответили. Подумал: тихо сказал, не слышали. Потоптался у порога, прошел к столу и робко сел на стул. Жмыхова и Фомин, пребывая в своих думах, будто не замечали его, и он вовсе растерялся. Молчание затянулось, и Иннокентий стал нервничать. Апросинья, подперев кулаком подбородок, не мигая смотрела в окно: в глазах тоска и боль. Фомин, облокотившись на колени, отчего спина горбом выгнулась, безучастно глядел на давно остывшую печь: лицо желтое, щеки глубоко провалились, сизый нос сучком торчит. «И зачем приперся, дурак!» — озлился на себя Иннокентий.

— По мою душу?.. — неожиданно спросила Апросинья.

У Иннокентия вздох облегчения вырвался, понял: выговориться хочет. Так уж устроены бабы: чтобы полегчало, выплакаться надо. Глядел на нее и терпеливо ждал.

— Сызмальства невезучей была, — наконец заговорила она. — Папаня любил меня, оберегал да баловал, видать, знал, какие напасти ждут его дочь... Худого слова от него не слышала, только советы да напутствия. Не попользовалась ими, горяшка не в меру досталось, разе посильно сдюжить... И папаню с матерью безвременно схоронила, и мужа Степана неизвестно за какие грехи потеряла... Вру, был грех. Степану я из Ефремовых рук досталась. Вот и наказал меня бог. А почему Степана, а не меня прибрал? Выходит, хорошего человека жизни лишил, а плохого миловал.

Боец Фомин закашлялся. До синевы в лице бил его кашель, с трудом отдышался и, чтобы не сверзиться с табурета, притулился к печке. Иннокентий знал: сильно болен Фомин. Жалко мужика, но помочь нечем. Апросинья, повременив, продолжала:

— Федора тоже бог забрал. В наказание отнял...

Когда вы на деревню нагрянули, не спала я. Всю ночь маялась, тревогой зашлась. Федя из ума не выходил: чудилось, что Ефрем убьет его... Мертвым виделся, изуродованным... Втемяшилось такое — не отогнать...

Иннокентий видел, как губы ее задрожали, видно, страшно было случившееся вспоминать. Долго молчала, наконец заговорила снова:

— Стрельба зачалась, я смирно в постели лежала, не шелохнулась — обмерла. Ни рук, ни ног не чувствовала, колода колодой... К окну глазами потянулась и увидела, как Ефрем в нижней рубахе по улице на коне мечется. Кровь в голову ударила, померещилось — Федора ищет, и какая-то неведомая сила подхватила меня, подняла... Выползла во двор, пальба кругом, крики, а мне из всех голосов Федин слышится — зовет меня. Открыла ворота и остолбенела — Ефрем с казакom прямо на меня скачут. Я в сторону подалась. Они через двор в огороды ускакали, вот тут-то я и поняла, что наделала, — спасла, выходит. Страх обуял. От этого страха захлопнула ворота и на засов закрыла. Стою ни жива ни мертва, слезами обливаюсь, прошение у Феденьки вымаливаю, а он, чудится, на земле лежит, от ран извивается... Подняла глаза — передо мной Ефрем на коне, как наваждение — рубаха белая кажется саваном, губами что-то говорит, а голоса нет... Оглохла я от ужаса. А потом... — Она осеклась и снова зажмурилась, веки что есть силы сжала — от краешек глаз пучки морщинок в стороны рассыпались. Виделся ей зарубленный Ефремом Сенька Груздев, который из-за сарая выскочил и за уздцы коня схватил, но рассказывать об этом не стала — не вмоготу было.

Кешка, не мигая, смотрел на нее и все рассказываемое живо представлял: у Ефрема лицо свирепое, перекосенное, рот широко раскрыт — точь-в-точь как когда-то у Миня Сычова перед расстрелом... Откуда-то издалека доносился до Кешки голос Апросиньи:

— Как в постели оказалась, не ведаю... По пустой комнате глазами шарю, и кажется мне, что не мой это дом. И тишина, как на кладбище... Жду, когда дверь откроется и Федя войдет, а в голове стучит: не войдет, никогда не войдет... Вправду так получилось, убили его, даром мертвым чудился...

Иннокентий встрепнулся — так тяжело и горько вздохнула Апросинья.

— Бог это, бог со мной такие причуды выделява-

ет... — покачивая головой, продолжала она. — Думаешь, обелить себя желаю? Как на духу говорю... Подселили мне троих партизан, а излить душу некому. Те двое целыми днями где-то шастают, а этот, как немтырь, молчит — слова не вытянешь. Поди сам себя поедом ест. — Впервые глянула на Фомина — в глазах злость мелькнула и тут же угасла. — Да не в нем дело... Прокаженной стала, люди мой дом за версту обходят, а я жду, когда разъярятся и убьют...

Иннокентий дивился: обычно плакались бабы, а она казнит себя, а в голосе строгость — не дрогнет, и ни слезинки на глазах. Видно, настрадалась — невмочь больше плакать.

— Хотела удавиться. Не смогла. Оказывается, не так просто жизни себя лишиться, способнее на другого беду накликать...

Она еще долго говорила, все, что на душе накипело, выкладывала. Иннокентий слушал, не встревал: корить не хотел, и слов утешения не было...

Он вышел на улицу. Верил Апросинье: впрямь могло случиться, что не умышленно спасла Ефрема. Но о ней не думалось. Поразил боец Фомин: словечком не обмолвился и даже не глянул в его сторону. Болезнь болезнью, но такое поведение было непонятным.

«С Иваном что-то решать надо!..» — насупился Иннокентий. Пока сидел у Жмыховой, вроде забылся — ушел из памяти брат, а сейчас вновь острой занозой впился. Вспомнил заседание штаба: в комнате накурено — лиц не разобрать, мужики наперебой орут, того и гляди в ход кулаки пустят. И к его слову не прислушиваются. «Нет согласия», — в беспокойстве подумал.

Проходя мимо ворот Громовых, услышал голос Силантия:

— И чтобы духу твоего не было, защитник сопливый! Заявишься — ноги переломаяю!..

Из калитки вышел Гошка: рубаха на плече разорвана, под глазом синяк, в руках кожух и ремни с кобурой и саблей. Зыркнул на Иннокентия и размашисто зашагал к дому Букиных. А за воротами Силантий разорялся — и сына, и новые порядки, и весь белый свет костерил. Что-то серьезное произошло у Громовых — это понял Иннокентий. Стоял в нерешительности: не знал, имеет ли право он, командир, вмешиваться в семейные дела?..

...После расстрела Дениса Долова не на шутку встревожился Силантий: Иван со своим лучшим другом не посчитался, по ложному обвинению под карачун подвел, чего уж о других говорить. Гошка только пыжится, мужиком себя выставляет, а ума не набрался: поскользнется — пропадет. Когда же Ивана с командиров сместили, радоваться бы Силантию — справедливость верх взяла, а он еще больше обеспокоился. Тут сын прав: у Кешки никаких заслуг, по наследству командирство досталось, как в старые времена — ничего не меняется. Говорят, он на Горюне хорошо саблей махал, так на то головы иметь не надо. По годам такой же, как Гошка, безусый, и нравом не обзавелся. Дров наломает, а виноватым не останется. — сыщутся виноватые. Хотя бы Гошка. Распря между парнями — вот в чем гвоздь. Силантий не знал, чего они не поделили, но прошлой осенью счета сводили возле рыбацкого домика — дружки проболтались. После того сычами друг на друга глядят. Гошка на рожон прет, правду-матку режет. А кто ее любит? Никто. Говорить — одно дело, а внимать — другое. К тому же у Иннокентия власть — отыграется. Всегда так было и будет. Следует потолковать с сыном, образумить и уберечь. Но тот, как на грех, дома не появлялся, с бойцами своими дневал и ночевал, даже похарчиться не заглядывал.

Силантий с утра во дворе маячил: будто дела разные делает, а сам за плетень, на улицу поглядывает — Гошку караулит. И дождался. Заслышал голоса — к воротам кинулся. Выждал, когда парни с домом поравняются, калитку распахнул и улыбочиво сказал:

— Зайди, Гоша, мать зовет.

— Некогда мне.

— Уважь, коли просит.

Гошка глянул на ребят, недовольно пробурчал что-то, но во двор вошел. Отец калиткой стукнул и за ним в дом поспешил.

— Покорми, мать, родимого — отощал, — сказал он.

— Затем и звали?.. — растерялся Гошка.

— Похарчись, а то впрямь избегался. — Мать положила на стол кусок ржаной лепешки, достала из чугуна уже остывшие картофелины.

Гошка расстегнул ремни, скинул кожух и вместе с саблей и кобурой повесил на гвоздь.

— Стосковались, что ли? — ухмыльнулся и, довольный, принялся уплетать картошку.

Силантий стоял у дверей, как часовой, не спускал глаз с сына: Дед Максим лежал на топчане, вприщур глядел на Силантия. Догадался: затеял что-то. Решил сесть, чтобы способнее было раздору помешать, и стал кряхтя подниматься.

— Лежи, старый хрен, наш разговор свидетелев не требует, — зло обронил Силантий.

Максим Максимович не смотрел на сына, потому не узрел по губам, какие непристойные слова тот молвил. Зато Гошка уши наострил, понял: прознал что-то отец. Неужели про куриц, что у повитухи своровали? Она вроде не спохватилась, а он пронюхал. Теперь достанется — кулаки у родителя тяжелые. «Была не была!» — решил он и, отодвинув чугунок, встал. Потянулся к кожуху, но отец опередил:

— На улице не зябко. Пойдем-ка.

Гошка разгадал его хитрость: боится, как бы не удрал, потому кожух надеть не разрешает, главное, оружие не дает взять.

Они вышли во двор. Силантий спустился с крыльца, свернул за угол. Гошка неохотно шел за ним. Сели на завалинку. Силантий неторопливо скрутил сигарку, протянул кисет сыну:

— Почади, а то всурьез озябнешь.

Тот недоверчиво глянул на родителя: раньше за курение мутузил, а сейчас сам предложил. Что-то непонятное в этом было, и, боясь подвоха, отказался. Силантий жадно сосал самокрутку, дым клубами валил на Гошку.

— Только добро изводишь, — поморщившись, проворчал.

— Не жалко, этого дерьма у нас хватает, — ответил Силантий и тут же добавил: — А вот ты зачем в дерьмо вляпался?

У Гошки сердце зашло: не про кур, а про что-то более серьезное речь пойдет.

— Аж по уши влез, — продолжал Силантий. — В головные норовишь, а их в первую очередь шлепают — и чужие, и свои.

— Никуда я не вырываюсь, — еще не понимая, куда клонит отец, сказал Гошка. — Но несправедливости не потерплю.

— Где ты видел ее, справедливость? При любой

власти она только на губах. Все посулами кормят, а на деле чуть что — и кровушку из жил. Али не так?

Гошка засопел — разговор принимал неприятный оборот. Пробурчал:

— Непонятно высказываешься.

— Ить, мать твою, межеумком стал!.. — Силантий затянулся раза два, швырнул окурок под ноги. — Же-ню — ума быстро наберешься.

Обомлел парень. На отца глазеет и слова вымолвить не может.

— Баба справная. Работящая. Как у Христа за пазухой будешь. И собой дюже хороша — огромное удовольствие займешь.

— Кто?! — вырвалось у Гошки.

Отец повременил малость и, показывая на дом Стригановых, благодушно сказал:

— Фенюха.

У Гошки волосы, казалось, зашевелились, запустил пятерню в шевелюру, с яростью стал чесать.

— Спятил?.. — еле выговорил. — Старуха она!

Силантий засмеялся:

— Ты, гляжу, впрямь умом ослаб и к тому же невзячий. Какая она старуха? Ну, на несколько годков обошла тебя, так в том беды нет. Главное, телом ядреная, будто литая. Може, боишься, что не управишься?..

— Старуха Фенька!.. — не сдавался Гошка. — Посмешищем хочешь сделать? Не только деревня, вся округа животы надорвет!

— Верно — от зависти полопаются.

— Старуха!

— Не кричи и не ерепенься! Для блага твоего стараюсь. Ее Стригановы в работницах держут — баба сильная, все в руках горит. А у нее, между прочим, свой дом имеется. Справный! Мать с отцом на ладан дышат, долго ждать не придется...

— Не пойдет она за меня, — оборвал отца Гошка, придумав, как его с назойливой мысли сбить. — Забыл, как она в прошлом году по земле каталась, чуть с ума не спятила, на всю деревню орала? Кого звала?.. Один Василий на уме, и до конца дней своих верна ему будет.

— Верность к мертвому не помеха, — невозмутимо сказал Силантий. — А плоть живого требует. Сватовство — не твоя забота. Справляюсь.

Гошка сник: не одолеть родителя, не отступится, до конца задуманное доведет. И Фенька, чего доброго, согласится — впрямь небось по мужицкой силе соскучилась.

— И супротив Кешки Юрашина не моги идти, — говорил Силантий. — Хрен с ним, пущай командует, его голова — не наша печаль. О своей думай. Наперед не лезь. В неприметных-то способнее — целее они.

Гошка слушал, но смысл плохо улавливал: о Фене думал. А отец, полагая, что сломал сына, стал выкладывать затаенное, бессонными ночами надуманное:

— Скоро, говорят, отряд ваш на Хабаровск двинется — все мужики о том гуторят. На бойню, стало быть, торопятся. Може, конечно, и у беляков головы посшибают, но и своих недосчитаются. Их дело. Пущай идут, а неприметному и поотстать можно.

Гошка вскочил. Отец схватил его за руку, сильно сжал и вниз потянул. Парень плюхнулся на прежнее место.

— Остынь. Мозгой пораскинь. За свою деревню справно бился, живота своего не жалел, а за чужие края не след голову складывать. Пущай каждый свой дом обороняет, тогда и справедливость будет. От отряда отстанешь — греха нет. Оказии не только с людьми, но и с животинами случаются. Конь может оступить, ногу повредить. Понял? Как тут не поотстать... А мужиков в деревне с гулькиным носом останется. Соображаешь, кем станешь? И Советская власть внакладе не будет — постоишь за нее...

— Ну вот что!.. — Гошка выпрямился во весь рост. — Распустил язык — что помело! И запомни, папаша, я стоял и буду стоять за Советскую власть. От любого врага ее защищу! В моих делах помехой не будь — нонче родство не шибко ценится. Ежели по другую сторону встал — милости от меня не жди!..

— Сопляк! — крикнул Силантий и схватил сына за плечо.

Гошка рванулся в сторону — рубаха затрещала.

— Не боюсь! Не страшен!.. — задыхаясь, выговаривал. — Куркулем всю жизнь прожил, тихой сапой только под себя греб, и меня такой же сукой хочешь сделать!

Силантий ударил сына кулаком в лицо. Тот отлетел к стене, но на ногах удержался.

— Не бывать по-твоему! — прохрипел.

Отец бросился вперед. Гошка с силой толкнул его в грудь. Силантия понесло назад, зацепился ногой о камень и, беспомощно размахивая руками, повалился навзничь. Гошка скрылся за углом. Силантий, рыча, тяжело поднялся и со сжатыми кулаками кинулся к крыльцу.

— Убью выродка!.. — орал он, бегая по комнатам.

Гошки нигде не было. Мать в страхе жалась к печке. Из-под кровати выглядывал испуганный Витька, младший брат Гошки. Дед Максим сидел на топчане, тянул руки к сыну и жалостливыми словами пытался усовестить его. Силантий ничего не слышал, только орал:

— Убью!..

Глянул на окно — створки нараспашку. С диким ревом бросился к двери...

Иннокентий повременил малость и, не решившись войти к Грозовым, зашагал по улице.

А Гошка во дворе Букиных стоял — притулился спиной к калитке и отдыхивался. О Фене Стригановой не думалось — то блажь родительская, ее, изловчившись, изломать можно. Что же касается его предложения «поотстать от отряда», по сути дезертировать, тут есть от чего мозгам набекрень пойти. Чего угодно ожидал Гошка, но чтобы такие помыслы вынашивал отец, не предвидел. Коли не хочет, чтобы его сын в красных партизанах служил, значит, новые порядки не принимает, и Советская власть ему, что кость в горле.

Он, озираясь по сторонам, торопко надел кожух, опоясался ремнем и, бряцая саблей, поспешил через двор Букиных — к огородам. Не хотел видеть Агафона и Макара, избегал встреч с ними и в доме у них давненько не бывал — сейчас во двор забежал, чтобы от Кешкиных глаз скрыться. С тех пор, как приключилась беда с Дашкой и Ольгой — надругались над ними казачки, — не мог на них смотреть: жалость и презрение одновременно одолевали. Понимал, что не могли они с казаками совладать — силы-то неравные, и сердце горечь жгла — жалел баб. Невольно представлял, что казаки творили, и тут же злость появлялась, будто вину бабью чуял... Он уже через плетень в огород перелез, как сзади голос раздался:

— Грозов!..

Он повернулся. На крыльце стоял Макар: широкая рубаха навывпуск и расстегнута, от ветра на спине пузырится. А лицо!.. Перед ним не Макар будто, а его отец — так надломился мужик, что враз, кажется, годов на десять старше стал.

— Подь сюда.

Гошка неохотно перелез через плетень, двинулся к крыльцу, а сам глаз с лица Макара не спускал: серое и в глубоких складках. Макар сел на верхнюю ступень и, доставая кисет, тихо свистнул. Из хлева вышел Агафон: в руках солдатский котелок с молоком. Гошка вспомнил, что у Букиных коза имелась, но то, что Агафон, а не бабы ее доили, удивило. Глазел на Агафона, словно впервые видел. Тот даже не поздоровался с гостем, поднялся на крыльцо и скрылся в доме.

— Странное дело... — скручивая папиросу, сказал Макар. — Наша Нинка никому, кроме Агафона, не дает доиться.

Гошка пришел в себя и гадал: то ли врет Макар, чтобы действия брата оправдать, то ли правду говорит. «Тень на плетень наводит», — решил. А тот продолжал:

— Как-то Ольга попробовала, так та не только рога, но и зубы в ход пустила. Во, коза!

Гошка взял предложенный Макаром кисет, сел на нижнюю ступень, спиной к Макару, чтобы не глядеть на него, и занялся самокруткой.

— Года три назад Агафон ее принес, — говорил Макар. — У Ерошки Кудлая, горбуна, выменял. Хвора́я была, на бок, как ее прежний хозяин, заваливалась. А Агафон ее выходил. Как с малым дитятей возился. Може, оттого и признает только его.

На крыльце появился Агафон, сел рядом с братом. Гошка сосал сигарку и разговора ждал — не покурить же окликнул его Макар.

— Ты чего? — спросил Гошку Агафон.

— Ничего, — растерянно пожал плечами тот.

— Не в себе, что ли?

— А-а... — понял его Гошка и просто сказал: — С отцом повздорили.

— По делу али нет?

— Из-за пустяка, но всурьез.

— Случается... — протянул Макар и тяжело вздохнул — хрип, будто скрежет, из нутра вырвался. Сменил разговор: — Отряд силу обрел, и все едоки исправные, а сидим без дела.

— Приказ не пришел, — строго сказал Громов. — Нарочный из Хабаровска должен прибыть — Лаврентий Шалда обещал.

— Слово-то какое придумал — «напочный»!

— Так Шалда говорил.

— А ежели его по дороге кокнули?

— Шалду?! — Гошка резко повернулся, расширенными глазами воззрился на Макара.

— Може, Шалду, а може, и... энтого...

Громов заметил недобрые искорки во взгляде Макара, глянул на сумрачного Агафона и обеспокоился: что-то непонятное происходило с братьями — то ли не могли пережить беду, что с женами приключилась, то ли от чего другого не домогали. Но факт налицо: мыслями перевернулись. И как бы в подтверждение его догадкам Агафон сказал:

— Мы отряд самостоятельный, могли бы и без приказа. Хватит сторонних слушать, сами с усами.

— Шалда строго наказывал... — начал было Гошка, но его перебил Макар:

— Опять Шалда! Пушай в своем Хабаровске укаывает, а тут мы хозяева. Кабы Иван у власти был, не стал бы дожидаться каких-то напочных. Справно командировал — хотел всю контру извести, а его за руку хватали. Говорят: с Денисом переборщил! А ежели честно?.. — Он насупился и тише продолжал: — Потеря невелика. Мы родителя его помним и братку не забыли. Яблоко от яблони недалеко падает.

Громов раньше так же думал, чем и оправдывал свои действия, направленные против Дениса Долова. Случись этот разговор вчера, не задумываясь поддержал бы. Но сейчас, после стычки с отцом, когда узнал его ватаенные думы, все нутро перевернулось и протестовало. Он впервые почувствовал свою вину в смерти Дениса.

А Макар говорил:

— Это дело можно по-разному крутить — кому как выгодно. И крайнего, опять же, отыскать способно. Что же касается нового командира...

— Я за Ивана Игнатьича головы своей не пожалею, — прервал его Громов, — умру, а не дам в расход пустить, но и супротив Кешки в вашем вопросе не пойду. Предположим, снимемся, двинем на Хабаровск, а приказ будет — на Николаевск идти, тогда что?

— А нам, може, и вообще не след в дальние края

забираться, окрест в деревнях разной сволочи и контры хватает. Пока их порубаем.

— И наша деревня не оскудела — водятся, — поддержал брата Агафон.

Гошка поднялся, поправил в поясе ремень:

— Ежели такое мнение имеете, поставлю вопрос на штабе — сообча решим.

— Плевали мы на ваши решения! — повысил голос Макар. — И на штаб твой...

Он такое сказанул, что у Гошки лицо белым стало — не оттого, что слов похабных не слышал, а потому, что относились они к штабу.

— Ну-ну! — повысил он голос.

— Не понукай — не запрягал! — Макар тоже встал, грудь выпятил и смотрел на Громова свысока. — Уходить надобно отряду из деревни. Али не знаешь, чем мужички стали заниматься? При Иване не посмели бы, а сейчас...

Он не договорил, только выдавил с выдохом хрип и пошел в дом. Агафон также двинулся к двери. Повернулся к Громову и сказал:

— По ночам козу в доме держим, в сарае опасно оставлять.

Гошка остался один. Стоял оторопелый — в словах Агафона предостережение учуял. Знал, что кое-кто из партизан бедовать стал — жрать-то надо, вот и шарили по крестьянским закутам. И он с парнями сподобился, правда, кроме двора повитухи, больше никуда не заглядывали, но все равно — воровство.

«Денек выпал!» — с горечью вздохнул и вышел на улицу, забыв прикрыть за собой калитку.

Никогда еще не попадал Кешка в такое трудное положение. Раньше видел, как Иван управляет с отрядом, и ему казалось все ясным: сказал — сделали, приказал — выполнили. Теперь понял: быть командиром дело непростое. Ором и нахрапом бойцов нынче не возьмешь, да он и не мог так действовать. Считал, что ко всем бойцам и сельчанам людской подход нужен. Потому, вникая в дела, старался быть обходительным и голоса не повышал. Прежде чем решение принять, с товарищами советовался. Его поддерживали Натан Северьяныч Ковригин и Фотей Стриганов, в один голос говорили: с бойцами по-человечески — они

тем же ответят. И Иннокентий, уверовав в свою правоту, старался вести дела по-доброму. Некоторые мужчины пользовались его мягкостью в корыстных целях, но он этого не замечал. Случалось, впросак попадал: зададут мужчины мудреный вопрос, а он, не подозревая подвоха, голову ломает, не зная, что ответить, смотрит на улыбающиеся физиономии и от растерянности краснеет. Но самой большой трудностью было решение судьбы Ивана. Твердо знал: прощения не заслужил. А мнения штабистов разделились: одни за расстрел стояли, другие с пеной у рта доказывали неправомерность такого наказания. Заседали, в спорах глотки срывали, но ничего путного предложить не могли, только, казалось, друг дружку ненавидеть стали.

Ему часто вспоминались слова деда Маркела, сказанные про Ивана еще прошлым летом: «Все у него не евоное, будто оброс чем-то». В правильности суждений старика не сомневался, сам видел, как сильно изменился брат. Помнил, каким был тот до ухода в армию, наказы его справедливые свято чтит, ждал возвращения, и вдруг — словно подмененным вернулся... Кешка восстанавливал в памяти все споры-раздоры Ивана с Денисом, хотел понять, где и когда Иван оступился и соскользнул на неверный путь. Припомнил, как Долов говорил: «Тряпицына нет, а вот тряпицынский дух крепко в тебе сидит!» Значит, там, в Николаевске, когда повстречался с лихим командармом, переменился Иван. Верил в Тряпицына и подражал ему. Но не мог Иван верить предателю. Выходит, не считал его таковым.

Ночей не спал Кешка, мучился, все, что о Тряпицыне знал из рассказов Василия, Дениса и Ивана, пытался в стройный ряд выстроить и не получалось — неясностей много. «Кабы Гаврюху расколоть», — с тоской подумал. Тот вместе с Иваном в Николаевске находился и все доподлинно знал. Не расколется, утаит. Прошлым летом так говорил о Тряпицыне, что не понять было: то ли обвиняет, то ли оправдывает. Сейчас бы поговорить, вытянуть из него сокровенное. Не случался разговор. Несколько раз заходил Кешка к Стригановым, но в доме непременно кто-то находился — или бабы, или Филимон Алексеевич, а при них заводить нужный разговор с Гаврюхой не решался.

Подходя к стригановским воротам, он столкнулся с Юлькой — от Гаврюхи возвращалась. От неожидан-

ности она вскрикнула и попятилась. И он в сторону отступил. Юлька кольнула его взглядом, будто ужалила, и зашагала по дороге. Он смотрел ей вслед: шла вызывающе вихлясто. «Из-за Марии презрением одаривает, — подумал. — Не понимает, что после содеянного не может быть мира меж нами». Представил Марию в седле — на сельчан с вызовом глядит, а те в поклонах сгибаются. Озлился и, чертыхнувшись, вошел в дом.

В горнице никого, кроме Гаврюхи, — это враз заметил. Забыв обо всем, кинулся к топчану, где Горелый сидел, затекшие ноги растирал, и торопливо выпалил:

— Как арестовали Тряпицына? Кто?..

Улыбка слетела с лица Гаврюхи, смотрел на друга так, будто тот с того света сподобился явиться. Хотел послать его подальше, но Иннокентий опередил:

— Мне надо разобраться, а для этого требуется все про Тряпицына знать, все, понимаешь?..

На Гаврюху смотрели растревоженные большие глаза, и он, не выдержав упорного взгляда, отвернулся. Понял, что Кешка не отстанет и ему придется ворошить в памяти николаевские события. Недовольно пробурчал:

— Угорел, что ли?.. — немного помолчал, снова глянул на Кешку и, смягчившись, стал рассказывать: — Когда весной прошлого года японская эскадра подошла к Де-Кастри, всем стало ясно — войдут самураи в Амур и Николаевск падет. Жителей стали эвакуировать, и партизанская армия из города ушла — часть в устье Амгуни для обороны, часть выше по реке в Удинске расположилась, остальные еще выше — в Керби. Тряпицын со штабом и верным ему экспедиционным отрядом отбывал из Николаевска последним. Запалили город со всех сторон — не решился на виду у жителей такое приказывать, чай, опасно. Удостоверившись, что все дотла сгорит, отправились конными через тайгу на Керби. Тут и вышел огрех — заблудились. Двадцать два дня блуждали. Много лошадей потеряли — в марях утопли, и сами голодом страдали, припасов всего на три дня было. Стали поочередно оставшихся лошадей забивать, конина их и спасла. Даже свою Тряпицын на мясо пустил, только одну под страхом смерти приказал не трогать — у Лебедевой... Вот ведь как случается, Кеша! Кореец-проводник по таежным дебрям,

что по двору родному гулял, а тут проруха нашла — заплутался. Небывалый случай! А може, в том судьба Тряпицына?..

Иннокентий сидел на табурете, не сводил глаз с Гаврюхи. Тот испил воды из кружки — отвык длинные разговоры вести, пересохло в горле, — поставил ее на пол и продолжал:

— Интерес, чай, имеешь, что в отсутствие Тряпицына в армии произошло? Чехарда и неразбериха. Сторонники и прихлебатели тряпицынские волю почуяли и вконец распоясались. Такие, к примеру, как Сасов, Боголюбский, Морозов, Вихров, которых опосля народный суд вместе с Тряпицыным к расстрелу приговорил, зело обнахалились. У беженцев николаевских, а их в Удинске и особенно в Керби множество собралось, стали отбирать последнее, что те с собой прихватили. Кто не отдавал — тех к стенке. Для них человека убить — что муху прихлопнуть. Люди и зароптали. А бойцы, что характером послабже, в дезертирство ударились — по домам или в сопки. В общем, отбилась армия от рук. Большевики, видя такое дело, остатних начали вокруг себя собирать. Всех, кому разгул контры был не по нутру. Они знали, что все беды — от Тряпицына. Он еще в Николаевске разбой и насилие поощрял, вот и примыкали к большевикам. Даже командиры Ауссем и Перегудов, которые раньше горой за Тряпицына стояли, откололись от него. А сам он тем временем по тайге блуждал... Нет, Кеша, что ни говори, а это судьба! У каждого она, чай, имеется, вот и с ним распорядилась... Прибыл он в Керби и на пароходе «Амгунец» поселился, в одной каюте с Лебедевой, теперь они от людей не прятались, мужем и женой объявились. Не знаю, чего он там, блуждая в марях, передумал, только из каюты почти не выходил, редко на людях появлялся. Зато приказы отдавал кажинный день: «не исполняющих боевые задачи и распоряжения расстреливать на месте». Коротко и ясно! Только теперь приказы эти не имели прежней силы — вышел из послушания народ. Тогда Тряпицын приказал следственной комиссии усилить борьбу — карать ослушников нещадно. И командиров, которые большевиками были или сочувствовали им, стал смещать. Первым снял командующего Амгуньско-Тырским фронтом Коцубу, вместо него поставил Сасова — ярого бандюгу, который еще в Николаевске кличку себе придумал, Беспощадным назы-

вался, чтобы погрознее выглядеть. Другого, сродни Сасову-Беспощадному, провокатора и калмыковца Лапту утвердил командиром партизанских частей района Мариинск — Хабаровск. Во как! А злодея из злодеев — Оцевилли-Павлуцкого — назначил комиссаром золотых приисков. Зачем? Все просто, Кеша. По словам, Лебедева на кажинном митинге орала: прибудем, мол, в город Благовещенск, где в Советах одни большевики-соглашатели, — и всем хвоста наломаем. Мало будет — изведем под корень и, мол, тем самым поднимем народно-бунтарский дух, сокрушим земский буфер. Планы-то, как видишь, вселенские, и в Керби они от них не отступились. Но Тряпицын и Лебедева хорошо знали, что в Благовещенске Советская власть прочно установилась, большевики там сплочены и навряд ли их можно одолеть. Вот и решено было втайне, что Тряпицын двинется якобы на Благовещенск, а сам в Свободном обоснуется и на весь мир объявит об образовании Свободненской Советской республики. Для такого дела, сам, чай, понимаешь, не только глотку надобно иметь, но еще и капиталец солидный. А Оцевилли-Павлуцкий ни с кем цацкаться не станет, недаром «ангелом смерти» прозвался. И запасы конфискует, и карманы вывернет, и даже швы на одежонке золотискателей распорет — до крупинки все выберет... Не согласных с Тряпицыным командиров решили попросту убрать. Дело, чай, привычное: обозвать их изменниками революции — и к стенке. Начал Тряпицын с Бодреева Ивана Павловича, с командира артиллеристов, что в устье Амгуни стояли. Командарм считал его своим злейшим врагом... Впрочем, он и был им на самом деле. Еще в Николаевске хотел с Бодреевым расправиться, да побоялся. Уж больно большой авторитет среди партизан имел Иван Павлович. Ну, вот и отправил Тряпицын к нему отряд Амурова-Козадоева, закадычного своего дружка. Но партизаны Амгуньского фронта были готовы ко всякому. Только катер к берегу, а Козадоеву навстречу Бодреев с комроты Леодорским. Прибыли все вместе в штаб, а там Козадоев и сказал: «За тобой, Иван Павлович, прибыл. Командарм требует тебя к себе». Ну, Бодреев, шутя, ему в ответ: «Знаю, для чего требует. Соскучился!» А сам дал знак своим партизанам — арестовать! Сразу же и людей его разоружили. Отсюда и пошло все остальное, Кеша. Бодреев и Леодорский с большевиками медлить не

стали. Как водится, оставили заслон против японцев, а сами с отрядом двинулись на Удинск. Подошли на катерах туда темной ночью. Первым делом Сасова-Беспощадного в кутузку. Из постелей его дружков вытащили. Среди них взяли Трубчинина, отпетого уголовника по прозвищу Оська Крученый. Раньше тот все людей страшал ножиком, под носом у всех им баловал. А увидел партизан в доме и с перепугу опрудился... Еле его от тюфяка оторвали. Навел порядок в Удинске Бодреев, еще пароход «Муром» себе взял, и партизаны двинулись в Керби...

Горелый потянулся за водой, но Иннокентий, опередив, взял кружку с пола, подал ему. Гаврюха, напившись, продолжал:

— Рано поутру Бодреев ступил на берег Керби. Все спали, и в поселке — мертвая тишина. Тряпицын и Лебедева тоже дрыхли на своем «Амгунце». На завтра намечался их отъезд вместе с экспедиционным отрядом в Благовещенск, и они, намаявшись за день со сборами, безмятежно спали. Леодорский, значит, рвется лично арестовать Тряпицына: не мог простить ему расстрела своего друга, большевика Ивана Александровича Будрина*. Бодреев дал Леодорскому добро, а сам тем временем взял спящими всех приспешников командарма. Лихо сработали! Опосля ребята говорили, что только Оцевилли-Павлуцкий дюже супротивлялся, руками и ногами отбивался, так его подмяли и отмутили от всей души. Крайне его ненавидели. А Леодорский с партизанами поднялся на борт «Амгунца», прошел к каюте Тряпицына, постучал. Леодорский, говорят, волновался сильно, но постучал еще раз, выпрямился, видать, взял себя в руки. Дверь открыл сам командарм. Леодорский наган ему под нос: «Вы арестованы». Тряпицын отступил на шаг, оглядел Леодорского с ног до головы, будто не признал: «Кто поднял возмущение?» А комроты опять ему: «Вы арестованы. Сдайте оружие». Тряпицын взял со стола кобуру с маузером, отдал Леодорскому и стал надевать рубаху. Тут проснулась Лебедева, вскинулась было заорать на всех по привычке, но поняла, в чем дело, и враз спеси лишилась. Тряпицын сказал: «Дайте ей одеться». Лео-

* И. А. Будрин — командир горного отряда, осужден тряпицынским судом на двухгодичное выселение из Николаевской области и был временно посажен в крепость Чныррах. По приказу Тряпицына расстрелян.

дорский отвернулся, а Лебедева со страху блузку наизнанку надела. Еще бы! Ложились спать полной хозяйкой армии, а проснулась арестанткой...

Иннокентий сидел оцепенелый, лицо сосредоточенно-хмурое, смотрел на стену и весь рассказ видел, как наяву.

— Потом был народный суд при ста трех заседателях — по два бойца от каждой сотни. О приговоре, чай, знаешь... — Горелый поудобнее устроился на подушке и уставился в потолок. Слышно было, как назойливо жужжали мухи. Наконец он тихо заговорил: — Скрывать не стану: верил Тряпицыну безоглядно, арест и суд неправедными казались. Но потом... Знаешь, кто помог прозреть? Иван! Не удивляйся. Оказывается, и плохое может на добро навести. Только ты его с Тряпицыным не равняй. Тот — враг, а Ванька — самодур. Чай, разница?..

Иннокентий не слышал его. Думал о Тряпицыне и не мог понять, почему тот, славя храбрым и властным, безропотно дал себя арестовать. Что это: удадь или страх? Признание вины и надежда на снисхождение? Может, наоборот, чувство правоты? А может, надеялся, что друзья спасут?

Он думал о Тряпицыне, а в глазах стоял Иван.

Днем сидеть в сарае было терпимо, настоящий солнечным теплом воздух проникал в дыры, а ночью, особенно когда дул низовик, зуб на зуб не попадал, и Иван кутался с головой в тулуп: дед Маркел разжалобился-таки, сунул эту одежонку часовому. Который день заседали штабники, но решения вынести все не могли. Это бесило Ивана: разбирать нечего — виноват.

Ему вспомнился Владивосток, служба в армии — все, что связано с Денисом...

Оказались они в одной роте, но сторонились друг друга — так было в деревне, так и в армии поначалу повелось. Денис рьяно службу нес. Хвастал: «Бесприменно унтера получу и полную грудь крестов заработаю!» Говорил громко, чтобы на нижние нары, в углу, до Ивана дошло. И Иван слышал, с ухмылкой принимал бахвальство и еще больше сторонился Долова.

Оказия произошла: заболел Иван и с месяц провалялся в дизентерийном бараке. О событиях в городе знал — товарищи весточки приносили. Выписался из

«нужника смерти», как окрестили солдаты дизентерийный изолятор, и с головой ушел в дело: исчезал из казармы на встречи с рабочими или в соседнюю часть, где вел агитацию. Возвращаясь однажды из самоволки, пролез в щель забора и наткнулся на часового. Глянь — Денис Долов! Опешили земляки. Первым пришел в себя Иван и неуверенно пошел мимо Дениса. С каждым шагом окрика ждал. Но Долов не остановил и, что самое странное, не доложил о нем начальству.

Как-то повстречались они возле каптерки — пришел срок сапоги менять. Вместо положенных новых получили ношеные, но еще без дыр. Сели переобуваться. Денис проворчал: «Кормежка ни к черту, а теперь и обувь с чужой ноги». Иван хотел смолчать, но не сдержался: «У некоторых, бывает, и голова с дядиногo плеча». После этого не стало ему прохода: куда ни пойдет, на Дениса наткнется. Это не сулило ничего хорошего, и он напрямую спросил: «Выслеживаешь?» Долов дрогнувшим голосом ответил: «Каша в башке, и что вокруг деется, не разберу». Он рассказал, как несколько месяцев назад, когда Иван находился в дизентерийном бараке, роту направили в док утихомиривать взбунтовавшихся судоремонтников. Сначала солдаты, разгоняя рабочих, орудовали прикладами, потом, выполняя приказ, пустили в ход штыки, стали стрелять.

На выстрелы прибежали портовики, матросы и, неизвестно откуда, появились бабы. Некоторые с ребятишками. Вой стоял невообразимый — солдаты не щадили никого, даже детей малых... «С тех пор в башке полная кутерьма. Против кого воюем?» — заключил Денис.

Сближались они быстро — понятливым учеником оказался Денис. Отдался новому делу целиком, без остатка, все поручения выполнял справно, даже, казалось, из кожи лез, чтобы свою преданность доказать. Радовался Иван, что земляка, да еще из богатеев, в революционное дело втянул. Но иногда жалила мысль: не ошибся ли, нет ли у Долова какой корысти? Ведь как ни крути, а чужого он роду-племени...

«Ты, можно сказать, за руку меня взял и на верную дорсгу вывел», — вспомнились сейчас слова Дениса. В горле запершило — невыносимо захотелось курить. Скинул тулуп, сел и, достав кисет, в который раз ощупал его — ни пылинки. Не выдержал и поднялся. Стукнул в дверь.

— Дай табачку на закрутку, — попросил часового, но ответа не последовало. — Спишь, что ли?

— Не до сна мне, — пробурчал часовой.

Иван признал по сиплому голосу бойца Щербатого — родом с Байкала, добрый мужик, общительный.

— Это ты, Щербатый? Закурить, говорю, дай.

— Не положено, — сказал, как отрезал, тот.

У Ивана лицо судорогой передернуло — не привык отказы слышать, да еще в таком пустяке. Хотел отругать партизана, но желание курить взяло верх.

— Дай хоть разок затянуться, товарищ!

— Не гунди! — строго ответил Щербатый и тихо добавил: — Волк тебе товарищ.

Как ни тихо сказал, но Иван услышал. От лица кровь отхлынула, и руки онемели. Побрел от двери, грохнувшись на тулуп и, чтобы не закричать, вцепился зубами в истертую овчину...

Скрипнула калитка, и тут же раздался радостный лай Шамана. Иван вскочил, подошел к стене и припал к щели. По двору шел Кешка, в ногах вертелся пес. Когда брат поравнялся с сараем, Иван окликнул его. Тот нахмурился, но не остановился. Понял Иван, что снова разговор сорвется, уйдет в дом Кешка, а он вновь будет в догадках мучиться. Взмолился:

— Прошу тебя, Кеша!..

Иннокентий задержался на крыльце, не поворачиваясь к сараю, глухо спросил:

— Чего тебе?

Иван прокашлялся и неуверенно начал:

— Негоже с приговором тянуть...

— Терпения наберись, — перебил его Иннокентий. — Привык, не разобравшись, сплеча рубить и на творил... Мы сообща все решаем — что штаб вынесет, то и получишь. На мое снисхождение не надейся — на расстреле настаиваю.

Иван понимал справедливость решения — заслужил, но слышать это из уст родного брата было не вмоготу.

— Слова своего не изменю, — твердо заявил Иннокентий. — Ответишь по всей революционной строгости. Помнится, сам к ней призывал?

Иннокентий повернулся к сараю. Из щели на него смотрели глаза Ивана: немигающие, большие, с красными прожилками на белках — от бессонницы и мук окровавились. Иннокентий еле совладал с собой — до того жалко стало Ивана. Тихо, но отчетливо сказал:

— Меня больше не окликай. Не положено нам с тобой частные беседы вести — братья, люди разное могут подумать.

Он скрылся в доме. Боец Щербатый, поправив винтовку на плече, прошелся вдоль сарая и усмехнулся: — Вот и покурил, Иван Игнатьич!..

Иван не слышал его слов, он не отрывал взгляд от закрывшихся за братом дверей и в который раз вспоминал, как его ввели в комнату, где заседал штаб, как Кешка дал ему наган и велел пойти в сарай — привести свой приговор в исполнение. Непоправимую промашку сделал тогда. Нужно было не возвращать наган Кешке, а без слов, на глазах у всех, дуло к виску — и делу конец.

За столом сидели Фотей и Иннокентий. На лавке возле окна примостился дед Маркел, рядом, положив голову ему на колени, вытянулся Шаман. Старик поглаживал его, будто и забот других не было, а сам прислушивался к тихому разговору друзей.

— Люди разные, — говорил Фотей, — и с разных мест прибыли. В душу не заглянешь.

— И кое-кто из наших с гнильцой, — вторил ему Иннокентий. — Так и глядят, у кого что плохо лежит.

— Наши-то не очень...

— А громовские? Сегодня у повитухи курам головы открутили, завтра по другим дворам шастать станут.

— С Гошкой на штабе поговорим, он и образумится.

— А по мне — без всяких разговоров из комвзвода!

— Думаешь, Гаврюха Горелый прав, круче надо с людьми?

— Снятия Громова справедливость требует!..

Они умолкли, видно, взвешивая последствия такого приказа. И дед Маркел затаился — последнего слова ждал.

— Снять всегда сумеем, — Фотей тяжело вздохнул, — только разве в нем одно дело...

Иннокентий отпрянул от стола и решительно заявил:

— Сход надо собирать, напрямки выкладывать и поименно всех на чистую воду!..

Открылась дверь, на пороге появился Елизар Ключкин.

— Доброго здоровьичка!.. — Снял картуз, хотел перекреститься, но, спохватившись, заговорил быстро,

сбивчиво: — К тебе, Иннокентий Игнатьич... Такое дело... Может, не ко времени, но вроде важное — как быть, не знаю...

Иннокентий поднял на него изумленные глаза — думал, еще какую-то пакостную весть принес. И Фотей насторожился.

— Выполнять старые приказы или нет? — спросил Клюкин.

Фотей глянул на Кешку и снова повернулся к Елизару:

— Какие еще приказы?..

Клюкин, опираясь на толстую палку, потоптался на широко расставленных ногах и извинительно заговорил:

— Жрать-то самим нечего, а тут, стало быть, по давнишним распоряжениям Ивана Игнатьича, семьям погибших партизан подсоблять велено...

Иннокентий не знал, что брат такую заботу проявил. Строго сказал:

— Исполнять неукоснительно.

— Слушаюсь!.. — Клюкин заторопился. — Я мужиков, что к охоте особо пристрастны, в тайгу направил — что принесут, тем и поделимся.

Он пошел к двери. Иннокентий, глядя на его согбенную фигуру, заметил:

— Отдыхать надобно, Елизар Матвеевич, еще не поправился. А вместо тебя другого начхозом временно поставим.

— Ни в коем разе! — резко повернулся Елизар. — О других заботу проявляй, ничего против не имею, а обо мне беспокойства не выказывай. Долг свой чту.

— Ну, гляди... — смягчился Кешка.

— Управляюсь! — твердо заявил Клюкин и, нахлобучив картуз, скрылся за дверью.

Друзья сидели насупившись, оба думали об Иване, но заговорить о нем не решались: спора не миновать, как бы до размолвки не дошло.

Дед Маркел разгладил усы, шмыгнув носом, робко начал:

— Я давеча вам об отлучении в тайгу Власа Варнакова доложил, а вот про Кузю не поведал...

— Голова и так кругом идет, а он со своим Кузей лезет!.. — не сдержался Иннокентий и вышел из комнаты.

— Извиняй, Маркел Трофимович, после доложишь, — мягко сказал Фотей и поспешил за другом...

Они шли к околице. Иннокентий, придерживая саблю, чтобы не бряцала, неожиданно сказал:

— Что-то не так делаем. Ты, может, и ни при чем, но с меня спрос должен быть.

— Ежели промашка имеется, и я в ответе.

— Кабы знать, за что отвечать!

— Давай помозгуем...

Из деревни донесся тонкий железный звон. Оба знали, что это Аксинья Ивановна Дыбова в кузнице работает. После гибели мужа Михайлы все кузнечные заботы на себя взяла. Ростом невеличка, и силенок мало, а возилась с железяками — тужилась, надрывалась. Восемь ртов в доме, как не надрываться.

— Коней надо подковать, почитай, половина некованых, — сказал Иннокентий.

— Справится ли?

— Подсобим.

Прошли овраг, по тропе поднялись на угор. Внизу разлился Амур: противоположный берег еле виден, островки, что родимыми пятнами посередине реки красовались, под водой скрылись, песчаная коса исчезла, прибрежный кустарник тоже затоплен — одни макушки торчат, будто на волю тянутся. Могучий поток местами бурунил, громко ворчал, кое-где крутил воронками. На какое-то время забылись Иннокентий и Фотей — залюбовались паводком.

— Баркасы пора готовить, — наконец сказал Иннокентий. — Скорее бы вода спала.

— Всему свой черед... — отрешенно протянул Стриганов, поглядел в сторону деревни и тронул друга за рукав.

Иннокентий повернулся. Овраг переходил боец Фомин: в руках винтовка, на плече солдатская скатка, за спиной худенький вещмешок. Иннокентий и Фотей поняли, что Фомин куда-то собрался, и удивленно смотрели на него. Тот неторопливо поднялся по тропе, встал перед командирами. Дышал тяжело — небольшой подъем дался ему с трудом. Лицо худое, серое, сизый нос казался чересчур темным, будто обгоревшим. Стоял, отдыхивался и глаз не поднимал — не то боялся, не то от стыда прятал.

— Извиняйте... — с трудом выдавил. Долго молчал, словно с силами собираясь. Наконец, решившись, протянул винтовку Иннокентию: — Отвоевался.

Иннокентий машинально взял винтовку.

— Помирать пойду... Не хочу обузой быть. Не хочу, чтобы муки мои видели. — Поправил лямки вещмешка, поудобнее уложил скатку на плече и спокойно добавил: — Ежели дезертиром посчитаете, стрельните в спину. В обиде не буду.

Он прошел мимо обомлевших командиров. Пройдя несколько шагов, остановился, повернул голову и, показывая на свою винтовку, которую держал Иннокентий, заключил:

— Из нее стрельните. С четырнадцатого не расстаюсь. Отлажена, бьет без промаха...

Он двинулся вдоль берега вверх по реке. Фотей и Иннокентий не отрывали глаз от его спины, которая, казалось, выпрямилась и напружинилась.

Когда Фомин скрылся за поворотом, Иннокентий тихо сказал:

— Скрутило мужика...

— Штаб надо собирать, — перебил его Фотей.

— Фомина обсуждать, что ли? Некого обсуждать, ушел он, — горькая обида душила Кешку. — Нету больше Фомина...

— Судьбу Ивана надо решать!

Иннокентий враз вскинулся:

— Так говоришь, будто я виноват! Давно настаиваю, а ты с Гаврюхой...

— Пошли!.. — прервал его Стриганов и зашагал к деревне.

Иннокентий шел сзади и ругался: всех штабистов перебрал — каждому досталось.

Не успели войти во двор Маркела, как навстречу им из дома выбежала Феня:

— Запропастились, окаянные, а ваши партизаны драку учинили!..

Оба опешили, а Феня продолжала:

— Двое, что у Козловых квартируют, в доловском дворе возле баньки насмерть быются! Оба с хозяйской дочкой, Симкой, забавлялись, да, видать, черед перепутали, вот и схватились!..

В деревне раздался выстрел.

— Этого еще не хватало!.. — испуганно прошептал Иннокентий.

Прогремел второй выстрел. Иннокентий сунул винтовку Фомина в руки Фени и стремглав пустился к огородам, чтобы коротким путем оказаться в бывшем дворе Доловых. Фотей побежал за ним.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Майские события во Владивостоке взбудоражили не только Приморье, но и весь Дальний Восток. Телеграф беспрерывно выстукивал спешные новости. Газеты всех толков пестрили сообщениями:

«Владивостокское восстание, возглавляемое братьями Меркуловыми, всепожирающим пожаром распространяется по городу».

«Генералы Вержбицкий, Молчанов, Смолин, Сахаров, поддерживающие Меркуловых, объединяют разрозненные каппелевские части в единый кулак. Смена власти неизбежна».

«На улицах Владивостока идут ожесточенные бои. Народоармейцы, областная милиция, матросы и рабочие отряды оказывают упорное сопротивление каппелевцам. Но силы неравные. Дни большевиков сочтены».

«Со стороны бухты Золотой Рог по направлению Гнилого Угла с нескольких барж высадился десант каппелевцев. Они заняли район Пушкинской улицы и Инженерное ведомство. Флаги Дальневосточной республики со зданий сняты и заменены на царские».

«Управление народной милиции разгромлено».

«Перестрелка в разных концах города прекращается благодаря вмешательству японцев, которые обезоруживают отряды милиции, матросов и рабочих».

«Народное собрание распущено. Создано Временное приамурское правительство. Председателем правительства избран С. Д. Меркулов».

«Меркулов объявил о роспуске всех демократических организаций и заменил их колчаковскими. Созвана городская дума состава 1919 года».

«Атаман Семенов со своим штабом прибыл на японском судне «Киодо Мару» из Порт-Артура во Владивосток. Каппелевцы встретили Семенова ружейным огнем. Пароход «Киодо Мару» вынужден выйти из порта и стать на внешнем рейде».

«Меркуловское правительство объявило Семенова государственным преступником перед русским народом».

«Городская дума обратилась к атаману Семенову с настоятельной просьбой покинуть русские воды».

«Казачья конференция, созванная во Владивостоке, лишила Семенова звания походного атамана».

«Семенов со своим штабом отбыл из Владивостока в Гродеково»...

В тайге вести разносятся быстро. Долетели они и до отряда Иннокентия Юрашина. Толки были разные (устный «телеграф» непременно обрастает вымыслами), но точно знали одно: Владивосток в руках белогвардейцев. В отряде, обсуждая текущий момент, понимали угрозу, нависшую над всем Дальним Востоком, — двигалось время новой кровопролитной борьбы.

В каждом доме хозяева и партизаны сидели допоздна — кто с керосиновой лампой, кто с лучиной, а кто впотьмах, судили да рядили, как жить дальше. И на улице стайками собирались, все о том же спорили. Одни настаивали на немедленном походе — нечего штабы просиживать, на подмогу к своим требуется поспешать; другие осторожность проявляли: не след сгоряча в омут бросаться; третьи в молчанку играли, слушали да хмурились, и было не понять, что у них на уме.

— Белогвардейские армии — это не банды Попова или Лысухи, — говорил Гаврюха Горелый. — И вооружены до зубов, и сыты, и обучены. К тому же большой опыт имеют — забывать, чай, нельзя.

Он лежал на топчане, рядом сидела Юлька. Бабка Стриганиха и мать Фотей Степанида занимались своими делами, в разговор не вступали, но ловили каждое слово: они, как и все, в тревоге пребывали. Деда Филимона дома не было — у друга Максима Максимовича находился, теперь там, у Громовых, собирались старики. И Фени не было. Она еще во дворе заметила Юльку, которая с узелком в дом шла, и вернулась в сарай — не придет, пока Юлька не уберется.

— Вся Россия от беляков и интервентов очищена, только у нас еще держатся. Теперича голову подняли, переворот устроили. Во Владивостоке небось все улицы от крови покраснели, большевики повешенными на фонарях болтаются, и фонарей, чай, не достается... Скапливают силы, на нас вот-вот двинутся, а мы, вместо того, чтобы к боям готовиться, в своих делишках, как в дерьме, увязли.

Юлька не сводила глаз с Гаврюхи, нравилось ей, когда он разговоры серьезные вел. Слушала со внима-

нием. А вернувшись домой, бабке Христинье и Верке хвастала: головастый у нее Гаврюша!

Горелый продолжал:

— Неразбериха в отряде — распустились мужики, болтают черт те что и хозяев забижать стали, а у тех самих жрать нечего. У кого крадут? У баб, которые зимой с нами последним делились. Говорил Кешке: бери круче, мужик, что животина, не только ласки, но и кнута требует. А он свое твердит: по-людски надо. И Фотей его линию поддерживает. Не понимают, что грабитель и контра — одна масть. Значит, разговор с ними должен быть один...

— погоди, Гаврюша... — робко перебила его Юлька. — Выходит, ты супротив дядьки Архипа, моего отца нареченного, пошел?..

— При чем здесь дядька Архип?

— Иван его контрой называл, у сарая к стенке ставил. И ты этого хочешь?

— Пока не спятил, соображение, чай, имею. Архип Никонович из порядочных, новые законы блюдет. Что же касается действий Ивана, раньше обстоятельно тебе объяснял — бдительность проявлял. Ну, с перегибом малость, только понять это можно — не для себя, а для общества старался. К тому же дядька твой не женского полу, родимчик, чай, его не хватал.

— А Дениса забыл?

Гаврюху будто огнем обожгло — враз испариной покрылся. Юлька, чуя свою правоту, продолжала:

— Получается, вы и беляки одно и то же делаете. Вон Ефрем, опять же дядька мой, чего творил? В детстве души в нем не чаяла, а теперича ненавижу. За лютость. И ты только про стенку говоришь, а раньше, помнится, другие речи вел. Прикидывался?

— Пойми ты, голова садовая, от грабежа до измены революции один шаг. И я не за то, чтобы кровь пускать, но уговоры не всегда помогают. Возьми, к примеру, Головина и Сомова, что у Козловых квартируют. Пальбу затеяли. Из-за бабы! Спьяну промахнулись, а ежели б друг в дружку попали? Отбредались: мол, не всерьез дрались, шутовали. Разве такое могло при Иване случиться?.. — Он приподнялся на локтях и уставился на Юльку, будто справедливость своих слов проверял. Снова опустился на подушку, сердито добавил: — Симка Козлова тоже хороша — обоих ласкала, что тряпка по рукам ходила.

Юльку охватил ужас. Тотчас вспомнился Сашок: притулился возле лавки, где она лежала, ластится... В голове зашумело, даже в сторону ее повело — чуть на пол не сверзилась.

— Тебе плохо? — в беспокойстве спросил Гаврюха.

Она не ответила, только сильнее вцепилась в края топчана. Гаврюха подумал, что стыдно ей, девчонке, такие разговоры слушать, и умолк. Молчала и Юлька, даже пошевелиться боялась, и Стриганиха со Степанидой старались не шуметь.

— Знаешь, об ком думаю?.. — неожиданно спросил Гаврюха и сам ответил: — Об нас.

— Чего же думать?.. — еле выговорила Юлька.

Он, ласково глядя на нее, прошептал:

— Ждать будешь?

У Юльки дыхание перехватило, и слезы на глазах навернулись.

— Оплакивать, чай, рано, — попытался улыбнуться он. — А ежели вправду убьют?

Она вздрогнула — никогда такое не приходило в голову. Слова Гаврюхи со щемящей болью въедались в душу, будто действительно его потерю ощутила.

— Об этом думать обязан, — приглушенно продолжал он, — особенно теперь. Война надвигается жестокая, и я не из железа сделан. Потому разговор с дядькой Архипом другим будет...

Юлька вовсе оцепенела — ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Он, видя ее состояние, стал торопливо пояснять:

— Раньше хотел о свадьбе сговариваться, а теперича не до свадьбы. Все виды на тебя выскажу, чтобы за другого не сосватал, а когда возвернусь, тогда поженимся. До тех пор не трону тебя — не хочу, чтобы ты вдовой звалась.

Как ни тихо говорил, но бабы его слышали — разжалобились и захлюпали.

— Война проклятушая!.. — гундосила бабка Стриганиха.

— За что напасть такая!.. — вторила ей Степанида.

Ранним июньским утром в отряд прибыл комиссар. Его сопровождали двое вооруженных мужиков, один из них был виден за версту — высоченный, сажень в плечах и с бородищей по пояс. К нему и подбежал Ин-

нокентий, когда ему доложили о приезде комиссара, схватил обеими руками его большую руку и принялся трясти, от волнения не находил слов. Великан неуклюже переминался, поглядывал на коренастого мужчину с желтым скуластым лицом, в длинной, почти до пят, шинели. А тот, попыхивая короткой трубкой, внимательно рассматривал Иннокентия. Пожав угловатыми плечами, обратился к высокому партизану:

— Не пойму, Кондратыч, не то вы его крепко держите, не то вырваться не можете?..

Партизаны захохотали. Иннокентий тоже смеялся. Человек в длинной шинели продолжал:

— Будем считать, что знакомство состоялось, — протянул Иннокентию руку. — Комиссар Дрозд.

Иннокентий был ошарашен — и тем, что принял за комиссара не того, кого надо, и тем, как тот назвался.

— Прозвище, что ли?.. — неуверенно спросил.

— Фамилия, — ответил комиссар. — Конечно, дрозд — птица отменная, у меня схожести с ней нет, но что поделаешь... А зовут Николаем Ивановичем.

— Ага... — нерешительно кивнул Иннокентий, еще не пришедший в себя.

Он ждал приезда комиссара, знал, что Лаврентий Петрович Шалда выполнит свое слово. Но никогда не думал, что тот пришлет такого, казалось, невнушительного человека. А он так надеялся!.. Другое дело Кондратыч — и вширь, и ввысь мужик удался, поди в самую большую дверь входит, согнувшись или приседая. А этот — низкорослый, с желтым до неприятности лицом, выпирающими скулами, словно костяными наростами, да еще с такой фамилией. «В насмешку дадена», — заключил Иннокентий, разглядывая комиссара.

Николай Иванович спросил:

— Про что думку гадаем, Иван Игнатьевич?

Парень вовсе растерялся, пожал плечами:

— Ни про что... К тому же я не Иван, а Иннокентий...

— Вот оно что! — оживился Дрозд. — А я думаю, почему такое расхождение с портретом, что мне Шалда нарисовал. Вы — брат Ивана Игнатьевича. Ну, что ж, тоже наслышан. А где командир?

Иннокентий потупился, но, тут же взяв себя в руки, выпрямился. Поправив в поясе рубаху, сказал:

— Я командир. Точнее, временно исполняющий его обязанности.

На лице комиссара появилось недоумение. Иннокентий молчал, не зная, как начать неприятный разговор о брате. На помощь пришел Фотей Стриганов — стал рассказывать, что произошло в отряде. Дрозд смотрел на лоснившийся на солнце Амур и беспрерывно посасывал трубку, которая не дымилась, а только издавала булькающие звуки. Когда Стриганов заговорил о заседании штаба, на котором разбиралось дело Ивана Юрашина, о разногласиях и спорах, комиссар перебил его:

— Решение?

— Разжаловали в рядовые. Приговор отложили. Разбирая текущий момент, понимали, что отряд непременно пойдет на Хабаровск, об этом еще Лаврентий Петрович говорил, значит, встреча с ним неминуема. Вот и решили: Шалда оставил Ивана в командах, перед ним и держать ответ Ивану. Он подвел Шалду, не оправдал его доверия, а авторитет Лаврентия Петровича известен всем...

— Это ваше предложение? — повернулся к Иннокентию Дрозд.

— Нет, — твердо ответил тот. — Я настаивал на расстреле.

— Я это предложил, — сказал Фотей. — В смерти Дениса Карпыча Долова мы все виноваты. Не разобрались в фактах, которые были уликами против него. Трудно было разобраться, хотя, повторяю, вины с себя не снимаем.

Комиссар сжал кулак, выбил трубку о толстый, ребристый ноготь большого пальца и тут же достал кисет и зажигалку, сделанную из гильзы винтовочного патрона.

— Надеетесь на милосердие Шалды? Насколько я его знаю, пощады в таких случаях от него не бывает.

— Никто на милость не рассчитывает. И Иван понимает, что его ждет... — Иннокентий говорил спокойно, но на Дрозда не глядел — вовсе разонравился ему этот человек.

До дома Маркела, где должен поселиться комиссар, шли гурьбой. Партизан, что прибыл с комиссаром и Кондратычем, рассказывал, как в одном из хуторов, где им пришлось заночевать, на них напали бедовые люди.

— Ограбили али как? — спросил Фотей.

— Али как!.. — ответил партизан и звонко засмеял-

ся. — Кондратыч одного поднял и со всего маху в окно — вместе с рамой вылетел!..

Мужики громко хохотали. Только Иннокентий даже не улыбнулся, искоса поглядывал на Дрозда, который попыхивал носогрейкой и о чем-то сосредоточенно думал. Несогласие свое относительно судьбы Ивана почти впрямую высказал, во всяком случае понять это было нетрудно, но сейчас думал о другом — что-то более серьезное и, может быть, опасное занимало его.

Вошли в дом Маркела. Хозяин приветливо встретил гостей, извинился, что особо попотчевать нечем, но самовар поставил. Расположились на лавках. Мужики стали задавать вопросы комиссару, но дед Маркел остановил их:

— Во всем порядок должен быть. Отдохнуть с дороги требуется, а потом уж и разговоры пойдут, — и он без стеснения показал мужикам на дверь.

В комнате остались Дрозд, Кондратыч с напарником, дед Маркел и Иннокентий. Парень нервничал, то и дело хмыкал да теребил темляк — того и гляди оторвет.

— Тогда и я опосля зайду... — неуверенно сказал и направился к двери.

— Как отнеслись партизаны к решению штаба? — остановил его голос комиссара.

Иннокентий понял: речь шла об Иване. Схода по этому поводу не было. Зело спорили тогда штабисты: одни на сходе, на всенародном обговоре настаивали, другие несогласие высказывали. Гошка Громов предложил: командиры объявят о принятом решении по своим взводам — и делу конец. Наган Северьяныч Ковригин поддержал: сход собирать — только воду мутить, а она и так взбаламучена. На том и порешили. Разъяснили заключение штаба во взводах — тихо приняли, без оговоров. А потом, также тихо, слухи поползли... Только сейчас понял Иннокентий, какую ошибку совершил: не убедил штабистов, не настоял на сходе. Впрочем, он и не пытался это делать — товарищи спорили, а он молчал. Боялся за Ивана: не дай бог, фортель какой-нибудь на сходе выкинет. И радовался решению штаба... Он решительно шагнул к комиссару — хотел признаться во всем, но дед Маркел опередил.

— И то и се гуторят... — хитро улыбался он. — Как говорится, у кого какой ум — с вершок али поболе...

Николай Иванович понял уловку старика — выражает Иннокентия, и спросил:

— Схода не требовали?

— Ни-ни!.. — дед развел руками, словно в пляс хотел пуститься. — Живем тихо...

— Тогда мы его сами соберем, — заявил Дрозд, сунул трубку в карман гимнастерки и, застегивая шинель на все пуговицы, обратился к Иннокентию: — Не возражаешь, командир?..

Иннокентий не знал, что тот задумал, но был уверен: себе на уме комиссар, и поблажек от него не будет. Одного понять не мог: почему в такую жару укутается в шинель?..

Никогда еще не собиралось столько людей на сход — весь пустырь за кузницей заполнили. Иннокентий стоял возле подводы — не стал забираться на нее, говорить будет комиссар, так что незачем с ним рядом попусту маячить. Дрозд рассматривал людей, и они разглядывали его: кто с удивлением, кто с улыбкой, а кто и с недоверием — мудрово глядели. Иннокентий понял: мужиков смутил вид комиссара, и он пришелся им не по нраву.

— Начинай уж, вомуль!.. — раздался крик.

По толпе волной покатился смех. Иннокентий по сиплому голосу признал Щербатого — с низовьев пришел, а родом с Байкала, потому и вставлял рыбу омуль во все шутки-прибаутки.

— Можно начать, — без тени смущения или обиды сказал комиссар. — Только сперва должен представиться — Николай Иванович Дрозд...

Заслышав его фамилию, мужики дружно загудели, и в этом протяжном галдении была явная издевка. Дрозд, не обращая внимания на мужицкую выходку, спокойно продолжал:

— Прибыл из Хабаровска, назначен к вам комиссаром. А начну с главного...

— Только не ври, мы брехунов на вешалах вялим!.. — прервал его тот же сиплый голос.

Кое-кто из мужиков гоготнул, но масса не поддержала их. Иннокентий озлился: «Вовсе обнахалился Щербатый!» А комиссар говорил:

— Я тоже болтунов не жалую, так что приступим к делу. — Сунул трубку в карман и громко объявил: —

О текущем моменте на Дальнем Востоке...

Николай Иванович стал рассказывать о владивостокском мятеже. Партизаны слушали его со вниманием, и сельчане ловили каждое слово. Только Иннокентий поначалу был настороже — мешала манера Дрозда то растягивать слова, то говорить резко, отрывисто, но мало-помалу привыкая к его речи, всецело ушел в рассказываемые события.

— Мне кажется, товарищи, нельзя рассматривать владивостокское восстание как что-то отдельное, обособленное и стихийное. Это закономерное звено восстаний и мятежей, подготовленных врагами Советского государства, результат буржуазной политики «взрыва изнутри». Что же предшествовало этому восстанию?.. В свой приезд к вам товарищ Шалда информировал вас о положении в России. Вы знаете о бунтах и мятежах, охвативших нашу страну. Сегодня к ним прибавляются новые. В начале мая белогвардейцы одновременно — что доказывает незримое руководство извне — выступили в направлении Верхнеудинска, Семипалатинска, Барнаула и Бийска. В Туркестане активизировали свои действия басмачи. Подняло голову сибирское кулачество. Как сами понимаете, чтобы противостоять таким бандам, нужна сила, и немалая!.. Все это способствует мятежникам во Владивостоке, они хорошо знают, что действия Красной Армии и рабочих дружин скованы восстаниями в России. Меркуловское правительство пользуется создавшимся положением и пытается заграбастать весь Дальний Восток. Поход белоповстанческой армии на Хабаровск предопределен, и вы, товарищи, должны знать — беда рядом!..

Партизаны стали задавать вопросы. Их интересовало буквально все: положение жителей Владивостока, судьба флота, численность и вооружение белой армии, генералы-предводители, поведение японцев. Ответы комиссара были прямыми и откровенными. Иннокентий дивился: получалось, белоповстанческое движение приняло такой размах и имеет такую силу, что совладать с ним невозможно. Даже зябко стало парню. Сокрушался: напрасно комиссар говорит так о вражеской мощи, хочешь не хочешь, возвышает ее — такими речами боевой дух голодных и оборванных не поднимешь. Может, стоило, не преуменьшая опасности, кое-что недосказать, тем самым вдохнуть в людей веру в победу. Они и без того много натерпелись... Ему почудился Ва-

сий Никонович. Помнится, слушая его, боялся пропустить словечко, когда было непонятно, переспрашивал — до всего хотел докопаться, уразуметь, и постепенно, шаг за шагом, осваивал немудреную и в то же время непомерно сложную науку о правде. Почему же тогда, уверовав в правду, не мыслил жизни без нее, а сейчас забоялся?.. Он смотрел на серьезные, озабоченные лица партизан, и душевная тревога не покидала его.

Кто-то спросил об атамане Семенове — его, по слухам, не принял мятежный Владивосток.

— Да, это так, хотя, на первый взгляд, изгнание атамана Семенова может показаться странным. Давайте разберемся... — Комиссар достал из кармана давно погасшую трубку, подержал ее во рту, будто делая затяжки, снова сунул в карман. — Меркуловское правительство считает Семенова помехой в своих делах, зверствами на русской земле атаман снискал худую славу. К тому же нор его известен: властолюбец — всех подомнет. И, очерняя его, меркуловцы как бы заранее обеляют себя. Но не только в этом дело, товарищи!.. Атаман Семенов давно нашел общий язык с японцами — еще в Забайкалье снюхались — и за пособничество самураев заранее отдал, а точнее, продал им Дальний Восток. Меркулов же за крупные барыши обещал Курилы и Камчатку американцам. Как видите, за спинами главарей стоят могущественные державы, которые грызутся между собой за русские земли. И не случайно после неудачного владивостокского переворота в марте японский министр Танака приказал увеличить свои войска в Сибири на десять тысяч человек, и уже в апреле во Владивосток прибыла девятая японская дивизия. Для чего? Японцы, зная о сговоре Меркулова с американцами, спешили усилить свое присутствие на Дальнем Востоке. А после майского восстания они поддержали Меркулова, надеясь, что в новое правительство непременно войдет и Семенов. Тогда вопрос решился бы просто: Семенов, убрав Меркулова, возглавил бы Приамурское правительство и неминуемо признал протекторат Японии. Такого не могли допустить американцы. И вот меркуловцы объявили настоящую войну семеновцам, и мы знаем, что сегодня верх остался за Меркуловым. Он ведет торги и с американцами, и с японцами, без зазрения продает нашу дальневосточную землю. Семенов же сидит в Гродеко-

во, выжидает. Он уверен: рано или поздно каппелевские генералы придут к нему с поклоном. Тогда он будет диктовать свои условия. И опять же империалистические державы не останутся внакладе. А сейчас они стремятся закрепить сферы влияния на тихоокеанском побережье России, идет, так сказать, мирная захватническая колонизация...

Иннокентий слушал комиссара, а из головы не выходил Василий. Вспоминалась та ночь, когда они вели разговоры в сарае. Во всем Василий оказался прав — предвидел события, предостерегал, открывал глаза Кешке.

— В Хабаровске-то, в Хабаровске что?! — нетерпеливо выкрикнули из толпы.

— Хвастать нечем... — понизил голос Дрозд. — В селах чума косит скот, особенно пострадали украинские слободки, где отмечен поголовный падеж. Эпидемия распространилась и на Хабаровск. Средств борьбы не хватает, гибнет не только скот, но и люди — к сожалению, подобные случаи участились. Усугубляет тяжелое положение нехватка продовольствия — город голодает. Пользуясь создавшейся обстановкой, контрреволюция активизировалась — участились диверсии, поджоги, взрывы. Население терроризировано. Приказом Флегонтова, командующего Хабаровским укрепленным районом, в городе введено чрезвычайное положение.

По толпе прошел ропот, и тут же раздался крик:

— Може, пока ты нас просвещаешь, там беляки власть взяли?!

— Такого не случится, товарищи!

— Во Владивостоке-то случилось!

— Там мятежников поддержали японцы, своими штыками народную власть опрокинули. В Хабаровске, как вы знаете, японских войск нет, и хотя у контрреволюции зубы острые, Народно-революционная армия контролирует положение в городе. И партизанские отряды под Хабаровском готовы в любую минуту прийти на помощь. А мы с вами зачем?

— Верно! — просипел Щербатый. — Поможем во-мудей зажарить!

— И свои головушки сложим!.. — пискляво заметил его сосед.

Щербатый глянул на него и, сморщившись, будто горькую отраву проглотил, сказал:

— Свою не жалею, в ней мякина да требуха, такая без надобности!..

Комиссар обвел глазами толпу, призвал:

— Высказывайтесь, товарищи!..

Мужики недоуменно переглядывались, с опаской выжидали на комиссара — не понимали: чего он от них хочет. Дрозд достал трубку и кисет, растянул шнуровку и принялся неторопливо набивать трубку табаком. Улыбчиво спросил:

— Как живете, о чем думаете?..

— От наших разговоров с подводы свалишься! — крикнул кто-то из задних рядов.

— Сдюжу, я ко всему привычный, — не повышая голоса, ответил Николай Иванович и, достав зажигалку, стал прикуривать.

Мужики глухо переговаривались — никто не решался выступить первым.

— Эх, мать твою!.. — сплюнул мужик с черной щетиной на щеках, прихрамывая, пробрался к подводе и залез на нее. Задрав рубаху, шаркнул ладонью по впадине животу и показал на свои худые, перехваченные веревкой, ботинки. — Погляди, комиссар, до какой срамной жисти дошел боец революции — и живот пуст, и обувь каши просит. Вот оно то самое светлое будущее, обещанное нам в семнадцатом! В раю пребываем — сладкими речами кормимся, в красные слова обуваемся. А дальше что? А дальше нас сызнова в бой призывают — последний и решительный. Когда он будет — последний?! Почитай, четыре года за Советскую власть бьемся, а она везде опрокидывается!..

Иннокентий побелел — никогда не слышал таких речей от партизан. Задрав голову, смотрел на черное, будто вымазанное сажей, лицо бойца Кочкина — сразу его признал. Прибыл Кочкин с низовьев, когда еще Федор Лапоть пополнение привел. Тихим мужиком слыл, неразговорчивым, а теперь вдруг прорвало — на всю деревню слышен. И мужики не сводили глаз с черномазого — замерли, затаились, словно перед прыжком.

— Докель такое терпеть?.. — продолжал Кочкин. — У комиссаров кишка тонка — не могут удержать власть, а мы за то расплачиваемся. Голод животы стянул, страх горло стиснул — не знаем, то ли от беляцкой, то ли от своей пули подохнем!..

— Заговариваешься, Кочкин! — выкрикнул Гошка Громов.

— Как на духу выкладываю! И ты, друг любезный, знаешь, о чем речь веду, али запамятовал?.. — Кочкин многозначительно помолчал, вдруг заорал: — Конеч надобно войне объявить! По домам пора! Досыта навоевались!..

Люди враз зашумели, раздались голоса:

— Долой войну!

— К семьям пойдем!

— По домам, братва!..

Иннокентий смотрел по сторонам и ничего не понимал: кругом вроде те же люди, что были и раньше, и в то же время не те — будто подменили мужиков. А шум нарастал, отовсюду слышались недовольные выкрики.

Кочкин неторопко подошел к краю подводы и, опираясь на винтовку, спрыгнул наземь.

Комиссар, посасывая трубку, спокойно глядел на кричащую толпу и даже, казалось, улыбался, словно ему по нраву пришелся людской гнев.

На подводу с трудом забрался Натан Северьяныч Ковригин и растерянно глазел по сторонам. Мужики — не то из уважения к бывалому солдату, покалеченному еще на японской, не то от удивления, что тот собрался речь держать, постепенно успокаивались.

— Никогда не говорил перед народом... — будто извиняясь, развел руками Ковригин. — Може, что не так выскажу, но сдается мне...

Он умолк — не находил слов. Послышались голоса:

— Язык проглотил, что ли?

— Чего сдается, толкуй!

— Ему толковать легко — дом есть и баба при нем!..

— Разве о том речь?.. — осерчал Натан Северьяныч и более уверенно продолжал: — Не только о своей избе надобно разговор вести, хотя, конечным делом, о ней забота должна иметься. Но мне сдается, сегодня о всей России думать надлежит. Неужели мы ее кинем на съедение белякам да япошкам? Как хотите, но нет у нас права по домам расходиться. Не по-русски это!

— Золотые слова! — во всю глотку закричал дед Маркел. — До конца пойдем!

Кое-кто из мужиков поддержал его. Ковригин ожил:

— Подводить Советы никак нельзя, и себя срамить негоже... Вот тут Кочкин сказал, что четыре года за

Советскую власть бьется, а она опрокидывается. Так, може, мы плохо за нее бьемся?

— Нашел крайних! — визгливо крикнул мужичок, стоявший рядом со Щербатым. — Я с четырнадцатого воюю — то за царя, то за Временное, то за Советы, а жизнь все одно подлючая!

— Кровью харкаем! — раздался за спиной Иннокентия голос Кочкина.

Иннокентий резко повернулся, но Кочкин, пригнувшись, спрятался за мужицкие спины.

— Верно, жизнь несладкая, — продолжал Ковригин, — потому и воюем. За другую жизнь воюем, чтобы не одним богатеям, а всему голодному люду стало сытно да вольно. О такой жизни я еще в девятьсот четвертом под Порт-Артуром мечтал. Не скрою, не своей головой дошел, а Игнатий Юрашин, отец нашего командира Иннокентия, и Дмитрий Копытин образумили. Игнатия самураи убили, а Дмитрия... — Голос его дрогнул. — Сами знаете, куда делся Дмитрий... Под лед с нашими сотоварищами...

Наступила тишина, только слышалось чье-то тяжелое дыхание.

— Они жизни свои за нас, а мы в кусты?.. — заключил Натан.

Мужики насупились: в больное место бьет Ковригин. Иннокентий облегченно вздохнул — показалось, что все самое страшное позади. Тишину нарушил злой басок Макара Букина:

— Нас горе тоже не обошло!..

Иннокентий видел, как Макар, расталкивая мужиков, тяжело вышагивал к подводе. Хотелось крикнуть, остановить, но сдержался: не к лицу командиру рты затыкать партизанам, да и не заткнуть теперь. «Сам виноват, сам! — казнил он себя. — Раньше надо было сход собирать. Раньше!..»

— Слазь, Северьяныч, ты свое слово молвил, теперича я выскажусь... — Букин сменил на подводе Ковригина и обратился к народу: — Каждый из нас голову имеет, значит, и разумение у каждого свое. Я эту самую войну так понимаю... — Он показал на стоявшего рядом комиссара. — Товарищ говорил про партизанские отряды под Хабаровском и про Народно-революционную армию — держит, мол, она контроль в городе. Пусть держит, ей положено так, и партизан там наверняка поболее нашего. Под Владивостоком небось тоже

в отряды собираются. Вот и нужно каждым свои места оборонять. Мы, к примеру, пройдемся по деревням, всякую контру изничтожим и сызнава сюда вернемся. И там — в Хабаровске и Владивостоке — пущай спуску гадам не дают. Так сообща всех беляков одолеем...

— Не сообща, а порознь получается! — не выдержал Фотей Стриганов. — А порознь не одолеем!

— Видал!.. — Макар потряс в воздухе большим кулаком. — Две банды под корень разбили! И еще, кто сунется, разобьем!.. Нас агитировать не надо, дураков больше нет — по горло нахлебались. Дальше своих мест не пойдем и защитить их сумеем!..

— А как мне быть? — подал голос Щербатый. — Я с Байкала!..

— И мой дом, промежду прочим, далече! — выкрикнул кто-то.

Макар на какое-то время растерялся. Озлившись, закричал:

— Вот и проваливайте отсель!

Люди, ошарашенные таким заявлением, замерли в недоумении. Одни приняли слово как обиду — сколько времени за одно дело бились, а их вдруг гонят; другим эти слова пришлись по сердцу — истосковались по родным, вот и всколыхнулось затаенное. Мало-помалу приходя в себя, мужики зароптали. И тут раздался спокойный голос комиссара:

— Согласен!

Иннокентий даже вздрогнул — не ожидал такого поворота, и пристально смотрел на комиссара. Тот продолжал:

— Все по домам — каждый в свою сторону! И партизан, что под Хабаровском стоят, распустим. И народоармейцев — по домам! Пускай белоповстанцы в кулак собираются, полки да дивизии формируют, а мы — вразброд!

— Шуткуешь, дядя! — крикнул Гошка Громов. — Нас поодиночке всех перещелкают!

— Так вы этого и хотите! — повысил голос Дрозд. — Штыки в землю — и конец войне, конец кровопролитию!

— Врешь! — оборвал его Громов. — Напраслину на всех не возводи. Здесь люди, кроме Макара Букина, с мозгами имеются!

Толпа враз загудела — одни в одобрение, другие в несогласие. Гошка быстро пробрался вперед, вспрыгнул на подводу.

— Не в ту степь поехали товарищи-граждане!.. — Он погрозил кому-то в толпе и повернулся к Букину, по-прежнему стоявшему на подводе: — Отгуторил, Макарушка! Слазы!..

Букин зло глянул на Гошку, хотел что-то сказать, но тот подтолкнул его к краю подводы. Спрыгнув на землю, Макар недовольно пробурчал:

— Все одно из дома своего не уйду!

Гошка тут же откликнулся:

— Сиди, держись за бабьи титьки, но людей не баламуть!

Макар от злобы побагровел, ненавидящими глазами сверлил Громова, а тот, не обращая на него внимания, расправил в поясе рубаху и громко заявил:

— Такие речи, товарищи-граждане, я уже слышал. Родитель мой куркулиные взгляды свои мне вдалбливал, чтобы я, красный партизан, только свой дом стерег и дальше забора не шастал. Я по недомыслию полагал, один он такой. Ну, разругались вдрызг — и по сторонам разбежались. Оказалось — не один! Цельное общество завелось. По темным углам рассуждения разные ведут, сговариваются, как животы свои спасти! Только, думается, не в одних животах тут дело!..

Он умолк, острыми глазами оглядывал присмиривших людей. Комиссар, попыхивая трубкой, смотрел на Громова — не то разглядывал, не то мысли парня хотел угадать. Гошка выбросил руку вверх и выкрикнул:

— Изменой пахнет!

Говор волной прокатился по толпе, затих, и тут же лязгнул затвор винтовки.

— Пристрелю суку! — истошно заорал Макар.

На него навалились мужики, подмяли, отняли винтовку. Макар, исподлобья глядя на Гошку, прорычал:

— К контре меня не причисляй! Я ее бил и буду бить!

— Разве я супротив? — как ни в чем не бывало отозвался тот. — Бей, я подсоблю. И к контре тебя не причисляю, о шептунах речь веду, к которым ты, Макар Кириллович, отношения не имеешь.

Букин понимал, что Гошка издевается над ним, но не нашелся с ответом. Громов, обращаясь к народу, продолжал:

— Так что, товарищи-граждане, всем шептунам требуется язык укоротить, чтобы дальше зубов не высывался, а то огрех выйдет — отрубим!

— Это ты про папашу своего? — спросил дед Маркел.

— Он к партизанскому отряду касательства не имеет, пушай его домашний суд разбирает. А моя линия твердая: покуда в политическом смысле не образумится, мира меж нами не будет!

Послышались смешки. Гошка вскинул руку:

— Спокойно, товарищи-граждане! Об отце я промежду прочим рассказал, чтобы другие на ус намотали. А сейчас разберемся, к чему нас Кочкин призывал. — Он пошарил глазами по толпе и, не найдя черномазого партизана, продолжал: — Сволочь ты, гражданин Кочкин, притом настоящая и что ни на есть вонючая! Раньше тишком свою пропаганду сотоварищам нашептывал, а нынче осмелел — в голос к разброду призываешь! При Иване Игнатьевиче, когда тот командиром был, нишкнул, тише воды и ниже травы был, приказы беспрекословно выполнял, а теперича евоной крови требуешь? Не выйдет! У него, окромя промашек и загибов, еще и заслуги имелись. Ежели ты о том забыл, то мы помним и в обиду его не дадим! Все, кто крови нашего бывшего боевого командира хочет, зарубите на носу: от карающей пули никому не уйти!

— Напугал, аж штаны замокрели! — крикнул кто-то, и тут же еще голос:

— Выходит, ему можно было пускать невинную кровь, а евоную, собачью, нельзя?!

Громов краской залился, схватившись за кобуру, заорал:

— А ну, кто это сказал, выходи вперед!

— Не стражай, не из пугливых! — отмахнулся Щербатый.

Его поддержали мужики:

— На Кочкина лаешь, а сам наганом балуешь!

— Нахрапом берешь!

— Слазь с подводы, холуй!..

Поднялся гвалт — слов не разобрать, и взбудораженные мужики плотным кольцом двинулись на подводу. Кто-то дотянулся до Гошки, схватил за ноги. Он попытался отбиться, но его стащили с подводы, бросили наземь, потом подняли вверх и, как куль, стали передавать по воздуху к задним рядам.

Изумление и ужас охватили Иннокентия, голова разламывалась от людского ора. Его прижали к подво-

де — от боли зарябило в глазах. Казалось, еще мгновение — и подводу поднимут, как только что сделали с Гошкой, и начнут передавать ее по рядам... Вдруг почудился боец Фомин: стоит на берегу, про болезни говорит, а сам глаза прячет. И дома у Жмыховой ни разу не глянул на него. Иннокентий только сейчас понял, что вовсе не из-за болезней ушел Фомин: видел, что случилось с отрядом, знал про недовольства партизан и, как бывалый солдат, чуял беду. Фомин не хотел быть свидетелем беспорядка, а может быть, бунта, и ушел из отряда... Иннокентию стало страшно — и от своей вины, и от гнева, охватившего сейчас людей. Умоляюще глянул на комиссара, будто в нем было спасение, но тот по-прежнему стоял не двигаясь и невозмутимо попыхивал трубкой. Его непонятное спокойствие вызвало у парня ярость. Стиснув зубы, уперся в край подводы и что есть силы надавил на стоящих сзади мужиков. Удалось высвободить ногу, и он закинул ее на подводу.

— Подсоби! — крикнул в лицо Фотею.

Тот понял его, прокричал что-то Натану Ковригину, и они, тужась до красноты, пытались оттеснить наседавших сзади людей. Иннокентий, преодолевая боль, высвободил вторую ногу, взобрался на подводу, вскочил и, выхватив наган, стал стрелять в воздух. Толпа отшатнулась, некоторые мужики упали, на них повалились другие. Ор оборвался. Воспользовавшись мгновением, Иннокентий во всю глотку заорал:

— Очумели?!

Мужики удивленно, а кто и испуганно, воззрились на него — впервые видели таким разъяренным: лицо перекошенное, глаза дикие, в руке наган — того и гляди в людей палить станет.

— Хотел с вами по-хорошему, по-людски, думал, поймете и поддержите, а вы... — Горькая обида сдавила горло, еле совладал с собой и снова гневно заговорил: — Чем платите? Без кнута и палки не можете, что стадо в стороны шарахаетесь. Красными партизанами зоветесь, а до какой несознательности дошли! По ночам в крестьянских закутах шарите, детишек, что с голоду пухнут, обворовываете! Уподобились, совесть в грязь втоптали! А теперь бунтовать? Услышали о силе беяцкой и медвежьей болезнью занедужили. Пускай, мол, Советская власть сама себя обороняет, а мы по печкам разбредемся. Своей заднице тепло, а что

вокруг разор и смерть — плеваты! Не отсидитесь, и до вас доберутся белопогонники и самураи. А что они делают с нашим братом, знаете. Или пощады попросите, сапоги ихние лизать станете?..

Мужики, обескураженные страстной речью командира, — никогда еще так не выступал, — стояли понурые. И бабы, сбившиеся в косяк возле кузницы, обомлело глазели: дивились переменам в парне. Он сунул наган в кобуру и зычно продолжал:

— Четыре года Советская власть из сил выбивается, но не сдается! Это понимать надобно и в панику не впадать, раздор не сеять. И покуда меня с командиров не сняли, заявляю громогласно, чтобы все до единого слышали: разброду в отряде не бывать! Силком вас никто сюда не тянул, сами пришли. Кто струхнул — скатертью дорожка, за штаны держать не станем. Кто же сознания правильного, тот, живота не жалея, биться будет за Советскую власть, чтобы она выпрямилась во весь могучий рост и стала не по зубам интервентам и белякам!

— Верно говоришь! — выкрикнул кто-то.

— Коли верно, значит, послушанию в отряде пришел конец. И грабежам тож! Кто впредь посмеет хозяев забижать, того сам народ осудит, и никто из бойцов не посмеет слово защитное молвить! Все едины, все равны, никому поблажек не будет — иначе службы партизанской не понимаю. Особый спрос с командиров — взыщется вдвойне!.. — Он перевел дух и более приглушенно объявил: — За грабеж, проявившийся в краже кур у повитухи, комвзвода Громова с должности снимаю!

Люди от неожиданности охнули. Гошка, стоявший позади толпы, надрывно закричал:

— Произвол! Я за Советскую власть нещадно бьюсь!

— Врешь! — оборвал его Иннокентий. — За Советскую власть бьются чистыми руками!

— Не смеешь!

— Смею! И впредь жуликам послабления не дам. А ежели тебе не по нраву в рядовых революции ходить — из отряда вон! Ступай к своему родителю, который напраслину на бойцов возводит и Советскую власть почем зря костерит!..

Гошку в жар кинуло — стоит краснющий, воздух судорожно глотает и слова выдавить не может. Боец

Кочкин растолкал мужиков, вперед вылез и, вскинув глаза, заявил:

— Быстро, командир, лихом обзавелся! По чужим головушкам слезу не уронишь. А родимого грудью прикрыл?

— И про брата скажу, не застесняюсь! — бросил ему Иннокентий, оглядел строгим взглядом мужиков и продолжал: — Вина на бывшем командире отряда, стало быть, на моем брате, лежит большая...

— Кровь другу пустил и в ус не дует! — прервал его Кочкин.

— Решение штаба вам известно, — повысил голос Иннокентий. — И я подчинился этому решению, хотя настаивал на расстреле, это все штабисты подтвердят. Мнения своего не изменил и по прибытии в Хабаровск непременно его Шалде выскажу.

— До тех пор много воды утечет, — не унимался Кочкин. — Глядишь, местами сызнова поменяетесь!

Иннокентий сжал кулаки и сквозь зубы выдавил:

— Крови хотите? Мало ее в боях льется... — Вдохнул полной грудью, как струна, выпрямился и зычно сказал: — Брата выгораживать не намерен, только не он один в смерти Дениса Карпыча Долова повинен. Тогда приговор вам зачитали и вы тихой сапой его приняли, а теперь виноватых ищите? Будь по-вашему!..

Он стал выкликивать пофамильно штабистов, и те, выходя к подводе, становились в ряд, лицом к толпе.

— Перед вами штаб, вами выбранный, значит, от вас получивший полномочия на все решения. От вас и смерть примет за роковую ошибку! Я на том заседании отсутствовал, но от штаба себя не отделяю и приму ваш приговор как должное! Есть еще Гаврюха Горелый, в стригановском доме израненный лежит, так вы его к постели штыками! Упейтесь кровью, коли так жаждете!..

— Меня забыл! — закричал Гошка Громов и, расталкивая мужиков, двинулся вперед. — Я в штабистах числился и за решение голосовал. Стреляйте и меня!

Он пробился к подводе и встал в ряд со штабистами. Иннокентий, не мигая, смотрел на мужиков. Призвал:

— Кто за расстрел штаба, голосуйте!

Никто не шелохнулся, только сотни глаз вперились в Иннокентия. Первым пришел в себя боец Щербатый, крикнул и просипел:

— Живоглоты мы, что ли!.. — И тут же обратился к Дрозду: — А ты, комиссар, что думаешь по этому поводу?

Сотни глаз метнулись с Иннокентия в сторону, на стоявшего на другом краю подводы комиссара. Тот поежился, будто от озноба, вынул руки из карманов шинели и, сделав пару шагов, встал рядом с Иннокентием.

— Мне, как сугубо военному, решение штаба или приказ командира обсуждать не положено. Твердо обещаю одно: по прибытии в Хабаровск бывший командир отряда Юрашин Иван Игнатьевич будет сдан в военный трибунал.

По толпе пробежал ропот, кто-то даже матюгнулся — не то с досады, не то в удовольствие.

— Что же касается анархии в отряде, — продолжал комиссар, — виновных искать не будем, боюсь, много отыщется. К тому же вы, товарищи, отныне начинаете новую и по-настоящему воинскую жизнь. — Достал из внутреннего кармана шинели лист бумаги, развернул его и показал бойцам. — Вот приказ командующего Хабаровским укрепленным районом о преобразовании вашего партизанского отряда в Особый Амурский отряд Народно-революционной армии!

Наступила необыкновенная тишина, и Иннокентию казалось, что воздух, раскаленный солнечным жаром, звенел, и этот звон назойливо лез в уши. Комиссар говорил:

— Приказ приказом, а всем надо хорошо подумать. Завтра утром общее построение, значит, срок — до утра. Кому невмочь, пусть уходит, преследования и осуждения не будет. Но кто останется, знайте: послушанию не бывать, дисциплина строгая и закон суров, согласно военному положению.

— На Хабаровск идем, что ли? — выкрикнул мужичок, сосед Щербатого.

— Придет срок, и на воссоединение с главными силами двинемся. Только звание Особого Амурского нам неспроста дается. Белоповстанцы пойдут из Владивостока на Хабаровск, а вот о чем думают японцы в Николаевске, нам неведомо. Может, тоже начнут наступление на Хабаровск? Наша задача: не пропустить по Амуру ни одного катера, ни одного самурая. Как понимаете, дело не из легких, большой кровью может обернуться, поэтому повторяю: подумайте крепко! Срок — до утра.

Мужики переглядывались, растерянность проходила, стали робко переговариваться, наконец, заговорили в голос. Ерничая, перекликались:

— Воевал с палкой, теперича со скалкой!

— Партизанских вошей выведем, солдатских заведем!

— В яловых сапогах будем щеголять, скрипом контру пугать!

— И шинельки английские дадут!

— Еще и под задницу добавят!

— С голой-то воевать срамно!

— Ты ее дегтем намажь и лопухом прикрой — пуля не возьмет и комар не прокусит!..

Зубоскалили мужики — кто по-доброму, а кто с желчью.

Щербатый, почесывая в затылке, не сводил глаз с Дрозда. Робко вышел вперед и заискивающе спросил:

— А ты, комиссар, отходчивый али как?

— Не понял... — изумился тот.

— Ну, зло внутрих копишь али выкидываешь?

Николай Иванович понял, о чем речь ведет Щербатый, улыбчиво сказал:

— Комиссару не к лицу быть злопамятным. К тому же понимаю, вид мой смутил, а принимают, как говорится, по одежке... Шинель не снимаю по причине лихоманки, называемой малярией. На сахалинской каторге подцепил, вот по сей день и донимает.

— Чего же сразу не сказал? — обрадованно выкрикнул Щербатый.

Дрозд присел, развел руки в стороны и, подражая голосу Щербатого, просипел:

— Хотел узнать, что здесь за вомули!

Щербатый засмеялся, и мужики, не ожидавшие такой выходки от комиссара, дружно загоготали. И у Иннокентия на лице появилось подобие улыбки: в душе гнев на мужиков вроде сгинул, но полного спокойствия не было. Посмотрел на баб, сгрудившихся возле кузницы. В содоме схода не заметил их и сейчас дивился: всегда норы выказывали — не перекричать, а ныне будто воды в рот набрали. «Намыкались, бедолаги, и разуверились!» — с тоской подумал.

После схода заседал штаб. Иннокентий, низко опустив голову, устроился на лавке. Даже глянуть на ко-

миссара боялся — наверняка об анархии в отряде будет говорить, и ему как командиру, пусть временно исполняющему обязанности, несдобровать. Снятия заслужил. При Иване были порядок и дисциплина — никто слова поперечного, ни, тем более, воровства. А теперь отряд в ватагу превратился. Не появись Дрозд, не собери схода, неизвестно, что могло бы произойти. И всему виной он, Иннокентий. Мозглявым оказался, значит, поделом — пусть снимают. «Лишь бы в отряде оставили», — думал он. Почудился боец Фомин: отдает винтовку и просит, если дезертиром посчитают, в спину стрельнуть. «В обиде не буду», — явственно услышал его слова, и Иннокентию вовсе не по себе стало.

Мужики сидели тоже понурые — свою вину чувствовали и нагоняя ждали. Они и раньше видели, что партизаны недовольства проявляли, но никто из них не думал, что такая каша на сходе заварится.

Николай Иванович смахнул пот с лица, расстегнул шинель и, глянув на окно, в котором ярко светилося солнце, снял ее. Набил носогрейку табаком, стал прикуривать и вдруг поежился.

— Зыбко, однако... — накинул шинель на плечи, осмотрел штабистов, будто побитых. — Чего носы повесили? Высказались люди, ничего предосудительного в том нет. С перехлестом малость, но у нас все с перехлестом — то вправо, то влево кидает. Зла ни на кого не держите, а вот понять постарайтесь. Разруха и голды людей измотали, и от винтовок мозоли на руках. Какой год быются за светлое будущее, а оно все за горизонтом, до которого не дойдешь.

Он снова посмотрел на окно, а мужики растерянно поглядывали друг на друга.

— Вины в них нет, а вот беда загостевалась — и сильного ломает. Чаше надо с людьми говорить, правды не переиначивать, тогда болячки видны и положение в отряде под контролем. Чуть не запоздали. Наперед наука. И еще... — Николай Иванович снова оглядел мужиков. — Уж больно шаткое состояние у Иннокентия Игнатьевича — временно исполняющий обязанности. Ни прав, ни уважения...

Иннокентий не ожидал таких слов от комиссара, слушал его и ушам своим не верил. Тот продолжал:

— Предлагаю эту приставку убрать к чертовой бабушке, утвердить его командиром, что придаст ему силы и уверенности, а также подчиненных подтянет.

Мужики оживились — не столько от предложения комиссара, сколько от миновавшего нагоняя, — наперебой сыпали добрые слова в адрес парня. Комиссар остановил их:

— Особой похвалы он пока не заслужил, и ее давать не надо.

Иннокентий резко встал:

— Только я, как и прежде, с бойцами по-людски буду. Согласия с ними хочу, и другого от меня не ждите.

Дрозд громко засмеялся:

— Кто же тебя зверствовать заставляет? Линию правильную ведешь, в том же духе продолжай. Так что бери бразды правления и проводи заседание. Повестка одна: боеспособность отряда и укрепление дисциплины.

Иннокентий сел, сжал руки под столом, чтобы никто не видел, как они тряслись, прокашлялся и начал говорить о допущенных ошибках. После него стали выступать штабисты...

В деревне обсуждали комиссара. Говорили разное, но сходились на одном: мужик тертый, самостоятельный, баловать не даст. И об изменениях в отряде разговор вели: одним они были в радость, другим в диковину. Сожалели, что обмундирования да обуви не дадут, а без этого — что за армия? В драных онучах много не навоюешь, только ноги в кровь сотрешь.

В доме Громовых разговор шел. Бабка Агафья и Зинаида рассказывали деду Максиму о сходе, говорили путано, а сами на дверь косились. Витька, младший брат Гошки, вставал в разговор, отчего бабы вовсе сбивались. В сенях слышался топот сапог. Бабы в страхе замерли, а Витька под лавку сиганул. Дверь настежь растворилась, и в комнату ввалился разъяренный Силантий.

— Лежишь, старый хрыч!.. — набросился он на Максима Максимовича. — На тот свет пора, а ты все промеж нас болтаешься, никакая холера тебя не берет! Головой дома зовешься, а сам его рушишь! Все по швам трещит, разваливается. Али тебе невдомек?! Во всех бедах наших ты виноватый. Папаху и ремень внуку пожаловал — благословил! Помню, как поучал: «Служи в партизанах справно, не срами нашего рода-племени». А он чем платит? Родного отца на весь бе-

лый свет врагом своим объявил. В супротивники новой власти причислил. Сговорились! Со свету меня сжи-ваете!..

Долго кричал Силантий — и комиссара-плюгаша, и командира-выскочку ругал, а уж сыну Гошке самые бранные слова достались. Наконец выдохся. Плюхнулся на лавку, мазанул пятерней по сальному лицу и грозно выдавил:

— Посрамления не прощу — порешу недоноска!..

Бабы, забившись в угол, жались друг к другу и слезами обливались. Витька лежал под лавкой, скрючившись, в ужасе глядел на отцовские ноги.

Дед Максим сидел на топчане, шарил костлявыми пальцами по лоскутному одеялу, будто что-то утерянное искал. Он думал о любимом внуке. Понимал, что на людях Силантий не посмеет тронуть Гошку — за-боится. А в доме тот больше не появится. От этой мысли горько стало старику.

Заседание штаба закончилось к вечеру. Мужики, распаренные и взбудораженные, расходились шумно. В комнате остались Дрозд, Кондратыч с напарником, Иннокентий и Фотей. Дед Маркел, дождавшись своего часа, водрузил на стол самовар. Ели вяленую рыбу с черемшой, запивали чаем. Насытившись, закурили. Кондратыч с напарником изъявили желание спать в сарае. Дед Маркел, прихватив тулуп, пошел помочь им устроиться на ночлег.

Комиссар посасывал трубку, то и дело поглядывал на разморившихся Фотея и Иннокентия — денек выдался тяжелый, и после горячего чая на них напала сонливость. Неожиданно спросил:

— Что у вас делается под Малмыжем?

Парни, застигнутые врасплох, встрепенулись и непонимающе глазели на него.

— Есть сведения, что под Малмыжем орудует банда. Предводитель — некий Зайцев.

У Иннокентия от услышанного сон как рукой смахнуло. Встал и стал рассказывать Николаю Ивановичу о трех беглецах, об убитом народоармейце с мандатом Николаевского фронта. Дрозд слушал внимательно, потом сказал:

— Как видите, спать нам некогда. Требуется поразмыслить и принять неотложные меры. — Затянулся

еще раза два, сунул трубку в карман гимнастерки. — Самое страшное, банда убивает и грабит под красным знаменем, со звездами и алыми бантами — значит, от имени Советской власти.

Фотей и Иннокентий слышали о таком впервые, они даже предположить не могли, что подобное возможно, и растерянно переглядывались.

— Может, разведку провести?.. — робко заметил Иннокентий.

— Известно следующее... — Дрозд покрутил в руках пустую кружку, поставил ее на стол кверху дном и продолжал: — Появился здесь Зайцев недавно, возможно, с низовьев Амура или Амгуни. Умен, хитер и в военных делах смекалку имеет. Действует с предельной осторожностью. Вот и нам нужна подобная осторожность. Поэтому ни на сходе, ни на штабе говорить об этом не стал.

Фотей поднялся, поплотнее прикрыл дверь, и они втроем принялись обсуждать план разведки.

На следующий день состоялось общее построение отряда. Началась проверка по списку, и когда кто-то задерживался с откликом, у Иннокентия замирало сердце. Еле дождался окончания переклички. В отряде не оказалось четырех бойцов — пришли с верховьев, видно, туда и подались. Как ни горько было Иннокентию, но стерпел, виду не подал. Удивил Кочкин — громче всех на сходе глотку драл, а находился в строю.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Спозаранку, когда деревня еще спала, Дрозд и Иннокентий провожали Кондратыча с напарником. Они направлялись вниз по Амуру поднимать народ, организовывать новые партизанские отряды для борьбы с белоповстанческой армией меркуловского правительства.

— От ваших умелых действий зависит многое, — напутствовал их Николай Иванович. — Своим делом занимайтесь, но японцев из виду не упускайте. Хорошо бы в Николаевск проникнуть, только без особого риска!..

Лодка отчалила. Иннокентий не мог оторвать от нее глаз, с завистью смотрел на великана Кондратыча.

Тот был сродни Михайле Дыбову, потому и вызвал пристальное внимание парня.

Комиссар и Иннокентий пошли к деревне. Говорить не хотелось — обоих беспокоила судьба партизан, только что отправившихся в дальний и небезопасный путь. Иннокентий повернулся, чтобы еще раз глянуть им вслед, и от неожиданности чертыхнулся: из тростниковой заросли выходил Самар. Догадался: гольд возвращался из стойбища, куда плавал самовольно, и по старой привычке, приобретенной еще при Никоне Демьяныче Ляхове, который наложил запрет гольдам в деревне появляться, спрятал оморочку в тростнике — от сторонних глаз подальше. Дрозд тоже смотрел на гольда. Иннокентий, помрачнев, сказал:

— Пятеро их в отряде.

Николай Иванович был удивлен — на общем построении не видел гольдов. Иннокентий стал рассказывать о их житье-бытье: дисциплины не признают, ходят куда и когда вздумается, придерживаются только своих законов. И про Ерми, ослепленного Ефремом Ляховым, поведал.

Гольды жили у бабки Лукии. Дивились люди: старуха древняя, немощная, еще и казаками побитая, а обихаживала Ерми, старалась и с помощью старух-соседак выходила — вот-вот на ноги станет.

Ерми лежал на нарах, застеленных медвежьей шкурой, его друзья, поджав ноги калачиком, сидели на полу. Самар, только что вернувшийся из родного стойбища, рассказывал о сородичах, которые, по его словам, благодаря всемогущему богу Эндури, живы и здоровы. Гольды слушали его и с упоением чадили трубками.

Дверь скрипуче отворилась, и в комнату вошли Дрозд и Иннокентий. Самар оборвал рассказ, с тревогой уставился на командиров. Трое гольдов, сидевших на полу, тоже настороженно глядели на гостей. И Ерми, заслышав голос Иннокентия, который приветливо поздоровался, приподнялся на локтях, запрокинул голову и напряг слух. Иннокентий подошел к нему, справился о здоровье и примостился на краешке нар. Николай Иванович, ловко подогнув ноги, устроился на полу, рядом с гольдами. Достал трубку, стал неторопливо набивать табаком. Иннокентий отметил, что комиссар не торопится вступать в разговоры, значит, знаком •

обычаем гольдов. Покурили молча. Наконец Дрозд спросил о жизни в стойбище. Самар отвечал неохотно — беспокойство не проходило...

Когда Ивана посадили под арест, гольды не могли понять, что произошло. Знали одно: ага* попал в беду. Долго совещались, гадали, как ему помочь.

Ночь была темной и ветреной, и Самару без труда удалось добраться огородами до сарая, где содержался Иван. Стал ощупывать доски. Знал, что с другой стороны сарая, у дверей, находится часовая, и действовал особо осторожно. Нашарил большую щель, прильнул к ней губами и глухо позвал:

— Ага!..

Прислушался и уловил еле заметный шорох солом. Еще мгновение — и в щели показались светлые кончики пальцев.

— Друг мой разлюбезный!.. — обрадованно шептал Иван. — Знал, что кто-нибудь из вас придет, клянусь, знал!.. Табак! Дай табак!

Самар достал кисет, разложил на ладони, разгладил, чтобы табак равномерно рассыпался по сторонам, отчего кисет стал тонким, и сунул его в щель.

— Уважил! А то страсть как извелся. У одного часового попросил — не дал, забоялся, другой отбрил, а сейчас приставили некурящего. Напасть — и только!..

Самар отпрянул от стены и уставился на угол сарая — что-то явно тревожило. Иван заметил его волнение и торопливо прошептал:

— Ступай, ступай!..

— Завтра!.. — бросил гольд, метнулся в сторону и исчез в темноте.

В следующую ночь Иван не сомкнул глаз — ждал Самара. Знал, что тот непременно выполнит обещание и придет. Сетовал, что не наказал принести еды: кормежка-то ни к черту, голод донимал. «Может, сам догадается?» — подумал с надеждой.

Деревня давно спала, и штабисты уже разошлись, даже дед Маркел уgomонился — свет в окнах погас, а Самар не шел. Иван часто подходил к стене, припав к щели, всматривался в темноту. Намаявшись ожиданием, в сердцах ругнулся, лег на солому и с головой укрылся тулупом — решил ни о чем не думать, во что бы то ни стало уснуть...

* Ага — брат.

Очнулся от прикосновения чьих-то рук. Скинул тулуп, таращился, но в крошечной тьме не мог ничего разглядеть. Вдруг голос:

— Твой уходи!..

Иван признал Самара. Сначала обрадовался, хотел даже обнять, но обожгла едкая мысль: как он попал сюда? От догадки, что часовой убит, замер в ужасе.

— Твой уходи!..

Голос Самара привел его в чувство. Вскочил и стремглав бросился к двери. Шагнул во двор и остолбенел. Часовой — безусый парнишка, сменивший на посту бойца Щербатого, ничком лежал на земле, связанный по рукам и ногам. Чуть в стороне стояли трое гольдов.

— Оморочка!.. — услышал Иван за спиной и резко повернулся.

Самар стоял возле распахнутых дверей сарая и, улыбаясь во всю ширь, показывал на реку. Иван схватил его за грудки и потряхнул что есть силы. Улыбка на лице гольда мгновенно сменилась страхом. Иван зло прорычал:

— Дурья голова! Меня же без суда как паршивую собаку шлепнут!

От толчка Самар отлетел к углу сарая, и гольды испуганно попятились.

— Вот!.. — выдавил Иван. — И чтобы больше здесь не появлялись! Увижу — пеняйте на себя!..

Он погрозил гольдам кулаком, и те, словно нашкодившие мальчишки, юркнули за сарай. Иван подошел к часовому, стал развязывать веревки.

— Темные, безграмотные люди, ни понятия, ни соображения. Ну, чего с них возьмешь?.. — будто оправдываясь, говорил. Взял часового за плечо и перевернул на спину. Увидел во рту кляп, изумился: — Мать честная, по всем правилам сработали!..

Часовой, перепуганный случившимся, пытался встать, но руки и ноги не слушались. Иван помог ему. Ласково сказал:

— Не робей, милоч, на войне всякое случается... Кляп я выну, только ты не кричи. И не докладывай. Сделай вид, что ничего не было. Доложишь — и гольды из-за своей дурости под суд пойдут, и тебе за нерадивую службу не поздоровится. Понял?..

Иван выдернул тряпку изо рта часового, и тот стал жадно вдыхать воздух.

— Не убегу, будь спокоен, — заключил Иван, дружелюбно похлопал парня по плечу, вошел в сарай и прикрыл за собой дверь...

Сейчас Самар рассказывал о жизни в родном стойбище, а сам не сводил глаз с комиссара. Догадывался, что тот пришел неспроста, только вот зачем, понять не мог. Николай Иванович слушал его, иногда кивал, словно одобряя или соглашаясь с услышанным, но взгляд был отрешенным. Иннокентий заметил это и без сомнения определил: что-то мудреное обдумывал комиссар.

Дни выдались солнечные и безветренные. Жара дожимала, даже в тени спасу от нее не было.

Феня с матерью, разомлевшие, стояли подле сарая, вели тихий разговор:

— Только бы духоту пережить-пересилить, а там, дай бог, выдюжу.

— Рано встала, с болезнью еще не сладила.

— Невмоготу лежать. Спина затекает, порой не чувствую — будто доска. Вот и встала.

— Отец докучает?

Елена Тимофеевна не торопилась с ответом. Не хотелось говорить, как Аксентий изгалялся: лежит она с открытыми глазами — он молчит, а стоит ей задремать, он тут же в ругань кидается. Понимала, что нарочно изводит, но ничего поделать не могла — ни мольбы, ни слезы не действовали на мужа. Мучилась, но сказать об этом дочери не решалась, знала ее нрав: вскинется, отца срамить станет, а с того, как с гуся вода, — уйдет Феня, еще пуще измываться будет.

— Утих вроде, — соврала и для большей убедительности добавила: — Не до меня Шалому. С Силантием Грозовым ляды точут. И еще один к ним приладился — хромой, на роже щетина, что у дикого кабана.

Феня чувствовала обман — не мог родитель переделаться, только в могиле угомонится. Перекрестилась, чтобы черными думами бога не гневить, и спросила:

— А постояльцы как?

— Только ночуют, а энти днюют. Белый свет перекраивают — там не так, здесь не этак. Не пойму, чего хотят.

Феня смотрела на мать, и сердце ее сжималось —

уж больно худо да немощна. Глянула на дом Стригановых, что вдалеке маячил, в раздумье сказала:

— И я в муках пребываю. Кабы не дед Филимон, давно бы ушла... В прошлом году строиться хотела, и помощник был. Не случилось. А дед Филимон не вечен. Помрет, куда идти?..

Елена Тимофеевна всхлипнула. Феня сняла с головы белую косынку, глаза матери вытерла. Решительно заявила:

— Возьму и отстроюсь! Пока Фотей здесь, подсобит. Глядишь, и дружки евоные сподобятся. Дом поставлю и тебя от ирода заберу — хошь напоследок в покое поживешь.

Елена Тимофеевна в голос заплакала. Феня ее успокаивала, к себе прижимала. Наконец та молвила:

— Стройся. Живи. Может, семьей обзаведешься, еще в силе — одного-двух народишь. А я здесь век доживу. Хошь и сволочь Шалый, а жалко — без меня быстро окочурится.

Феня только руками развела. А Елена Тимофеевна заключила:

— Не брошу. И не проси, и не уговаривай.

Не могла понять Феня решения матери, но с разговорами о переезде отступилась: сначала построиться надо, а там видно будет.

Скрипнула калитка. Феня выглянула из-за сарая. По двору, прихрамывая, шел боец — лицо небритое, от пота лоснится. Она признала его: на сходе громче всех кричал и Кочкиным звался. Догадалась, какие разговоры с родителем велись, забеспокоилась: не затевают ли чего? Но тут же отогнала дурные мысли: их дела — не ее печаль.

Разговор расклеился. Постояли еще немного мать с дочерью, повздыхали и разошлись.

Когда Елена Тимофеевна вошла в комнату, Аксентий Акимович набросился на нее:

— Туда-сюда без дела шляешься, а самовар простыл!

— С дочерью за сараем беседовали, — улыбочиво заметил Кочкин.

Тюрин вскочил из-за стола, забежал по комнате, орал:

— Сызнова приходила! Сколь раз твердил, чтобы дорогу сюда запомнявала! Оглоушу чем — будет знать!..

Кочкин слушал его и ухмылялся. Подождал, пока тот поиссякнет, и сказал:

— И чего вы на детей своих этакую злобу имеете? Силантий тож на сына ярится. Выслеживает. Убить хочет.

— Ты надоумил?! — накинулся на него Аксентий Акимович.

— У него своя голова на плечах, — уклончиво ответил Кочкин и принялся ногтями шкрябать зудившиеся щеки. — Не убьет. Только грозит. И Гошка в одиночестве не ходит.

Аксентий Акимович сел за стол, напротив Кочкина, пытливо глядел на него. Вкрадчиво заговорил:

— Не пойму тебя, воин красный. Твое нутро новой власти на дух не принимает, а ты за нее воевать хочешь. Комиссар всем свободу объявил, а ты, главный супротивник, остался. Почему?

Кочкин молчал. И Тюрин — ни слова, только хитрющими глазками гостя ощупывал.

— Я не супротив новой власти, — наконец сказал Кочкин. — Я ее законов не принимаю. Усек разницу? Что же касательно слов комиссара, так то слова, а на деле... Думаешь, те четверо, что из отряда подались, до дому дойдут? Кабы не так! Поди вдогонку верных людишек направили и уже перещелкали... Я такую свободу на собственной шкуре испытал.

— Выходит, ученый?

— Атаман Калмыков уму-разуму выучил. Я в его войске был. В феврале прошлого года случилось... Забрал он золотишко в Хабаровском банке и решил в Маньчжурию уйти. Построил полк и речь сказал. Точь-в-точь слова комиссаровы: кому невмочь, пущай остается, ни преследования, ни упрека не будет. Ну, ребята винтовки побросали — с сотню, а может, поболее таких набралось. И я свою кинул. Попрощался с нами атаман, за верную службу в пояс поклонился — мы аж прослезились. Сел на коня и с остатками полка по дороге подался. Они отъехали, мы обниматься стали — отвоевались, радость-то великая. И тут, откуда ни возьмись, пулеметы зарокотали — по нам, безоружным, бьют. Мы в одну сторону кинулись, а там тоже пулеметы, мы в другую... В общем, получили «свободу без преследования и без упрека» — всех как есть покосили.

Аксентий Акимович еще прошлым летом слышал от мужиков о расправе Калмыкова над своими казаками,

не пожелавшими на чужбину уходить, но подробностей не знал.

— Положили всех, гут и атаман вернулся, — продолжал Кочкин. — Ездил на коне промеж нас и раненых из маузера пристреливал... Мне повезло. Лежал с ногой окровавленной под мертвыми телами, он меня и не заметил... Вскорости партизаны в город вошли. Излечился у них в лазарете. Еле тепла дождался и поплыл домой в Богородское. Да вот, как видишь, не усидел.

Тюрин сочувственно почмокал, помотал головой и спросил:

— К Калмыкову в войско по своей воле попал?

— Из Красной Армии утек.

— А в нее как угодил?

— От белых дезертировал.

— А до белых?

— Революции служил и партизанил.

— Выходит, по всем фронтам пробежался и к истокам своим возвернулся — сызнова партизанишь.

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. В партизанах вольготнее — ни плаца, ни муштры, ни гауптвахты.

— Комиссар все образует — не пикнете. И Кешка, сосунок, за вас дюже взялся.

— Поглядим... — многозначительно протянул Кочкин. — С комиссарами тож огрех случается, — подмигнул Тюрину, подался вперед и стал что-то нашептывать.

Елена Тимофеевна не обращала внимания на мужиков, своим делом занималась — раздувала уголья в самоваре. Глаза слезились, и не от дыма, а от дум: по нескладной судьбе дочери печалилась.

К вечеру жара спала. На завалинке юрашинского дома устроились Дрозд, Фотей Стриганов и Иннокентий. Николай Иванович рассказывал, как участвовал в подавлении эсеровского мятежа в Москве, сражался под Царицыном, дрался с колчаковцами. Парни ничего не знали о событиях, происходивших в далеких и для них неведомых краях, и слушали с интересом. Если раньше, когда Дрозд прибыл в отряд, Иннокентий принял его настороженно, даже с неприязнью, то теперь, после схода, глядел на него по-другому: в этом некази-

стом на вид человеку было что-то такое, что притягивало, вызывало симпатию. За плечами Николая Ивановича была полная опасностей жизнь, к тому же он был другом и соратником Лаврентия Петровича Шалды, а это для Иннокентия имело большое значение — души не чаял в бывшем кронштадтце.

— Сдружился с Шалдой еще до революции, — говорил Дрозд. — Вместе на сахалинской каторге были, вместе и бежали. Он на Дальнем Востоке остался, а я в центр, в Питер, отбыл. Думал, больше не встретимся, да судьба свела... В начале прошлого года направили меня в Хабаровск. Прибыл в Анастасьевку и попал, как говорится, с корабля на бал. Объединенный штаб проводил партизанскую конференцию. Там и свиделись с Лаврентием. И вообще повезло — познакомился со многими командирами...

— И с Тряпицыным? — вырвалось у Иннокентия.

— И с ним, — просто сказал Дрозд. — Встречались раза два, больше не довелось, он вскоре после конференции отбыл с отрядом в поход по Амуру.

Иннокентий понял, что комиссар плохо знал бывшего командующего Николаевским фронтом, значит, спрашивать о нем бесполезно. Зато поинтересовался Фотей:

— Кто он, откуда?

Николай Иванович не удивился вопросу, ему был понятен интерес парней к прошлогодним событиям в Николаевске. Помолчав немного, стал рассказывать:

— Родом из деревни Савастейки Муромского уезда Владимирской губернии. В шестнадцатом ушел добровольцем в армию, попал в лейб-гвардейцы — по росту и силе вполне подходил. Когда в семнадцатом революционные события охватили и армию, Кексгольмский полк, где служил Тряпицын, перешел на сторону большевиков. Штурмовал Зимний. Однако вскоре после взятия большевиками власти в Петрограде он оставил полк и уехал домой... Неизвестно, что произошло у него с отцом — тот был кустарем-кожевником и имел собственную мастерскую, — только повздорили они, и сын покинул отчий дом. Одно можно сказать твердо: мужик с характером, и умом бог не обидел, вот, видать, и искал свое назначение в жизни. Мотался неизвестно где, а в девятнадцатом очутился во Владивостоке. Устроился в порт грузчиком. Тогда фронт партизанской борьбы разрастался, и он сколотил свой отряд. Ушел в

сопки. Нужно сказать, отряд его был малочисленный, но громил самураев и беляков лихо. Потом, когда все партизанские отряды стали объединяться под руководством Лазо, Тряпицын покинул отряд и ушел из Сучана. Почему — никто не знает, а говорят разное. Объявился он под Хабаровском, попал в партизанский отряд Вольного, воевал с калмыковцами. За храбрость назначили командиром небольшого отряда, делегатом от которого он и оказался на конференции. Ну, о походе по Амуру и дальнейших событиях в Николаевске вы наверняка знаете.

Иннокентий тяжело вздохнул и сказал:

— По-разному рассказывали. Денис Карпыч, к примеру, врагом его считал, а Иван к героям причисляет.

— Оправдания кровавым деяниям Тряпицына нет, но разобраться в его помыслах и поступках необходимо. Уж больно противоречивая фигура!.. А Иван Игнатьевич, выходит, на Нижнем Амуре воевал?

— Сначала во Владивостоке служил, потом под Николаевск в армию Тряпицына попал.

— Пойдите, пойдите... — Лицо Николая Ивановича вытянулось, укоризненно сказал: — Как же это мы? Ведь он мог знать Зайцева!

— Я сейчас!.. — бросил второпях Фотей и побежал по двору.

Иннокентий искоса посматривал на задумавшегося комиссара, хотел спросить, о каких противоречиях Тряпицына тот говорил, но не решался.

Из дома вышла Аня с завернутой в тряпки глиняной куклой. За ней следовал Митяйка. Они направились к сараю.

— Ваши сестра и брат? — поинтересовался комиссар.

Иннокентий рассказал о судьбе родителей Аняты — Настасьи и Василия, потом поведал о Митяйке. Дрозд не сводил глаз с ребятишек, играющих у сарая.

Во двор вошли Фотей и Иван. Иннокентий глянул на брата и от неловкости засопел. Иван был без ремней, расстегнутая гимнастерка вздулась колоколом, узкие галифе обтягивали тонкие босые ноги, на голове, сдвинутая на правое ухо, высокая барсучья папаха. Иннокентий боязливо глянул на комиссара, но тот, будто ничего не замечая, без обиняков спросил:

— Иван Игнатьевич, вы не встречались в Керби с Зайцевым?

— Если с Константином, то виделись, — ответил тот каким-то не своим, глухим голосом. — Сначала в Николаевске, потом в Керби.

— Кто он?

— Горлопан и анархист!

— Расскажите поподробнее.

Иван отер ладонью взмокшее лицо, прищулив глаза, глядел на заходящее солнце, вспоминал недавние и в то же время канувшие в вечность события в Николаевске...

В апреле двадцатого года в помещении Николаевского реального училища состоялось гарнизонное собрание. Большевики-партизаны решили дать открытый бой тряпицынскому штабу, который, сосредоточив в своих руках военное и гражданское управление городом, ввел террор: армия и особенно население от каждодневных обысков и арестов жили в страхе. Большевики Будрин, Иваненко и Любатович должны были выступить на собрании, обнародовать факты произвола командарма Тряпицына и выразить ему недоверие. Но сделать этого не удалось. Нашелся провокатор и заявил в начале собрания:

— В зале находятся большевики, затеявшие заговор с целью ликвидации партизанского штаба. Сговорились с китайским консулом об использовании для этого китайских частей!..

Большевики и их сторонники не ожидали такого нелепого и коварного заявления и растерялись. Тряпицын, воспользовавшись их замешательством, тут же приказал арестовать подозреваемых в измене, что и было сделано незамедлительно. Заговор против Тряпицына сорвался, собрание обернулось против большевиков. Вскоре по личному приказу командарма были расстреляны член областного исполкома Иваненко, председатель горсовета Любатович и командир морского отряда Мизин, арестованный ранее. Командир горного отряда Будрин заключен в крепость Чныррах...

— Заявление провокатора всех переполошило, — рассказывал Иван. — Зал загудел... Там я впервые увидел Зайцева. Он орал пуще всех, плевал в сторону большевиков, хватался за наган, а сам норовил попасться на глаза командующему, так и вертелся перед его носом. Тот его приметил... Когда вскорости по приказу Тряпицына был распущен ревтрибунал и заменен следственной комиссией, в нее-то и вошел Зайцев.

Иван скрутил сигарку, затягивался жадно — взбудоражил себя воспоминаниями. Дрозд спросил:

— Как вы познакомились?

— В конце апреля или в начале мая, точно не помню. Стояли с Денисом возле штаба, подходит он — видно, тоже приметил меня на собрании. Предложил работенку в его группе, действующей от имени следственной комиссии. Денис быстро нашелся, сказал, что мы по горло заняты подготовкой отряда — тогда уже было решение штаба об уходе по Амгуни на Керби, и отказался. Отказался и я.

— Почему отказались?

— Шкурничеством он занимался, а не следствием.

— А если бы не Денис, вы бы отказались?

Иван стиснул зубы, набылся. Иннокентий заметил, что брат прятал глаза. Дрозд тоже это увидел, но не подал виду.

— Кажется, постепенно проясняется личность Зайцева, — сказал он. — А как вы встретились в Керби?

— Незадолго до ареста Тряпицына. Шел по берегу Амгуни на склад, вижу, какой-то человек с лодкой возится — не то смолит, не то конопатит. Увидел и он меня, окликнул, подходит ближе, гляжу — Зайцев! Весь какой-то помятый, растерянный, глазки бегают, будто у карманника. Не слышал, спрашивает, о переменах или каких изменениях? Я ответил, что ничего не знаю. А он в глаза мне заглядывает, словно тайные мысли высматривает, и говорит: «Болит сердце, ноет — беду чует!» Потом добавил, что уезжает в Де-Кастри в полк Лапты — перевели будто его. Расстались. А через два дня арестовали Тряпицына и весь его штаб. Только не знаю, куда делся Зайцев — может, вправду в Де-Кастри подался, а может, еще куда. Но с тех пор я его не видел.

Солнце скрылось за тайгой. Набежал ветерок, и от реки, покрывшейся мелкой рябью, потянуло прохладой.

Иван шел по берегу, босые ноги вязли в песке, который был теплым, еще не остывшим после дневного зноя. Память ворошила события прошлого года... Тогда он, как и многие, слепо верил в праведность дел командующего. И Денис верил, но вскоре усомнился: революционного порядка в городе не было. Террор. Насилие. Иван был убежден, что несправедливость тво-

рят приближенные к Тряпицыну люди, а не он сам. К тому же считал: борьба с контрой приводит к неминуемым издержкам, особенно в таком тяжелом и опасном положении, в котором очутился Николаевск накануне нового вторжения японцев. И он до хрипоты доказывал Денису: «Лес рубят — щепки летят!» И даже в Керби, когда состоялся народный суд над Тряпицыным и его сообщниками, он не мог разобраться в случившемся — так сильна была вера в командующего...

«Сперва в себе разберись, душу сполосни, а потом уж людьми командуй», — явственно услышал он голос Дениса.

Иван подошел к рыбацкому домику. Сломанный тростник торчал из стен словно иглы ежа. Вспомнилось детство, когда они, мальчишки, не поделив что-нибудь, гурьбой шли сюда — подальше от родительских глаз — и сводили счеты. Вот у этого корневища он дрался с Леонтием Доловым. Уговор был биться двоим, остальным не вмешиваться, а Петька Ляхов увидел, что Иван одолевает Леонтия, бросился тому на подмогу. Не стерпели и другие кулацкие сынки — сильно Юрашина отмутузили. Когда он очнулся, все мальчишки разбежались, только Дениска стоял у суглинистой стены обрыва и, размазывая слезы по щекам, твердил: «Не по-честному это! Не по-честному!..»

Иван сел на корневище. «Дениса — нет, а я живу. Честно ли это?» — подумал и стянул с головы папаху.

Он вспоминал недавний сход, когда разгоряченные мужики чуть ли не бунт подняли: не хотели больше воевать, по домам решили разойтись. Тогда Иван стоял за кузницей во дворе Дыбовых, жался к стене и по голосам опознавал выступающих. Понимал, что недовольства партизан справедливые: холод и голод познали и крови извели, а войне конца-края не видно. И Кешка, как командир, вместо того чтобы в кулаке отряд держать, волю мужикам дал, они и распустились. Иван чуял: конец пришел Кешке — сбросят с командиров. Подмывало выйти из-за кузницы, вскочить на подводу и слово красное кинуть — защитить брата. Сдержался. Стоял и ждал людского приговора. Надежда теплилась: уберут Кешку и его, Ивана, снова над собой поставят...

— Какая же я сволочь!.. — простонал он сейчас и, обхватив голову, что есть силы сжал.

Низовик крепчал, его холодное дыхание обдавало

Ивана, а ему было жарко — подставлял лицо ветру. Чудился Лаврентий Шалда. Пуще смерти боялся встречи. Что скажет ему, как посмотрит в глаза? И в который раз пожалел, что оробел, когда на заседании штаба Кешка дал ему наган. Но теперь думать об этом поздно, не порешишь себя — трусом посчитают.

Небо уже потемнело, когда он собрался возвращаться в деревню — не дай бог, потеряли, ищут. Нахлобучил папаху и двинулся по берегу. Песок стал влажным и холодным — ноги зябли. Поежился, но шел медленно, неохотно. Откуда-то сверху раздался женский голос:

— Погодь, Иван Игнатьич!

Поднял глаза и остановился. Саженьях в десяти, наверху крутого обрыва, на самом краю, стояла Мария — в руках берданка. Ветер распушил гриву золотистых волос, трепал подол юбки. Иван различил ее лицо: спокойное, но чересчур бледное. Глянул на берданку и понял, зачем пришла. «Выследила! — подумал и тут же облегченно вздохнул: — Освободит от мук!»

Мария смотрела на него. Властно сказала:

— Не за себя месть вершу, хотя много от тебя перекушала! За смерть деда Никона и убитого отца расплата моя!

Она, будто испытывая его, стала медленно поднимать ружье. У Ивана на душе полегчало: сейчас все кончится, забудется, исчезнет!.. С шумом вдохнул прохладный воздух и крикнул:

— Подойди ближе, а то промахнешься!

Мария уловила в его голосе неподдельные нотки радости и насторожилась: не боится? А он сдернул с головы папаху, швырнул на песок и, выпятив грудь, сделал несколько шагов вперед — к ней. Она не сводила с него глаз, пытаясь понять, что с ним делалось. Ей еще не приходилось видеть человека, который вот так смело и открыто просил о смерти. Иван заметил ее оторопь и во всю глотку, но с мольбой в голосе заорал:

— Стреляй, сука!

Марию будто огнем обожгло, вздрогнула от догадки — он боялся, что она не выстрелит или промахнется, он жаждал смерти, в которой было избавление от совершенных грехов, и это избавление даст ему она — Мария Ляхова.

— Стреляй! Стреляй же!.. — хрипло орал он, те-

перь уже стараясь разозлить ее — знал, что в гневе она обязательно выстрелит.

Она усмехнулась. Иван увидел в ее глазах презрение и, сжав кулаки, двинулся к суглинистой стене обрыва. Задрал голову, жег ее взглядом. А Мария слушала его прерывистое дыхание и успокаивалась. Тихо сказала:

— Живи, покуда тебя бог терпит! — закинула берданку на плечо и пошла прочь.

Ерми отбывал в стойбище. Мужики окружили его — каждый хотел пожать руку, подбодрить словом. Он пытался улыбаться — стянутое шрамами лицо болезненно кривилось, черная повязка, закрывающая глазницы, подрагивала. К Ерми подошел комиссар:

— В таких случаях принято что-то дарить. К сожалению, у меня нет ничего, что можно хранить как память. Разве вот эта трубка-носогрейка. Она прошла со мной по каторгам и фронтам гражданской, была верной спутницей в бедах и холоде. Дарю!

Он вложил в руку гольду трубку. Тот ощупал ее короткий мундштук и показал в улыбке оба ряда зубов. Достал из кармана халата свою трубку с длинным и тонким мундштуком, какие делают гольды, и протянул Дрозду:

— Дарю!

Мужики, одобрительно кивая, переглядывались.

Ерми подвели к оморочке. В ней сидел молодой гольд — ему поручили отвезти друга в стойбище. Ерми попрощался с Самаром и двумя гольдами-бойцами, но в оморочку не садился. Чуть приподняв голову, к чему-то прислушивался и даже, казалось, принюхивался. Иннокентий понял: гольд ждал Ивана. Повернулся, разыскал брата в толпе, махнул ему рукой. Мужики расступились. Иван шел по живому коридору, загребая босыми ногами песок, подошел к Ерми, дрогнувшим голосом сказал:

— Прощай, ага!

— Прощай, брат! — ответил гольд, нашарил плечи Ивана и, сцепившись в гимнастерку, прижался к нему.

Ерми сел в оморочку, мужики с дружным криком оттолкнули ее от берега, и она, управляемая умелым гребцом, понеслась вниз по реке.

Мужики толпой шли к деревне, шумно переговари-

вались, вспоминая мужество и смелость гольда. Дрозд и Иннокентий шагали рядом. Николай Иванович крутил в руках длинную трубку, покачивая головой, умилялся ею. Иннокентий диву давался: никогда не думал, что взрослый мужчина, да еще комиссар, может так по-ребячески воспринимать подарок.

— Разговор есть, — сказал догнавший их Иван.

Сбавили шаг, поотстали от мужиков. Иван, разгоряченный, еще не огошевший от горестного прощания с Ерма, сбивчиво заговорил:

— Извиняйте, если не в свое дело суюсь. Но сказать обязан, — откашлялся и более спокойно продолжал: — Был я у Гаврюхи. Николаевск. Керби вспоминали. Про Зайцева разговор вели. Гаврюха его припомнил... В общем, разведка ничего не даст.

Иннокентий и Дрозд действительно послали троих партизан в разведку. но по времени им рано было возвращаться, и командир с комиссаром волнения не проявляли

— Как понять? — спросил Дрозд.

— Зайцев — мужик дошлый. Вы за ним следите, а он — за нами. В округе, кроме нашего отряда, других нет. Значит, откуда ему опасности ждать? То-то и оно! Следит, гад, свидетельством тому лазутчики, на которых Кешка напоролся, и дальше нашу деревню без надзора не оставит.

— Думаете, хочет напасть?

— Такие, как он, не нападают, а берут хитростью. Он много повидал, многому научился — цену жизни знает!

— Что предлагаете?

— Идти к Зайцеву. Притом не таясь, напрямки. Повод — мандат за его подписью. А мы все ж таки знакомы...

Иннокентий удивленно уставился на брата. Комиссар тоже испытующе смотрел на Ивана. Тот не выдержал и потупился, дышал тяжело. Снял папаху, комкая ее, приглушенно сказал:

— С чем пойду?.. Надо такое придумать, чтобы он клюнул и поверил. Иначе... — не договорил, досадливо махнул рукой и отвернулся к реке.

Шло время — тягостное, мрачное. Посланные в разведку партизаны не возвращались.

Ночь выдалась безветренной и душной — в сарае не продохнуть, и Дрозд с Иннокентием выходили во двор, устраивались на бревне, говорили о партизанах, не возвращавшихся из разведки, гадали, как выйти из создавшегося положения. Оба склонялись к предложению Ивана.

— Смысл есть, — говорил Дрозд. — Но риск большой.

— Не верите Ивану?

Комиссар не ответил напрямую на вопрос:

— Предположим, пройдет. А выберется ли?

— Одному идти нельзя.

— И об этом думал. Главное, надо вести себя так, чтобы Зайцев ни на секунду не усомнился, не заподозрил подвоха. Значит, версия должна быть убедительной.

— И никому, кроме Ивана, он не поверит.

Иннокентий понимал, что все поступки Ивана — против него. Веры ему нет. Но посылать кого-нибудь другого бессмысленно. Идти должен Иван — только он знаком с Зайцевым. Значит, с братом пойдет брат. Приглушенно сказал:

— Я иду с Иваном. За выполнение задания всю ответственность беру на себя.

Николай Иванович долго смотрел на звездное небо, потом занялся трубкой. Наконец сказал:

— Командир нужен здесь. И запомни — славу, добытую в боях, возьмешь себе, а любую беду поделим пополам.

Амур плескался лениво. Мелкие волны набегали на берег, лизали босые ноги Ивана. Он лежал на песке, слушал пристроившегося рядом комиссара, который излагал план разведки. В разговор вступали Иннокентий и Фотей, давали советы. Ивана бесило, что его наставляют бывшие подчиненные, не нюхавшие настоящего пороха, но терпел.

— Все будет зависеть от обстоятельств, действуйте по усмотрению, но знайте — промаха быть не должно, — заключил Дрозд. Помолчал и спросил: — Кого берете с собой?

— Гошку Громова... — неуверенно сказал Иван.

Комиссар вопросительно посмотрел на Иннокентия. Тот, не задумываясь, сказал:

— Не возражаю.

Иван глянул на брата, увидел его спокойные глаза и отвернулся. Он ожидал отказа и вдруг — согласие

без промедления. Почувствовал неловкость: он-то на Кешку до сей поры сердце держит, а тот полное доверие выказывает. Иннокентий продолжал:

— Смел, решителен. Безоговорочно верит Ивану Игнатьевичу, можно сказать, предан. Не подведет!

— Позовите Громова, — обратился Дрозд к Фотею. — Побеседуем, введем в курс дела и сообщая еще раз оговорим подробности.

Песок заскрипел под ногами Фотея. Комиссар, рассматривая галифе Ивана, неожиданно спросил:

— Знаете происхождение своих удивительных штанов?

Иван недоуменно уставился на него.

— В прошлом веке во Франции жил генерал-кавалерист Галифе — сущий изверг, душитель Парижской коммуны. Вот он-то и придумал для своей кавалерии такие штаны. Не обращайтесь внимания, что придумал душегуб, носите на здоровье — весьма удобные. — Посмотрел на босые ноги Ивана и добавил: — Кстати, по его приказу носились галифе только в сапоги.

Иван закашлялся. Иннокентий не выдержал и засмеялся — уж больно ловко ввернул Дрозд про галифе.

Появились Фотей и Гошка Громов. Лицо у Гошки бледное, глаза испуганные — не знал, зачем понадобился комиссару, но на хорошее не надеялся. Николай Иванович признал рьяно выступавшего на сходе парня, приветливо сказал:

— Присаживайся, Громов.

Тот робко опустился на песок, боязливо глянул на комиссара и потупился.

— С родителем помирился? — спросил Дрозд.

— У меня линия твердая, — пробурчал Гошка.

— Будем надеяться на лучшее, — заметил комиссар, глянул на косогор, где сидели четверо гольдов. Позвал их и сказал Ивану: — Они пойдут следом за вами.

У того лицо побагровело. «Не доверяют! Надсмотрщиков привязывают!» — подумал, сжимая от негодования кулаки. Хотел высказать это вслух, но Дрозд опередил его — стал говорить о задаче, возлагаемой на гольдов. Иван слушал и успокаивался, наконец вовсе обмяк, заулыбался. Придуманная комиссаром живая цепочка из шести звеньев пришлась по душе и, главное, сулила удачу. В случае провала кто-то из шести останется живым и принесет в отряд добытые сведения. И знание гольдских обычаев удивляло: для вы-

полнения задания вполне хватило бы двоих, а он посылал всех, не делил, чтобы не обиделись. Да и цепочка надежнее... Почему-то представилась Мария: стоит на обрыве с гордо вскинутой головой, ветер играет ее волосами... Он повернулся к деревне, уставился на дом Выприна, где жила она. Подумал: «Благородство выказывала или играла?..»

Уход группы Ивана держался в тайне. Первыми подались из деревни гольды — днем, на глазах у сельчан, в тайгу направились, будто на охоту, и все желали им удачи. Иван и Гошка скрытно покинули отряд глухой ночью.

В доме деда Маркела за столом сидели Дрозд и Иннокентий. Старик возился с самоваром — за ночь еловые шишки отсырели и не разгорались.

— И кого угораздило вынести мешок во двор?.. — ворчал он.

Комиссар и Иннокентий не обращали внимания на Маркела, не до него было. Оба думали об Иване и Гошке: как поведут себя в банде, сумеют ли войти в доверие к Зайцеву? Кажется, все обговорили, наметили, но на месте могут быть любые неожиданности.

Когда, наконец, дед поставил самовар на стол, в сенях слышались шаги и в комнату вошел Щербатый, назначенный командиром взвода вместо снятого Громова. Увидел отдувающийся паром самовар, заулыбался, но тут же посуровел:

— Беда у нас... — голос его вовсе сел, из-за хрипов слова трудно разбирались. — Кочкин утоп.

Иннокентий и комиссар насторожились, и дед Маркел замер. Щербатый рассказывал:

— Пошли поутру на речку, исподнее постирать, и Кочкин с нами. Опосля обсушили бельишко на траве, облачатся стали, глянь, а Кочкина нет. Одежда еловая в кучке, рядом обувь и винтовка, а самого нет.

— Может, на остров уплыл или в кустах заснул? — растерянно спросил Иннокентий.

— Утоп. — Щербатый уперся глазами в пол и развел руками. — Обувка, одежда и винтовка на месте, а самого нет...

Николай Иванович сидел хмурый — догадывался, что произошло с Кочкиным. Еще на сходе, слушая его провокаторское выступление, решил не упускать бойца

из виду, если останется в отряде, поговорить, выяснить, что за человек. Не успел Опередили партизаны: устроили самосуд.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Под Малмыжем проходит незримая граница между севером и югом. Скальные хребты тянутся от Амура в глубь тайги. У подножия громоздятся валуны, рядом залысиной сияет песчаная коса. Густой кустарник, будто забором, отгораживает косу от зеленой поляны, усыпанной красными и желтыми саранками. За поляной раскинулись пихтач и ельник, причудливо переплетенные лианами ликого винограда и лимонника.

Пока Ивана Юрашина и Гошку Громова вели по лагерю, они сторожко поглядывали по сторонам — считали землянки. Конвоиры и попадавшие на пути бандиты были одеты в военную форму со звездами на фуражках и алыми бантами на груди.

Землянка, в которую привели их, была просторной. Керосиновая лампа освещала грубо сработанный стол, за ним сидел военный с обвисшими щеками, на плечи поверх гимнастерки наброшена черная кожаная куртка, такая же фуражка лежала на столе — звездой ко входу. «Сдал Зайцев», — отметил Иван, глядя на прилизанные, словно приклеенные к черепу, редкие прядки волос. Но больше всего его поразило пенсне на золотой цепочке: цепко ухватившись за переносье, казалось, давило до боли, отчего его владелец часто моргал и подергивал носом.

Зайцев, задрав голову, вопрошающе глядел на конвоиров. Один из них докладывал, как были задержаны пришедшие люди.

— Врешь, каналья! — улыбочиво перебил его Иван. — Мы углядели ваш пост раньше, плыли к берегу, окликались, я еще папахой махал. А вы — спиной к нам и в кусты!

— Кто такие? — в свою очередь перебил его Зайцев. Иван заулыбался еще шире:

— Впрямь слаб зрением стал. Не признал?

Зайцев молчал. Иван, словно стыдя дитя малое, мотал головой, чмокал и говорил:

— Негоже, Константин, старых однополчан не признавать, да еще на мушку брать. Негоже!.. Но раз

запамятовал, можем представиться... — Поправил в поясе ремень и, положив левую руку на эфес сабли, продолжал: — Юрашин Иван Игнатьевич. А это мой друг и собрат по оружию Громов.

Гошка вытянулся, щелкнул каблуками и лихо отдал честь. Лицо Зайцева по-прежнему выражало безразличие — тупо рассматривал задержанных.

— Чтобы сомнения не грызли, вот... — Иван достал из кармана мандат на имя Шмеля, положил на стол. — Подпись твоя, по ней и обнаружил... Только извиняй любезно, отжужжал Шмель. В том не наша вина, — стрелача дали твои люди, оттого и открыли по ним пальбу.

Зайцев рассматривал мандат, будто видел впервые. От Ивана это не ускользнуло, но не подал виду. Показал на конвоиров, стоявших у входа, сказал:

— Эти тоже хороши! Их, понимаешь, кличут, а они удирают. Могли бы и их... — Он вдруг вспомнил одного из подручных Тряпицына, грузина Оцевилли-Павлуцкого, возле которого увивался Зайцев, скривил рот, как это делал Оцевилли, и с кавказским акцентом добавил: — Могли бы и их покоцать!

Иван выделил любимое словцо грузина — «покоцать». Зайцев, услышав знакомое выражение, не выдержал и расхохотался — пенсне свалилось с носа, зацепившись за бант, повисло на груди. Смеялся и Юрашин. Гошка, не понимая причины веселья, робко подхихикивал.

— Как нашел меня? — наконец спросил Зайцев.

— По твоим зарубкам, — хитро ответил Иван.

Тот осклабился и вкрадчиво сказал:

— Кто мои зарубки обнаружит, живым не возвращается.

— Не пужай! — отмахнулся Иван. — Меня знаешь — не из робких. Мы с тобой не раз со смертью в обнимку ходили!.. Дело важное. Кабы не случай с мандатом, никогда бы не узнал, что в наших краях обитаешь.

— Что за дело? — Зайцев вытянул жилистые руки и, оперевшись о стол, откинулся назад.

Иван ухмыльнулся:

— Погост — не бабья постель — спешить не надо. Мы два дня не жравши. Умыться бы да подкрепиться, тогда и разговор начать. Или потчевать нечем?

Зайцев в хитром прищуре смотрел на незваного го-

стя. А тот приветливо улыбался — расположение выказывал. Зайцев отправил конвоиров, наказав прислать каптенармуса. Иван, услышав слово «каптенармус», невольно ухмыльнулся.

— У меня все на военный лад, — гордо заявил Зайцев.

Вскоре на столе появились кушанья из рыбы и овощей с резким запахом чеснока и перца. Выпили за встречу. Проголодавшийся Гошка ел все подряд, отдувался, то и дело брался за кружку с водой — во рту от специй горело. После выпитой водки осмелел и весело поглядывал на юркого мужичка, вертевшегося возле своего хозяина. И Гошка, и Иван поняли: бандит звался каптенармусом, но на самом деле был у Зайцева прислугой.

После второй стопки языки развязались, Юрашин с Зайцевым вдалились в воспоминания. Гошка впервые слышал подробности партизанского похода по Амуру на Николаевск. Улучив момент, заговорил о зверствах беляков, дважды бравших родную деревню. Иван зыркнул на него, наконец оборвал:

— Мал еще! В разговор не суйся!..

Он хотел дать понять Гошке, что с Зайцевым предстоит более опасная и тонкая игра, чем они предполагали, и чтобы тот держал язык за зубами. Но Громов не понял, обиделся.

Выпили еще по одной. Иван заговорил о соседстве двух отрядов, спросил о планах Зайцева и добавил:

— Может, сходятся. так сказать, общие! А?..

Зайцев смотрел на Юрашина и молчал. Иван тоже глядел на него — в глазах искорки, будто ничем не тревожился.

— За что? — спросил, показывая на грудь Зайцева.

Тот глянул на алый бант:

— С каких пор красный цвет не по нутру?

— Я не про бант.

Зайцев снова посмотрел на грудь, увидел пенсне, зацепившееся за бант, сказал:

— Ношу как память! Хозяин этой штуки всадил в меня две пули, притом сзади, исподтишка.

— В игрушки играешь? — Иван в упор смотрел на Зайцева. — Разговора втемную не получится. Не зная твоих планов, своих не выложу — боюсь, прельстишься и опередишь. Беседу на равных поведем, иначе сговора не выйдет!

Зайцев, закрыв глаза, задумался. Иван понял, что раззадорил его, и ждал. Наконец тот сказал:

— Программа прежняя, цель та же — установление на Среднем и Нижнем Амуре настоящей Советской власти!..

Ивана обдало жаром. «Настоящей»! Он слышал это слово в прошлом году в Николаевске: говорилось в каждой речи Тряпицына и Лебедевой, повторялось в прокламациях и газетных статьях. Страстные выступления действовали на людей, и многие, в том числе и Иван, поддавшись их заразительности, слепо шли за своими «героями» устанавливать «настоящую» Советскую власть. Под словом «настоящая» подразумевалась власть без большевиков. Но безграничная вера в командующего, застывшая глаза и разум, мешала осмыслить происходящее. Да он и не хотел думать иначе...

«Обман! Обман!» — горькая память стучала в висках. Иван сидел оцепеневший, не слышал Зайцева, пространно излагавшего «свою» программу, не замечал икоты, одолевшей Гошку. Прошлогодние бурные события, замешанные на крови, проносились в памяти чередой, и давящая пустота заполняла душу.

— Против, что ли?.. — донесся до него голос Зайцева.

Сжал кулаки, поднялся. Наткнувшись на спокойные глаза Зайцева, понял, что совершил ошибку, что нужно выйти из дурацкого положения, в которое сам себя поставил. Подался в сторону, снял ремни с кобурой и саблей, бросил на лавку, сел на прежнее место. Залпом выпил водку и твердо сказал:

— Не по пути нам, Константин!..

Гошка недоуменно глядел на него. И Зайцев не спускал глаз с Юрашина. Тот рванул ворот гимнастерки — оторвавшаяся пуговица со стуком шлепнулась на стол, подпрыгнула и глухо, словно провалившись в бездну, упала на земляной пол.

— У тебя планы вселенские, — воспаленные глаза Ивана смотрели на Зайцева, — а моя колея узкая.

Зайцев крутил в руках пенсне и улыбался. Иван разгадал его мысли и сказал:

— Исподтишка не привык. Играю в открытую. Ты на целый край замахнулся, а я зарок дал — на большую дорогу не ступать.

— Отчего же?

— Горький урок из памяти не выветрился!

Зайцев одобрительно закивал, видно, тоже вспомнил, чем кончилось в прошлом году в Керби властвование Тряпицына. Спросил:

— И что же у тебя за колея?

Иван, чтобы затянуть в игре узелок покрепче, с ответом не торопился. Свернул сигарку, прикурил от лампы.

— Орские прииски! — вдруг произнес.

Громов от неожиданности присвистнул. А Зайцев сначала побелел, потом краской залился. Иван понял: попал в самую сердцевину — о захвате золотых приисков мечтал бандит. Охватил азарт. Поединок сулил быть отменным, только бы Гошка не встрял, а то ляпнет что-нибудь вразрез — все рухнет. Он усмехнулся и показал на Громова:

— Видишь, даже мой верный друг того не знал. Держу в тайне, сам понимаешь, надежнее. А с тобой хитрить не след. Сам в ловушку угодишь... Щел к тебе, думал, планы сойдутся. Ан нет! Размах твой не по мне.

— У тебя отряд большой. Почему на прииски не двинул?

Иван набычился, хмурь на лице.

— Голым я остался, — глухо выдавил. — Кешка, брат мой, верх взял!..

И он, к удивлению Гошки, стал рассказывать о событиях в отряде. Говорил все, как было. Даже о приезде комиссара поведал. На брата же ушат за ушатом грязь лил. У Громова дыхание сперло — подобный план комиссаром не разрабатывался.

— Почему не расстреляли? — спросил Зайцев. — За твои деяния вышка полагается.

— Решили в Хабаровск доставить и сдать в трибунал.

— Бежал?

— Нет.

— Прислали?

Иван поднял глаза на Зайцева и твердо ответил:

— Да.

У Гошки враз икота прошла, сидел ни жив ни мертв, стиснул зубы, глазел на Ивана и думал: «Ежели предал, выхвачу наган — того и другого пришью!»

— Ну, что не расстреляли, еще причина была... — Юрашин посмотрел на Громова. — Таких гавриков,

как он, верных и преданных мне, в отряде почитай половина. Оттого забоялись к стенке поставить.

— Чего от меня хочешь?

— Помощи. Без тебя, твоих людей и мандатов на приисках делать нечего.

— Услуги свои предлагаешь?.. — Зайцев долго смеялся. — Кабы с отрядом пришел, одно дело, а вдвоем — подмога плевая. Я без вас приисками овладею.

— Не крути, Костя! — перебил его Иван. — Прииски тебе не по зубам — отряд мал.

— Уже пронюхал?

— Это не тайна. Полагаешь, Кешка с комиссаром дураки? Ошибся. Ты за ними следишь, а они за тобой глядят.

— Тогда зачем прислали?

— Место твоего лагеря определить.

— Определил — и ступай!..

Теперь захохотал Иван. Гошку это еще сильнее озлило, и он снял руку со стола, положил на ногу ближе к бедру — к кобуре. Юрашин перевел дух и сказал:

— Быть кормом для рыб не согласен, и гнить где-нибудь промеж елок тоже не с руки... Никуда не пойду, у тебя останусь. А ежели идти, то вместе — в том и будет проверка нашего сговора, — и он стал обстоятельно рассказывать, как они на лодках спустятся по Амуру, как нападут на деревню.

Гошка наконец понял игру Ивана и облегченно вздохнул: версия новая, но западня та же — выманить банду Зайцева на Амур, где на Зеленых островах, разбросанных ниже Малмыжа, будет ждать Иннокентий с отрядом.

— Может, опасаясь подвоха? — говорил Иван. — Без риска для тебя дело разыграется. В деревню мы с Гошкой пойдем, а ты после нашего ухода схоронишься. У меня в деревне все сготовлено. Пальбу услышишь, да и лазутчики твои все как есть доложат, тогда — только поспевай!.. Без тебя не управлюсь. А почувешь неладное — уйдешь. Ни я и никто другой знать не будет, где хоронишься, потому и уйдешь.

— Спесишь, Ваня!

— Угадал! Спешу, покуда у моих людей головы не остыли, покуда они верны мне! Сам знаешь, комиссары сложа ручки сидеть не умеют.

Зайцев нервно постукивал пальцами по столу — не то в словах Ивана сомневался, не то надежность плана

обдумывал. Юрашин, видя его смятение подлил масла в огонь:

— В деревне не задержимся. Объединим отряды и махом на Орские прииски — закрутим карусель!

— Опять спешишь! — ехидно заметил Зайцев.

— Заспешишь! Поди знаешь, что во Владивостоке произошло? Не сегодня-завтра меркуловцы двинут на Хабаровск. Комиссар сказывал. А коли двинут, значит, белым и красным не до Орских приисков будет — о своих головушках забота ихняя. Вот и надо суматошное время использовать... Не знаю, кто на приисках сейчас заправляет, только сдается мне, мандат твой превеликую службу сослужит — сам черт под нашу дудку плясать станет!

Зайцев заходил по землянке: шагов не слышно, сутулая фигура то бесшумно появлялась в свете лампы, то исчезала в темном углу. Иван заметил, что он, склонив голову, уставился на пенсне, которое, как маятник, раскачивалось на цепочке. «Чует подвох или для меня изображает?» — подумал Юрашин.

— А что потом? — после долгого молчания спросил Зайцев.

— Потом?.. — Иван почесал в затылке, извиняющимся тоном продолжал: — Доли у нас разные — тебе по столбовой дорожке шагать, а мне... Разойдемся!.. Я так думаю: красные или белые победят — ни те, ни другие Орских приисков нам не простят. Так что мой путь — в Маньчжурию.

Гошка, обуреваемый желанием помочь другу, влез в разговор.

— Эх, мать вашу!.. — выпалил.

Иван, боясь, что тот ляпнет несуразицу, со всего маху двинул ему кулаком в лицо. Громов опрокинулся с табурета на пол. На шум в землянку вбежали вооруженные бандиты. Иван взял кружку с водой, плеснул на Гошку. Тот открыл глаза.

— Все учить приходится, — укоризненно выговаривал Юрашин, — без кулаков уразуметь не могут, что встревать в разговор командиров не след.

Громов, как чумной, тряс головой, размазывал по лицу сочившуюся из носа кровь. Зайцев, скрестив руки на груди, стоял в темном углу, пристально смотрел на Юрашина.

— В общем, мозгуй, Константин! — сказал Юрашин и заключил: — Одно помни — я от тебя не отстану!

Зайцев подошел к столу, взял фуражку. Один из бандитов, как по команде, юркнул к лавке, где лежало оружие Юрашина. Двое других обезоружили Громова. Зайцев вышел из землянки. Ему вслед растерянно смотрел Иван: не знал, как понимать молчаливый уход.

Каптенармус проворно убирал со стола. Один из бандитов устроился на табурете возле входа, другой сел на место Зайцева, третий с отобранным оружием ушел из землянки. Юрашин лег на широкий топчан, Гошка, зажимая нос платком, примостился рядом. Иван незаметно нашарил его руку и крепко пожал. Громов понял друга и еле сдерживался, чтобы не заорать: распирали два чувства — радость за лихо сработанное Иваном дело и обида, что зазря схлопотал по сопатке.

Ночью Ивана одолевали думы. Живо вспоминались события в Николаевске, гибель товарищей. Теперь он, переосмысливая происшедшее, понимал, как обманулся в слепой вере, шел по ложному пути. «Поздно прозрел!» — с горечью подумал, и ему тотчас представился Денис. Загорочался на топчане, скрип досок нарушил тишину, и бандит, сидевший за столом, приподнял голову. Иван зажмурился, притворился спящим. «К черту! К черту! — отгонял будоражившие мысли. — Нынче главное — Зайцев!» И он в который раз стал разгадывать его неожиданный и безмолвный уход.

Каптенармус принес миску с вареной картошкой, кусок копченой рыбы и два куска хлеба. Иван и Гошка поняли, что завтракать придется одним, Зайцев не придет. Стараясь понять его намерения, поглядывали то друг на друга, то на приставленных бандитов-сторожей. Насытившись, покурили. Попросились по надобности. Их вывели из землянки, в глаза резануло солнце, и они зажмурились.

— Ступайте до кустов, дальше ни шагу! — предупредил один из охранников.

— Дай глаза продрать, — недовольно пробурчал Громов.

Послышался тонкий свист рябчика. Гошка невольно замер: это был условный сигнал — кто-то из гольдов видит их.

— Пойдем, пойдем... — Иван похлопал Гошку по плечу.

Возвращаясь из кустов, снова услышали голос рябчика. Громов захромал, матюгнулся и плюхнулся на

траву. Снял сапог, перевернул подошвой кверху, стал вытряхивать будто попавшие в него камешки. Это был ответ гольду: сигнал слышали.

Весь день сидели в землянке и маялись в догадках, почему не идет Зайцев: то ли на измор берет, то ли затеял что-то? К вечеру он объявился, и на столе снова появились острые корейские блюда. Ужинали без водки. Зайцев говорил много, вспоминал былые боевые дни, но о вчерашнем разговоре — ни слова. Когда закончили ужин и Зайцев собрался уходить, Иван сказал:

— Можешь проверять мои слова любыми способами, только знай: время — золото!

Зайцев быстрым шагом направился к выходу, неожиданно остановился:

— Проверять твои слова нет необходимости — я про тебя все знал. Хитрить не стану — твоё предложение пришлось по душе. К тому же ты прав — мой отряд мал, Орскими приисками не овладеть. Готовлю кунгасы к походу. Об остальном поговорим через день-другой.

Он ушел.

В эту ночь уснуть не мог Гошка, ворочался, то и дело поглядывал на вход, ждал утра. Ему не терпелось передать условный сигнал гольду. Иван, боясь, что охранники заподозрят в поведении Громова неладное, прикрикнул на него, пригрозив, что если тот не заснет, то снова получит по сопатке. Гошка уgomонился. Но утром проснулся первым, разбудил Ивана. Тот тянул время: высмолил самокрутку, потом долго возился с сапогами, рассматривал.

— Поизносились. Левый скоро каши запросит.

Наконец, увидев появившийся солнечный сноп в дверном проеме, обулся. Конвоиры повели их на улицу.

Гошка первым вышел из кустов на поляну. Услышав свист рябчика, обратился к конвоиру:

— Слышь, друг, Амур тут далече?

— Успеешь утопнуть, — зло ответил тот.

— Мне такое вовсе ни к чему. А вот сопрел дюже, — он снял шапку, повернулся к скальной гряде, откуда раньше доносился свист рябчика, старательно вытер шапкой лицо, стал обмахиваться. Серdito сказал: — Хошь бы искупаться сводили...

Вернувшись в землянку, Юрашин и Громов сели

завтракать. Иван одобрительно, усмехнулся смекалке парня: целый спектакль разыграл, лишь бы дать условный сигнал — обтереть лицо шапкой. Теперь по живой цепочке побежит к отряду донесение, чтобы готовились к встрече на Амуре.

После завтрака каптенармус убрал со стола, что-то шепнул двум бандитам, и все трое ушли. Юрашин понял: Зайцев снял внутреннюю охрану. Затревожился. Уж больно складно все получалось. Перебирал в памяти разговоры с Зайцевым, особо припоминал выражение его лица, глаз. Тогда Иван каким-то чутьем уловил, что Зайцев знает про него все, значит, заготовленные версии не годны, и он пошел ва-банк — выложил правду, изломав ее в свою пользу. Может быть, эта правда и подкупила Зайцева, поверил и принял предложение. Но могло быть другое: хитрил, усыплял бдительность.

— Зорче гляди, Гоша!.. — предупредил Иван.

Громов пропустил слова Юрашина мимо ушей, он был на седьмом небе — дело шло на лад, и он, Гошка Громов, был одним из главных его героев. Грезился комиссар. Наставлял, напутствовал. Только зря время тратил, все оказалось просто — Зайцев не так уж умен, как о нем говорили, в дураках остался. И парню чудился бой: с Зеленых островов, заросших высоким тальником, несутся лодки партизан, гремят выстрелы, бандиты в панике бросаются с кунгасов в воду. Увиделась ликующая толпа — деревня встречала отряд. Комиссар говорит речь, вызывает из строя разведчиков, крепко жмет руку ему — Гошке Громову. И отец почудился: стоит в толпе, слушает комиссаровы слова о геройстве сына и во всю ширь улыбается. «В свою веру обращаю, нишкнешь, — благодушно думал Гошка. — И с Фенькой, старухой, отстанешь!» И о Кешке вспомнил: хочет не хочет, а командиром взвода снова поставит и на заседании штаба уважительность выкажет — к его слову прислушается.

— Будь зорче, Гоша! — повторил Иван.

Тот усмехнулся, насвистывая, пошел к выходу. Поднялся на две ступени, заметил охранников, устроившихся возле входа в землянку, и вернулся. Смеясь, сказал:

— Хрен редьки не слаще — обложили!..

Сидели за столом, сверяли наблюдения. Точное количество бандитов установить не удалось, но оба были

убеждены, что банда меньше партизанского отряда.

Когда их опять повели «до кустов», Гошка условным сигналом передал второе донесение.

Вечером следующего дня снова сидели за столом втроем. Зайцев был хмур — что-то явно беспокоило. Разговор не клеился. Иван попытался развеселить Зайцева анекдотами, но и это не помогло. Поужинали. Перед уходом Зайцев сказал:

— Завтра в полдень выступаем.

Гошка, услышав это, даже привстал. Иван усмехнулся:

— Гляди, Громов, штаны от радости не опачкай!

— Пойдем тремя кунгасами, — продолжал Зайцев, — у пришлых рыбаков одолжил.

Он так сказал слово «одолжил», что Иван и Гошка поняли: рыбаки были убиты.

— В первом поплывете вы и пять моих бойцов, не вздумайте шутковать, они предупреждены. После Вознесеньки мы отстанем. Дальше пойдете одни. Все остальное будет зависеть от вас.

Ночь шла на убыль, а Иван не мог сомкнуть глаз. На первый взгляд казалось, Зайцев до конца уверовал в предложенное дело и был озабочен предстоящим походом. Но легкость решения настораживала. И еще думал Иван: «Почему не оговорил условий, на которых принимал меня и моих людей в банду?»

Забылся только под утро. Проснулся и первое, что увидел, — яркий сноп света в дверном проеме. Наступил новый день. Понимал, что сегодня затеянная игра будет особо острой, до отплытия Зайцев не преминет взять его в оборот. «Промеха быть не должно!» — повторил слова комиссара и протянул руку, чтобы шлепком разбудить Гошку. Ладонь ударилась о голые доски топчана. Резко повернулся — Гошки не было. Вскочил, обулся, пошел к выходу. Остановился и перерешил: «Надо подождать!» Сел на топчан, скрутил сигарку. Вспомнил, как Гошка укладывался спать. Лег сразу после ухода Зайцева, желая, чтобы скорее наступил завтрашний день. Не терпелось ему передать сообщение о начале похода. «Неужто один решился?» — подумал Иван и в сердцах обругал парня. Послыша-

лись шаги — кто-то спускался по ступеням. В землянку вошел Зайцев: лицо выбрито дочиста, в глазах блеск. За ним протопал рослый бандит, положил на стол амуницию и оружие Юрашина и Громова. Зайцев выпроводил его, обратился к Ивану:

— Экипируйся, и пойдем подышим свежим воздухом перед завтраком. Надо кое-что обсудить.

Юрашин понял: разговор предстоит серьезный и надо быть начеку. Взял деревянную кобуру маузера, ухмыльнулся:

— Поди разряжен?

Зайцев жестом показал, чтобы тот проверил. Иван достал из кобуры маузер, смотрел на него и решал — открыть коробку магазина или довериться слову Зайцева. Направил маузер на земляную стену и спустил курок. Прогремел выстрел. В землянку вбежали переполошенные бандиты, увидев невредимого и смеющегося Зайцева, попятились и удалились.

— Извиняй за недоверие, — глухо сказал Иван, застегивая ремни. — А где Громов?

Зайцев весело присвистнул:

— Картежник твой Громов! С раннего утра режется с моим каптенармусом. Обдирает, как липку!

Иван знал, что Гошка поигрывал в карты, но чтобы тот был заядлым игроком, не ведал. Задумываться над этим не стал: благо жив! Почувствовав тяжесть маузера и сабли, обрел спокойствие и уверенность. Взял папаху, направился за Зайцевым к выходу.

Лагерь напоминал разворошенный муравейник. Бандиты таскали ящики, тюки, домашнюю утварь — готовились к походу.

— Снимаемся навечно! — сказал Зайцев. — Правда, приказал не рушить землянок — у палки два конца...

Иван обратил внимание на составленные в козлы винтовки — все японского образца, — посмотрел на бандитов, увидел на поясных ремнях штыки-ножи в чехлах и подумал: «Сами раздобыли или снабдил кто?»

— Там... — Зайцев показал на скальные хлебты, — Малмыж. Недаром малмыжане говорят, что живут за каменной стеной.

— Почему же зарылся в землянки?

— Придерживаюсь заповеди: если не хочешь быть обманутым, живи подальше от людей!.. Кстати, я изменил свои намерения — после Орских приисков уйду

в Маньчжурию Ты прозорлив — оставаться в любом случае опасно.

— А программа, цели? — Иван пытливо смотрел на него.

Тот остановился, глядя куда-то вдаль, сказал:

— Знаешь закон волка? — и, не дожидаясь ответа, пояснил: — Если не досталась овца, сойдет и заяц!

Он, смеясь, двинулся дальше. Иван поглядывал по сторонам — нет ли где еще землянок. Сзади слышался хриплый голос:

— А эту бандуру куда?

Иван повернулся и увидел бандита с большой пишущей машинкой на руках. Другой бандит выругался:

— Там ящик есть, дура! — и стал спускаться в землянку.

Иван понял, откуда у Зайцева мандаты — сам печатал. Ухмыльнулся, показывая на машинку, спросил:

— Где раздобыл?

Зайцев без тени смущения ответил:

— С Николаевска ношу. У одного частного лица реквизировал. Он — в исполкоме, а я — у него. — Заложил руки за спину и продолжал: — Тебя подпись на мандате Шмеля смутила — «начальник штаба». Умысел простой — звучит грозно и туману много.

— Хитер! — искренне заметил Юрашин.

— Без хитрости, Ваня, в наше время не выжить, — самодовольно улыбался Зайцев. — Мне раньше и в голову не приходило, какую великую силу могут возыметь мои мандаты. Спасибо тебе!.. Они, пожалуй, заменят десятки бойцов. А?

— Конечно! — согласился Иван.

— У тебя сколько надежных людей?

— Поболе твоих

— И, думаешь, это для меня безопасно?

— Люди верные, преданные... — начал было Юрашин, но Зайцев перебил:

— И гольды есть?

— Несколько человек.

Они обошли кусты орешника, вышли на поляну.

— Это твой?

Иван поднял глаза. Сердце сжалось. На березе висел повешенный гольд, один из друзей Самара. «Разорвалась цепочка! Провал! — подумал, но тут же пришла новая мысль: — Может, случайность?» С трудом совладав с собой, сказал:

— Они все меж собой схожи... — смотрел на вздувшееся, посиневшее лицо повешенного. — Теперь вовсе не признать...

Он не мог оторвать глаз от гольда, душу жег огонь, подступал к глотке. Зайцев отошел от него и спросил:

— А этот?

Иван повернулся и обомлел — с другой стороны поляны на дереве висел Гошка Громов. «Ловушка захлопнулась!» — пронеслось в голове. Искоса глянул по сторонам — никого. Зайцев стоял в нескольких шагах спиной к нему. Рука потянулась к маузеру, пальцы бесшумно приоткрыли крышку деревянной кобуры, коснулись рукоятки. И тут кто-то сзади набросил на него аркан, петля захлестнула шею, дернула, и он опрокинулся на спину. Враз навалились тяжелые тела. Удар по голове... Очнулся уже перевернутым на живот — за спиной туго связывали руки.

— Поднимите! — раздался спокойный голос Зайцева.

Ивана подняли. Голова кружилась, пытался оглядеться — едкая пелена застила глаза. Наконец различил Зайцева. Тот стоял на прежнем месте, только лицом к Ивану, покручивал в руках пенсне и чуть заметной улыбкой одаривал пленника.

— Предупреждал тебя, Ваня, кто меня обнаружит, живым не уходит. Надо верить старым однополчанам, а ты... — посмотрел на болтавшийся труп Громова и продолжал: — Троиш изловил до вашего прихода, здесь же висели. Смердить стали, приказал кинуть в реку...

Иван догадался: речь шла о партизанах, посланных Иннокентием и комиссаром в разведку.

— А слово сдержу — побываешь в родной деревне!.. — с намеком на расправу сказал Зайцев. Он давно вынашивал мечту — наказать деревню за поддержку и помощь партизанам, да так наказать, чтобы другим неповадно было. Теперь такой случай представлялся... Ужмыльнувшись, благодарно посмотрел на бандитов, которые только что арканили и вязали Ивана Юрашина.

Иван тоже перевел взгляд на них. Один — в солдатской форме, с пышными усами и Георгием на груди. Другой — в посконной рубахе навыпуск, широких штанах, заправленных в сапоги. Юрашин узнал его — это был Захар, сын расстрелянного кулака Сычова из Тамбовки.

...Иван пришел в сознание. Изувеченное тело одеревенело, и боль притупилась. По скрипу весел и хлюпанью воды понял, что лежит в кунгасе. Над ним было темное небо с тускло мерцающими звездами, мотающиеся взад и вперед фигуры гребцов. На корме восседал рулевой — огонек самокрутки то ярко светился, то угасал. Он пытался восстановить события дня и не мог, помнились только обрывки... Пытали его в той же землянке, где они жили с Гошкой. Раньше думали, что выкурили Зайцева из его жилища, а землянка оказалась «следственной». Зайцева больше не видел. Перед ним все время маячил Захар Сычов: засученные рукава, волосатые руки, лицо взмокшее, перекошенное злобой. Точь-в-точь отец перед расстрелом, и слова те же: «Шлейками шкуру спущу! Шлейками!» Пытал он как заправский палач... Внимание Ивана привлек солдат с Георгиевским крестом на гимнастерке. Поначалу помогал Захару — держал сопротивляющегося Ивана, стаскивал с него одежду. Когда же Захар попросил разжечь паяльную лампу, солдат в сердцах выругался и отошел в сторону. Сычов материл его, но Георгиевский кавалер не сдался. «Я русский бомбардир, а не висельник!» — заявил и вышел из землянки...

Иван глядел на сереющее небо, исчезающие звезды и прикидывал, где находятся кунгасы. «Кабы вспомнить, когда отплыли... Впрочем, неважно, главное — банда вышла на Амур». Он не был уверен, что второе и третье донесения Гошки дошли до отряда, но первое передано наверняка. Значит, Иннокентий с отрядом уже затаился на Зеленых островах...

Когда он снова пришел в себя, было утро. На небе ни облачка, голубая бездна без конца и края. Приподнял голову и увидел сопки, заросшие пихтачом. Они были совсем рядом, и от догадки Иван похолодел. Кунгасы шли по протоке, рукав которой начинался неподалеку от Малмыжа, тянулся правым берегом десятки верст, соединялся с речкой Хунгари и возле Вознесеновки сливался с большой водой Амура. В подтверждение его догадки послышался голос:

— Обойдем косу и минем Вознесеновку. Почитай больше половины отмахали!..

Иван понял коварство Зайцева. Тот знал о засаде партизан на Зеленых островах — лазутчики выследили. Снялся с насиженного места, обошел острова стороной — по протоке.

«Конец!»

Он не боялся смерти и думал не о себе. Беда надвигалась на его родную деревню, оставшуюся незащищенной. Во всем винил себя — проиграл поединок с Зайцевым и накликать напасть на односельчан. Сам ему подсказал, сам надоумил: «Мандаты возымеют превеликую силу — сатана служить будет!» Иван лихорадочно думал, как предотвратить беду, помешать бандитам. Напряг все силы и стал подниматься. Локти уперлись в днище — колючая боль пошла к плечам, шее. Стиснув зубы, еще немного подался вперед. Большой кованый сапог уперся ему в грудь и уложил на место. Иван затих. Превозмогая боль, открыл глаза. Над ним стоял бородач, казавшийся снизу непомерно высоким. Бородач свистнул. Послышалось шлепанье босых ног по днищу, и перед ним появился Ерошка-горбун. Бородач спрашивал, Кудлай отвечал, показывая в сторону, где должны остаться Зеленые острова. Иван заскрежетал зубами. Бородач ухмыльнулся, передал руль горбуну и присел на корточки. Иван рассматривал испещренное морщинами лицо с седой курчавой бородой, мучительно вспоминал, где и когда его видел. «Карп Долов!» — сердце судорожно сжалось. Он только сейчас понял, в какие сети попал. Карп Карпыч мастак строить козни. Ерошку-горбуна небось с потрохами купил — тот за полтину душу дьяволу отдаст, вот и шпионил в деревне. Своих людишек, с которыми раньше темные дела обделывал, по Амуру, как верши, понатыкал — не проскользнуть. Знал, что одному с деревней не совладать, к Зайцеву пристал и нес службу исправно, потому как корысть имел — отомстить бывшим односельчанам.

Острые глаза ненавидяще сверлили Ивана, мозолистая ладонь приближалась к лицу.

— Взял бы твою харю в пять перстов, смял да сдернул!

Узловатые пальцы скрючивались, будто впрямь сжимали что-то.

— Детоубийца!.. — прохрипел Иван.

— Врешь!.. — Лицо Карпа Карпыча исказила злая гримаса. — Мои руки кровушкой сыновней не обагрены. Ты его у меня отнял, ты его и убил!

Иван напряжился и кровавой слюной плюнул ему в лицо. Тот зажмурился, но сдержал себя. Неторопливо обтерся рукавом.

— Стерпим, потому как не от ума это. Дениска мой головастее тебя был, и гордый — на плевки не разменивался... Углядел я, что ты навечно его у меня украл, обратно не вернуть, и предоставил тебе паскудное дело — под мою свирельку коленца выделявать... Те-перича казись, до самого последнего своего часа казись! Слава богу, он недалече. — Выпрямился, всматривался вдаль. — Там, в родимой, на глазах голодранцев твою харю сдерну, — и тут же крикнул Ерошке-горбуну: — Выходи на стремнину — подхватит!

Иван понял, что кунгас вышел с Хунгари на Амур — значит, позади остались Зеленые острова. «А может, Кешка поспешает следом?» — подумалось, но тотчас вспомнился повешенный гольд — цепочка разорвалась, — и он с горечью рассудил, что никто никуда не спешит.

Три кунгаса причалили к берегу, и бандиты, как саранча, налетели на деревню. Из домов выгонялись все от мала до велика. Перепуганные люди глазели на «бойцов» с красными звездами и алыми бантами, а те, улыбочивые, подталкивали их прикладами. И из дома Архипа всех выгнали, и дом Варнакова не обошли (по приказу Карпа Карпыча только дом повитухи не тронули). Афанасий Михеевич, тыча в золотой крест, висевший на груди, кричал, что он божий служитель и применение к нему силы равносильно поруганию, но бандиты не слушали его, толкали в спину. Завидя вышедшего из-за угла Карпа Карпыча (Варнаков признал его сразу), он простер руки к небу:

— Карпушка, вызволи из беды, не допусти надругательств над измученными душами нашими!..

Карп Карпыч не удостоил его взглядом.

— Я завсегда был твоим заступником перед богом! Грехи тебе отпускал! Душу спасал твою! Али запоматывал, Карпушка?

— Разе всех упомнишь... — буркнул тот и прибавил шагу.

Афанасий Михеевич обмер, не думал, что старинный приятель от него откажется. «Конец света настал, а ты на благо людское надеешься! Петый дурак!» — обругал себя и, понуря голову, послушно поплелся за всеми.

Жителей деревни согнали на берег, их полукольцом

обступили бандиты с винтовками наперевес — штыки ножи устрашающе поблескивали.

Двое бандитов вытащили из кунгаса Ивана Юрашина, поволокли к бугру, на котором в окружении Карпа Долова, Захара Сычова и солдата с Георгием на гимнастерке стоял Зайцев — правая рука запущена за борт кожаной куртки, левая закинута за спину, на переносье пенсне. Он стоял, не шелохнувшись, как изваяние. Смотрел на людей, и они глядели на него — кто с тревогой, кто с изумлением, а кто с надеждой. К бугру подтащили изувеченного Ивана, бросили на землю, и люди уставились на него — исподнее порвано, в кровавых пятнах, лицо в ранах. Он некоторое время лежал без движения. Заскрежетав зубами, попытался приподняться на непослушных, обессиленных руках. Сзади к нему подошел Карп Карпыч, уперся кованым сапогом в спину и уложил наземь. По толпе пронесся ропот:

— Карп Долов!

— Изувер вернулся!

— Пожаловал, поганец!

Он поднял на людей смеющиеся глаза, и говор стих. Наслаждаясь своей властью, огражденной штыками, рассматривал односельчан. Понимал, что сейчас общее внимание приковано к нему. Ухмыляясь, убрал ногу со спины Ивана, отошел в сторону, вскинул голову, повернулся к деревне. И люди посмотрели на деревню. Раскинувшись на пологом холме, она была видна как на ладони. По пустым дворам бегали Ерошка-горбун и бандит, звавшийся каптенармусом, таскали охапки сена из конюшен, бросали их к домам. Люди замерли. Сомнения исчезли, все поняли: быть пожарищу. Беды не миновать.

— Граждане сельчане! — раздался голос Зайцева. Люди повернулись к нему, смотрели с тоской и страхом. Он продолжал: — Вы обмануты большевиками, которые уловками и посулами овладели вашими умами и направили по ложному пути! Такие, как он... — левая рука вынырнула из-за спицы, ткнула в сторону Юрашина и снова юркнула за спину, — хитростью и демагогией возвысились над вами и привели к пропасти! Не верьте большевикам, их красноречию о мире и свободе. Они залили кровью Россию, отделили от нее Дальний Восток, тем самым предали вас — бросили на съедение японским империалистам!..

Иван приподнял трясущуюся голову. У него не было сил крикнуть, чтобы люди не слушали бандита, и он искал глазами Гаврюху Горелого, который из-за ранения не мог уйти вместе с отрядом. Он надеялся, что Гаврюха в толпе и не смолчит, достойно ответит Зайцеву. Но Горелого в толпе не было. Иван увидел Юльку: лицо румяное, глаза сияющие — поглядывала на людей, словно новой шалью хвалилась. Девчонке было невдомек, что делалось вокруг, что ожидает ее и всех односельчан. Она открыто радовалась чему-то. И Иван понял причину ее радости: Юлька сумела спрятать своего Гаврюшу. «Поди снова в коровнике хоронится», — подумал и, забыв, зачем нужен ему сейчас друг, порадовался за него — жив останется. Невольно покосился на деревню, увидел Кудлая с охапкой сена возле дома Стригановых и, стиснув зубы, застонал: «Зазря спалится Гаврюха!»

Зайцев говорил:

— Большевики в силу своей соглашательской политики шли на всяческие уступки перед японцами и продали вас. Они хотели выжить за счет вашей крови! Взойти на ней!

— Врешь! — мотая головой, выдавил Иван.

— Выдуманная Дальневосточная республика — это результат близорукости и трусости соглашателей-большевиков!.. Сегодня же, когда Владивосток оказался в руках белоповстанцев, поддерживаемых японцами, когда наша земля снова обагрилась кровью, подлинное лицо изменников-большевиков видно всем!

Архип Ляхов находился в гуще толпы, не спускал глаз с Карпа Долова. Архип не слушал Зайцева, помня завет отца: в длинных речах слов много, а проку мало. Он хорошо знал Карпа Карпыча и был уверен, что после словесной шелухи последует жестокая расправа — никого не помилуют. «Девчонок уберечь!» — стал глядеть по сторонам, искал Юльку с Веркой. Они стояли неподалеку, жались к Марии, словно она была их опорой и защитой. Архип смотрел на бледное лицо Марии, на ребенка, которого она прижимала к груди, и горечь подступала к горлу — теперь не вывернуться, не спастись. Подумалось о матери, и он тут же наткнулся глазами на нее — Христинья стояла рядом с Юрашихой. Старухи беззвучно плакали. Ему даже показалось, они стояли в обнимку. «Этого еще недоставало!» — его лицо покрылось холодной испариной.

Зайцев продолжал речь:

— Голько мы, истинные бойцы русской революции, разоблачившие большевиков, боремся за вашу настоящую свободу, за неделимость России, за установление на Дальнем Востоке настоящей Советской власти!

— Врешь, гад! — собравшись с силами, приподнялся на руках Иван.

К нему подскочил Карп Карпыч, ударил сапогом в лицо, отошел в сторону и принялся расхаживать взад и вперед. Он нервничал. Речь Зайцева затянулась, а ему не терпелось приступить к делу. После речи, как было оговорено заранее, Долов станет бить батоном Архипа Ляхова (он давно приметил его в толпе и не выпускал из виду), отведет душу — забьет до смерти, пусть не самому Никону Демьянычу, так его отпрыску оплатит за содеянное когда-то отцом. Потом наступит черед Ивана Юрашина. Руками изломает ему кости и, натешившись, завершит месть пожаром — на всю округу виден будет. Ему было плевать на односельчан. Их судьбу решит Зайцев. Главное, воздаст сторицей кровным врагам, из-за которых вся его жизнь пошла наперекосяк. И людишки, если в живых останутся, помнят его.

— Вы все знаете деяния ярого большевика Ивана Юрашина, — продолжал Зайцев. — Небось на своей шкуре испытали его власть! Благодаря своим дружкам, таким же большевикам, он ушел от возмездия!.. А может, среди вас есть такие, кто станет на его сторону? Заступником будет?

Люди хмуро глядели на Зайцева. Они помнили несправедливые, порой жестокие действия Ивана, но сейчас, чуя подвох в словах оратора, не могли пойти против Юрашина — молчали. Зайцев показал пальцем на Апросинью Жмыхову, на лице которой виднелись шрамы — следы недавних казачьих побоев.

— Ты, гражданка, осуждаешь или обеляешь большевиков?

Апросинья вздрогнула, испуганно покосилась на людей.

— Иди сюда! — повысил голос Зайцев.

Она, судорожно сжимая под подбородком полушалок, двинулась вперед. Выйдя из толпы, остановилась.

— Ближе! — приказал Зайцев.

Апросинья, еле передвигая ногами, сделала несколько шагов и замерла возле Ивана Юрашина. Воцари-

лась тишина, люди ждали, что будет дальше. Но Зайцев не торопился. Снял с носа пенсне, принялся прогнать платком. Карп Долов не стерпел, шагнул к Юрашину и крикнул Апросинье:

— Плюй ему в рожу!

Она уставилась на Ивана. Ноги тряслись, того и гляди упадет. И Иван смотрел на нее, хотел ободрить взглядом, но она не понимала его. Карп Карпыч подскочил к одному из бандитов, выхватил у него винтовку, направил на Апросинью:

— Плюй, ежели жить хочешь!

Щелкнул затвор. Апросинью обуял страх — сейчас жизни лишится. Она зажмурилась и плюнула в лицо Ивану. По толпе волной прошел ропот — не то осуждали Жмыхову, не то сочувствовали Юрашину. Апросинья отступила от него, торопливо пошла на свое место, но вдруг, вскинув руки, с криком метнулась в сторону, упала на землю и зарыдала.

Карп Карпыч отдал винтовку бандиту, подошел к Зайцеву и что-то шепнул ему. Тот утвердительно кивнул. Долов повернулся к толпе, улыбочиво сказал:

— Знаю вас поименно — не запомнил... — в хитром прищуре оглядывал людей. — Выходи вперед, Мария Демьяновна!

Она не шелохнулась, только сильнее прижала к груди ребенка. Долов медленно двинулся на толпу. Люди расступились. Он подошел к Марии, оттолкнул жавшихся к ней девчонок, взялся пятерней за волосы и, запрокинув ей голову, повел к Юрашину.

— Вот твой враг! Через него богатство потеряла! От него все беды твои!.. А ну, потопчи его каблучками, пущай почует поступь ляховскую!

Мария не слышала Долова, она не отрывала глаз от израненного Ивана — тотчас вспомнилось, как вот так же лежала в конюшне, а ее, беременную, отец хлестал вожжами. Непомерные муки тогда перенесла. Глядела на Ивана и будто снова ту боль испытывала: тело ныло, и внутри все комком сжалось.

— Может, ты большевичка? — ехидно спросил Зайцев.

— Ударь, Маша... — тут же послышался шепот Ивана.

Мария вмиг овладела собой. Как прежде, гордая осанка появилась и взгляд острым стал. Не привыкла

она чужими подсказками жить, непременно поперек все делала. Повернулась решительно к Зайцеву и зычно сказала:

— Всех ненавижу! И со звездами, и с крестами... — мотнула головой на солдата с Георгием, глянула в Долова. — И тебя, Иудино семя, ненавижу! Все вы одним миром мазаны!

Зайцев кивнул Захару. Тот подошел к Марии, сгреб ребенка. Прошел к бугру, положил мальчишку на землю — ближе к Зайцеву.

— Делай что велено! — сказал Зайцев Марии. Видя, что она не двигается с места, достал из кобуры браунинг.

— Бей!.. Бей!.. — умоляюще шептал Иван.

Она стояла, окаменевшая, ни рукой, ни ногой пошевелить не может, только глаза таращила на сына, который лежал на земле и заливался плачем. Зайцев поднял руку, направляя браунинг на ребенка.

— Погодь! — Георгиевский кавалер Илья Хорь шагнул из-за Зайцева, отстранил его руку и заслонил собой сына Марии. — Не надо, Константин! Это же дитя малое, ни в чем не повинное!..

Зайцев вскинул руку и выстрелил солдату в лицо. Тот дернулся всем телом, но на ногах устоял. Люди, затаив дыхание, смотрели на солдата. Его руки зажимали лицо, сквозь пальцы сочилась кровь. А он как вкопанный стоял на расставленных ногах. Захар подошел к нему сзади, легонько толкнул в спину, и тот столбом повалился наземь. Люди охнули и подались назад — никогда не видывали такого. Зайцев стоял в оцепенении, даже Карп Карпыч изменился в лице — оба не сводили глаз с распластавшегося на земле Георгиевского кавалера. Мария, воспользовавшись тем, что про нее забыли, бросилась к сыну, схватила его и забежала в толпу. Послышались робкие, как бы придавленные голоса:

— Ироды!

— Убийцы!

Говор нарастал. Зайцев пришел в себя и, беспорядочно стреляя в воздух, заорал:

— В воду! Всех в воду!..

Бандиты двинулись на людей. Первые ряды отступили, надавили на стоящих сзади. Заголосили ребятишки, их крик подхватили бабы, в ругани надрыва-

лись старики. Но, теснимые штыками-ножами, все пятились к реке.

— В воду! В воду! — не переставал орать Зайцев.

Ему вторил Карп Долов. Захар Сычов, не довольствуясь криком, бросился на подмогу бандитам — бил людей кулаками.

Иван, кляня свое бессилие, судорожно хватался за траву. Он видел, как люди барахтались в воде — истощный крик стоял над рекой, а бандиты жалили их штыками, теснили, норовя загнать в глубину. «Все утонут!» Он застонал и уткнулся лицом в траву. Земля, содрогаясь, гудела под ним, казалось, тоже стонала. Вдруг он расслышал частый стук, похожий на барабанный бой. От догадки замер, приподнял голову и не поверил своим глазам — из-за крутого обрыва на песчаную косу летели конные партизаны, впереди всех, размахивая саблями, скакал Иннокентий. Радость сдавила горло Ивана.

— Братка! — еле выдавил и заплакал, давясь и всхлипывая.

Бандиты, отрезанные от кунгасов, в панике метались по берегу. Зайцев, размахивая браунингом, что-то кричал им, но они не слушали его — бросали винтовки, поднимали руки или пускались наутек. Они уже не владели собой.

Карп Долов в два прыжка слетел с бугра, пригнувшись, побежал к деревне, но в проулке показалась вторая группа конников, и он, круто свернув, припустился к березняку. За ним, не отставая, бежал Захар Сычов. Он слышал нараставший конский топот за спиной и напрягал все силы, чтобы убежать от него. Топот неминуемо приближался, уже слышалось лошадиное дыхание. Он оглянулся, узнал во всаднике Иннокентия и в страхе заорал:

— Не убивай!..

Иннокентий привстал на стремях и взмахнул саблей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Черные тучи надвигались, заслоняя небо, их густая тень ползла по земле. Лес потемнел и затаился — ни шороха листвы, ни говора птиц. Холодный порыв ветра принес первые брызги дождя, еще мгновение — и

серая, будто свинцовая стена ливня застила все вокруг.

— Разверзлось... — пробурчал Петр, сидевший на табурете, и покосился на оконце. Дождь нещадно хлестал по натянутому вместо стекла рыбьему пузырю, словно норовил прорвать пленку.

Савелий с перевязанной тряпками головой лежал на топчане, уставился в потолок. Где-то там, наверху, грохотало, трещало, и ему казалось, накат бревен не выдержит, рухнет. В углу притулилась Матрена: лицо исхудалое, глубоко провалившиеся глаза уставились на дверь, во взгляде — отрешенность.

— Разверзлось!.. — повторил Петр, обхватив голову, хотел еще что-то сказать, но только громко выдохнул. Ему чудилась деревня, и шум дождя превращался в ликующий крик партизан...

В тот день, когда банда Зайцева овладела деревней, Петр выслеживал сохатого Настиг зверя. То был матерый бык, и опытный охотничий глаз определил удачу — пудов под двадцать будет. Стал целиться. И тут с Амура донесся многоголосый крик. Насторожился сохатый, и Петр оторопел — глазел по сторонам, пытаясь понять, что стряслось в деревне. Неожиданно крик сменился конским топотом. Послышались выстрелы. Испуганный сохатый метнулся в чащу, и Петр засеменил по тропе — решил уйти от греха подальше... Чтобы ничего не видеть и не слышать...

Как ни противилась Матрена, но уступила требованиям мужа — отправилась в деревню. Шла с опаской — за каждым деревом чудился выслеживающий ее Гошка Громов. У околицы отдышалась и, крадучись, стала пробираться к своей баньке. На улице и во дворах толпились люди. Зря боялась Матрена: на нее никто не обращал внимания, все радовались чему-то, перемежая смех со слезами. Она, осмелев, заглянула во двор Дыбовых. На крыльце сидела Ксюша: одежда мокрая, сырые волосы торчали патлами. Всхлипывая, трясущимися руками ощупывала пацанов, а они — все восемь — перемазанные, крутились возле нее. Матрена подошла, спросила, что за напасть приключилась, но Ксюша по-прежнему ластилась к мальчишкам, бормоча слова благодарности богу и деду Стриганову. Матрена поняла, что от нее ничего не добиться, и решила пойти к Евникии. Повитуха все знает. Зашла за кузницу, перебежала огород и вышла на

тропу, ведущую к березняку. До берез оставалось шагов двадцать, как она, вскрикнув, замерла. На земле лежал человек — ноги разметались, грудью жался к траве, голова свернута за плечо. Пригляделась и признала в убитом Карпа Карпыча Долова. Она в страхе крестилась и пятилась...

— Лукия, божья старушка, утопла... — пересказывала Матрена выведенное у повитухи. — И воды на том месте было по колени, а захлебнулась. Шибко хвора, упала, ее и затоптали...

Она продолжала рассказывать разные страсти, но Петра они не волновали, он беспокоился о собственной шкуре — думать о чужих не привык. Если раньше считал, что каждая стычка партизан с казаками ему на пользу — обе стороны людишек теряют, стало быть, ему жить спокойнее, — то теперь встревожился: отряд красных в боях набирал силу, бил всех — и гуртом, и поодиночке. Даже Карп Карпыч — хитрый, увертливый, за свои зверства поплатился, не сносил головы. Теперь и его, Петра Ляхова, в покое не оставят, непременно разыщут. Кабы только с Матреной в зимовье застали — куда ни шло. А тут Савка — помеха великая, за ним разбойничьих грехов много, тогда и его, Петра, в соучастники припишут.

— Он исподлобья глянул на топчан, где лежал брат: — Одевайся!

Савелий по-прежнему смотрел на бревенчатый потолок. Внешне тревоги не выказывал, но внутренне сжался, нутжно соображал, как одурачить Петра, чтобы остаться. Некуда ему сейчас податься, а тут перезимовать можно справно — тепло и сытно.

— Проваливай! — грозно сказал Петр.

Савелий еще немного полежал, потом сел и стал застегивать ворот рубахи. Петр закурил, отошел к окну. Дождь, не переставая, барабанил по рыбьему пузырю. В другой раз порадовался бы ливню, он, как и родитель Никон Демьяныч, уважал непогоду, в ее буйстве силу видел, но сейчас назойливый стук дождя действовал на нервы, и Петр, глубоко затагиваясь, еле сдерживал себя.

Савелий надел меховую безрукавку, жалобно посмотрел на Матрену. Она, как прежде, глядела из угла на дверь, будто ждала кого-то, а глаза мутные, что вода по весне в реке. «От нее помощи не будет», — подумал.

мал, натягивая сапоги. Все время, что жил здесь, она словом с ним не обмолвилась, даже не смотрела в его сторону. Видно, не могла простить выдворения из усадьбы, когда он бил ее и за волосы таскал. Какой уж помощи от нее ждать, хорошо, что порчи не наделала, а могла бы. Расскажи все Петру, неизвестно, как бы дело обернулось: Петр и удушить мог... Вдруг вспомнился сон, виденный в зимовье Фрола Кудлая. Раньше гадал, почему родичи обделили его куском хлеба, а теперь понял: чужак он для братьев — каждый только о своем животе печется. Вот и Петр гонит его, обрекая на голод. Сон-то в руку!.. Савелий долго сидел на топчане. Наконец встал. Достал из кармана часы, когда-то принадлежавшие Лысухе, положил на стол, да так положил, что крышка открылась, и по зимовью полился чуть слышный из-за шумевшего дождя мелодичный звон. Петр обмяк, затаив дыхание, ловил звенящие звуки. Глянул на брата, который, пошатываясь, шел к двери, и мирно сказал:

— Ты, значится, не серчай...

— Не сахарный — не размокну...

Петр подошел к нему, заговорил спокойно, по-дружески:

— Мы, Ляховы, у всех костью в горле сидим... Неровен час, краснюки сюда нагрянут — ст петли не уйти. А ежели мы порознь будем, каждый, значится, по себе, тогда уцелеем.

Савелий смотрел на обросшее, словно замшелое, лицо брата и молчал, будто покорность проявлял. Он придумал, как провести Петра, но про запас имел и крайний выход — маузер.

— Раньше я, дурень, хотел в деревню вернуться, — продолжал Петр. — Даже Архина просил словечко за меня замолвить. Думал, отстроюсь, мирно жить стану — никого не трону, и меня не тронут. Опосля пораскинул умом и перерешил. Почему?.. — Он прищелкнул языком и сокрушенно заключил: — Все мы — люди, а люди без драки жить не могут!

Савка вспомнил, как подобные слова когда-то говорил отец. Хотел уколоть этим Петра, но сдержался, решил не нарушать затеянной игры в покорность. Петр отошел к столу и, глядя на часы, тихо сказал:

— Ступай, брат, ступай...

Савелий вышел. Петр взял часы, поднес к уху, слу-

шал их звон и улыбался. Покосился на жену и захихикал.

— Под этакую музыку только хоровод с русалками водить... — Вдруг лицо вытянулось, прошептал: — Гнедого уведет!

Он выскочил на улицу. Дождь поубавился, но грязь непролазная. Чавкая сапогами, быстро пошел к конюшне. Гнедой стоял на месте. Петр облегченно вздохнул, вышел из конюшни, огляделся. Шагах в десяти от зимовья лежал Савелий, но не в грязи, а в густой траве, где было посуше. Петр, не обратив на это внимания, подошел к брату. «Еще, кажись, слаб. — Сердце екнуло, даже благое намерение появилось — хотел потащить Савку в зимовье, но передумал: — Пускай помокнет, може, болесть какая пристанет, глядишь, сам собой отойдет».

В деревне произошло событие, взбудоражившее всех — Федотья Копытина родила двойню. Случись это раньше, может быть, тихо все обошлось, во всяком случае радость была бы сдержаннее, но сейчас, после недавнего пережитого страха, учиненного бандитами, смех слышался в каждом доме — казалось, наступил долгожданный всеобщий праздник. Старухи подогревали людское возбуждение, усмотрев в рождении девчонок-близнецов доброе предзнаменование.

Дед Маркел вбежал во двор Юрашиных и закричал:

— Федотья сподобилась — двойняшек принесла! Малость рановато, не в срок, но и нонче видно: девки — огонь! Придет час — все парни с ума пососкакивают!..

Бабуляка стояла в комнате у окна, и надрываться криком деду не было надобности, она хорошо слышала его. Он кричал для Ивана, который лежал на топчане за углом дома — в избе душно, и его выносили на день во двор. Юрашиха жестами показывала Маркелу, чтобы он пошел к Ивану — успокоил, ободрил. Но тот, выдумывая небылицы, захлеб рассказывал о новорожденных. Наконец сдался — зашел за угол.

— Как живется-можется? — спросил, подойдя к Ивану.

Иван только засопел — раны заживали плохо, боль не отпускала.

— Зря от услуг Евникии отказался, — сказал дед,

хотя знал хитрость Юрашихи. Та тайком посылала Анюту к повитухе за снадобьями и, будто сварив их сама, давала внуку. Маркел повторил: — Зря! Вона Илья Хорь — русский бомбардир — в лицо пораненный, можно сказать, в самое живое место, а вылечивается, уже глазами по сторонам зыркает и говорит, правда, не понять чего, но говорит. Она его беспрерывно выходит!.. И тебя бы на ноги поставила.

Иван не слушал деда, ему тотчас представился Георгиевский кавалер — стоит перед Зайцевым, сына Марии собой прикрывает... В голове зашумело, будто снова людской крик услышал. Увиделась бабуляка с Христиней — как старинные подруги взялись за руки и покорно шли в воду. Рядом барахталась Ксюша — мальчишки повисли на ней, а двое бандитов загоняли ее в реку. Дед Стриганов преградил им дорогу — штыки впились ему в грудь, а он, выпучив глаза, напрягал силы, давил на штыки... Не подоспей тогда Кешка с отрядом, все бы утонули.

...Когда Иннокентий получил первое донесение от разведчиков, отряд немедля выступил из деревни. Мужики предлагали идти на Зеленые острова лодками, но он решил по-другому: на лошадях дошли до речки Сандинки, оставили их под присмотром двоих партизан и дальше поднялись по Амуру на кунгасах и лодках, взятых у рыбаков. Зеленые острова сплошь заросли высоким тальником и хорошо скрывали партизан. Затаились и ждали. Но донесений больше не было. Обеспокоенный, Иннокентий послал в разведку Самара, который был последним звеном живой цепочки, соединяющей Ивана и Гошку с отрядом. Самар тайными тропами прошел к скальной гряде, но на условленном месте гольда-напарника не оказалось. По заметным только ему приметам обнаружил следы борьбы — товарища убили или взяли в плен. Спустился вниз, подкрался к лагерю и, к своему удивлению, увидел, что лагерь пуст. Свежевытоптанная солдатскими ботинками тропа привела Самара к протоке. По следам на глинистом берегу он определил — бандиты ушли на трех кунгасах... Отряд Иннокентия снялся с Зеленых островов и пустился в погоню — партизаны надеялись быстро пройти по большой воде Амура и перехватить банду в устье Хунгари. Запоздали партизаны. В Вознесе-

повке узнали, что часа два назад три кунгаса с военными людьми прошли вниз по Амуру.

Не успели бы партизаны спасти односельчан — приплыли бы на лодках только на пожарище. Выручили лошади, оставленные на Сандинке. Галопом гнали, не щадя конских ног, и подоспели вовремя.

Дед Маркел еще немного посидел и ушел со двора. Иван остался один. Повернул голову, уставился на дом Архипа — ждал, когда на крыльце появится Мария. Он и место для топчана сам указал — такое выбрал, чтобы сподручнее видеть желанный дом. Понимал, что занимается напраслиной, Мария никогда не захочет быть с ним, да и он не встанет поперек дороги Иннокентию, но ничего поделать с собой не мог — часами глазел на видневшееся вдали крыльцо. Случалось, она выходила, спускалась зачем-нибудь во двор, он видел ее и замирал — глазами тянулся к ней, хотелось закричать, позвать. Когда же она скрывалась в доме, он принимался бранить себя и ее, стараясь вызвать в своей душе злость. Но глаза сами поворачивались к дому Архипа. Он успокаивался, смотрел на крыльцо, снова ждал...

Во двор въехал Иннокентий, спрыгнул с лошади, хлопая нагайкой по серым от пыли сапогам, направился к Ивану и сел на чурбак возле топчана. Пока он скручивал сигарку, Иван рассматривал брата. Возмужал. Угловатые плечи обтягивала гимнастерка, лицо скуластое, загорелое, над верхней губой густой пушок покрылся пылью и смотрелся настоящими усами.

— Куда ездил? — задал праздный вопрос Иван.

Иннокентий закурил, глухо произнес:

— Ключкина с должности начхоза надо снимать, дальше уже некуда.

Лицо Ивана перекосилось, будто от зубной боли. «Новая метла метет по-своему!» — подумал, а вслух сказал:

— Неудобен?

— Не в этом дело. — Иннокентий глубоко затягивался — нервничал. — С утра мотался по деревням и в стойбище гольдов заезжал. Порассказали, как он продовольствие добывает...

Иван знал пристрастие Елизара к реквизированию. Когда он командировался, так же было. Все собирал-

ся с начхозом начистоту побеседовать, но так и не собрался.

— Людей обирает и даже расписок не дает! — продолжал Иннокентий. — Не понимает, от имени кого действует! А люди после его безобразий Советскую власть матерят!..

— Как Гаврюха? — сменил разговор Иван.

Иннокентий успокоился, улыбнулся:

— С помощью Юльки по комнате шастает. Поклон тебе прислал. — Немного помолчал и заговорил о деде Стриганове: — Жилистый старик. Сам кровью харкает, с постели не встает, а Гаврюху наставляет, как с болезнями спор вести. По его совету Гаврюха ходить начал.

Он бросил окурок, растер его сапогом, хотел спросить брата о здоровье, но тот опередил его:

— Не думай, что я смерти хочу, потому помощи повитухи не принимаю, — стиснул зубы и процедил: — Видеть ее не могу!

Иннокентий догадался, что неприязнь Ивана к бабке Евникии — из-за Карпа Карпыча, которого она привчала. Не будь этого, глядишь, и с Денисом ничего не случилось бы.

— За все отвечу. Для того и выживу, — сказал Иван.

Иннокентий не хотел поддерживать разговор о предстоящем трибунале, который, возможно, состоится, когда отряд прибудет в Хабаровск, не хотел успокаивать Ивана, вселять надежду, хотя был уведомлен комиссаром Дроздом, что тот в докладе Лаврентию Шалде непременно упомянет о героически проведенной разведке — такое упускать в рапорте нельзя. Иннокентий твердо знал: что бы ни решил трибунал, какие бы отношения между ними, братьями, ни сложились в дальнейшем, он никогда не простит Ивану смерть Дениса.

Иван думал о Лаврентии Петровиче, которого подвел, не оправдал его доверия. Шалда крут. Не простит. А глаза уставились на когда-то ненавистный дом — он жаждал видеть Марию, будто она могла чем-то помочь. Иннокентий хотел сослаться на дела и уйти, но, перехватив взгляд брата, не мог выговорить ни слова — понял, что происходит с Иваном. Он поднялся с чурбака, ходил по двору, заглядывал в разные углы, словно искал чего-то. В сердцах чертыхнулся и быстро пошел в дом. Его встретил радостный визг Митяйки.

...В доме Архипа обычные споры и ругань обернулись тревожной тишиной. Христинья после вынужденного купания в Амуре захворала, лежала в постели, смерти ждала. Мария с Веркой по хозяйству хлопотали, некогда было разговоры вести. Юлька целыми днями пропадала у Стригановых, Гаврюху выхаживала да украдкой миловалась с ним. И Архип ни в чем бабам не перечил, даже с Марией ни разу не повздорил.

Не мог он понять происходящего — кто кого убивает, за что и почему? Одни, как брат Ефрем и Карп Карпыч Долов, из-за корысти, другие, как Кешка и его товарищи, никакой выгоды из того не имеют — были оборванцами, оборванцами и остались. Он в который раз вспоминал разговор с братом Василием, когда они сидели на завалинке. Ночь тогда выдалась темная, тихая, и разговор шел открытый.

— Ефрем супротив идет, — говорил Василий. — Он враг мой. Но уважаю его, потому как посередке не остался — уж больно паскудистое положение. А ты хочешь враскоряку на двух берегах устоять. Опрокинешься. Так что полное презрение к тебе имею.

Архипом тогда злоба владела — отец всю жизнь поучал, потом тесть Сидор Парфеныч умом его правил, и вот на тебе, брат учит, презрением в морду тычет. А сам-то кто? Калека обезноженный да голый: ни двора, ни кола, ни одежонки...

Сейчас Архип вспоминал тот разговор и о годе минувшем думал: впрямь чуть не опрокинулся. В Харбине жену Варвару потерял, в Сунгари утопла. И краденое золото сгинуло, не принесло счастья. Сюда вернулся, от смерти чудом ушел — Иван Юрашин к стенке ставил, Захар Сычов голову проломил, и Карп Карпыч не пощадил бы... И снова слова Василия услышались:

— Душа человеческая завсегда должна находиться в волнении. Остыла — отгорела. У тебя горит, мечется — не знает, к какому берегу пристать.

Это было правдой, оттого мучился, стараясь понять, что происходит вокруг. И надоумить некому. Не к Кешке же идти — мал еще, саблей научился махать, а поди не ведает, за что бьется. Кабы живой был Василий — присоветовал. Или Денис... При воспоминании о Денисе вовсе нехорошо стало Архипу. Ночи не спал, терзался сомнениями и не мог уразуметь, как такое могло

случиться. Выходит, Денис тоже заблуждался. О каком равенстве говорил, какую справедливость проповедовал? У белых и у красных одинаковый закон: кто супротив, того в расход. Вот и получается: равенство — в смерти. А под справедливость можно любое деяние подвести... Вспомнил, как однажды сидел с Денисом на крыльце и спросил: «Не боишься со мной якшаться?» Денис, не задумываясь, ответил: «Ты не враг. Еще и на дружбу надеюсь...»

Архип, уперевшись в край стола, отпрянул к стене. В голове гуд, и в затылке тупая боль. Заслышал стук топора во дворе, поднялся и, как чумной, побрел к двери.

У сарая Мария, заткнув подол юбки за пояс, рубила дрова. Архип забрал у нее топор, выбрал чурбак посучковатее, стал колоть. Чурбак не поддавался. Архип поплевал на руки и со всего маху саданул топором — лезвие со звоном влезло в древесную сердцевину, застряло, но чурбак не раскололся. Раздался смех Марии:

— Не надорвешься?..

Он уставился на нее: показалось, разгадала его мысли и насмехается. Она, видя растревоженные глаза дядьки, посерьезнела и спросила:

— Что с тобой?..

Архип засопел и соврал:

— Занемог.

Мария пытливо смотрела на него, поняла, что сказал неправду, но смолчала. Пошла в дом. А Архип разглядывал сучковатый чурбак, не зная, с какого боку к нему подступить.

Христинья, завидя Марию, попросила воды. Та зачерпнула кружкой в ведре, присела на кровать.

— У Юрашихи была? — напившись, спросила Христинья.

— Наведывалась.

— Как она?

— У нее забот невпроворот — болеть некогда, — Мария вздохнула, тотчас представив хлопотавшую по хозяйству Юрашиху. И Анюта увиделась. Девчонка жалась к печке, глядела исподлобья, испуганно, словно боялась, что Мария ударит. «Не приняла!» — подумала, и сердце болью сдавило.

Христинья потянулась к внучке. Мария, чувствуя о чем бабка заговорит, быстро сказала:

— Ничего Юрашихе не надобно — так и заявила. А к тебе обещала зайти. Малость с делами поуправится и заглянет.

— Хошь бы рыбки снесли. Архип, кажись, поймал... — Старуха долго молчала. Вдруг губы затряслись и слезы на глазах выступили. — Ежели помру, ты Юрашихи держись...

Мария прижалась к ней, принялась успокаивать:

— Не надо, старенькая моя, самая пригожая... Неужто за всю жизнь не выплакалась?

Христинья, сморгивая слезы, смотрела мимо внучки, куда-то в угол, а рука шарила по ее золотистым волосам — пальцы сильно тряслись, и было не понять, не то гладили, не то ощупывали.

— Кабы всю жизнь так — в мире, — тихо сказала, имея в виду Юрашиных, и добавила: — И ты, ягода моя, счастье бы познала.

— Ягода, да оклеванная... — сказала Мария и поднялась. Она знала, куда разговор пойдет — непременно на Кешке остановится, оттого и прервала его. Поставила кружку на стол и, сказав, что пора кормить сына, вышла из комнаты.

В горнице Выприна снова на прежнем месте висела люлька. Мария посмотрела на спящего сына, подошла к окну. На улице играли босоногие мальчишки, немного погодя мимо них прошли две бабы, потом шумливой толпой протопали мужики. Она вглядывалась в лица, но Иннокентия не увидела. Последнее время только о нем думалось. И не потому, что после разгрома банды и спасения односельчан все стали относиться к нему с уважением, только и слышала вокруг: Иннокентий Игнатьевич да Иннокентий Игнатьевич!.. Просто она силу в нем увидела, мужчиной признала — защитить сможет. А это для бабы — первое дело.

Повстречались они на улице — она из колодца воду доставала, он из дома Громовых вышел. Мария зарделась, улыбнулась растерянно. А он сухо поздоровался и пошел своей дорогой. Ей озлиться бы, как прежде бывало, а она, наоборот, сердцем размякла, смогрит ему в спину, и гордость ее распирает: ремни скрипят, у ноги сабля бряцает, папах набок заломлена — соколом идет.

Ночью чутко спала, какой-нибудь шорох или стук

заслышит — и с постели. К темному окошку прильнет, всматривается — может, он, как когда-то, за забором хоронится.

Так и жила ожиданием.

Дед Максим Максимович Громов созвал стариков. Они входили в дом, рассаживались на лавках. Не было деда Стриганова, который не мог прийти из-за ранения, и деда Маркела — не позвал его Громов. Перво-наперво выпили по чарке — помянули Гошку. Посидели в молчании и принялись вспоминать добрые и храбрые дела погибшего парня. Глухой на оба уха, Максим Максимович понимал стариков по движению губ, правда, не все слова угадывал, но смысл улавливал.

Еще выпили. Хозяин завел разговор о былых годах, когда молодыми были. В ту пору он один хаживал на медведя. Сначала соблюдали в рассказах очередность, потом, войдя в раж, заспорили, заорали наперебой. Особо старался Аксентий Тюрин — с жаром говорил, громче всех доказывал, какая распрекрасная жизнь была раньше. Дед Громов, хитро улыбаясь, наблюдал за стариками. Когда же бахвальство обернулось руганью, он поднял вверх сухую жилистую руку и со всего маху шлепнул по столу:

— Хвастуны!

Старики опешили. Он продолжал:

— Глотки надрываете, шпорами позвякиваете, а шпоры-то петушинные!

— Погоди, Максимыч!.. — поднялся рыжебородый старик, но Громов оборвал его:

— Не погожу! Наши дети в партизанах ходят, головы под пули подставляют, а зачем? Чтобы мы на печках нежились и прежнюю удаль вспоминали? В мыслях-то небось все зверье в тайге извели и всех баб перетискали. Али такое уже не видится?

Старики не ожидали подобной речи, растерялись. Дед Громов, малость успокоившись, сказал:

— Все вы — пустомели! Горазды только языками брехать. И, промежду прочим, спать горазды... Про налет банды Ляхова забыли? Как желторотых цыплят накрыл, а Иван нам тогда чего наказывал?

— Ты тоже проспал, — огрызнулся Аксентий.

— Проспал! За то и высек меня Ефрем!

Старики потупились, вспомнили, как тогда казаки

распластали на козлах Максимыча и нагайками потчевали.

Он смотрел на белую скатерть, постеленную в честь гостей, и тоже молчал. Наконец спокойно сказал:

— Наши сыны и внуки, не щадя живота своего, с бандитами бьются, а мы по домам хоронимся да в щели выглядываем — чья возьмет. Не годится так! Вона Филя Стриганов не забоялся, грудью малых детишек защитил. Или Маркел Трофимович — шибко его уважаю — в отряде числится, пользу приносит. На Черных марях, сказывают, самолично двух бандитов уколошил.

Рыжебородый понял, к чему разговор завел Громов, и заулыбался:

— Дыму напустил — аж в носу щекочет! Сразу бы дело говорил. Мы еще в силе, не совсем иссякли!.. — повернулся к старцу Хозину, доживающему свой век в одиночестве, и добавил: — Верно говорю, Елисей Евстигнеевич?

Тот, опираясь на палку, поднялся, с трудом расправил грудь — малость подалась вперед, и, стараясь прямо держать трясущуюся голову, молвил:

— У меня ни детей, ни внуков. И хошь маненько стар, но берданку из рук не выроню.

Старики напыжились, зашумели — каждый старался доказать, что есть еще порох в пороховницах, что они могут пользу принести. Только Аксентий Тюрин, насупившись, молчал — не по нраву пришлись высказывания стариков.

— Витька! — кликнул дед Громов внука, младшего брата Гошки, и, когда тот появился, строго сказал: — Разыщи командира с комиссаром и скажи, что их сюда общество требует!

Мальчишка, мотнув вихрастой головой, стремглав выбежал из горницы.

Когда Дрозд и Иннокентий вышли из дома Громовых, на улице стемнело, кое-где в домах светились окна. Иннокентий, раздосадованный происшедшим разговором со стариками, хлопнул калиткой и сказал:

— Не пойму вас, Николай Иванович! Взять и зачислить в отряд стариков. Они от крыльца до сортира с передыхом идут, и вдруг — бойцы! Получим приказ о выступлении на Хабаровск, пойдем на воссоединение

с главными силами, а с ними что делать? Ни конными, ни пешими не смогут, везти или нести придется.

Комиссар поглядывал по сторонам и молчал.

— Зачем такая обуза? — горячился Иннокентий. — Один срам — больше ничего!

— Глянь-ка, в окнах огоньки, — спокойно сказал Дрозд, показывая на дома. — Ожили люди. А почему? Надежда затеплилась. И старики, которых ты обузой называешь, тоже надежду заимели. Помощь посильную предлагают, не хотят в сторонке сидеть. А мы, стало быть, по рукам их, от ворот поворот? Запомни: самое страшное — обманутые надежды. Потому не дал тебе слова, по лицу твоему видел, что против приема их в отряд.

— Засмеют нас в Хабаровске! — не сдавался Иннокентий.

— Не спеши с выводами. Приказ еще не получен, к тому же кто-то пойдет в поход, а кто-то здесь останется. В тайге, сам знаешь, нечисть не перевелась. Как все обернется, неведомо. А деревня без ружей — легкая добыча.

Иннокентий только сейчас понял, что задумал комиссар: старики будут числиться равноправными бойцами отряда, а когда отряд пойдет в поход, они останутся. На них будет возложена защита деревни. Сетовал на себя: все так просто, а он опять не додумал, такого простого не осилил.

Проходя мимо дома Выприна, Иннокентий невольно посмотрел на окна. В горнице света не было, но он заметил, как одна из занавесок отодвинулась и кто-то встал у окна. Мария — больше никому. Насупился и прибавил шаг.

— Куда погнал? — засмеялся Николай Иванович.

Иннокентий от растерянности закашлялся, пробурчал что-то невнятное и снова зашагал рядом с комиссаром. Тот искоса поглядывал на него — не понимал, что происходит с парнем.

Из проулка вывалился Силантий Громов. При разговоре со стариками его дома не было, и Иннокентий удивленно глядел на него: рожа красная, глаза злобные, рубаха разорвана — до пупа тело оголилось. Преградил им дорогу и грозно выдавил вместе с сивушным перегаром:

— Сына верните!

Дрозд и Иннокентий остановились. Оба понимали,

что сейчас вести разговор бесполезно — пьян Силан-
тий, и все-таки Николай Иванович сказал:

— Если бы это было в наших силах...

— В ваших на смерть посылать!.. — перебил его Силантий. — Сына загубили! И всех изведете, ни старых, ни малых не пожалёете!..

Дрозд пошел по дороге, за ним двинулся Иннокентий.

— Верните сына, идолы!..

Они вошли во двор Стригановых и уже скрылись в доме, а на улице по-прежнему разорялся Силантий — грозился и пьяно рыдал.

Ивану стало хуже. Теперь даже на ночь его оставляли во дворе — задыхался в доме. Бабуляка коротала возле него ночи, выходил Иннокентий, сменял ее. Днем часто сидела рядом с больным Анята...

Иван метался в жару. Ему грезился Николаевск, та мартовская ночь, когда партизаны, застигнутые врасплох японцами, бились в кромешной тьме. Двухэтажное здание штаба горело, и самураи вели по нему беспощадный огонь. Ивана там не было, он дрался в другом конце города, но по рассказам очевидцев знал, что происходило в штабе, и сейчас ему чудилось, что он бежит по кварталу Симата, бежит к штабу, спасти командарма Тряпицына. Пули со всех сторон жалили его. Под ногами горел снег, и жар поднимался по телу, туманил разум... Он еле различил полыхающие ступени, карабкался по ним, но этой чертовой лестнице, казалось, нет конца. Едкий дым забивал глотку, Иван задыхался... По комнате метнулась тень, зазвенело разбитое стекло, и тень исчезла в окне. Иван приблизился к окну и увидел, как внизу черным пятном на белом снегу распластался начальник штаба Тихон Наумов. К нему сбегались японцы, и штыки-ножи вонзались в уже бездыханное тело... Иван, вытянув руки, бродил по комнате, искал командующего, но ни Тряпицына, ни Лебедевой нигде не было. Комната оказалась пустой, даже стол, стулья и лавки исчезли. Он натыкался на черные обуглившиеся стены, давил на них, но они не поддавались. Снизу слышался крик. Иван признал голос командарма, оттолкнулся от стены и кинулся назад, туда, где должна быть дверь. Ноги зацепились за что-то, и он упал. Почувствовал под со-

бой горячую и липкую слезь Пригляделся: на полу лежали тела убитых — секретаря штаба Черного-Покровского и его помощника Деулина. Иван знал: они при нападении японцев растерялись и, считая, что все погибло, застрелились. Он с презрением глянул на них, дотянулся до двери, но не дотронулся — она почему-то отворилась сама. Через пламя, метавшееся по лестнице, он различил стоящего внизу у входной двери Тряпицына. Тот, зажимая рану на ноге, что-то кричал Нине Лебедевой и припавшим к стене партизанам. Они бросились к двери, распахнули ее и стали стрелять по японцам... Иван видел, как первым выскочил во двор рослый партизан. За ним Лебедева. Вот она стремглав пересекла двор, пригибаясь, перебежала улицу и скрылась в окне китайской лавки... Во двор вышел Тряпицын. Из-за раненой ноги он бежать не мог и, отстреливаясь из маузера, шел в полный рост. Одолея двор. Пересек улицу. Он уже у лавки. Вдруг, дернувшись всем телом, повис на подоконнике... Иван догадался, что командарм ранен вторично. Из всех сил Иван пытался выбраться из горящей комнаты, тянул руки, чтобы помочь ему, но какая-то неведомая сила прижимала его к мертвецам... Чьи-то сильные руки схватили Тряпицына за плечи и втащили в окно лавки... Иван облегченно вздохнул и, обессиленный, погрузился в темноту...

— Зачем цепи? Снимите цепи!.. — простонал Иван.

Анюта приблизилась к нему, поднесла к его губам кружку с водой, но он пить не стал — был в бессмысленности...

Откуда-то издалека наплывал звон — тонкий, мелодичный. Чем громче слышался звон, тем грубее он становился... Ивану чудилась березовая роща, что раскинулась возле поселка Керби. Молодые стройные деревца тянулись к голубому небу, и, казалось, их светло-зеленая листва звенела, но теперь заунывно, тягуче... Увиделась дорога. Босые ноги осужденных, гремя цепями, тяжело ступали. И на руках цепи. Приговоренные к расстрелу — их было семнадцать — шли тесной группой. Впереди, гордо вскинув голову, вышагивал командарм Тряпицын. Белоснежная косоворотка оттеняла его загорелое лицо, светло-русая копна волос плавно покачивалась. Он был спокоен. Рядом шла Нина Лебедева, в страхе глядела на конвоиров, оцепивших осужденных плотным кольцом, и жалась к Тряпицыну...

Иван не отрывал глаз от бывшего командующего и поражался его выдержке и самообладанию: будто не на смерть шел к березняку, где ждут пули и яма, а на венчание в церковь... Приговоренные к казни ступали все разом, и в предутренней тишине звон цепей отзывался назойливым гудом...

— Зачем цепи? Почему цепи?.. — приходя в себя, мучился в догадках Иван.

Анюта жалостливо смотрела на него. Он узнал ее и не мог сообразить, как она оказалась в Керби, но по серой потрескавшейся стене дома понял, где находится и что с ним происходит...

Иннокентию пришлось звать бабуку Евникию. Бабуляка встретила ее поклоном. Та, что-то шамкая, осмотрела Ивана. Он находился в тяжелой дреме и, на счастье бабуляки, не признал повитухи. Старухи пошептались и разошлись. Юрашиха места себе не находила — охала да причитала. Иннокентий понял: Евникия отказалась лечить Ивана — не то совсем плох, не то осерчала на него крепко.

Теперь чаще он при брате находился. Видел, как в нем угасает жизнь, и не знал, что делать.

Когда Иннокентий вошел в горницу, Мария мыла полы. Увидела его и от растерянности выронила тряпку. Он снял папаху, потоптался на месте и, не поднимая глаз, сказал:

— Пойдем, Маша...

Она охнула и засуетилась — наконец-то за ней пришел! — туда-сюда по комнате бегают, ботинки и шаль найти не может. Иннокентий смотрел на нее и дивился: раньше гордячкой была, не подступись, на его слова молчанием да презрением отвечала, а теперь полную покорность выказывала. Не понимал, что с ней произошло: то ли осознала свои выверты и подлости, разумом перевернулась и укротила свой нрав, то ли... О плохом не хотелось думать. Не могла она после всего пережитого хитрить с ним. И не в их отношениях сейчас дело. Главное — облегчить страдания брата, который таял на его глазах.

До самого дома Юрашиных шли молча, даже ни разу не глянули друг на друга. Он чувствовал ее волнение — шла неровно, спотыкалась — и не знал, как поведет себя, когда узнает, зачем позвал ее. Вошли во двор.

Анюта стояла на крыльце, ее синие глаза жгли гостью, будто корили. Мария, почуяв неладное, недоуменно посмотрела на Иннокентия. Он показал на угол дома и глухо сказал:

— Там Иван... Помирает...

Он не стал пояснять, зачем привел ее, надеясь, что она поймет его.

Она стояла в оцепенении, растерянно смотрела на Анюту, глаза которой уже не корили, а просили и были непомерно тоскливые. Мария, собрав всю волю, наконец решилась и шагнула за угол. Иван лежал на топчане: лицо исхудалое, серое, дышал тяжело, с перебоями. Она опустилась на чурбак, неудобно села, на краешек, но шевельнуться боялась, не мигая, в землю уставилась.

Иван не верил своим глазам, думал — наваждение. То зажимал веки, то разжимал, наконец понял — перед ним живая Мария. Он не знал, почему, но был уверен — она придет. Смотрел на нее и, как замороженный, молчал.

Для Марии же минуты тянулись вечностью. Если раньше, поняв Иннокентия, она ощутила необходимость подойти к умирающему, к тому же и взгляд Анюты умолял о том же, то теперь проклинала себя. Перед ней лежал человек, который лишил жизни ее деда и отца. Он убийца, а она сидит рядом, сострадающая его судьбе. Душа разрывалась, в голове мстительно стучало: «Пусть помирает! Пусть!» Хотелось вскочить, убежать, но ноги затекли — не могла подняться, не хватало чего-то осилить себя.

Он глядел на нее, вспоминал, как она стояла на обрыве с берданкой в руках. И слова услышались: «Живи, куда тебя бог терпит!» Он знал: она считала его виновником гибели ее родичей, оттого и ненавидела. Захотелось объяснить эту ошибку — Никона Демьяныча он не убивал, тот сам покончил с собой, и Демьяна убил кто-то другой. Но Иван поборол себя, смолчал — не привык оправдываться. Вспомнился Кешка: он поди привел Марию, сама ни за что не пришла бы. Неловко стало перед братом. Зажмурился и тихо сказал:

— Ступай...

Она с трудом поднялась, на одеревенелых ногах двинулась к изгороди. Не хотела идти двором, встречаться там с Иннокентием, и пошла огородами. Чем дальше

уходила от дома Юрашиных, тем быстрее становились шаги. Побегала. В голове шумело, мысли путались.

Как очутилась в горнице, не помнила. Закрыв дверь, прислонилась к ней спиной и стояла недвижимая. Наконец сознание прояснилось, и страшная мысль обожгла: «Не любит Кешка! Брату меня подсовывает!» Она сползла по двери на пол и дала волю слезам...

День клонился к концу, и в комнате стало темнеть. Мария с трудом поднялась, добрела до люльки, машинально обтрогала сына — сухой, спит. Села на кровать. Какая-то пустота заполняла ее — ни мыслей, ни чувств, будто в сумеречном состоянии пребывала. Чуть слышно скрипнула дверь, осторожные шаги и потом — совсем рядом — голос:

— Не бойся, душить не стану.

Голос бабий, знакомый, но чей, Мария признать не могла.

— Пришла не убивать, хотя другая на моем месте попользовалась бы — сейчас тебя без труда порешить можно...

Слова чуть растягивались, звучали певуче — такая манера говорить была только у одной бабы. Феня Стриганова! Ее узнала Мария, но не испугалась, даже не повернулась в ее сторону.

А Феня продолжала:

— Привыкла обиды держать в себе, людям не показывать. И в мести малый прок вижу. К тому же не ты меня на колени поставила — кабы не казаки, не бывать по-твоему. Мелкую радость получила, ну и утешайся. Меня же от этого не убудет — привыкла в навозе да грязи... А ты хоть на золоте спи и золотом покрывайся, все равно блудней останешься. Всю жизнь пакостями пробавляешься, на доброе ума недостает. Но пакостям тож конец приходит... О Юрашиных речь веду... Мало тебе Иннокентия, над которым глумилась да потешалась, так теперь за его брата взялась? Видела, как намедни у постели его сидела. И не я одна видела — люди судачить стали, с языков только их имена и слетают. Потому пришла слово молвить... Отступись от Юрашиных! Не способна ты счастьем одарить, а пакости делать я тебе не дам. Посмешищем Юрашины не станут, и без тебя горюшка вдосталь нахлебались, так что не трожь их боле. Не отступись — пеняй на себя. Крепко запомни: мое слово твердое — помилования не будет!..

Шаги удаляться стали, и дверь скрипнула. Фея ушла, а Мария вслушивалась, ждала ее голоса, будто в нем было избавление от терзавших мук.

На следующий день снова явился Иннокентий. Ее словно током прошило — съежилась и к окну отвернулась. Еще ночью решила: пусть что угодно говорит, а она не пойдет к умирающему Ивану. Не потому, что угрозы Фени забоялась — плевать на нее. И на Ивана плевать. Худо-бедно, но жила своим умом, и наперед жить так же будет. Никому не позволит помыкать собой, даже Кешке. И его любви ей не надо, обойдется без нее...

Иннокентий сказал:

— Надо так, Маша!..

Сказал спокойно, в голосе ни укора, ни мольбы. И она, вопреки своей воле, накинула косынку и пошла. Вернулась домой и опять навзрыд ревела.

Командир и комиссар ждали пополнение с пизовьев и готовили жилье, припасали продовольствие. В одних домах их встречали радушно, приглашали погостевать, в других принимали сдержанно, а кое-где явное недовольствие выказывали. Везде Дрозд разговоры вел о тяжелом времени, о будущей жизни. Иннокентий слушал и дивился — казалось, обо всем ведал комиссар, на все имел ответ. Беседы, как правило, затягивались, порой до полуночи, что стало раздражать парня. Это не ускользнуло от Николая Ивановича, и как-то, возвращаясь в штаб, он сказал:

— Испокон веков русский люд к воле стремился, ярмо батрацкое хотел скинуть. Крепостным худо жилось, их за людей-то не считали, одно слово — подневольные. Вот они, натерпевшись бед да горя, и бежали в леса — от мироедов подальше. По царскому указу ловили их, на дыбах истязали, розгами до смерти запарывали, но дух свободы сломить не смогли, только еще больший гнев и ненависть разжигали. Случалось, крестьяне, взбунтовавшись, всей деревней покидали насиженные места — помещика порешат, усадьбу его огнем запалят и бегут. В глухомани, куда и зверь не забегал, хоронились. Поселения те вольницами назывались. Жили сообща, промыслами разными занимались, но и разбойными делами не брезговали — выходили с кольями да топорами на дороги, торговые караваны грабили.

Иннокентий расширенными глазами смотрел на комиссара — услышанное поразило, и необыкновенное волнение охватило его. Дрозд неожиданно спросил:

— Не о такой ли вольнице мечтают наши мужики?

Иннокентий, застигнутый врасплох, молчал, только по сторонам изумленно поглядывал.

— Не задумывался? — продолжал Николай Иванович. — Народ безграмотный, доверчивый, куда поведи, туда и пойдет, и в руках не кол, а винтовка. Худо, если революцию с вольницей спутает. Вот и требуется к разуму мужицкому пробиться, чтобы каждый твердо знал, за что воюет.

«Василий так же говорил!» — вспомнил Иннокентий и благодарно посмотрел на комиссара.

Они шли берегом. Тишину нарушал крик чайки. Лицо парня было серьезным, брови сошлись над переносiem, на лбу прорезалась глубокая вертикальная складка...

— О чем думку гадаем? — спросил Дрозд.

Иннокентий просто сказал:

— Думаю о Василии Ляхове, Михайле Дыбове, Дмитрие Копытине, Федоре Лапте... о всех, кого потеряли. Душа ноет, будто виноват перед ними...

— В чем?

— Я — есть, а их — нет.

Николай Иванович достал из кармана трубку, когда-то подаренную гольдом Ерми, набил ее табаком, чиркнул зажигалкой и сказал:

— Потери, к сожалению, будут еще немалые. Идет борьба, и уступок ни та, ни другая сторона не делают. Победа одних рождает жажду мести у других, а расплата — человеческие жизни. Придет время, оглянемся и ужаснемся от совершенных деяний, от необоснованной и ничем не оправданной жестокости, граничащей с безумством. Есть ли предел людскому озлоблению? Сумеем ли исцелиться? Не наступит ли духовное отупение?.. — Он поежился, видно, малярия давала о себе знать, глянул на Иннокентия и добавил: — А то, что думаешь о погибших товарищах, хорошо. Значит, святое дело, за которое они отдали жизни, стало твоим. Кровным.

Иннокентий слушал комиссара и пристально всматривался вдаль. Где-то там, за сотни верст, уже идут бои с белоповстанцами, льется кровь, и с каждым днем потерь становится больше. Ему хотелось немедленно оказаться в гуще событий, биться рядом со всеми. Он то-

ропил час, когда прибудет нарочный из Хабаровска с приказом о выступлении отряда.

— Скорее бы в путь, — сказал, глядя на реку.

Николай Иванович понимал желание парня и молчал.

Они смотрели на речную гладь. Амур был спокоен, и в этом спокойствии чувствовалась затаенная неистребимая сила.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава первая		3
Глава вторая		25
Глава третья		53
Глава четвертая		67
Глава пятая		80
Глава шестая		106
Глава седьмая		124
Глава восьмая		137
Глава девятая		153
Глава десятая		170
Глава одиннадцатая		184
Глава двенадцатая		204
Глава тринадцатая		215
Глава четырнадцатая		236
Глава пятнадцатая		251
Глава шестнадцатая		278
Глава семнадцатая		295
Глава восемнадцатая		324
Глава девятнадцатая		349
Глава двадцатая		368
Глава двадцать первая		390

Геннадий Тимофеевич Малышев

ЛИХОЛЕТЬЕ

Редактор Н. И. Чековитов
Художественный редактор А. В. Колесов
Технический редактор Т. А. Костюченко
Корректор В. Е. Черевко

ИБ № 2165

Сдано в набор 13.08.91. Подписано в печать 13.11.91.

Формат 84x108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Высокая печать
Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,14. Уч.-изд. л. 22,93. Тираж 100 000 экз.

Заказ 4593. Цена договорная.

Хабаровское книжное издательство
Министерства печати и массовой информации РСФСР.
680620. г. Хабаровск, ул. Серышева. 31.
Краевая типография № 1
управления издательств, полиграфии и книжной торговли.
680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Малышев Г. Т.

М 20 Лихолетье: Роман. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1992. — 416 с.

ISBN 5-7663-0198-7

Роман о трагических событиях в годы гражданской войны на Дальнем Востоке составляет дилогию с романом «Марь».

М $\frac{4702010201}{M160(03)-92}$ 9-92

ББК 84 Р7

В 1992 ГОДУ
В ХАБАРОВСКОМ КНИЖНОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ВЫЙДУТ В СВЕТ:

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Составитель *Владимир Ковтун*

Очередной, тринадцатый, том полюбившейся читателям серии «Дальневосточные путешествия и приключения». В него вошли десятки очерков, рассказов, путевых записок и несколько документальных повестей ученых, исследователей, путешественников, туристов, географов, охотников и просто бывалых людей, стремящихся шире познать окружающий нас мир и увидеть уникальную красоту глухих уголков Дальнего Востока, где еще «цивилизация» не успела оставить своих губительных следов.

Одна из документальных повестей, вошедших в книгу, — «Дорога на Тевяку», Фавста Колоссовского. Имя этого человека было хорошо известно многим дальневосточникам в тридцатые годы. Он — один из организаторов метеорологической службы в Хабаровском крае. В глухих, отдаленных от населенных пунктов местах, в горно-таежных дебрях открывал он в те годы многие метеостанции и работал на них. Со своими верными друзьями, незаменимыми помощниками и проводниками-удэгейцами на батах добирался он в верховья рек, преодолевая перекаты и заломы. В центре повести — проводник Данзай, удивительный знаток природы, умелец, искусный охотник и опытный следопыт. Повесть публикуется впервые.

В книгу вошли очерки о диверсиях и трагедиях в проливе Лаперуза в годы второй мировой войны, рассказ о жемчужине восточных морей — Филиппинах, исторические рассказы о временах давно минувших и сегодняшнем дне, записки о путешествии на Джугджур, которые не оставят равнодушными читателей.

В ХАБАРОВСКОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
В 1992 ГОДУ
ВЫХОДЯТ В СВЕТ

Валентин Федоров. ИНОК БЕЛОЙ ПУСТЫНИ. Повести.

В повести «Северная быль» мальчика, ушедшего от взрослых и решившего замерзнуть, спасают бездомные собаки, согревают его своим телом.

В другой повести, «Инок белой пустыни», браконьеры из высокопоставленных чинов оговаривают честного человека, прознавшего об их грязных делах...

Повесть «Петечка» — о материнской любви и бездуховности сына, однажды бросившего родителей и приехавшего к ним спустя двадцать пять лет, чтобы продать дом родителей, которые, по его расчету, должны уже умереть...

Николай Ситиков. ДВОРЕЦ ДЛЯ МАДОННЫ. Повести, рассказы.

В новой книге литературное творчество Николая Ситикова представлено наиболее полно. Лиризм и трагедия, юмор и сатира переплетаются в одном художественном полотне.

Вот Ленька Чеботарев — главный герой повести «Дворец для мадонны» — уходит из дома после пьяных побоев отца.

Ленька выжил, вырос, встретил и полюбил девушку, которая, как оказалось, его не любила, но родила ему сына. И в то время, когда Ленька строил в деревне настоящий дворец для своей любимой и сына, она предала его. Убитый горем, Ленька поджигает построенный дом.



Хабаровское книжное издательство